

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ  
МИР

2003

2

2003



# **НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР**

## **БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ**

**В 2003 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»  
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

**АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Глаша (повесть);**  
**АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);**  
**ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);**  
**ЮРИЙ БУЙДА. Кёнигсберг (роман);**  
**ИГОРЬ БУЛКАТЫ. Кавказский лабиринт (роман);**  
**РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);**  
**АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Новая повесть;**  
**СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);**  
**АНДРЕЙ ВОЛОС. Новая повесть;**  
**ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;**  
**ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ. Танк (повесть);**  
**МАКСИМ ГУРЕЕВ. Быстрое движение глаз во время сна (повесть);**  
**БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;**  
**ОЛЕГ ЕРМАКОВ. Возвращение в Кандагар (повесть);**  
**ИРИНА ЕРМАКОВА. Легкая цель (стихи);**  
**ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);**  
**ЛЕОНИД ЗОРИН. Из жизни Ромина (рассказы);**  
**ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;**  
**НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);**  
**ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Вечный календарь (роман);**  
**МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);**  
**ОЛЕГ ЛАРИН. Пейзаж из криков (повесть);**  
**ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новые рассказы;**  
**АННА МАТВЕЕВА. Небеса (роман);**  
**АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Чума (роман);**  
**АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ. Реабилитация, или Письма из Испании;**  
**ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА. Ты имеешь то, что ты есть (стихи);**  
**ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер (роман);**  
**ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;**

(См. на обороте)

МАРИНА ПАЛЕЙ. **Вода и пламень** (рассказ);  
ВИКТОР ПАНОВ. **И там жили** (из наследия);  
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. **Заморозки** (повесть);  
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. **Пустырь** (повесть);  
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. **Третье дыхание** (повесть);  
ОЛЬГА ПОСТНИКОВА. **Петь и петь!** (рассказ);  
ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. **Филологические новеллы**;  
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. **Избранник** (роман);  
МАРК РОЗОВСКИЙ. **Театральный человек** (документальное повествование);  
ДИНА РУБИНА. **На солнечной стороне улицы** (роман);  
РОМАН СЕНЧИН. **Вперед и вверх на севших батареях** (повесть);  
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. **Период** (роман);  
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. **Новая проза**;  
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. **Игры на свежем воздухе** (рассказы);  
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. **Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания**;  
ИРИНА СУРАТ. **Пушкин и Мандельштам** (параллели);  
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. **Прощание с гармонистом** (роман);  
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. **Сансаныч** (повесть);  
АНТОН УТКИН. **Новый роман**;  
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. **Теленовости** (продолжение цикла «Мелочи культуры»);  
ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ. **По мосткам, по белым доскам** (стихи);  
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. **Откос** (повесть);  
ГУСТАВ ШПЕТ. **«Я пишу как эхо Другого...»** (письма к жене);  
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. **Смерть в операционной** (повесть);

а также стихи ТАТЬЯНЫ БЕК, СВЕТЛАНЫ КЕКОВОЙ, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ЛАРИСЫ МИЛЛЕР, ТАТЬЯНЫ МИЛОВОЙ, РОМАНА СОЛНЦЕВА, статьи, обзоры, эссе СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА и других авторов.

# NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

**СПОСОБ ЗАКАЗА:** по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

**СПОСОБ ОПЛАТЫ:** 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

**СТОИМОСТЬ** одного экземпляра в 2003 году: \$ 10,

**СТОИМОСТЬ** годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,  
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».  
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.  
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

## Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,  
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо  
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) \_\_\_\_\_

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с \_\_\_\_\_ (месяц, год) на \_\_\_\_\_ месяцев.

Количество экземпляров \_\_\_\_\_

Стоимость заказа \_\_\_\_\_ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) \_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс, e-mail) \_\_\_\_\_

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) \_\_\_\_\_

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки \_\_\_\_\_



## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2003». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на первое полугодие 2003 года — 414 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Нахимовский проспект, 51/21), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: [postmaster@kubon-sagner.de](mailto:postmaster@kubon-sagner.de) Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Паблликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

*Уважаемые зарубежные подписчики!*

*Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,*

*выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».*

*Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.*

*Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).*

### СОДЕРЖАНИЕ

ЕВГЕНИЙ РЕЙН — На пути караванном, стихи	7
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ — «Отдай мое», повесть	11
ОЛЬГА МАРТЫНОВА — Узор из дерева и стекла, стихи	41
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ — Крестный ход, рассказ	45
БОРИС ВИКТОРОВ — Совесть и птица, стихи	59
ГРИГОРИЙ МАРК — Одинокий пилот, стихи	62
АННА ВАСИЛЕВСКАЯ — Книга о жизни. Публикация и предисловие Андрея Василевского	65
ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ — Опустевшее детство, стихи	106

#### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ИГОРЬ ДЕДКОВ — Уже открыт новый счет. Из дневниковых записей 1987 — 1994 годов. Продолжение. Публикация и примечания Т. Ф. Дедковой	110
---	-----

#### ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

ВАЛЕРИЙ СЕНДЕРОВ — Солидаризм — третий путь Европы?	124
СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ — Несколько мыслей о «евразийстве» Н. С. Трубецкого. Опыт беспристрастного взгляда	137

#### КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА — «Этническая данность, именовавшаяся Россией». Четвертая мировая	150
---	-----

#### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЕВГЕНИЙ ЕРМОЛИН — Идеалисты. Интеллигенция бессмертна!	156
--	-----

#### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Дмитрий Полищук. Контрольные Кононова	162
Ирина Василькова. «Так происходит жизнь...»	168
Николай Мельников. Заводной Энтони Бёрджесс	174
Максим Монин. День открытых дверей	180

(См. на обороте)



## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА ДМИТРИЯ БЫКОВА	182
КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	188
CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА	196
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	202

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ОЛЬГА РЫЧКОВА — Солнце русской политэкономии	208
--	-----

### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	210
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	213
SUMMARY	240

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА, ПРОЗАИКА  
ОЛЕГА ПАВЛОВА  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ  
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «БУКЕР —  
ОТКРЫТАЯ РОССИЯ»!**

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА, ПОЭТА  
МИХАИЛА ПОЗДНЯЕВА  
С 50-ЛЕТИЕМ!**

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

---

---

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

\*

## НА ПУТИ КАРАВАННОМ

\* \*  
\*

Два дуэлянта, три самоубийцы  
и остальные.  
Нет, не выходит. Ну и что? И ладно.  
А в подставные,  
слегка загримированные лица  
я не гожусь.  
Такого нет таланта.  
Не дуэлянт и не самоубийца,  
я откажусь  
от соучастья. Ладно.  
Я был среди наследников,  
и все же  
мне ломаной копейки не досталось,  
но только об одном прошу я,  
Боже,  
когда-нибудь через года, под старость,  
когда развалиной я стану жирной,  
коснеющей над мелким преферансом,  
найди меня в моей стране обширной,  
не обойди моим последним шансом.  
Позволь припомнить ясно все, что было.  
И, ничего уже не обещая,  
без веры, без сомнения, без пыла  
взглянуть назад, вовеки не прощая.

1972.

### За Петроградской

В ресторане Чванова  
Комплексный обед,  
Жизнь прошла нечаянно —  
Этой жизни нет.  
Там, за Петроградскою,  
Черета утрат,  
Лентой темно-красною  
Перевит закат.  
Погляди-ка в мутное,  
Пьяное стекло,



То, ежеминутное,  
 Было и ушло.  
 Только быстрым промельком  
 Просквозит в тени  
 То, что было промахом  
 В молодые дни.  
 Что ушло — без жалости,  
 Пулей в молоко,  
 Все, что в давней малости  
 Ясно и легко.  
 Ветерком расхристанным  
 У начала дней,  
 Катером у пристани  
 В изумруд морей.

1988.

### Самарканд

Сила, жадность и бедность — на таком самокате  
 Пол-Союза объехал, побывал в Самарканде.  
 И на зимней заре в Бухаре на базаре  
 Я стоял над мангалом, где золу разбросали.  
 Антрацит и кизяк, саксауловый корень,  
 Жар дышал, розовел, непокорен, спокоен.  
 И когда заливал я томатом кебабы,  
 До чего они были ароматно-кровать.  
 Вот чего я дождался, задымив папироску  
 И стирая бараньего жира полоску,  
 Что ни много ни мало — а тысячелетье  
 Принимаю на этом базаре в наследье.  
 Бирюзовые отсветы у Гур-Эмира,  
 В каракумской папахе шашлычник-громила,  
 Разоренные зерна на сломе граната,  
 Азиатских просторов суета и громада.  
 Что осталось от Персии и Сасанидов?  
 Переперченный фарш да чучмеки в обидах,  
 В этот век, в этот раз Рудаки был в опале,  
 Ему жарили мясо, как мне, на мангале,  
 Как и я, он был слеп, как и я, прозорливец,  
 Как и я, недотепа, неудачник, счастливец.  
 Ну а я что верблюдов на пути караванном,  
 Где погонщик считает всякий день окаянным,  
 Так мы тащим тюки, а торговые люди  
 Разберут их, запомнят о верблюде.  
 И не жди ничего, справедливости нету,  
 Здесь судьба — и вопрос не подходит к ответу.  
 А на зимней заре, что темна и бездымна,  
 Подтвердят эту правду Калила и Димна.

1989.

### Собор. Аугсбург

Мостовая блестит, как чешуя на карпе,  
 В городе, где я, увы, в арьергарде.  
 Чего ради?  
 Войну проиграли и те и другие,  
 По обе стороны горки крутые.  
 Психиатрия.

Совсем один в бесконечном соборе,  
Один в безответном своем разговоре  
Стою, тараторю.  
Просторно, глухо и безымянно,  
И отзыва нет — осанна, осанна!  
А сам я?  
За этим углом — тирольский чертежник,  
За тем вот — пахан его и помощник,  
За всяким — безбожник.  
Быть может, и Ты потому безответен,  
Что не различаешь своих без отметин.  
Проблема лишь в этом.  
Но так не хочется из Твоего дома,  
Быть может, в два или три приема  
Дождусь я приема.  
Один на один в Твоем кабинете  
Узнаю, что Ты имел на примете,  
За что я в ответе.  
Зачем чертежник?  
Зачем сапожник?  
Зачем картежник  
Бросает козырь?  
И я, как дурень, перед витриной  
Накладываюсь образиной  
На «Сейку», «Ролекс», «Мозер».  
Твое же время — намек на это,  
Шифровка неба вместо ответа,  
Просроченная дата билета.  
Теперь баварского выпей пива  
Неторопливо, но терпеливо,  
Все соблюдая одновременно,  
Зачем же я стою смиренно?  
Провал. Блаженство.  
И ни полжеста.

1991.

### Спичечный коробок

Приходи к «Флориану», когда стемнеет,  
Слышишь, ветер с лагуны вовсю сатанеет,  
Но оркестр сквозь порывы играет Шопена,  
Вот теперь и обсудим мы все откровенно.  
Лев читает нам книгу с невысокой колонны,  
Лодки бьются о пристань и считают поклоны,  
И последний прохожий пропал за Сан-Марко,  
Начинается ночи немая запарка.  
Видишь, купол над нами все тяжеле и уже,  
Флориановы тени во тьме разутюжа,  
Ночь приходит из нашей с тобой половины.  
На стене Арсенала Алигьери терцины.  
Ты — из ближней могилы, я — из давней мороки,  
Значит, ныне сбываются судьбы и сроки,  
Значит, призраки есть, как сказал Свидригайлов,  
Это факт, а не выдумка бешеных файлов.  
Рюмка граппы и чашечка черного мокко  
Объявляют, что ты появился с Востока



Вместе с бледным рассветом, ленинградским загулом,  
 Вместе с давним дружкой косолапо-сутулым.  
 Так разделим священную дрожь алкоголя  
 И ожог кофеина — на все твоя воля,  
 Тут петух не споет, и сосед не заплачет,  
 Только школьник наш впрок твои рифмы заначит,  
 Перепутает строфы, перепробует строки,  
 На полях Елисейских всем нам хватит мороки:  
 Все поставить на место, погрозить неумехам,  
 Плагиаторам и соглядатаям-лохам.  
 Венецкое время кончается скоро,  
 Адриатика ночью — что затычка простора,  
 Этот город — тупик, ну и слава же Богу,  
 Что не надо опять собираться в дорогу.  
 От собора, Пьяццетты и до Арсенала  
 Ровно столько шагов, что ни много, ни мало,  
 Так пойдем поглядим, если спросят — ответим,  
 Словно в том гастрономе — не будешь ли третьим.  
 Но, быть может, он нам и протянет монету,  
 Если что — мы заплатим, ведь, бывает, что нету,  
 Но, похоже, он с нами вовек расплатился,  
 Так давно, далеко — даже голос расплылся,  
 Долетавший до нас. Помнишь озеро Щучье?  
 Там аукалось в соснах тройное созвучье,  
 Там с тобой мы брели по дороге на «будку».  
 Вот и кончилось лето по тому первопутку.  
 Вот и вспыхнул огонь на корме электрички,  
 Словно в темном углу обгорелые спички.

2002.

### У Ваганькова

На Грузинской изломанной улице,  
 Где валютный кичится фасад,  
 Выпрямляйся, не надо сутулиться,  
 Точно три десятилетия назад.  
 Что пропало, то нынче наवरстано,  
 Вот и выпали двойка и туз,  
 Ну а жульманов с картами острыми...  
 Сам умею и сам не боюсь.  
 Все дано и давно утрамбовано,  
 Все твое, только не фраернись.  
 И стоит над Москвой утро новое,  
 А с моста на Ваганьково — вниз.  
 И когда расплывается марево  
 Над столицами южных морей,  
 Подымайся, вздымайся, наяривай,  
 Тем, что нажито, правь и владей.  
 Но запомни, на «ИЛах» и «боингах»  
 Нету правды и чести ничуть,  
 Только здесь, среди наших покойников,  
 Можно жить, можно даже вздремнуть.

1996.



---

---

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ

\*

## «ОТДАЙ МОЕ»

*Повесть*

### Глава I

**В** августе 19.. года подписали наконец приказ, и Митя поступил полевым зоологом на базу Третьей Восточно-Сибирской экспедиции, располагавшейся в заброшенном станке Дальнем на правом берегу Енисея. Прежде Митя бывал здесь студентом и ясно помнил свой первый приезд — с низкого, заваленного на один бок парохода его вывезли на берег и привели в кухню-барак, где остро пахло толченой черемшой — под вой комаров ее резали и солили в банки три студентки в платках. Из окон синим туманом лился недвижный свет белой ночи, и рыжий костерок керосиновой лампы казался в нем бледным и ничемным.

Страстно любившая путешествия и не покидавшая пределов Средней России бабушка с детства подсовывала Мите книги о Сибири, по ним Енисей представлялся почти черным, в мрачных берегах, схематично покрытых лесом, а в жизни все оказалось проще, веселее, ближе — нежно-зеленый беспорядок лиственничника, накинутаго на колья берегового увала, салатовые тальники, ниже пояса серые от сухого ила, лезвие острова со стройным ельником.

Предыдущий сезон Митя отработал в поисковом отряде Нигризолота в Бодайбинском районе Иркутской области. Все живо стояло перед глазами и перекликалось с Красноярьем: заросший кедровым стланцем голец Цибульского, трусящий на северо-восток якутский аргиш на пегих оленях и подбаза, где Митя подцепил вшей, спя в чужом спальнике. Да что за почесуха-то? И ведь вроде мылся недавно, — недоумевал он в самолете. «Слева по курсу вы видите заснеженные вершины Восточных Саян», — заученно протараторила бортпроводница, и в душе что-то светло, и, похоже, навсегда.

Дома мама загнала патлатого Митю в ванную. От удара гребня из его шевелюры с щелканьем посыпались в ванну вши, бледные личинки которых он еще с неделю смеха ради выгуживал из своей уже подстриженной головы и рассматривал в микроскоп на занятиях в университете. После ванны Митину, по выражению бабушки, «головизну» облили керосином и одели в пакет, высидеть в котором он больше пяти минут не смог — так жег керосин исчесанную до струпьев «головизну». А со следующего года начался Енисей, куда его сосватал товарищ по зоологическому кружку.

В экспедиции было два отряда: один — изучавший мышей и землероек, другой — орнитологический, куда и поступил Митя. Мышиным отрядом командовал Покровский, белесый и бородатый здоровяк в вечно про-

---

Тарковский Михаил Александрович родился в 1958 году в Москве. Окончил МГПИ им. В. И. Ленина по специальности география и биология, работал на Енисейской биостанции. С 1986 года охотник в селе Бахта Туруханского района Красноярского края. Рассказы и повести печатались в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник» и др.

тертом на брюхе свитере и с мельхиоровой кулинарной шумовкой в руке, которой он выуживал мышей из понаврытых в тайге жестяных цилиндров. Славился неумемной силой: продувая беломорину, мог ею поразить собеседника — табачная колбаска развивала карабинную убойность. У моторов отрывал стартеры. Орнитологический отряд возглавлял Кирилл Москаленко, по кличке Мефодий, неторопливый и костистый парень с темным мошком по рельефным челюстям. Одет он обычно был в добела выгоревшую штормовку, перепоясанную офицерским ремнем, на груди висел бинокль, а из кармана торчал полевой дневничок, куда он аккуратным готическим почерком заносил данные птичьих учетов. В специальном отсеке кармана лежал отлично заточенный карандаш.

У каждого начальника были свои студенты. Пахали как проклятые, не спали, обмеряли огромное количество мышей, считали птиц... Все сливалось в одну упоительную картину: звон моторов, белые ночи и вой комаров, сквозь который Митя пробирался по колено во мху, рубя визирку для площадки, вдыхая пьяный запах багульника и остроскипидарный — срубленных кедриков и пихтушек, ананасно-сочных и податливых под топором. Работали прохладными ночами, днями спали тяжким сном под марлевыми пологами, к вечеру просыпаясь и долго приходя в себя, отпаиваясь чаем. Ели-пили на кухне. Курили на крыльце, под гонгом — куском рельса. Раз с берега на его звон скривился проезжий старовер-расстрига, мужичишко с чахлой бородашкой: «Церьков».

Все это было позже, а в первое утро по приезде Мефодий вывел Митю в тайгу:

— Ну, кто поет?

Тайга надрылась от птичьего пения, слившегося в один оглушительный звон. Митя, назубок знавший птиц средней полосы, покраснел и помотал головой. Мефодий, для которого всего лишь в разных концах тайги задумчиво пело десятка полтора пичуг, называл, указывая пальцем:

— Синехвостка, желтобровая овсянка, сибирская завирушка, бледный дрозд...

Через пару недель и для Мити каждый голос звучал отдельно, и каждый день к нему прибавлялась новая песня или позывка. Песни виделись в виде линий, капель, ступенек. Росистое утро в тайге было наполнено вибрирующим струющимся рисунком, и микроскопическая корольковая пеночка, прыгающая в кедровой вершине, существовала в виде огромного, на всю тайгу рассыпанного узора.

Утром на берегу Енисея седела многокилометровая недвижимая даль, синел волнистый хребет берега, и переливчатая песня соловья-красношейки казалась тоже неподвижной и навсегда вписанной в эту даль, и поразительно крошечным по сравнению с этой бескрайней песней выглядел сам красношейка. Он сидел на свежезеленой талиновой ветке, задрав голову, и его алое горло билось так мощно и судорожно, что при скрежещущих и шипящих звуках закладывало уши и казалось, трепещет вокруг воздух.

Ночью по сырým ельникам пели соловьи, казавшиеся особенно таинственными и заповедно-сибирскими: синий соловей, соловей-свистун, синехвостка. Каждая птица была как драгоценность, со сверхъестественной яркостью и точностью отличаясь от своих собратьев, будь то лимонно-желтый с бурым черпаком самец дубровника или малиновый клест, казавшийся настолько добротным и выпуклым, будто был покрыт не пером, а отлит из легкого и плотного материала. Митя чувствовал себя владельцем бесценной коллекции, и именно азарт коллекционера двигал его вперед... Вскоре он стал лучшим учетчиком после Мефодия.

Рьяно отработав три сезона в экспедиции, прихватив кусок зимы, за что чуть не вылетел из университета, Митя окончил учебу и тут же поступил на предложенное место.

Начальником и экспедиции и базы был некто Сергей Артурович Поднебный. Мрачный толстяк в роговых очках, напоминающий воинственного капиталиста с советской карикатуры, в науке знал плохо, но обладал связями и держал нос по ветру, а сотрудников в узде, все конфликты решая фразой: «Я никого у себя не держу». Многие перед ним заискивали, многие считали опасным и боялись с ним связываться, но все терпели ради работы.

Дальний он считал своей собственностью, в свое время лихо отбив его у геофизиков. Поднебный со своим отрядом едва обосновался, когда те подошли на катере, тоже в поисках базы. Их старшой шагал меж построек, тыча пальцем: «Здесь дизельная будет! Здесь камеральная!» Поднебный вышел на крыльцо и, наставив карабин, дал пять минут на отход.

Поднебный все будто подражал какому-то начальнику с большой буквы, но совпадения не было, и думалось: где-то это уже было, где-то видно. Во всем чудилась фальшинка, в том, как нарочито гулко и сочно гудел его начальственный голос, как, строго поглядывая поверх очков на провинившегося, он басил: «Если на „вы“ обращаюсь — значит, сержусь», — знакомый ходец: так же говорил школьный учитель по обществоведению, тоже большой пошляк.

Будучи по тем временам весьма обеспеченным (большая квартира в Москве на Тверской, нижегородский автомобиль), Поднебный отличался страстью к казенному. При словах «склад» и «материальная ответственность» он серьезнел. Сиял, облачась на пару с женой — своей, похожей на Крупскую сотрудницей и соратницей — в мешковатые штормовые костюмы.

Митя вспоминал встреченного на Витиме знаменитого на весь мир профессора ихтиологии, который с весны до осени проводил в путешествиях по Лене на катере, оборудованном своими руками и на свои деньги. Однажды корреспондент газеты спросил у поднимающегося из моторного отсека провонявшего соляжкой старичка: «Слышь, дед, где здесь профессор такой-то?», а тот вытер блестящей от масла тряпкой черные руки и сказал: «Ну я такой-то, а вы кто будете?»

В разоренном укрупнением поселке из коренных жила только не пожелавшая уезжать бабка Лида. У Поднебного были с ней свои отношения, своя начальственная интимность. Помогал ей, опекал, требовал не обделять заботой, играл на контрасте: он — профессор, она — бабка, полуграмотная красноармейка, как себя называла в трудную минуту, выбивая из начальства обещанный шифер. Заставлял стирать и убирать в своем доме, который, нарушив любимый казенный принцип, окольными путями оформил на себя. Мечтал о молоке (страдал изжогой), искал крестьянскую пару, поселить на базе, конечно, в штате («Корову купим, — говорил с ноткой научности, как раз в русле направления будет», вообще любил подкорректировать русло, исходя из потребностей, свой шик видел, когда все ложилось). Предлагал переселиться староверу из соседнего, за тридцать верст, поселка — ушлый старичок с прозрачной бородищей отказался: «Не-е, куда мне, старику, шевелиться», а потом возмущенно говорил Мите: «Тоже крепостного нашел!»

Бабке Лиде корову было не потянуть, она просила козу. Вышел из вертолета в новом энцефалитном костюме, помощник вел козу, навстречу бежала бабка в ярком платке, с пирогом и рушником в руках. На пироге две серебряные монеты и дрожащая стопка. Поднебный отрывисто и гулко крикнул: «Лида, покупай козу!», взял монеты, выпил стопку, поцеловал бабку в губы, бабка вскрикнула: «Храни Господь!», не забыв вытереть губы рушником, и все потянулись в поселок — толстозадые с брюшками, вертолетчики, студенты, надеющиеся на дармовую водочку, одетое в серое районное начальство.

Вскоре к козе добавился козел Борька. Здоровенный, обросший, с репьями в космах, он напоминал козла из «Робинзона Крузо». Был Борька

замечательно вонюч, при подходящем ветре мог насмерть одушить метров за триста, также удивлял похотливостью, лез к самой бабке, та возмущенно отмахивалась: «Удди — закобелился!»

Первое, что начальник делал, прилетая в Дальний, — это велел вывесить государственный флаг. На следующий день начинал наводить порядок, вызывал подчиненных, заведующего базой, Покровского, Митю, причем обязательно соблюдая субординацию. Мог долго и басисто обсуждать с Митей посреди поселка рыбалку, а полчаса спустя Покровский суховато сообщал Мите, что его вызывают к начальству.

Жену Поднебного звали Оструда (сокращение от индейского Освобожденного Труда) Семеновна, для простоты Ася, в народе — Семеновна. Ася встречала, из-за перегородки Поднебный понимающе-умудренно (мол, знаю, что идешь, хоть и много работы, для всех время найду) басил: «Проходи, проходи. В кабинет». Говорил, не давая вставить слова. Митю с горячей от ветра мордой развозило, клонило в сон. Тот плел, напористо вставляя местные обороты и перемежая речь словечком «да», призванным изображать старомодную странность речи. В «кабинете», отделенном гладкой дощатой перегородкой, — полки с книгами (Сабанеев, Формозов), над столом фотопортрет Хемингуэя в бороде и свитере — намек на родство душ на основе романтизма и мужественности.

Сам себя округло окоротив, Поднебный заводил наконец разговор о «деле». Начинал с вопроса о собаках:

— Почему опять Кучум не привязан? Я так и сказал Покровскому: в следующий раз застрелю... Да... Ну как, Мефодий не обижают? Хэ-хэ! Нет? Ну добро, иди работай!

Кирилл и вправду не обижал, но слыл трудным. Невысокий, с чухлыми усиками над небольшим упрямым ртом, с сумрачным взглядом серых глаз, издали черных, вид он имел неприветливый. По сравнению с Покровским, сочным, великолепно бородатым, щетинистым, Кирилл казался мальчиком, и одновременно какая-то тусклая сталь сквозила в неторопливых движениях, в характерном, трезвом и глухом покашливании, в привычке доводить все до конца — любой ценой и с таким порой некрасивым и натужным усердием, что окружающих он или раздражал, или уж нравился до полного поклонения. Баба Лида его не любила и называла «снудым налимом».

Изучал сложнейшие межвидовые отношения птиц, чертил блестяще четкие схемы птичьих площадок с гнездовыми участками, рассчитывал и садил ловчие сети, кольцуя, невозмутимо пыхтя папиросой, держал трясогузку в крупной кисти — с беспомощно оттопыренным крылом. Окольцованную и обмеренную высывал через специальный рукавчик в окне на улицу и разжимал пальцы, и она долю секунды неподвижно лежала на боку, а потом исчезала.

Была у Кирилла слабость — береста. Гнул из нее туеса, пестеря для ягоды. Выдавался штормовой или с ливнем день, и к плохо скрываемой радости учетчиков Кирилл давал приказ ложиться досыпать. Встав к одиннадцати, рылся в ящиках, напевая скрипучим и неожиданным тенорком: «Где мо-я продольная ноже-овка?» на мотив: «Не жалею, не зову, не плачу...», таскался с досками, а в конце концов дотошно и аккуратно делал садок для птиц, стол или пестерь, разводя березовый беспорядок стружек, берестяных лент.

Выпив спирту, становился мягким, валким, как кукла, улыбчивым, громким и ласковым с подчиненными, которые чувствовали себя на седьмом небе от счастья, а потом голова его начинала клониться, и он засыпал прямо за столом кухни.

Митя ждал от Мефодия нашумевших статей, выступлений, а тот все что-то пересчитывал, рисовал и писал, изредка публикуя. Не доведя до конца начатое, затевал что-то все более масштабное и неподъемное и из-за своей честности и дотошности вечно оказывался в начале пути.



В сентябре, в пору черных ночей с несметным числом звезд и огромным, седым, как изморозь, Млечным Путем, Митя примчался откуда-то в полночь на лодке. Над головой шарило по небу северное сияние, воздух был ледяным, и тропинка на угор казалась особенно по-осеннему твердой. Когда поднялся, Млечный Путь еще будто навалился, и два раза чиркнуло по небу падучими звездами. Так хотелось поделиться этим студеным и будоражащим простором, разлитым на сотни безлюдных верст, что Митя сказал Мефодию, колющему дрова у своего крыльца, несколько восторженных слов о Енисее, о небе, похожем на «холодец с дрожащими звездами», а тот, вставая с охапкой поленьев и опираясь на колун, проскрипел с застарелым и усталым раздражением:

— Что же ты так все преувеличиваешь?

Митя, ничего не ответив, ушел на кухню, откуда раздавались взрывы смеха. Там знаменитый своей прожорливостью студент по кличке Бурундук рассказывал с хохотом и полным ртом летящей наружу каши, как пошел к Поднебенному за совком для брусники:

— Чешу к ним. Стучу. Выходит Поднебенный... — Кухня грохнула, потому что над фамилией начальника Бурундук произвел небольшую орфографическую операцию. — Сергей Артурович, — продолжал рассказчик, — вы не могли бы дать мне совок? — «А он у Оструды Семеновны». — «А где Оструда Семеновна?» — «В маршруте».

Все снова грохнуло, уже над тем, что поход по ягоду подавался как научная работа.

Выпив чаю, Митя вышел на крыльцо вместе с Глебом, крепким и ухоженным парнем из известной московской семьи. Он курил трубку, набивая ее смесью очень хороших табаков из расшитого кисета. Глеб работал в другом поселке на базе охотоустроительной экспедиции, формально принадлежа к отряду Покровского, на которого все больше раздражался — после поездок с охотоведами и охотниками мир научной станции казался нудным и смешным.

— Погода отличная, м-м-м, — говорил Глеб, сидя на корточках, затыкаясь из трубки и глядя на звезды. Рассказав историю, как Покровский сломал весло, он поднялся: — Ладно, баиньки пора — завтра в Сургутиху пилить.

Митя попрощался и ушел к себе. Засыпая, он видел нос лодки и набегающий лак воды с бликом звезд.

Осенью, когда все разъехались, Митя остался в Дальнем в обществе тети Лиды и Дольского, заведующего станцией, бывшего геолога, плотного человека лет шестидесяти, с породистым и вечно напряженным лицом. Оба жили обособленной, годами установленной жизнью, и Митя был полностью предоставлен сам себе, несмотря на обязанности вроде закачки горючего с запоздалого танкера и ухода за дизелем. Других дел не было, кроме учетов, — их расписание он устанавливал сам, и с результатами его не торопили, Поднебенного устраивало, что он на подхвате и может принять станцию в случае отъезда Дольского.

Даль, затянутая снежным зарядом, «Капитанская дочка», проглоченная за час при свете керосиновой лампы, необыкновенная бодрость утром, когда, несмотря на низкое и сизое небо, в избе светло и ясно от уличного снега. И почему-то внутри тоже ясно и чисто, будто облака сползли, и видно за тридевять земель — и прошлое, и близких, и так хочется сказать об этом, да вот беда — некому, хоть записки пиши.

Зима наступала за одну ночь, когда задувало уже по-серьезному и несло параллельно земле бесконечные версты снега. В полночь Дольский выключал дизель, предупредительно погуляв оборотами, и Митя зажигал лампу, начисто протерев стекло скомканной газетой.

«Вся комната янтарным блеском озарена», — читал Митя и представлял, как Пушкин осеновал в Михайловском, и когда даванул мороз и звезды засияли настолько свирепо и ясно, что дыхание перехватило, едва вышел, подумалось: как же проколоть надо, чтобы внутри так же ясно стало. Ничего не поделаешь: хочешь думать — мерзни, сказал себе Митя и, вернувшись в озаренную янтарным светом комнату, засел за Пушкина, Лермонтова, Блока. Но если раньше они представлялись чем-то книжным, далеким, то теперь были будто в двух шагах и казались старшими и давними товарищами по морозам и холодам. И душа тянулась к этим небывалым людям и, растянувшись, как жила, уже не могла стать короче, спокойней, сытей и требовала пищи, а ее было хоть отбавляй.

Все началось с попавшего в сеть налима. Налима на Енисее зовут кормилец. Исконная зимняя енисейская еда — налим с картошкой. Налим похож на огромного головастика — толстое брюхо, плоский хвост. Вспорешь мягкое толстое брюхо — розоватый пальчатый желудок, оливковая макса — печенка, на ней мешочек с зелеными чернилами — желчью. Все блестящее, заподлицо уложенное. Главное — желчь не раздавить. Налим хоть и кормилец, но относится к нему, как к чему-то несуразно-смешному или даже не совсем приличному. «Опять сопливый попался». Смотрят самолов, надеясь на «красну рыбу», а тут кормилец идет, язви его, как говорит баба Лида. Налим смешно извивается, топырится, дурацкий усик на бороде, как у Хоттабыча. Лучше всего он в ухе, уху заправляют растертой с луком максой.

Так думал Митя, будто все это кому-то рассказывая, а сам выпутывал налима, стянувшего мордой всю ячею, и, когда выпутал, покрытые слизью пальцы были как чужие и дали знать, отходя в рукавицах по пути назад.

Вечером Митя, отложив книгу, посмотрел в потолок, а потом открыл тетрадь и взялся описывать извилистые налими пятна, белесые полосы от сети на голове — как на грибе, проросшем сквозь траву. И постепенно от налима перешел на бабу Лиду, как на Новый год запекает она налими «икры» в русской печке и как они берутся корочкой, а внутри суховато-рассыпчатые, какая вообще бабка вся «енисейная, сибирская» («Ой, стоты, парень, — замерзанье!»). Как сказала про озерных гольянов, что их раньше ели, «зарили, они зырные такие, рыбные», имея в виду, что вроде мелкая и сорная рыбешка, а на вкус как настоящая. И про трехдневный север: «Три дня балдабесил — теперь отдохат».

Когда север, вздувая медленный вал, размашисто месил Енисей, вспоминались бабушкины рассказы о знаменитых штормах на Енисее. Что-то она слышала от знакомых, что-то вычитала, что-то додумала, и выходило, что причина штормов — в очень крутых берегах, гуляя меж которых волна будто бы расходится до небывалой силы, едва не обращаясь в вечный двигатель.

А может быть, бабушка лишь намекала, а он довоображал. Странно было в детстве, как-то все косилось, плавилось, будто глядел в очки, а стекла не отвердели и шалили: то волной пойдут, то вылупятся пузырями. Не мог понять, почему отец называет бабушку мамой. Оба казались навек сложившимися, притертыми к жизни, складки на щеках такие бывалые, бабушка — как сухое дерево, как можжевельник. Когда увидел бабушку на фотографии, аж неприятно стало: лицо гладкое, сырое, словно раздутое водянкой. И этот сверток — его отец! Он и сейчас-то этого не понимает, не то что в детстве. И не только этого. Например: как так? Его отец, Евгений Михайлович Глазов, известный писатель, которого родила бабушка. Получается матрешка какая-то: книги в папе, папа в бабушке. И если это с самого начала так задумано, то почему они не могли сразу-то в бабушке родиться. И ей веселее бы было, и ему, и маме. Все наше было бы. Все рядом. И отец бы тут же крутился как привязанный, ни к какой бы Алле Викторовне не ушел.

До того, как отец ушел, гости к нему приходили часто. Потом он их увел, даже мамины друзья ему перешли, и остался один несуразный дядя Игорь, отцовский, кстати, друг. Гости шумели. Митя спрашивал, что нарисовать. Отец говорил:

— Ежика.

Митя рисовал сапожную щетку с подписью: «Ежык самец», и отец целовал его:

— Ах ты ежик!

Из кровати Митя слышал волнообразно затухающий и вспыхивающий разговор, а потом заходил отец с расстегнутым воротом, жарко пахнущий переработанной водкой, и, закатывая рукав, обнажал руку до плеча:

— Мышцы видишь? Все. Мышцы спать пошли. Спи. Спокойной ночи.

И Митя оставался лежать в недоумении: согласен, мышцы — да! и действительно интересно, как они округляются, набегают ненормальным бугром, но почему они идут спать, когда их хозяин явно собирается еще бодрствовать, непонятно.

Летом они жили с бабушкой в деревне неподалеку от Сергиева Посада, и на выходные приезжали, прихватив знакомых, родители. Шли купаться, и мама и папа, еще жившие вместе, казались самыми стройными, красивыми, и синюшный дядя Игорь — только что за столом самый изощренный разговорщик, теперь в модных, с пряжечками, плавках напоминал водяного, особенно голыми и неожиданно маленькими выглядели его глаза без очков. Митя записал про бабушку и про дядю Игоря.

«Зима разливается жидким азотом», — порой перегибал Митя, а наутро такой «азот» не гляделся, казался инородным и таким едким, что першило в горле. «Так, глядишь, и бронхи перехватит», — шутил Митя. Шутка имела почву — у него была аллергической природы астма: понюхав какой-нибудь особой краски или подышав пылью, он задышался. Приступ длился часами, и особенно мучительно было переносить его ночью: лежа становилось хуже и приходилось сидеть на кровати, обхватив колени, и ждать, пока пройдет спазм или отек, что точно — он не знал. Митя показывался врачам, его долго обследовали, гоняли и прописали таблетки, которые он носил с собой. Каждый раз источник приступа мог быть новым — то грибы определенного вида, то пыльца, а то выхлоп идущего перед снегохода.

В апреле Поднебный вызвал Митю в Москву отправлять экспедиционный груз. Весной предстояла поездка в Эвенкию, где требовалось провести орнитологическое обследование. Там на реке Верхний Чепракон Митя познакомился с молодым охотником Геннадием Хромыхом. Пока Митя копался с мотором, Геннадий по-хозяйски изучил ящик с ключами и весело подмигнул Мите:

— Люблю в чужих инструментах копать!

У него были серые глаза в сухих складочках и рыжеватая борода, состоящая из нескольких крупных волн. Вскоре Хромых перебрался на Енисей. Митя встретил его осенью в Дальнем, он ехал из Лебеда, соседнего поселка, где стал жить. Поздоровался он с Митей как со старым знакомым.

Снова увидел Митя Хромыха следующей зимой. Закупив на Новый год продуктов, он выезжал на «Буране» из Лебеда, уже по уши засыпанного снегом и до гипсовой твердости укатанного ветрами. Ураганная верховка гнала сухой снег по застругам, и навстречу, в снежной пыли, с ревом взмывал на взвоз «Буран» с пылающей фарой, с привставшей, ворочающей руль и полной победного напряжения фигурой. Заиндевелый суконный костюм был белым, сахарно белела борода, усы, оторочка шапки вокруг красного лица. За «Бураном» металась нарта с увязанными в монолит мешками, канистрами, бензопилой. Это был возвращавшийся с промысла Хромых, он только взмахнул рукой и еще надал газу, продолжая глядеть куда-то вперед, Мите за спину.

В следующий приезд Хромых предложил у него остановиться, на следующую осень пригласил с собой на Лебедянку.

— По-ехали, — говорил он, ударяя на «е», с той уговаривающей интонацией, с какой обращаются к неразумно-младшим, — «Буран» сможешь увезти, мяса возьми.

Перед этим Митя с Мефодием ездили по Подсопочной рубить площадки для учетов. Поднимались на длинной дюралевой лодке под дождем, сизо застилающим повороты реки. Осень, набирающая ход, дождь, вот-вот грозящий перейти в снег, мутная даль — все это Митя впитывал, наслаждаясь и возней с мотором, и мокрой обстановкой лодки с разбросанными инструментами, и ночевкой в тайге.

Река была каменистой и мелкой, они без конца рвали и меняли шпонки, но Митя запасливо прихватил моток стальной проволоки, и, пока один рулил, другой работал напильником. Митя сидел на носу, показывая дорогу, для чего Мефодием была придумана целая система знаков, например, поднятый кулак означал камень. Мефодий, напряженно сжав челюсти и морщась при каждом ударе мотора о камень, сидел за румпелем. В мелких местах тащились, бредя по галечнику, где прозрачная вода неслась упругой плитой, норовя сбить с ног. Ночевали на берегу в гари, среди обугленных кедров. Развели костер, натянули навес из брезента, пили чай, порывы ветра взметали искры, и дым был особенно синим, как всегда в сырую погоду. Среди дров оказалась пихта, Митя проворчал, щурясь и отворачиваясь от дыма:

— Зараза, дрова — пихта, кхе-кхе, дымят, стреляют — спальники бы не спалить.

Мефодий с раздражением и осуждением отрезал:

— Да какие бы ни были, хрен с ними, лишь бы закончить скорее — да в Москву!

Поднялись до места, сделали работу и вернулись в Дальний, спустившись за день и в мелких местах сплаваясь на шестах. Мефодий торопился, думал о предстоящей дороге. Приехав в Дальний, Митя посадил его на баржу и, не разбирая вещей, уехал в Хромыху.

Гена разбудил его в седьмом часу и, пока он умывался, долго что-то доувязывал, переставлял в ящиках, негромко и глухо переговариваясь с женой. Та сосредоточенно дособиала мешочек с шаньгами. Укрытый «Буран» с вечера стоял на берегу. Рядом чернела на бревешках-покатах десятиметровая деревяшка, свежесмоленая, длинная, как пирога, похожая на какой-то древний музыкальный инструмент. Борт ее возле носа ломался наподобие грифа. Нос был длинный, высоко поднятый. Острый, как бритва, форштень, или по-кержацки носовило, был вытесан из кедрового бруска, на самом конце он торчал квадратным четвериком, снизу которого была выбрана изящная, как у свистка, фасочка. Снегоход загнали по доскам своим ходом, синий дым повис слоями и, растягиваясь, долго и тягуче сплавался вместе с течением. Рядом сухонький дедок дядя Илья стлкнул лодку.

— Ты куда, дедка? — спросил его Хромых.

— Да на вису поеду, там у меня на живость мордочки стоят, — деловито ответил дед, и Митя только потом, ведя записи, понял, какой гарабарщиной для непосвященного могут показаться эти слова, означающие, что на вытекающей из озера протоке у дяди Ильи стоит ловушка для ловли животи — озерных голянов, на которых зимой промышляют налимов.

В речке Митя заправщик уселся на носу и попытался указывать Геннадию, куда ехать. Тот заглушил мотор и сказал:

— Ты, во-первых, не ори, а во-вторых, руками не маши, я и так все вижу.

В деле Хромых оказался другим, чем в деревне, — жестким пахарем, подчас грубым, требующим участия, чутья. Орал на Митю, когда тот при спуске переката не в ту сторону толкался шестом или, таща лодку по ме-

ляку, направлял не в ту «ходову». Собак за неповиновение, скулеж или грохот в момент, когда требовалась тишина, лупил шестом куда придется. Рыжика, когда тот попытался выпрыгнуть из отходящей лодки, сгреб за шкуру на холке и заду и что есть силы кинул в лодку на канистры.

Все у него было четко, отработано. Никаких шпонок они не меняли: на моторе стояло ограждение — что-то вроде ковша из стальных прутьев. Когда надо было окликнуть Митю, сидящего лицом по ходу, он качал лодку двумя-тремя вескими качками — шуметь запрещалось, чтобы не спугнуть зверя. Лодка была на редкость ходкая. И мотор на ней стоял легкий и плотно закрепленный, если его отпустить, он не крутился вправо-влево. В мелких местах Гена бросал его работать и, зверски морща лицо, толкался шестом так, что тот пружинисто изгибался, а на совсем меляках ставил на нейтраль и, выпрыгнув, толкал лодку за борт, упираясь сильным телом.

Спускаясь вниз, они, стоя один на корме, другой на носу, шестами тормозили, останавливали лодку и, не меняя ее положения, переталкивались в любое место и попадали в нужный слив. Митя вспоминал Мефодия, который только разгонял лодку, отчаянно толкаясь меж надвигающихся камней. Засыпая, он видел воду, туго прущую меж валунов, и под нависающим носовилом — витуую, упруго скользящую гладь, по ту сторону которой всё — и рыжие осколки плит, и камни в неестественно зеленом мху, и галька — казалось гораздо ярче и отчетливей, чем по эту.

К спиртному Гена был равнодушен, водки брал мало. Никаких душевных посиделок у них не было, в одиннадцать в нажаренной избушке объявлялся отбой, а в седьмом часу — подъем в темноте и отъезд в сумерках. Дел предстояло много: заготовка птицы, рыбы, мяса.

Первых сохатых — быка, матку и тогуша — Серый с Рыжиком и Веткой поставили с хребта. Митя думал, собаки будут кидаться, виснуть, но Серый, крупный, рыхло одетый кобель, бегал, полаивая, перед мордами, в то время как сохатые стояли, нервно и торопливо облизываясь. Когда Серый подбежал особенно близко, огромный бык протяжно фыркнул, угрожающе опустив навстречу кобелю рогатую голову. Митя не понимал, почему Геннадий, держа наготове карабин, все не бьет, и тот будто прочитал мысли:

— Не будем мы, наверно, бить их — таскать далеко. Я тебе просто хотел показать, как собаки работают. Ничего, вверху добудем.

Какое «вверху»? — думал Митя. Вверху, как назло, не будет ни лешего — пока есть, надо бить. Подумаешь, триста метров — я бы без разговора стаскал.

На следующий день они уехали вверх, и там собаки выгнали двух сохатых из лесу на жухлую, припорошенную снегом паберегу и загнали прямо в реку, где они стояли, потряхивая боками, озираясь и облизываясь. Серый сделал несколько заходов в воду, и сохатуха, прижав уши, кидалась на него, пытаясь втоптать в воду, била копытом со страшным плеском и грохотом, вздымая фонтаны тяжелой стеклянной воды, но каждый раз не попадала, и кобель проворно выбирался на берег. До сохатых было метров сто двадцать. Гена стрелял с колена. Медленно поднимая карабин, будто боясь что-то из него пролить, он выцелил быка и нажал на спуск, но боек дал осечку. Мите казалось, что Гена очень долго передергивает затвор, звук был сухим и податливым. Грянул выстрел — громко, коротко и тоже сухо. Зверь куда-то побрел, а потом стал плавно и медленно валиться на бок, отвернув голову. Взбив монументальный пласт воды, он рухнул. Собаки, все это время истошно лаявшие, лазали по плывущей туше, как по кочкарному островку, топя ее. Гена с Митей подъехали на лодке и подтащили добычу к берегу перед самым перекатом.

Кровь стекала в тугую и неторопливую черную воду, вдоль берега белел ледок, и была какая-то густая предзимняя правота и в этой крови, и в большой темной печени, все норотившей съехать, стечь, куда ее ни поло-



жи, и в нежном и желтом чешуйчатом жире, которым были обложены внутренности, вообще во всем этом горько пахнушем переваренными тальниками, парящем и чистом нутре, где так хорошо было подстывшим рукам. Потом сплавлялись к избушке, кидая спиннинги.

На ровном и глубоком, метра полтора, плесе брали ленки. Пока Хромых тащил одного, второй погнался за Митиной блесной и, идя впритык, дошел почти до лодки. Митя попытался подсечь его, топя и поддергивая блесну, но ленок выписал вокруг нее упругую восьмерку и ушел. Митя хорошо видел его рыщущую морду, как у огромной лягушки, и рука еще ощущала запоздалый и неверный ответ лески, когда тройник скользнул по рыбьему боку. Он закинул еще раз и едва стал подматывать — леску дернуло и потянуло. Митя подтащил упирающегося ленка поближе, а когда рыбина, ходившая кругами, пошла к лодке, дал ей разогнаться и перевалил бьющуюся и блестящую тушку через борт. Ленок был даже не толстый, а весь туго накачанный породистой плотью, все в нем поражало тройной прочностью и плотностью — губы, жировой плавник в конце спины, лиловая, будто опаленная, боковина брюха. Темный в воде, на воздухе он казался покрытым несколькими слоями красок, каждый из которых светился под своим углом. Бока были золотыми, и одновременно по золоту полыхали большие и огненные, цвета семужьего мяса, мазки. Все тело осыпал бурый крап, и все оно объемно отливало фиолетовым металлом, как блестящая, отожженная труба.

Поймали по несколько ленок, а ниже, в длинной и узкой яме под берегом, с полмешка щук на корм собакам. У избушки лодку затащили в ручей на камни. Выйдя в сумерках, Митя долго прищурясь смотрел на несущуюся вдоль бортов воду, и окруженная белой пеной лодка с окаменевшим мясом казалась вечно поднимающейся вверх по ручью.

— Ну вот. Еще один трудовой день, — сказал Геннадий, выкладывая на дощечку серый вареный язык, наливая по стопке и по-хозяйски убирая бутылку.

Уже лежа на нарах, он рассказал, как след соболя привел его к высокому кедровому пню, он ударил по нему топориком, половина пня отвалилась, и Гена отшатнулся: из ниши выпал детский скелет. Оказывается, остяки хоронят своих детей в колодах, сшитых деревянными шпильками, причем обязательно лицом к реке. Старый охотник-кет сказал Гене, что хоронить детей в земле, пока у них зубов нет, грех, «их все равно земля не удержит — они улетают». Поэтому и хоронят их в лесине, чтоб они не вернулись в чум.

Взрослых закапывали в землю, обмыв в чуме и одев в лучшую одежду. В одежде делали прорезы, отрезали кончики обуви — чтобы душа вышла. Она должна была помогать детям покойного. Около могилы оставляли дымящийся костер: «Далеко не ходи, вот тебе огнишко».

Уходили от могилы гуськом. Сзади всех шел отец покойного или другой старый человек. Позади себя он клал поперек тропинки палку, чтобы покойник не пришел в чум. Говорили, чтоб не оглядывался назад, мол, дорога твоя на белый простор закрыта.

Выходило, что, с одной стороны, хотели задобрить покойного, заручиться поддержкой в будущем, с другой — наоборот, оградиться, обезопасить себя. «Как дети», — подумал Митя.

Гена подтопил печку и захрапел, а Митя представлял детские души, улетающие из земли странными птицами, и вспоминал, как умирала бабушка. Когда она отошла, они с мамой, стыдясь наготы, плотно прикрыли ее тело одеялом, и медсестра, пришедшая сделать бальзамирующий укол, устроила истерику: надо было прикрыть простыней, а не теплым одеялом. «Вы мою жизнь под угрозу ставите!» — орала сестра, и на фоне горя ее забота о собственной жизни казалась чудовищной.

Хромых иногда весной по насту заезжал на участок через Дальний. В один из таких заездов он обронил, что собирается ехать за деревьями — заготовками для лыж. Митя попросился в напарники.

— Когда за деревьями поедем? — спросил Митя через несколько дней Геннадия по рации. — А то так без лыж и останемся.

Гена сказал, что некогда, а наутро загредел «Буран» у крыльца, и, грохнув в сених карабином, он ввалился, одетый в дорогу.

Стоял морозец, апрельское солнце било в глаза, ветер обжигал. На Енисее снег был волнистым и твердым, как железо. В неистовом облаке снежной пыли Митя сидел, вцепившись в сани.

Больше всего интересовало, как Гена выбирает елку. В ельнике лежал крепчайший наст. Они с полчаса бродили, Гена делал на стволах затеску топором и, зачистив мерзлую болонь, смотрел на слои, которые должны быть прямыми и вертикальными. Наконец выбрали и свалили ель, отпилили кряж. Из нетолстой наклонной березы, в белую древесину которой острый топор входил легко и косо, Гена вытесал колотушку, а из привезенной с собой листовяжной получурки — три острых и гладких клина. Наклоли кряж с торца. Гена приставлял лезвие топора, Митя, взяв колотушку за сыро-холодную рукоятку, ударял, а потом в образовавшуюся щель вставили клинья и били по ним колотушкой.

— Не торопись, жди, пока сама треснет. Ей только помогать надо.

С каждым ударом клинья все глубже уходили в торец, разваливая елку на две плахи. Ширилась щель, после удара дерево продолжало само, скрипя, расщепляться, трудно слезая с редких сучков. Здесь-то и требовалось не торопиться. Когда клинья были уже ближе к концу, кряж с гулким колокольным звуком разлетелся на две ровные, в продольных жилах, плахи. Гена указал на продолговатые пазухи, заполненные прозрачной, как мед, смолой:

— В мороз дерево качает ветром, древесина лопается, и смолой это хозьяйство заполняется. Ладно, сейчас на доски колоть будем.

Точно так же, действуя клиньями и колотушкой, раскололи обе плахи, и получилось пять досок — четыре на лыжи и лишняя середка. Когда кололи последнюю доску, скол пошел было вбок, но Гена уверенно сказал:

— Если сойдет — мы ее с другой стороны заколем.

Пока перекуривали, рассказал, как исколол на плашник для крыши отличную сухую и толстую елку, а напарник ругал его: «Не мог на лыжи оставить», — и как потом взял с крыши пару досок на лыжи и дальше брал еще не один год, залатывая крышу избушки «всякой бякой».

Когда валили и кололи вторую елку, пробрасывал снежок. Митя оступился в наст, таща плахи к саням, и даже в пасмурном свете глубокий след был бесконечно синим изнутри. Казалось, синева шла от самой Земли, и вспомнилось, какая Земля синяя издали. Когда пили чай, Гена сказал задумчиво и твердо:

— Скоро за гусями поедем.

И добавил:

— Да... Клин — великое дело. Дед у меня сто два года прожил. Раз листовень принесло, — Гена показал руками, — здоровенная, витая, страшное дело. С ней никто и возиться не стал, хватало леса, а дед ее испилил и клинышком на поленья переколол.

Митя представил крепкого, как кряж, деда, которому казалось, что непорядок, если деревина так и останется лежать или где-нибудь затонет, замытая и избитая льдом, и ее тысячелетнего настоя жар никому не пригодится.

Вернулись с полными санями дерёв, которые теперь предстояло строгать и загибать в специальном станке — балах.

А дело всюю катилось к весне. «Деревня вытаивает, по угору не поедешь — мало снега, зато на Енисее еще зима, еще ледяным ветром всюю студит, катает дорогу. Почему весной время как с цепи срывается?» — пи-

сал Митя в дневнике, глядя в окно на длинные размытые облака, за горизонтом будто стянутые в узел и оттуда, как вожжи, веером расходящиеся по всему небу. И продолжал за полночь:

«На дворе подмораживает после длинного апрельского дня. Снег у крыльца утопан до влажного блеска. Непривычно мягкий кедрик пошевеливает иглами, а в вышине вздрагивает оттаявшими звездами нестрашное черное небо. Солнечными днями снег по краю угора тает и отступает, а ночью застывает косою и игольчатой щеткой — кораллами и губками, глядящими на юг. С каждым днем иглы все короче и, кажется, прячутся в землю до осени.

А осенью опять загустеет время, и вспомнится и как гулко разлетается на плахи еловый кряж, и как наливается загадочной синью след от бродня, и как на берегу огромной реки колет столетний дед клиньями витую тысячелетнюю листвень. И такие, покажется, у него и со временем, и с этой лиственью крепчайшие счеты, что хоть давно ни того, ни другого нет, а отпечаток этой картины вечно висит в затвердевшем воздухе».

Митя ложился спать, а время шло, и, подсыхая, ждали рубанка белые жилистые дерёва, и стихи накалились прозрачными пазухами в душе, и рассказ таинственно подавался во сне, со скрипом слезая с сучков, и все было хорошо, если б не одно более чем капитальное обстоятельство. Обстоятельством этим был отец, составлявший главную беду и боль Митиной жизни.

## Глава II

### 1

Весной ездили на остров за гусями. Кропотливо продуманное Хромыхом предприятие напоминало решение загадки про волка, козу и капусту. Сначала на дюралевой лодке в три приема перевезли через заберегу на *енисейный* лед «Буран», сани и долбленую лодку-ветку. Погрузили ветку на сани, подцепили к «Бурану» и уехали к острову. Там снова переправлялись через заберегу, но ветка брала одного, и на ней уехал Митя, привязав к распорке конец шпагата, клубок которого держал, распуская, Хромых.

Словно сделанная из разрезанного вдоль веретена, остроносая и острохвостая и, как скорлупка, тонкостенная ветка необыкновенно ходка и послушна и так легка на переворот, что стрелять с нее можно только по ходу. Борта ее для прочности расперты рейками, или, как их зовут, порками. Гребут двуперым деревянным веслом. Заехав носом на лед, Митя положил весло поперек бортов, прихватил вместе с поркой, чтоб при наклоне весло уперлось в твердое. Выгрузившись, он отпустил ветку, и она темной утицей унеслась к Хромыху.

Остров уже вытаивает песками. Хромых в черных очках и грязном белом халате, похожий то ли на мясника, то ли на санитаря из затрапезной больницы, расставляет фанерные профиля гусей и напевает:

Не спеши, мой маленький мальчик,  
Нам надо очень медленно жить.

Все готово, Митя сидит в снежном скрадке, перед ним голубовато-зеленый ледяной залив и на его краю серые крашенные профиля — как живые гуси, кажется, вот-вот пойдут. Митя задумывается, взгляд блуждает по сторонам, а когда падает на профиля, сами собой дергаются руки с ружьем. Над белым Енисеем плывет расплавленный воздух, жидкое стекло, и, если посмотреть в бинокль, — волны крупные, одушевленные, необыкновенно деловитые, и кажется, будто вслед за птицами гонит весна на север какие-то бесконечные прозрачные стада. Клонит в сон, и вдруг налетают гуси, и Митя бьет дуплетом и мажет. Гуси шарахаются, взмыв и затрепетав крыльями, и, отвалясь, уходят в сторону, Митя ревет медведем: «О-о-о,

беда!», и ему кажется, что гусь, по которому стрелял, летит не так и вот-вот упадет. Второй табун налетает на Хромыха. Страшно хочется, чтоб тот промазал, но гусь после выстрела послушно складывает крылья и камнем падает на зернистый снег, взбив картинный фонтан. Лежит, повернув голову, — плотный, литой, восхитительно дикий, рыжелопый, перо серовато-бурое с каймой.

Костер на южном краю песчаного бугра. Раздувается ветер, свистя в голых тальниках, пылает нажаренное лицо, пепельные тальниковые ветви горят почти без пламени. Стволики как пробирки, набранные из стеклянных кубиков, — удар ветра наливает в них ярчайшее красное вещество, которое так же легко выливается, чуть стихнет порыв. Вьется крупный и плоский пепел. Скрипит песок на зубах. На газете сахар в пачке, чай, кусок красной волокнистой тушенки на ломте хлеба. В протоке звонко и протяжно орут лебеди.

— Этим бы только бакаланить! — Хромых открывает топором сгущенку, отвалив кругляшок крышки и облизав кончик лезвия, — а то некоторые сделают две дырки и тя-янут резину.

Густая сгущенка медленно растворяется в крепком чае. У Гены хорошее настроение, он рассказывает байки:

— У кержаков — из аэросаней вялка для ягод. Дед и парень. Дед: «Не туда сыпешь, туда надо». Пальцем показал, и палец оттяпало. — Рассказывает очень смешно, к развязке глаза все больше оживляются, и прорывается неудержимый хохоток. — Почтаря знашь у нас, Елизарыча? Артист — поискать. Баба у него уехала в отпуск с ребятишками. Ему недели через три это дело надоело — хозяйство, почта, все такое, короче, телеграмму ей отбил: «Гнездилов умер. Срочно приезжай». Уже не помню, как подписался. Я как раз на угоре стоял: она с теплохода с ребятишками подымается. В платке черном. Лица нет. К ограде подходит — там Елизарыч лыбится. Надо было ее видеть: побелела, позеленела — и тре-есть ему по рылу! Короче, заслужил. Бывало, поддаст и дразнит ее: а ну зажарь-ка мне, зажарь мне, знашь кого, червяка!

— Что-то я спросить хотел, — сказал Митя, морщась.

Гена молчит, потом неторопливо отзывается:

— У меня бабка говорила: когда не можешь вспомнить — пошевели кошергой в печке.

— Это от отца у меня. Тоже как забудет что-нибудь или потеряет — не успокоится, пока не найдет... — Митя пошевелил в костре палкой. Вот, шевелю — не помогает.

— Плохо шевелишь... Это я у тебя давно спросить хотел. У тебя отец, чё, правда уехал?

— Правда. В Британию. — Митя произнес небрежно: «В Б-а-ританию».

— С концами?

— Ген, спроси, что полегче. Дай Бог, нет. Он же как в командировке.

— Не печатали, что ли, его?

— Да все печатали! Не знаю. Мамадя считает, это Аллы происки, ну, жены этой... А по-моему, сам решил.

— Дети-то у него есть еще? — глядя в костер, спросил Гена.

— Сын. Женечка. — Митя помолчал, закатывая палкой в костер отскочивший уголек. — Мать жалко. Она сама как ребенок. Бойтся всего: то микробов, то грабителей...

Вода в задрожавшем чайнике вздыбилась белым туманцем.

— Сначала ушел, потом уехал, — задумчиво сказал Гена, сняв чайник тальниковым крючком, — улететь осталось.

Потом молчали, потом Хромых долго рассказывал про конную почтовую службу, что была на Енисее еще испокон веку и дожила до послевоенных времен. Поселки исстари ставились на расстоянии двадцати — тридцати километров друг от друга и назывались «станками». Почту при-

возили из соседнего станка, принимали, переключивали в другие сани, запрягали своих лошадей и везли дальше. В старину везли в Енисейск со всего Енисея, с самого Севера рыбу, обоз по пути собирал все новые и новые подводы. Стерлядки тогда было в Енисее столько, что один раз ставили на яме сеть после ледостава, и она полностью была забита рыбой. Вместе с почтой, с рыбой отправляли с первым попавшимся посылкою родным в Енисейск, и ни разу не было, чтоб посылка не дошла. Митя представлял обоз, идущий от Карского моря до Енисейска, сани, заваленные седой, проколовшей рыбой — осетрами, чирами, нельмами, омулями, стерлядками. Каждый воз со своим богатством... Каменно-звонкие на морозе, в куржаке, как в щетке, кажется, ударь — расколется, как драгоценный минерал, брызнут самоцветным мясом — красным, розовым, рыжим. Обозы шли под Новый год, в сильные морозы, и скрип приближающегося обоза был слышен за многие версты.

— Почта в кожаных сумках была, — продолжал Гена, — отец говорил, кожа отличная — на бродни! История есть, ну... как легенда семейная про прадеда нашего, что ехал с почтой и волки на него напали, он их шашкой порубил и дальше едет. И снова волки, он за шашку хватить — а кровь-то не вытер, к ножнам и прихватило. Сожрали... Так, давай добирай тушенку.

Митя доел тушенку и положил банку в костер, а Хромых выудил ее и, нагрев, дорастопив остатки жира, ополоснул круговым движением, вылил жир на кусок хлеба и сказал:

— Вот так бы настоящий хозяин сделал.

Оба, осоловев, распластались у костра на песке. Митя так и засопел в раскатанных до пахов сапогах, в толстой куртке, с капюшоном на голове. На лицо садился пепел, его обдавало дымом, жарило солнцем и холодило ветром, и оно было как балык. Засыпая, он чувствовал через пятки, как грубо, тяжело, гулко касаются сапоги земли, как отдается в каблуках несутветная даль берегов, словно это не каблук, а многоверстные и отзывчивые ходули. И от этой каблучной гулкости казалось, что ноги где-то далеко и теряются. Лежал он в одежде, как в коконе, только лицо в иллюминаторе капюшона холодило ветер, и оно было как намазанное спиртом, и казалось в полусне, так он открыт ветрам, пространствам, незримым в ту пору звездам, что огромным и бесконечным небом его вытягивает из самого себя, как нарыв, и заполняет покоем.

Бывает, когда давно знакомого человека назовут по имени, и оно вдруг покажется нелепым, не отражающим главного. Про Хромых иногда думалось, что никакой он уже не охотник, что, забота за заботой, он все больше отдаляется от самой охоты и давно уже бродит какой-то широкой округой жизни, в которой главное — стремление к ее безотходности, родовая крестьянская жалость к труду, к усилиям, звучащая как «добыть-то полбеда, а ты сохрани поди».

Митя хорошо помнил, как ходил с отцом в гости, и хозяйка, провожая их, походя вылила недопитые остатки водки в раковину, и Глазова буквально передернуло, он представил, что это видели помирающие с похмелья мужики. Вспоминая обидное замечание с тушенкой, Митя думал, что отец, наверное, так же сказал бы и что дело даже не в экономности и скупердяйстве, а в способности независимо от своей сытости и обогретости смотреть на происходящее глазами самого голодного, холодного и бедового.

Митя ни разу не видел отца с записной книжкой или пишущим за столом. Всегда он казался увлечен чем-то, не имеющим к писательству отношения. Да и не походил он ни на какого служителя муз, скорее напоминал руководителя предприятия или разведчика из кинофильма — с квадратным лицом, высокий, долговязый, плечистый, размашистый в движениях. Носил металлические костюмы, полы его пиджака, рукава и брючины всегда развевались.



Любил перемещенья, и Митя хорошо это понимал. Раз сам вылетал из Москвы с очень высокой температурой, и, едва поднялись, что-то заходило, заструилось внутри, кровь побежала по-другому, до треска распирая голову и будто прокачивая болью, словно жизнь, творящаяся внизу, пронеслась в ней в сжатом виде, и душа, перерабатывая расстояния, трудилась с нечеловеческой силой... Один полоумный художник рассказывал Мите, как на лужайку, где он писал этюд, подседа летающая тарелка и прокатила его вокруг Луны. Конечно, пришельцы неспроста выбрали художника, как наиболее достойного, и все жаловались: «Н-да-а, тяжелое у вас тут на Земле сознание...» Особым правдоподобьем подкупал воздух в тарелке, ярко-зеленый на скорости. Что-то в этом было, и хотя в полете Митина душа не зеленела, но память цвет и яркость меняла точно, и прошлое озарялось в пронзительном и странном свете.

В Красноярске почти отлегло, но билетов на Север не было, Митя кинулся в портовский медпункт, где ему померили температуру и дали талон на посадку. Пока брал билет, жар спал, и, глядя из самолета на высокое и будто выметенное небо, Митя восхищался, как ловко захватил хворь на излете и как вылечила его дорога.

Быстро и увесисто сажился отец в машину, уездившись норовистыми движениями, будто отпечаток его крепкого тела оставался на месте и нужно было совпасть с ним, как с затвердевшей одеждой. Поворачивал ключ, требовательно вслушиваясь в ответ двигателя, покосившись в зеркало, включал передачу и трогался, быстро и легко сработав газом и сцеплением, и ехал, так же упруго работая педалями и, как лягушкой, накачивая машину скоростью. О замене стоек отец говорил как о каком-то смешном и грустном условии игры.

Когда ездили с ночевками, Митя, проснувшись на новом месте, некоторое время лежал, оживая, а отец вставал бодро и быстро, душа усаживалась в сильное тело уверенно, как в машину, и, определяясь с местоположением, привычно стреляла в прошлое, как в зеркало, и цепко впивалась в дорогу, и так же, как к машине, относился Глазов к своей плоти — как к чему-то вспомогательному, несуразно брэнному и только до поры подлежащему ремонту.

Отец давно уже стал мечтой, небывалой остроты образом, фантастическим существом, отнятым как раз тогда, когда Митя начал дорастать до него. И то ли книги стали дорогими из-за того, что их отец написал, то ли отец по-новому открывался в книгах, но Митя перечитывал их каждый год, и они тоже открывались по-разному, будто были живые, и каждое прочтение, как кадр, заставляло их в новом извороте. И никак отец с ними не вязался, и неувязка завораживала: как же, таким подробным был, настоящим, так бутерброд ел на кухне! И вот сначала рассказик, как ручеек, потом другой... десятый — и вот уже целое море набралось, пока Митя школу домучивал.

Огромное, странное... Но еще более странным выглядел у его берегов отец, нелепо маленький, неумело озабоченный своими отношениями с этим вызывающе автономным водоемом, своими финансовыми и политическими претензиями, и лишней казалась его фигура, слишком живой и путающей карты. Мама так и представляла его у «синего моря» стариком из сказки о рыбаке и рыбке, а Аллу Викторовну — сварливой старухой, пытающейся настропалить его на новые, заморские выгоды.

Странно было смотреть на отца по телевидению, читать записи бесед с читателями. Дома или балагуристый, или раздраженно-резкий, перед аудиторией он бывал как на духу серьезный, почти робкий, подвижнически откровенный, и даже когда задавали глупый вопрос, поворачивал так, чтоб вскрылась самая сердцевина дела, а задавший оказался умницей.

Все оно так, но с гусями, похоже, отстрелялись, думал Митя, косясь на сизые снеговые облака, вырulingивающие с северо-запада. К вечеру уже

пластал северюга, и, решив «ночевать до утра, а там по обстановке», залегли в гуще тальников, завернувшись в полиэтилен.

— Оно еще лучше — завтра как повалит оборотный! — бодро сказал Геннадий и захрапел.

Вместо «оборотного» повалил снежище. Под утро хлопал и скрежетал задубевший полиэтилен, и путались в голове сны о бабушке, воспоминания об отце, разговоры с Хромым. Хромых говорил бабушкиными словами, смотрел отцовскими глазами, и всем троим было от него чего-то надо, и почему-то вертелось в голове бабушкины слова: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде». Митя выбрался из-под куртки и запалил костер. Дул ветер, валил снег, и орали в протоке непобедимые лебеди, а Митя орал Хромыху:

— Вставай, гусятник! Оборотного проспишь!

## 2

Тамара Сергеевна всего боялась. Боялась, когда Глазов тащил Митю в баню, боялась водки, курева, леса и девушек. Боялась микробов — уже с подачи бабушки, в сознании которой микроскоп произвел переворот — мелкий мир зажил, грозя заразой. Боялась воров, грабителей, и не от трусливости, а скорее от одиночества, от чувства какой-то вечной выпяченности на самый яр жизни, своей исключительной лакомости для опасности. Боялась цыган, карманников, вообще любых мошенников, хотя сама принадлежала к тому типу людей, которые как раз больше всего на свете и любят, когда их дурят, обманывают или грабят. Сами подбивая на обман, они будто прогуливаются по рынку с торчащим кошельком, а потом, когда его наконец спирают, испытывают даже облегчение. И тайное торжество, и упоение святостью, и гордость, что хоть и видели, но не унизились, препятствуя. Мама покупала лотерейные билеты, ссужала деньги проходимцам и вечно выглядела святой и наивной, и чем бездонней была глубина обмана и бессовестности, тем выше она оказывалась в собственных глазах. Так же попустительствовала она отцу, когда появилась Алла Викторовна, так же была святой и наслаждалась своей прозорливостью, когда догадки оборачивались правдой.

При этом, где надо, была и настойчивой, и упорной и после отъезда отца, несмотря на плотную, выстроенную Аллой завесу, ухитрилась не только связаться по телефону, но и обмолвиться, что «Митя пишет», на что Глазов, хмыкнув, сказал что-то вроде «ну пусть пришлет». Об этом она написала Мите.

Если ждешь, обязательно найдешь отсрочку, и обязательно ближе к весне станут невыносимей просторы, пустынной небо и неразличимей в нем почтовый самолет, раз в неделю пролетающий мимо Дальнего в Лебедь. Митя напечатал на машинке рассказы. Расслоив цементный мешок, добыл грубой бумаги, скроил конверт, заклеил рыбьим клеем, отвез письмо в Лебедь и стал считать: две недели до Москвы, неделя маме на раскачку, две недели до отца, в общем, на все кладу два месяца.

Письмо представлялось чем-то одушевленно-неуправляемым, вроде школьника, которого — сняв с уроков — послали по делу, и он старается побольше пошляться. А не дай Бог, конверт протрется по краю! А вдруг кто-то прочтет, украдет. Или почтальон в городе напутает. Митя видел такие заблудшие письма, одно, помнится, все стояло в подъезде на ящиках, потом валялось на полу, и он думал: вот безобразие, и знал, что надо отнести, но шел балбесничать с приятелем. Еще казалось, что письмо лежит сейчас где-то в отделении, и это лежание было ужасней всего — лучше б на перекладных ползло.

Почтой управлял тот самый запойный Елизарыч, который посылал телеграмму, что помер. Как подумаешь, сколько горя и несурзностей проходит через бедные головы таких почтарей, так и поймешь, почему они такие запойные. Похороны, разводы, измены, пропажи людей, болезни, слезные просьбы выслать денег, мольбы «вернись — прощу» — чего только не бывает в телеграммах, а уж о письмах, в которые редкий почтарь со скуки не заглянет, и говорить нечего. Вся деревня то ли голая, то ли на исповеди, все известно, чего бы век не знать.

На трезвяк Елизарыч бывал неестественно сосредоточенный, раздраженный, весь гудящий мелким трясом, как сварочник, — того гляди, заискрит. С очками на носу дотошно разбирает квитанции и так подавляет непривычного посетителя, что тот думает: или вошел не так, или еще чем провинился.

В один прекрасный день, не выдержав ожидания, Митя поехал в Лебедь, но провозился по дороге с «Бураном» и, опоздав к почте, постучал к Елизарычу с другой, жилой половины:

— Елизарыч, здорово! Была почта?

— Была! Заходи. — Блестящий рот, за щекой живой желвак закуски, раздраженная скороговорка: никаких! Давай-давай-давай!

— Есть там письма?

— Все есть! Давай-давай-давай по сотке! Я тебе шас таких историй на-расскажу! — Выпив, почтарь вместо «стопки» говорил «сотка», а Митю звал Толей. — Шас как сядем! Как по-го-во-рим! — Каждый слог подтверждался увесистыми движениями кулака — торопливость сменил приступ капитальности, причем Елизарыч только обозначил новое направление и тут же затянул с певучим сожалением: — А я виноват перед тобо-ой, Толя-я... Не знай, как теперь и оправдываться...

— Да что такое? — насторожился Митя.

— Письмо-то только седни ушло.

— Ой-йой-йой! — У Мити сердце оборвалось.

Елизарыч спохватился:

— Давай-давай-давай! По сотке! Но, молодец! Й-э-эххх! — затараторил он и, сменив передачу, завел зачеканно: — Мо-ло-дец! Выгора-живашь, конечно, Генку-то, но кра-се-е-во! Слушай, мы шас ка-ак по-си-дим, я тебе такие истории расскажу. Я сам писатель — сколько со мной всего было! О-о-о, парень! — Митя насторожился, а почтарь снова зачастил: — Олени! Две-надцать штук одних токо оленей! — кричал он, ударяя в слове «оленей» на последний слог, — на Сборной, речка у нас тут. Выходят на реку, а там наледь сначала, а потом лед. Гладкий, хоть боком катись. Мороз ранний, а снега нет. А у них после наледи-то копыт-тья обмерзли все, а они на лед выбегают. Чё делать, у меня один патрон и тот дробовой. Ага. Я как пальну вверх — у них от страха ноги: жжуххх — в разные стороны! Они: хре-е-нак! об лед всем табуном! И веришь ли, Толя! Порвались! — взвизгнул почтарь. — Можешь себе представить!

— Как порвались?

— Так! Связки грудные порвались! Двенадцать штук оленей — весь день обдирал! За-...ал-ся! — в виде передышки отчеканил по слогам Елизарыч и снова погнал: — Толя, ты такой страмной пакет изладил, в клею весь устряпанный, я велел Лариске в путний переложить. Она как увидела — взялась читать, а потом Гранька утащила, и такое началось, еле отняли на нижнем конце, у Басенького.

Обычно сидели на кухне. Василич то размахивал руками, то тяжелед, но тут же с волевым хрустом прямился и возвращался к разговору: «Ну и веришь ли, Толя, стою я с карабином»... Потом еще пил, а под занавес на него, будто на рыбину под осень, находил жор.

— Лариска! Дай нам поись! — говорил Елизарыч, и мрачная Лариска брякала тарелки, вываливала в них закуску, и он набрасывался на уху, картошку, налима, капусту, уминал все это, запивая стопарями, перекладыв-

вая, пропитывая водкой, отрезал хлеба, тут же ножом, как мастерком, вмазывал в рот максу, и, уже думая, как рухнет, мечтал об этом, как о дальней и долгожданной дороге.

Грузил себя, как состав, поручая желудку переваривать, крови — развозить питание по телу, снаряжал как снаряд, как поезд, которому верит, который сам домчит, и чем плотнее загрузить, тем дальше. Как любовью северянина страшно любил, прикорнув в лодке, сплавиться по течению, использовать даровую силу воды, так и по времени себя сплавлял. Грузил, как в удачно подвернувшийся транспорт: помидор маринованный подвернулся — вали его, торта старого домашнего кусок — туда его, чаю — значит, чаю, брага в банке бултыхается — туда ее. Все пойдет. Все сгорит. Так заряжал себя, а потом резко говорил: «Все!» — и, уже готовая на подхвате, Лариска помогала ему рухнуть в комнате.

В ожидании маминого ответа Митя ездил с Хромым лечить зубы в Камень, большой поселок в часе лету. Возвращались вместе с Елизарычем, везшим брезентовый, запечатанный сургучом мешок с почтой и пару обшитых посылок. Почему-то не удавалось вылететь: то ли мест не было, то ли погоды. Летел экспедишный вертолет, перегруженная «восьмерка», но брали только одного, и отправили Елизарыча, а когда прилетели дня через два на самолете в деревню, у дверей стояла встрепанная Лариска.

— Почта где? — спросила она, отождествляя с почтой и Елизарыча как некую казенную собственность, на что стокилограммовый бортмеханик бросил, выпятив брюхо:

— Подержи арбуз!

— Ково? — не поняла Лариска и все спрашивала потом: — И чё бортмешок про арбуз-то намакивал?

На следующий день Елизарыча привезли на вертолете с северо-востока. Оказалось, в Лебедь его обещали завезти только на обратном пути после посадки на буровой на Аяхте, но с Аяхты полетели за какой-то штангой в Туруханск, а оттуда их отрядили в Дигали. Из Дигалей они повезли на подвеске дизель, причем, как назло, раздулся североце, подвеску стало раскачивать, и они едва не сбросили ее в болотину и вернулись. Ждали погоды, пили в Дигалях и потом еще болтались дня три над горами, тайгой и тундряками, в то время как обезумевшая Лариска и почтовые начальники искали пропавшего Елизарыча, в котором, взбрызнутые спиртом, вызревали, обрастая фантастическими подробностями, новые страницы его приключений. В вертолете Елизарыч мертво спал в обнимку с мешком. В мешке было письмо от мамы.

Мама писала о чем угодно, и Митя лишь в конце наткнулся на нужное: передать отцу то, что он просит, невозможно. В изошренной системе намеков было зашифровано, что она забоялась контрразведки. Митя был вне себя от бешенства:

— Дел у них нет, кроме моей писанины!

В Дальний он вернулся с настроем на прежнюю, проверенную, жизнь, по недоразумению и в суете забытую. Никаких писем, никакого ожидания. Точить топоры и цепи. Жилье, инструменты — все безжизненное, жалкое, словно сдутая камера, — надуть, оживить, чтобы расправилось, стало таким же важным, как и раньше.

Возил сухие дрова с гари. Дело считалось хорошим: одно — в Енисее лес ловить, мотор гробить, плавить, смотреть, чтоб ветром не разбило, проверять, пока обсохнет. Потом пилить — по песку цепи сохатить, ломом бревна ворочать. Потом возить из-под угора. А другое — прямо у дома на снегу распилил — и пила не греется, и цепь хорошо идет, смазываясь талой водичкой. Снег зернистый, синий,хватишь вентилятором — и летит брызгами из-под кожуха.

Белая, полная света даль в конце зимы, бесконечный приполярный день, высокий яр со снежными проплешинами — все дышит ветром, про-

стором, налетает, промывает глаза, легкие. Митя колет дрова, собирает сухие кедровые поленья, легкие, как пробка. Прижимает их к груди, одно вываливается, убегает: какие они теплые, как щенки!

Ближе к весне, к распутице, когда отпустит снег и не привезешь воды, Митя запасал лед, раскапывая на Енисее торосы, еле торчащие из снега. Верхние пластины были оплавленные солнцем, набравшие воздуха, белесые и пористые, но ниже под ними он расчищал наконец темную жилу — драгоценную дымчатую синь, колот на кристалльные куски и складывал в сани.

Возле дома разметалось целое хозяйственное побоище. Серые без коры кедровые стволы с розовыми торцами, щепки, чурки и поленья кучей, и тут же сани со льдом, кускато блестящим на солнце, и потухший матовый лед в бочке. И казалось, если и есть в жизни великая и единственная правда — то она в этих кусках дерева и воды, в этой угловатой и грубой материи, готовой, обогрев и напоив, переплавиться в текучее тепло и влагу, и хотелось одного — служить этой правде не рассуждая.

Проехал старовер и дал пару кругов мороженого молока, и оно тоже кололось, и скол был неправильным и стеклянным. Митя свалил на торопище березу, распилит на метровые кряжики, и, когда привез к дому, на мерзлых спилах в самом яблочке мокро темнела влага, замерзая блестящим и выпуклым кругляшом, и было что-то пронзительное в том, что морозяка давит всюю, а береза уже сочит оживающей сердцевиной.

Лишь подкопилось в душе на новые рассказы, снова засел и, перечитав, как прозрел. Понял, что впервые вышло, потому что не о себе стал писать, а у другого научился перекапываться тугим шаром, каплей перетекать и, забыв себя, его накачивать, развивать, но не своим, а *евоным*, чужим, тем, с чем сам не согласен, что самому не по силам. Да... шире ходить надо, не плестись подле себя, а уж уйти, как раствориться... и уже складывалось письмо маме — спокойное, благодарное, что, спасибо, удержала тогда от спешки, а ведь и сейчас за ту писанину сквозь землю готов провалиться, как представляю отца, аж дурно, — думал Митя, не ведая, сколько еще таких «прозрений» на пути.

Изредка наезжал в Лебедь. Елизарыч был через раз то раскаленный водкой, светящийся, то серый и отвердевший, как новый топор. Накал минувшей гулянки определялся по звону, дребезгу голоса, каким он передавал телеграммы. Они уходили в район и принимались по рации и нередко из-за плохого прохождения перевирались до неузнаваемости. А иногда хватало смеха и без перевираания. В Дальний приезжал профессор-флорист, собиравший гербарии из укосов, производимых на специальных огороженных площадках. Жил он у тети Лиды. Среди рабочих реликвий была у него старинная бабка для отбивания косы, прошедшая с ним двадцать лет по экспедициям. Из-за суеты с вертолетом он забыл ее в листовяжной чурке и забросал Дальний телеграммами: «Срочно приберите бабку». Студенты дохли от смеху, а тетя Лида возмущенно плевалась: «Бог приберет! Бесстызая роза!»

### 3

Митя не любил людей, что со знанием дела говорят: «Да что вы? будет война (или инфляция), обязательно, можете не сомневаться», будто поджилками силу чувят и хотят примазаться. Новость о болезни отца он воспринял как проявление чего-то подобного, как сплетню, слабость, гнилоту, мол, сами дохлые — и его тянете. Не хотел верить, не хотел слышать, хотя Глазов был не просто болен, а болен серьезно, и слышать приходилось. Все дела, дрова, планы будто рухнули, башку как выдуло... Первая мысль, прошмыгнувшая в зазявшую пустоту, была: а вдруг, не дай Бог... Вдруг не успею...



— Это кто это не успеет! — вспотел и навсегда даванул извивающуюся, дезертирскую мыслишку, так что хрустнула: никаких рассказиков в посылках, никакой спешки, никакой паники. Поправится. Поправится и все прочтает. А пока молчать, молиться о здоровье и работать.

Но работалось далеко не всегда. И даль Енисея не всегда была напита-на солнцем, и снег постылел, и зачитанные до дыр отцовские книги вдруг казались странными, чужими, как бывает, когда слишком пристально смотришь. И все чаще не давало покоя: в раннем детстве отец казался взрослым, сложившимся, неподвижным, на самом же деле у него только все интересное начиналось, да вот продолжилось где-то на стороне, уже без Мити и без мамы. А так хотелось, чтоб растил он свои книги вокруг чего-то семейно-общего и единственного, а он взял да и вышагнул из их тепла и никого не взял в дорогу. И ведь при Мите все брезжило, рядом, в двух шагах... Он так и думал — папина трубка, ножик: брать нельзя, а тоже мое, и даже вдвойне, накрепко, раз запретом опечатано, а отцовское будущее только Женечка мог потрогать. Оно, конечно, тоже его, но уже на общих правах и потому, может, и дороже, как выстоянный в очереди билет против дарового. На общих правах оно даже как-то и честнее, и вкуснее. С голодухи. Ничего... У меня тоже теперь заливчик имеется — маленький, но свой, и вода в нем чистая, потому что *енисейная*. Скоро попробует — скажет... Хотя это только с виду у каждого море свое. Океан-то один.

Помнится, когда пришли с бабушкой поздравить с днем рождения, в прихожую выбежал Дик, здоровенный водолазина, и Митя, тертый лесовик — не в пример некоторым тепличным, — спросил небрежно: «Кобеля-то *вязали* уже?» Женечка вопросительно посмотрел на отца, а тот объяснил с улыбочкой, что, видишь ли, Женя, собаки тоже, как дяди и тети, женятся. Пока накрывался стол, прошли в кабинет, где Евгений Михайлович, выслушав бабушкин отчет о Митиных птичьих увлечениях, обратился к Жене, пригревшемуся, прилегшему на стол и с любопытством изучавшему бабушку. В продолжение какого-то застарелого разговора Глазов сказал, мол, смотри: Митя уже знает, что хочет, конечно, неказистый с виду выбор, но свой, так что, милостивый государь, пример надо брать.

Как-то раз маленький Митя, чуя неладное, спросил дядю Игоря: почему это сосед Сашка так похож на своего отца, «такой же толстый»? И тот, оживившись, ответил, что и мама у них толстая, и собака, «а кошара — ну прямо дирижабль», — дескать, когда люди долго живут вместе, то и становятся похожими друг на друга. Только бабушка Вера Ивановна не вела с Митей лицемерных разговоров, и, когда прижал ее, откуда берутся дети, она так сумрачно брякнула все почти, как есть, что стало стыдно.

Но «недетские» вопросы показались детскими, когда Митя спросил: «Что значит „Душу мне развеять от тоски“?» Бабушка смешалась, отмахнулась, то ли побоявшись внятных слов не найти, то ли себя испугавшись, и, вдруг поняв, что пора, однажды летом пустила по Митиной душе Чехова и Толстого, читая вслух «Войну и мир» и пробивая в ней себе дорогу, как пехоте.

Митя поражался ее способности жить чужим. Она так верила в существование князя Андрея, княжны Марьи, что ее участие становилось едва не солью книги. При словах «князь Андрей умер» голос ее дрожал, с Долоховым Митя подозревал какой-то гимназический роман, а с Кутузовым была просто беда. Судила она так же строго, как и любила, и было обидно за толстовских слабачков и посредственностей, тем более что гусар Ростов Мите нравился гораздо больше размазни Пьера.

Митина семья долго жила без телевизора. «Только глаза портить», — фыркала бабушка, гордясь, что Митя узнал «Войну и мир» до появления кинофильма. Они жарко обсуждали, *такой* Пьер в фильме или не *такой*, а в Дальнем оказалось, что Элен не *такая* даже у Толстого, ее прозванная черноглазость была как удар.

Сколько в бабушкином *такой — не такой* было страха за свою любовь, сколько ревности, стыда перед Толстым, что кто-то нетонкий прикоснется к родному, увидит проще, грубее. Отцу же, который сам не описывал внешность героев, нравилось, что каждый по-своему представляет Наташу и Долохова, потому что, как убеждал он бабушку, чем толще слой образов, тем спокойней за Толстого и ясно, что все хоть и представляют героев по-разному, а любят за одно.

Когда стал постарше, спросил бабушку, почему у деда другая семья, «что, разве не любил ее дедушка?», и она ответила: «Сначала любил, потом перестал» — тем же голосом, как Хромых сказал: «Сначала ушел, потом уехал». Но такие вопросы слетали с языка все реже и будто против его воли, всякий раз вызывая чувство потери, как в сказке, когда тратят кредит волшебства. Вот и приходилось быть настороже, а пуще боялся сам оказаться уличенным в чем-то лирическом, личном. Не выносил походы с бабушкой на фильмы с любовными или военными сценами, топтание в музее перед кровавыми картинами или обнаженными статуями — было непонятно, как бабушка выдерживает такую концентрацию крови и плоти. Да и вообще, как она жива, когда столько в ней перепахано — целое поле. Которое, чуть ветерок, неосторожное слово, — зашумит, заволнуется, заходит ходуном и, подхватив тебя, понесет вдаль, туда, где деревни, леса да болота и густым, предосенней пробы золотом горят на закате сосны. Каждый вечер, возвращаясь с реки, они останавливались и оборачивались. На траве и на поле сырым свинцом лежала тень, только пылали сосны, а они смотрели на этот жгучий, горький свет, и Митя знал, что вот такая она и есть — тоска, хоть ведра подставляй, и пусть ему восемь, а бабушке пятьдесят лет — сеет насквозь, не жалея.

В старших классах Митя занимался в кружке при зоомузее, выезжал на выходные за город, но остальное время шлялся с гитарой и приятелями по улицам. Учился плохо. Бабушка тайком ходила в школу, а на уроке учительница раздраженно выговаривала Мите:

— Спишь, Глазов! Опять бабушка будет приходиться четверку вымалывать.

Класс смеялся, а на собрании родителей Вера Ивановна заводила: «Как вы думаете, его не испортят?», и все это обсуждалось между родителями и школьниками, и его товарищ, крепыш горнолыжник и гитарист, лыбясь, цитировал бабушкино описание Митино го отъезда в лес: «Х-хе, мешок на себя навьючит».

После провала на зоологический факультет Митя год работал и, купив на одну из первых зарплат магнитофон, переписывал пленки и особенно много слушал одного хриплогого человека. Дядька хрипел так, будто не мог откашляться, будто за короткую жизнь такой гадости набрал, что все пытался выпеть ее, выкричать, а она все булькала, хлюпала в горле, пока он, так и не прооравшись, не погиб от водки и духоты. Бабушка его на дух не принимала:

— Орет, как пьяный мужик.

Песня называлась «Разведка боем»: разведчик набирает группу в разведку, и ему не нравится малый из второго батальона, но потом оказывается, что паренек, которого он не совсем знает, «очень хорошо себя ведет». Бабушка все слышала, делая вид, что занята, а после слов:

С кем обратно идти, где Борисов, где Леонов?  
И парнишка затих из второго батальона, —

вытерла глаза и быстро вышла из комнаты.

Митя сам что-то сипел под «восьмерку» и досипелся до своей самодельной песенки, которую спел по телефону подружке. Трубка лежала перед гитарой, и он не знал, что на кухне бабушка сняла вторую. В песне он кого-то догонял, то ли девушку, то ли осень, то ли обеих в одном лице, и причем ночью и на очень мощной машине. После слов:

И снежинки, пьяные от света,  
Насмерть разбивались о стекло, —

вошла бабушка с блестящими глазами, сказав что-то хриплое, а он покраснел как рак и выбежал на улицу.

Осенью Митя крепко нарезался со старшими товарищами-студентами. Пили в стекляшке пиво, сухое и портвейн в скверике, не жрали, с кем-то корешились, а потом компания рассосалась, и он поплелся домой. Еле дойдя, буянил, а едва залег, его затошнило. Тамара Сергеевна и Вера Ивановна, с которой он спал в одной комнате, носили таз. Упреждая упреки, орал что-то безобразное и косноязычное. Потом рухнул. А однажды утром бабушку разбило. Попойка и бабушкин паралич были главными событиями той поры, и то ли памяти не за что было между ними зацѣпиться, то ли жизнь слишком неслась, но время между пьянкой и бабушкиным инсультом сжалось в одну ночь и навсегда запомнилось, впечаталось, что вот вечером он буянил, а утром бабушка уже лежала парализованная его скотскими криками и рвотой. Вся его трепетная отдельность, нежелание тревожить близких переживаниями — все рассыпалось, разлетелось по комнате брызгами рвоты, которые ранним утром он счищал с лака своей гитары, а бабушка лежала рядом, виновато улыбаясь половиной лица. Через год она умерла. А через пару лет Евгений Михайлович уехал в Ливерпуль, где у него образовался контракт с британским телевидением.

#### 4

Тогда у Елизарыча Лариска пыталась уложить Митю на кушетку, но Елизарыч заранее кинул ему старый собачий спальник, на котором он с удовольствием растянулся.

Приснилась бабушкина смерть. Все сидят на кухне, и вдруг бабушке становится плохо, вызывают «скорую», и бабушка уже внизу, на улице, лежит на какой-то кровати, и санитар кричит им вверх, что она умерла, а они с мамой сидят как приклеенные. Бабушка в Митиных снах умирала не однажды и всегда по-разному, и Митя от одного ожидания, что горе вот-вот навалится колесом, глубже прорежет душу по старой ране, готов был спятить, а бабушка оставалась наивно-спокойной и всегда умирала как впервые.

И вот от этой ее наивности еще сильнее душит горе, хочется плакать, но слез нет, нечем дышать, и он просыпается от приступа астмы. Озираясь, он видит свет в приоткрытой двери, какой-то рыжий глазок, оказавшийся плиткой, и все крутится под ним пол, или он сам крутится в незнакомой полутьме, пока не замирает, как стрелка, покачавшись в стороны, и не узнает кухню почтаря. Он встает, чувствует на лице и шее тухлявый собачий ворс и садится на табуретку у стола.

Сон теряет краски, и скорбь, как рыба на воздухе, тоже выцветает, лишаясь силы, а он не хочет отпускать своего горя, своей любви, своей гаснущей близости к бабушке и, взяв со стола налитую стопку, выходит с ней под звезды и долго дышит сквозь маленькую дырочку в отекивших бронхах, пока ее не начинает протачивать морозным воздухом.

И думает о том, что копии с воспоминаний должны бы тускнеть, образ с годами — забываться, а он только набирает силу, настаиваясь на снах, и чем дальше, тем ярче, обещая под конец дойти и вовсе до живой крепости, словно бабушка, и, отчаявшись догнать его из прошлого, пробиваться к нему с другой стороны.

Митя поднимает мерцающую стопку к небу, долго глядит сквозь густую и горькую водку на любимую бабушкину Кассиопею и этим звездным настом поминает бабушку так светло и горячо, как только бывает в жизни.

## 5

Раньше Митя себя считал самой главной и устойчивой частью жизни, а время — чем-то зыбким и суетливо сквозь него скользящим, теперь же единственно главным и извечным стал загнутый в прозрачное колесо оборот енисейского года, на который человек лишь наматывался, и на сколько витков хватит, одному Богу известно. Если раньше время мерилось часами или неделями, то теперь — только скрипом льда в берегах, непосильным трудом по замораживанию и размораживанию рек, перелетом птиц и шорохом ветра, все будто поправляющего, одергивающего и переставляющего что-то вокруг дома.

По сравнению со всем этим начальственные выходы Поднебного, то норовящего под страхом увольнения вызвать в командировку в разгар осени, то шлющего бессмысленные телеграммы вроде: «Пролонгируйте закрепление электростанции Глазовым», казались смешной и мелкой возней, а сам Поднебный — несуразной и назойливой помехой, чье краткое присутствие еле терпелось. Каждое лето вокруг поселка терлась подозрительная публика: то какой-то хитрец палаточник из Москвы, то списанный капитан, то дальний и липовый родственник тети Лиды по кличке Бóсая Голова все обхаживали Поднебного и, предлагая услуги, рвались на работу в Дальний — место было безлюдное и во всех смыслах превосходное. Начальник сиял:

— Дима, не забыли, что скоро договор кончается? На твое место, хэ-хэ, очередь уже!

Наука давалась со скрипом. Дальше учетов и отчетов дело не шло. Мефодий требовал мыслей и понимания направления, а Митя в направлении не видел ничего, кроме превращения живых птиц в колонки цифр. Не было большего страдания, чем вымучивать статью, — чувствовал себя школьником на сочинении про фамусовское общество, когда герои как живые, а про «социальную роль» двух слов не связать.

Сами учеты Митя любил, ходил и ездил почти каждый день, и все у него было почти как у Хромыха: так же грел «Буран», поигрывая подсосом, так же накрывал брезентом, перевалив Енисей, и, нацепив камусные лыжи, ломился в гору. И так же напряженно стоял среди тайги, освободив из-под шапки ухо, только Хромых слушал собак, а он — позывки клестов и поползней. В теплую ватную погоду, оглушенная снегопадом, тайга молчала, копя силы и про себя попискивая синицами, а в мороз взрывалась звоном проколевших глоток. Ниоткуда взявшихся шуров, казалось, на глазах вымораживало из каленого воздуха. Похожие на клестов, только еще крупнее и туже, они сидели на вершине высокой и стылой лиственницы, медно-красные в лучах низкого солнца, а в полете перекликались протяжным и многоверстным повелительным посвистом, висевшим в небе, как след самолета. В тепле шурсы загадочно растворялись.

Митя несся по замерзшей забереге на «Буране», и морозный воздух вминало в воздухозаборники капота, а потом перемальвало вентилятором и кидало на горячие цилиндры, и как пил двигатель этот холод, так и Митина душа, привыкшая к простору и набравшая обороты, тоже не могла без этой налетающей дали, в которой мешалось солнце, каменный снег, черные кедровые — все настоящее, грубое и до хруста напитанное синевою. И выходило, что Поднебный управлял этим потоком, мог его придержать, отвести, направить на другого или вовсе прикрыть.

— Кинь ты ему пару хвостов, — недоумевал Хромых, — он же ждет.

— Вот и противно, что ждет, — упирался Митя.

Хромых считал это слюнями.

— Да пусть подавится, главное — определенность.

Но соглашался:

— Тошно с козлами дело иметь. Дал тут одному шифер и до сих пор вытянуть не могу, до того на отдачу тяжелый.

Митя сказал, что тоже отдал одному коленвал, но с самого начала знал, что тот не вернет.

— Легко достался — легко ушел, — холодно усмехнулся Хромых, и даровое Митино имущество который раз стало поперек горла.

## 6

Умер Елизарыч, однажды нагрузившись так, что забыл проснуться и навсегда проспал свою станцию. Пошли другие почтари — какой-то Аполлоныч, приехавший из Алма-Аты дорабатывать пенсию, молодая бабенка, еще кто-то малоприметный. Все старательно начинали, были обостренно-вежливыми и предупредительными, а потом ломались — видно, до Елизарыча с его железной похмельной хваткой им и вправду, по выражению лебедевцев, было «как до Москвы раком». А вскоре урезали почтовые деньги. С осени отменили самолеты, пустили редкий вертолет, а с весны перестали ходить почтовые катера, и почту передавали то со знакомым капитаном пассажирского теплохода, то на рыбнадзорском катере.

Вскоре заговорили и вовсе об упразднении почты в Лебеде, но до этого не дошло, зато учудили реформу почты, новое *укрупнение*, закрыв добрую половину отделений. Получалось — первый раз укрупнили: из Дальнего, Новоселова и Лебеда оставили один Лебедь, а потом и его добились, хоть и не в лоб, но исподтишка, выкинув из почтовых справочников и лишив самого красивого — имени. Лебедевская почта шла теперь на Лесозаводский, большой поселок на юге района, живший изведением ценнейшего бора.

— Будто кому-то нас разбить, разобщить надо, — рычал Хромых, — доехать нельзя, дак хоть в справочник залезть деревню найти. И это отняли. Хре-но-го-ловые!

Раньше Енисейская сторона была крепко и надежно перевязана конской поступью, скрипом саней, звоном бубенцов — узелками станков, немногочисленных и как раз таких, чтоб жить, не толкаясь в тайге и на реке, а когда укрупнили, словно повыдергав зубы из ровного ряда, то вышло на сотню верст по одному непомерному поселку, где люди, сидя друг у друга на шее, толпой выхлестывали все живое вокруг. То густо, то пусто зажили. И утеряла жизнь свою скрипучую поступь, став размашистей и жиже, словно каждый удар прогресса сводил на нет веками нажитую прочность, а тяга к этой прочности осталась и, как ветер, тянула назад, а годы — вперед, и все как-то расслоилось, поползло впротivotок, как, бывает, облака по небу, и казалось, сама правда незаметно, под шумок, под грохот заводов и рев двигателей, тихой струйкой развернулась и потекла в обратную сторону.

Один старик рассказывал, как еще до войны пошли на яму, где обычно после ледостава рыбачили стерлядь, и выдолбили прорубь в виде креста. Приехавший из Верхне-Имбатска священник освятил воду, и в ней купались.

Митя представил, как работали мужики пешнями, вырубая крестообразную нишу сначала по-сухому, черпали хрустальную крошку, а когда пробили дно, хлынула в дырку бугристая темно-синяя вода, все подробно и гибко заполняя, отливаясь крестом и встав почти вровень с краями, не успокоилась до конца, а продолжала тихо ходить и дышать. Потом убирали пешнями оставшиеся в дне ледяные перемычки — и непослушные обломки кто уталкивал под лед, а кто вычерпывал черпаком. Граненные борта стеклянно просвечивали сквозь синюю воду, и было странно — обычно твердый и холодный крест покоится в мягком и живом — в воздухе, воде ли, а тут — сам живой, струящийся — посреди твердого и холодного.

Митя представлял, как выглядел крест со дна Енисея: брезжил, серебрился, бросая слабеющий отсвет на каменистое дно и будто освящая небесным светом и рыбу, данную человеку Богом для пропитания, и бесконечные версты текучей воды. Представлял еще и по-другому — с высокого яра. Уходило вдаль полотно Енисея с цепочками торосов, плоско выделялась большая белая гладуха с крестом, и казалось, крест сорвался с чьей-то горячей груди и, протопив лед, упал на дно великой реки, а тот, с чьей груди он сорвался, так и мечется по стылým просторам со страшно пустой шеей.

## 7

Важные письма обычно приходили весной, словно намерзшие за долгую зиму новости наконец оттаивали и спешили нагнать упущенное. Письмо было подписано незнакомым почерком, но оказалось от мамы. Отправленный со знакомой до Красноярска конверт истерся в поезде, и та переложила его в новый, переписав адрес. Похожая история произошла однажды с тети Лидиным письмом, которое бабка отправила вместе со студентами на барже. Ребята ползли неделю, питались водкой, и сложенное вдвое письмо так истрепалось в нечистом кармане, что на почте, переложив послание в новый конверт, балбесы так и замерли с раскрытыми ртами — расшифровать на измызганной бумаге бабкины каракули было невысказано. Написали, как поняли: **БОРЫ ПОПОЛОН АЛИ ЗИНЬОН**. Нечто антично-международное: не то дары Аполлона, не то какой-то Али Зиньон, французский араб, что ли. Колотясь от истерики, бросили в ящик, еле в щель попал.

— Боры пополона ализиньон! — вопил Митя, хлопая себя по ляжкам и прыгая по комнате, — боры пополона!

Мама писала, что отец поправляется, что он в Лондоне и приглашает Митю в гости. И еще, что она нашла целительницу: «Приедешь — снимет твою астму как рукой».

Просыпаясь по утрам, вскакивал, переживал, не приснилось ли, действительно в письме так все написано, и, возясь с дизелем, беспокоился, на месте ли добыча, как собака после выстрела норовит проверить, прихватить зверька у хозяина за поясом. И кричал:

— Боры пополона! Али Зиньон!

Означало это, между прочим: «п. Бор, Поповой Альбине Зиновьевне».

## Глава III

## 1

Пол-лета прошло на Таймыре, остаток — в Дальнем, в конце августа Митя собрался в Москву. Ехал до Камня на деревянной лодке, чтобы на обратном пути затариться горючим — в Дальнем с ним поджало. В лодке бочка и рюкзак. В рюкзаке напечатанные рассказы, кусок осетрины и бутылка магазинного спирта.

Митя тарахтел на деревяшке весь день и к Порогу подошел в темноте. У Осиновского осередка стояла знакомая каэска<sup>1</sup>, Митя подъехал. Глаза у вышедших мужиков блестели:

— Митяй, здорово! Ты куда собрался на ночь глядя?

— В Камень. Здорово, Ванька!

— Никаких Камней! Никанорыч, забирай у него веревку!

Из утробы кубрика доносился бойкий лязг ложек. «На-сто-я-щая уха...» — говорил кто-то с необыкновенной расстановкой и ударяя на слово «уха».

<sup>1</sup> Каэска — водометный катер.

— Переночуешь по-человечьи, — продолжал Ванька, — завтра поедешь. Заодно бича этого забереешь. Он остохренел уже.

— Какого бича?

— Да тут свалился на нашу голову. Убил кого-то. Убежал. А потом до того ему все обрыдло, комары и все прочее... На плотике шкандыбают вдоль берега, мокрый, как хлющ, — дождь. А тут из Комсы Кирька Щенин едет, тот машет. Чё такое? Так и так. Надоело все — скорее бы уж меня поймали. Сдай меня в Камень. Кирька: мне некогда, я по самолетовы еду — до Калягина могу подбросить. Давай хоть до Калягина. В Калягине сидел трое суток, настофигинел всем. Сначала охраняли, потом плюнули. Потом Славка Кукелин в Суломай ехал, забрал, у Ножевых Камней Мартимьяну Пирожкову передал, тот Афоне Зибзею сбагрил, а Афонька уж нам. Мишкой звать. Спит сейчас как тарбаган.

Проснулся Митя еще потемну. В окне мягко и стремительно пронеслось вниз судно, как лунами опоясанное иллюминаторами. Митя вышел на влажную палубу. На востоке чуть синело. Хребты были черными, а небо темно-синим, ясным, с узкой черной полосой на севере и яркими высокими звездами. Вверху глухо шумел порог. Середка неслась стрелой, а отставшая от нее вода завивалась, плеща на берега. Валясь в стороны, буровил буй, и вода, обтекая его, журчала на разные, но одинаково задумчивые лады. Черная деревяшка медленно ходила по кругу на веревке. Капот был в испарине.

Беглый оказался заспанным мужичком, похожим на постаревшего Лермонтова, с черными живыми глазками и по всей голове кругло заросший щетиной. За всю дорогу он сказал фразы две. С утра: «Курить есть?», и, когда Митя дернул заглохший мотор, но тот не завелся, проконстатировал: «Не фурдымайло». Уже показались на берегу емкости и антенны, когда стало кончатся горючее. Митя вылил в литровую банку остатки из бака, опустил туда шланг, и тот с похмельной жадностью высосал желтый бензин, едва они поравнялись с косой, на которой сидели у мотоцикла парень с девочкой.

— Братан, литру дам — сам на подсосе, — сказал парень, ударив на «дам».

Обогнули мыс и поравнялись с балками. Митя понял, что опять не хватит, и ткнулся в берег напротив высоченной лестницы, по которой медленно ступал седобородый дед. Бензин у него был, но дома, и Митя поднялся с ним в поселок.

Улица как труба гудела — пахло выхлопом и пылью, обдав музыкой, пронеслась машина, мчались мотоциклы, шли люди: накрашенная девушка в черных чулках и розовой юбке, кто-то в костюме, вдали ревел двигателями самолет — все кипело, билось, словно зуд большого мира отдавался сюда по авиатрассе, как по длинной и гибкой доске. В выгоревшем таежном тряпье, питанный ветром, словно был пористым, как листважная кора, и, как кора, красный от загара, с банкой прозрачного золотого бензина Митя возвращался обратно. Енисей лежал огромно и спокойно, чуть качаемый ветерком, и казалось, два мира разделены не кромкой угора, а чем-то прочным, как граница, которую Митя дважды пересек, так что одна жизнь контрабандно протекла в другую.

Митя глянул на крошечную лодку и вздрогнул, не увидя там столбиком сидящего Мишку, только тупо темнела ржавая бочка. Сбегая по бесконечной лестнице, Митя представлял, каким подарком для Мишки стала и бутылка, и запасная одежда, и малосольная осетрина, которую он наверняка разрежет на Митиных записках, несмотря на сходство с Лермонтовым. Во весь опор Митя подбежал к лодке. Мишка сидел за бочкой, опершись на нее спиной, и, вытянув ноги, глядел на Енисей.

После Красноярска пахнувший простором и опилками Камень казался студеным, диким, долгожданным, а после тайги, наоборот, едва не столи-



цей, обрушиваясь взбудораженными пассажирами, валящими из подсевшего самолета, надушенными диспетчершами, которые не говорят, есть ли места, а судачат, мол, «взяла Наташке курточку, а не знай, может, дорого», пока та, что помоложе, не бросит в окошко: «Паспорт давайте».

На следующий день Митя вылетел в Красноярск и, поспев на Южно-Сахалинский рейс, сидел в самолете у окна, бездумно листая газету. Беглый Мишка и бегодня с банкой бензина казались уже бесконечно далекими. Голова была занята предстоящей поездкой к отцу, и, как бывает, чем ближе радостное событие, тем страшнее за него, кажется, оно вот-вот сорвется, и поводы для беспокойства пухнут, как грибы после дождя: все ли ладно с паспортом, что это за виза, о которой все так серьезно говорят, и почему так вздрагивает самолет, когда давно уже набрали высоту?

Митя решил думать о чем-то спокойном и хорошем, все мысли крутились вокруг отца, и он стал вспоминать, как летом Глазов приезжал к ним в деревню. Однажды он утопил крестик, купаясь в пруду. Разбежавшись, отец очень круто и туго вошел в его толщу, долго не появлялся, и о его перемещении говорила лишь череда мощных бугров вывернутой воды. Всплыв у другого берега, он вдруг заводил рукой по шее, и лицо его исказило выражение почти детской паники.

Крест этот подарил Глазову какой-то «добрый человек». Прежние без конца терялись — то падали в подполье бани, то цепочки рвались, цепляясь за ветки. Последнему, новому, кресту он подобрал крепчайший шнурок и проносил его, не снимая, несколько лет.

Часа два Глазов с Митей искали крест в пруду, ныряя до рези в глазах, бродили склонив головы, глядя сквозь переливчатую толщу на песчаное дно. В зеленой воде отражалось небо и солнце, и приходилось приближать лицо вплотную и отгораживаться от света ладонями. Кто-то плескался и визжал, народу прибавлялось, и поиски прекращались до утра. Наутро солнце било донизу, но то ли дно было слишком взрыто ногами купальщиков, то ли искали не там — креста не было. Ближайшая церковь оказалась закрыта.

Искали в Хамовниках, в храме Всех Святых, в храме Покрова Божьей Матери на Лышиковой Горке. Были похожие, и Глазов едва не купил один, в последний момент передумав, и женщина из церковной лавки покачала головой: «Так без креста и ходите...»

Глазов любил терять, а после находить. Он терял записные книжки, складные ножи, зажигалки, но никогда не впадал в панику, а дотошно обследовал лужайку, где обронил ключ, ползал на коленях, раздвигал траву и ощупывал землю, вспоминал, как и куда шел, и в конце концов находил — и ничем не примечательный день как озарялся.

На выходные Глазов снова приехал в деревню. Митя забрался в машину, где жарко пахло чехлами и бензином, и они поехали в Сергиев Посад в последней надежде найти этот редкий и простой, будто вырубленный, крест, по нелепому выражению одного из торговцев, «снятый с производства». Они и нашли его в третьей по счету лавке.

— Как он называется? — спросил Глазов.

— Первый крест.

В храм Глазов вошел с крестом. Темный аскетический иконостас уходил ввысь, и туман, в котором он терялся, был таким сухим и крепким, что казалось, многовековой настой молитв скопился под куполом. Раздались голоса певчих, из которых особенно выделялся голос одной молодой женщины, необыкновенно чистый и пронзительный одновременно. Казалось, в нем смешались и смирение, и отвесный взлет души, и величайшая надежда, и отчаянный вызов миру, и при этом голос был невероятно женский, и это женское действовало на Митю с особенной силой. У нее было правильное лицо и прекрасные огромные глаза, и она неуловимо напоминала мать. За этими вздетыми горящими очами, за прядью, выпавшей из-

под черного платка, серели скосы стен с затертыми росписями. И навсегда отлились в памяти выморенный временем иконостас, и туман под куполом, и женский голос, и папин вернувшийся крестик, и душа вдруг перестала помещаться и, наполнив глаза, пролилась через край, и так легко сразу стало, что показалось, чуть толкнись ногой — и сам взлетишь дымком под сизый купол.

Когда вышли из храма, над высокой колокольней бежали редкие облака. В вышине над вскрытой кровлей собора парусом полоскался выгоревший кусок полотна.

## 2

Душным и густым казался город после сибирских просторов, где душа привыкла вольготно раскидываться на сотни верст, не особо-то и держась за тело, и узко было ей, огромной, в толпе, среди сотен людских устремлений и воль.

Паспорт был готов. Два дня ушло на визу. Ждали на улице у посольства с Тамарой Сергеевной, невесело-тревожной и, как показалось Мите, несчастливой от его приготовлений. Наконец виза была получена. На очереди стояла целительница.

Митя терпеть не мог разговоры о «скорпионах» и «водолеях», которыми дамочки полусвета так любят восполнять недостаток мыслей, но и броски на диван с отеками бронхами надоели хуже редьки.

Целительница Жанна, несмотря на звучное имя, оказалась милой и живой женщиной лет за сорок, брюнеткой со светло-кариими глазами и мягким голосом. Она спотыкалась на букве «р», состоявшей у нее одновременно из «р» и «ль» и чуть-чуть «д», произнося которые язык совершал некое трудное и причудливое движение: то ли вставая на ребро, то ли повторяя судорожное усилие запутавшейся рыбки. Карие глаза ее при этом глядели виновато и будто говорили, что вот, да, она взрослая вроде женщина, а не может справиться со своим впадающим в детство языком.

К Мите она отнеслась с той заочной симпатией, с какой встречают друзей добрых знакомых. Она быстро составила астрологическую карту, заметив почти с удовлетворением: «Да, у вас тут с дыхательными путями не совсем хо-лр-ошо», и по таблицам подобрала гомеопатические лекарства. По ее медицинской и биологической эрудиции, по отсутствию общих фраз он понял, что перед ним не шарлатан. После подытоживающей паузы она сказала:

— То, о чем мы говорили, только половина того, что вам предстоит. Вся эта гомеопатия ничего не стоит без внутренней работы, и это самое сложное. вспомните, в детстве ли, позже, может быть, были какие-то сложные отношения, может быть, осталось что-то неразрешенное, что вам мешает, что не дает покоя, отбирает душевные силы. Попробуйте вспомнить. Расскажите.

Посмотрев на Митю своими виноватыми глазами, она спросила:

— Скажите, Митя, когда вас кто-нибудь обидит, рассердит, обманет, вы стараетесь сдерживать себя или кричите, бросаетесь с кулаками?

— Стараюсь сдерживать.

— Я так и думала, — сказала Жанна, что-то отметив у себя в тетради, — а скажите, вы в себе любите вспоминать, разбирать: правильно поступили, неправильно?

— Есть такой грех, — улыбнулся Митя.

— Ну, думайте, вспоминайте, — тоже улыбнувшись, сказала Жанна, продолжая писать. — Может, вам снится кто-то?

— Снится, конечно, — вздохнул Митя, — бабушка снится.

Он рассказал о детстве, о своих отношениях с бабушкой, о том, как бабушка умирала, о ее постоянном присутствии в его снах и неизбывном чувстве вины перед ней. Жанна отложила ручку и, внимательно взглянув на Митю, сказала:

— Вы понимаете, что дело ни в каких не в бронхах, что эту неразрешимость, этот груз нужно избыть, освободиться. Ведь то, что она к вам приходит, это говорит о том, что и ее душе нет покоя, что и ее душа между небом и землей метается неприкаянная, и пока она не обретет покоя, и вам жизни не будет. Возьмите ручку и запишите: Это очень простое упражнение, его нужно повторять каждый день перед сном. Вы должны представить вашу бабушку и сказать ей: «Пожалуйста, возьми свое, отдай мое и оставь меня». А когда засыпаете, представляйте спокойный-спокойный, огромный-огромный, золотой-золотой... солнечный диск. Я уверена, что все получится. Всего вам доб-лр-ого, — сказала Жанна и улыбнулась особенно виновато.

Перед сном Митя проглотил все положенные шарики и, уже лежа в постели, представил изможденное бабушкино лицо и произнес:

— Ну, пожалуйста, возьми свое, отдай мое и оставь меня.

Он так умотался за день, что глухо проспал всю ночь, лишь под утро приснилась какая-то канитель с визой. Будто за столом в посольстве сидит с очками на носу Хромых и говорит:

— С какой целью вы намылились в Б-л-р-итанию?

На следующий день предстояло собрание в лаборатории Поднебенного, на котором должны были решить, перезаключать ли с Митей договор.

Сотрудники рассаживались, тетушки, среди которых одна держала наготове открытую папку, старались не шуметь, косились на Поднебенного, угрюмо сидевшего за столом и уставившегося в бумаги. Запыхавшаяся Оструда Семеновна в казенной кацавейке протиснулась меж рядов, кивая и оглядываясь, — как всегда, с небоснованно сияющим видом.

— Здравствуй, Ася, — по-домашнему гуднул Поднебенный, глядя в чью-то увесистую диссертацию и краем глаза пробегая реферат своего кубанского фаворита под названием «Приход свиньи в охоту и поведение ее под хряком». Сам он тоже чрезвычайно напоминал хряка: боковины шеи, мощно переходящие в щеки и плотно вздрагивающие, белесая щетина по розовому и нездорово красное нахмуренное межбровье.

Поднебенный откашлялся и оглядел враз встрепенувшихся присутствующих:

— У нас тут небольшие изменения в повестке собрания...

Тетушка с папкой наклонилась к соседке:

— Наверно, не продлят. Что-то перед собранием они говорили нехорошо.

Поднебенный грозно взглянул на болтушку:

— ...в связи с тем, что Дима Глазов уходит от нас на производство...

Послышалось протяжное «а-а-ах!». Все зашевелились и оглянулись на Митю. Тетушка с блокнотом горестно всплеснула руками.

— ...переводом в Южно-Туруханский госпромхоз, — закончил Поднебенный. Посыпались вопросы.

— Да, охотником, — сдержанно и глухо ответил Митя, хотя внутри все пело.

Вечером долго не удавалось заснуть, вспоминался прошедший день, он представлял Поднебенного, который своим всеильным видом, вескими словами «уходит на производство» как бы тоже приобщался к повороту Митиной судьбы и наслаждался паникой сотрудников. Представлял Хромыха: прощаясь, тот особенно твердо посмотрел ему в глаза и резанул: «Все. Давай», что означало: «Дуй в свой Лондон и быстро назад, а то как даст морозика, так и вмерзнешь посреди Хурингды вместе с хахоряшками».

Спать надо, подумал Митя и закрыл глаза. Из темноты с естественной и привычной неизбежностью выплыло строгое бабушкино лицо.

Забери свое, отдай мое... — думал Митя. Забери — отдай... Твое — мое... Что твое? Что мое? Что вообще значит «мое» и «твое»? И как определить границу, когда давным-давно нет ни «моего», ни «твоего», а есть только «наше». Бескрайнее наше, где слито в одно — и князь Андрей, и капитан Тушин, и «парнишка из второго батальона», которого ты, как ни старался, не смог не впустить в свою отзывчивую душу, и дед, колющий листвень на берегу бескрайней реки, в которую не войдешь дважды и в которой никогда не разберешь, где кончается вода и где начинается небо. И которая по берега полна странной штукой под названием «свобода». Я не знаю, где мое и где твое, а знаю одно — если совесть моя приходит в облике близкого человека, как я скажу ей: «Отдай мое?»

Утром Митя поехал за билетом, а когда вернулся домой, в прихожей несуразно толпилась чужая обувь. Из комнаты вышел дядя Игорь с бледным лицом и красными глазами и сказал:

— Митя, папа умер.

— Когда? — зачем-то спросил Митя.



---

---

ОЛЬГА МАРТЫНОВА

\*

## УЗОР ИЗ ДЕРЕВА И СТЕКЛА

\* \*  
\*

Корни, черви, кроты, кости, клады,  
Что еще я знаю про землю? — полоса черноты,  
Потом огонь.

Птицы, призраки, крики, бабочка-бархат, докучная муха,  
Ветряные братья ветрены и бесплотны.  
Что я знаю про воздух? — вздохи оттуда не доходят до слуха,  
Только холод.

Маленьких скользких демонят  
В лужах прыгают сверкающие рожки,  
Черной воды лабиринт разъят  
На кружки и на дорожки.

Потом огонь. Он живет снаружи, стынет внутри,  
Он бегаёт вместе с кровью от сердца к пяткам.  
Вот и всё. Саламандры бегают, кувыркаясь,  
Прогрызая вены.

*В эту страшную снежную зиму,  
Пишет Гийом де Машо,  
Я потерян, болен, импотентен, печален,  
Разучите, пожалуйста, мой стишок.*

Шестьсот лет он шепчет,  
Затерян в воздухе среди других, поет, плачет.  
В земле, где огонь, — его Дама, выучившая стишок.  
В воде электричество пролившейся крови скачет.

В эту неделю зимы две вороны  
На бронзово позеленевшей ветке облетевшего клена  
От холода, как два голубя, склонили клювы друг к другу  
Сиротливо и сонно.

**Снова декабрь**

*Елене Шварц.*

кроткий декабрь на цыпочках входит.  
елки стоят в загородках — толпа одноногих невест.  
в вареке звезд в студяном плещется Некто, невесть  
Кто плывет наверху, невозможность увидеть Его сердце как ржавчина ест.

---

Мартынова Ольга Борисовна родилась в 1962 году. Закончила Ленинградский пединститут им. Герцена. Автор нескольких лирических сборников. Стихи неоднократно переводились на европейские языки. В настоящее время живет во Франкфурте-на-Майне. Лауреат литературной премии Губерта Бурды для поэтов из Восточной и Южной Европы за 2000 год. В «Новом мире» печатается впервые.

в нарядных вертепах несчастливое притулилось семейство.  
 далеко им в египет, через этот снег, эту слякоть,  
 да и там хорошего мало, можно заплакать  
 (как все изменилось за две тысячи лет!), жуя чужбины жаркую мякоть.  
 румяные женщины достают ледяную мелочь,  
 крутит прозрачный шар на конце своей трубочки стеклодув,  
 плоский ангел, подвешенный за крыло на елку, летит, дудит в золотую  
 дуду,  
 под ногами багровые пятна глинтвейна проступают во льду.  
 петух на шпиле охрип, но кричит свою неслышную весть.  
 время не вовсе застыло, оно вытягивается в тире.  
 вот енот уморительно дрыгает лапками в тире.  
 вот роется бомж в щедром рождественском соре.  
 много чего еще видно в прозрачном шаре,  
 который вот-вот упадет, если его не подхватит никто в декабре  
 (некто, среди подарков не позабывший о даре).

### Полночь

Ничего не исчезнет, ничего не исчезло в сыром,  
 Ноздреватом времени, как огород изрытом,  
 Все висит, все скользит, все дрожит всецыганским взрыдом,  
 Невидимым прошлым завален и этот декабрь,  
 Виденным прошлым древесная кожа теснится,  
 Во времени зияет дыра, освещенная маленьким взрывом,  
 Тогда понимаешь: где-то расплываются и сейчас  
 Фонари — на мокром асфальте раздавленные лимоны.  
 Тогда понимаешь, что время можно считать минутами, можно веками.  
 Все равно через несколько лет всякий город становится безымянным,  
 Называется *ты* или *он* или просто город,  
 Ты знаешь его подворотни, пустоты и (если есть) колонны,  
 Но не знаешь его лица.  
 Снег просыпается сахаром в кофейную ночь. Ничего не кажется  
 странным.  
 Ты просто идешь вдоль реки, не зная начала, не ожидая конца.  
 И чувствуешь город, шевелящий жирными плавниками.  
 Надрывая мизинцем заемную роскошь плюша,  
 Смотришь куда-нибудь, хоть на девочку в желтой куртке,  
 Которую видно через плечо. Не слыша,  
 Что она говорит, видишь фокус вдыхания дыма,  
 Который она забывает выдохнуть, пробуешь слово «дома»,  
 Вспоминаешь другие кафе (вместо плюша клеенчатые разводы),  
 Но те и эти все же одной породы,  
 А также вокзалы, реки, деревья, девочки в желтых куртках.  
 Она сдвигает ресницы, чтоб разглядеть, кто это смотрит бесцеремонно  
 На ее незнание того, что и здесь фонари — те же раздавленные лимоны.  
 Ее спутник оглядывается, куда она смотрит,  
 В это время она выдыхает немного прошлогоднего дыма.

\* \*  
 \*

Облепленные снегом фонари  
 Сочат не свет — рождественский мороз,  
 И город, освещенный изнутри,  
 Не ими освещен.

Жизнь с хищным беличьим лицом и в беличьих мехах  
 Пьет торопливо чай. Снег тает на ресницах.

Зайдешь в кафе по корочке блестящей,  
 По сахарному снегу, по лучу,  
 А выйдешь в страшный город в черных льдах.

Вот дама в беличьих мехах, вот господин в пальто.  
 Пока они сидели здесь над булочкой хрустящей  
 (Их дом — кафе, вечерний воздух — их)  
 И синей тувельки покачивался бант,  
 Скользили черные волхвы, неся звезду в зрачках,  
 В лимонный холод фонарей, как бабочки в саду.

Вот дама с беличьим лицом в такси заносит елку,  
 Вот обернулась, морща нос и поправляя челку,  
 Вот говорит: твое лицо у сумерек, у дня,  
 И страшный холод на лице у ночи, у меня.  
 А фонари сочат мороз, облеплены волхвами,  
 А господин сидит, как дрозд, в заснеженном саду,  
 Считает мириады звезд, не в счет бубня себе под нос,  
 Лицо как у коня.

\* \*  
 \*

Зеленые метры погонные  
 На невских, на венских плечах.

О. Ю.

Это только Вена —  
 Ее великанский шаг,  
 Ее воздушные лестницы, ярусы, зеленый тритон на театральной крыше  
 Раздувает щеки, выдувает марш из зеленой дудки.  
 Головы театральных поэтов ярусом ниже,  
 Как головы перебежчиков, посаженные на пики,  
 Чтоб другим неповадно было шутить дурацкие шутки.

Запрокинув лицо, я вижу сон Кальдерона,  
 А его голова на крыше видит сон Сехисмундо,  
 Сквозь взбитые сливки Вены я смотрю наверх на тритона.  
 Он отвернул свою дудку, я слышу военный вальс.

Лица мальчиков на военных парадах,  
 Площадь Героев, ее имперский разгул и разор,  
 Профили мальчиков в касках, славянские лица.  
 Отсутствие Польши в наших пустых городах.  
 Болгария, Чехия, Венгрия, Сербия, Бессарабия, где вы?

Золотые шары Петербурга,  
 Это больше не повторится.  
 Вы помните, как вы тускнели,  
 Глотая балканскую пыль?  
 Глупая Вена пинала вас каблучками:  
 Гуцульский танец. Улыбался ниточный полумесяц.  
 В Румынии оживлял fin de siècle ватные лица вампиров,  
 Их змеиные волосы: сецессии вялые стрелы.

Между синим дневным и черным ночным оком  
 Небо смотрит почти прозрачным серым,  
 Сыплет мелкими искрами, ненароком  
 Летящими от венских бульваров к петербургским скверам.  
 Но нет родства между ними больше,



Нет родства, и прошло то время,  
Когда их руки касались друг друга,  
Оставляя горячий след вдоль разделенной Польши.  
Я ищу зубчатый обгрызенный верх собора:  
Пористый шоколад в разломе,  
Я иду сквозь бывшие площади Вены,  
Разгребая глазами наплывы лошадиной мускульной пены,  
Я ищу собор, я ищу трамвай, я ищу бульвар,  
Время остановилось, как сто лет назад, шелестят газеты,  
Сонный свет кафе прорезает полосы на страницах,  
Продрогшие террористы сидят в саду на скамейке,  
Я выхожу из Вены, узор из дерева и стекла распахивает швейцар.



---

---

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ

\*

## КРЕСТНЫЙ ХОД

*Рассказ*

**К**ристина в крестном ходу оказалась случайно. Жила она в это время в Ивановской области у бабы Шуры, какой-то дальней родственницы матери. Кристина помогала ей по хозяйству, занималась уборкой в доме. А тут вдруг со всех сторон только и стали говорить:

— Чудо! У Прохоровых чудо! У старушек Прохоровых икона мироточит!

Сестер Прохоровых — Анисию, Матрону и Агафию — в поселке все хорошо знали. Никто не помнит их молодыми, сколько им лет — неизвестно. Казалось, они всегда были старушками. Был у них еще брат Андриуша, который одно время преподавал в школе. А сестер его ничто мирское не интересовало. У них были хорошие голоса, и любимым их делом было петь в церкви. Из соседних областей приезжали люди слушать их пение.

Старшая, Анисия, занималась еще тем, что украшала иконы для верующих. Вырезала из цветной фольги красивые узоры и крепила их под стеклом в киоте. Средняя, Матрона, больше занималась огородом. В одиночку выкапывала картошку и складывала в погреб. Картошка у нее всегда вырастала крупная и чистая, тогда как у соседей зачастую была мелкая и гнилая. У младшей, Агафии, тоже было свое занятие. Она катала для храма свечи из воска, который ей приносили верующие. Кроме того, сестры стегали одеяла, пряли шерсть и вязали теплые вещи. Одеяла и вязанки они потом раздавали людям и рассылали по обителям.

Дом их всегда был полон гостей. Они принимали странников, нищих, калек, всяких убогих, обиженных жизнью. Сестры кормили их, давали приют. Часто ходил к ним блаженный Коля по прозвищу Барон. Как-то давно, когда строили церковь, он упал с колокольни, но нисколько не повредился. После этого перестал есть мясо и сделался подвижником. Ходил по святым местам, посещал монастыри. Маленький, сухонький, всегда босиком, в длинной белой рубашке. Еще гостила у сестер Маша, у которой была гармошка с колокольчиками. С тех пор, как у нее умерли все родные, она ходила по поселку, играла на гармошке и пела. Над ней смеялись, гнали ее, даже нередко били, а сестры ее утешали:

— Когда ругают — грех снимают, а если бьют — на небе венцы льют.

Одно время в поселке стояла воинская часть, и к сестрам то и дело ходили военные. Особенно доктор Чебыкин. Выпьет Чебыкин где-нибудь в поселке вина, в часть возвращаться не хочется, он тогда — к сестрам. С ним приходил часто другой офицер — Федот Кислый, который лечился от какой-то внутренней болезни.

— Случайных болезней не бывает, — говорила старшая сестра Анисия. — Болезнь посылается Богом или как спасительный крест, или в наказание за грехи. Бывает, что ниспосланная Богом болезнь становится

ограждением от больших грехов. Надо терпеливо сносить недуг, и исцеление само придет.

У лейтенанта Кислого все лицо было в гноящихся язвах. Анисия ему и говорит:

— А ты намажь лицо сметаной да дай собаке — пусть оближет.

Кислый сначала смеялся, а потом так и сделал. И лицо у него сразу очистилось.

Однажды пришел еще один офицер из части — капитан Вершин. Вершин очень переживал, что у него выпали почти все волосы. Не старый еще, а совсем лысый. Сестры тогда помазали ему голову елеем из храма, и волосы у капитана снова стали расти. Вершин потом часто приходил к сестрам, приносил им продукты. А через какое-то время, когда воинская часть ушла, сестры узнали, что все их знакомые офицеры — Чебыкин, Кислый, Вершин — погибли где-то в Чечне. Взорвалась машина, на которой они ехали.

Брат Андрюша так и прозвал своих старушек — «три сестры». Вечерами, когда он приходил из школы, он часто дразнил их. Доставал книгу и тоненьким, писклявым голоском декламировал из пьесы Чехова:

— Дорогие сестры! Страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас... Счастье и мир настанут на земле... И помянут добрым словом тех, кто живет теперь... Музыка играет так весело, так радостно... Еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем!

Кто-нибудь из сестер ему отвечал:

— Мы в миру низкий, а у Бога близкий. Нас в какую сторону ни поверни — мы всё одинаковые. Пониже согнешься — чего-нибудь дождешься...

— Каково! — размахивал Андрюша книгой. — Ведь когда написано! Сто лет назад! А где радость и счастье?

Младшая, баба Ганя, ему отвечала:

— В последние времена спасется тот, кто будет жить не так, как все...

Потом, когда школу в поселке закрыли, Андрюша уехал в Москву. Там он познакомился с девушкой по имени Полина. Они уже совсем было решили пожениться, договорились о свадьбе, как Полина скоропостижно скончалась. Андрюша долго не мог прийти в себя. Когда он приезжал к сестрам, он все плакал и рассказывал, какая Поля была необыкновенная женщина. Он начал писать о ней книгу и присылал сестрам исписанные страницы. У старушек уже накопилась целая папка Андрюшиных бумаг. Читать они их не читали, но хранили добросовестно. Старушки все время молились за своего брата и продолжали жить своей жизнью. К ним по-прежнему с утра до ночи шли люди. У кого болезнь, у кого пропажа, кому жениха или невесту выбрать — все со своими скорбями к ним. И все говорили: что сестры скажут, то и случится. Однажды Кулагина Анфиса просила сестер помолиться за своего сына, чтобы бросил курить. Ведь ребенок совсем еще... Сестры ничего сразу ей не сказали, но через несколько дней у сына Кулагинной появился на губе большой прыщ. Мальчик долго не мог курить — губа сильно болела, а потом и вовсе оставил папиросы.

Как-то в поселке проездом был архимандрит Кирилл, который уже давно слышал о сестрах. Он предложил им идти в монастырь, принять постриг. Но сестры отказались, сказали, что у них другой путь. А местный батюшка отец Владимир потом говорил, что жизнь сестер выше монашеского подвига и сами они выше схимников.

— Сам Дух Святой говорит через них...

У сестер дома было много икон и среди них икона Царя Мученика Николая II. И вот как-то раз читали они акафист перед этой иконой и вдруг видят — по краям киота стекает маслянистая жидкость янтарного цвета: миро. И благоухание в комнате такое, что не передать. Матрона обтерла икону платком, а на нем масляные пятна остались. Было это 17 июля, в день убиения Царской Семьи. На другое утро сестры отнесли

икону в храм. Отец Владимир отслужил перед ней молебен, икона снова стала мироточить. Батюшка приложился тогда к образу и говорит:

— Благодати-то сколько! Сколько благодати!

Кристина тогда же ходила в храм смотреть на чудо. Она и впрямь видела, что по краям киота ручейки стекают. Четыре с правой стороны и два — с левой. И тянутся они не прямо сверху вниз, а сворачивают к центру, к образу царскому. Народу в церкви полно. Служительница, стоящая возле мироточивой иконы, протянула Кристине розу и сказала:

— Это от Батюшки-Царя в утешение.

Кристина принесла розу домой и поставила в вазочку перед иконой Божией Матери. Баба Шура даже прослезилась:

— Сиротинка ты моя...

А Кристина и впрямь была как сирота. Отца своего она не знала, мать ей никогда о нем не говорила. Она была пианисткой, Кристина ее толком и не видела. Все время разъезды с концертами, гастроли... А когда мать бывала дома, у них всегда гости после выступления. Мать перед ними в нарядном платье как именинница. Все хвалят ее игру, поздравляют.

— Какая поразительная ровность тушё, — восхищаются гости. — Чистота пассажиров, гамм.

— Я против «весовой игры», — откровенничает мать. — Заменять работу пальцев размашистым падением, перекатыванием нужного веса — это не для меня. Огрубление игры.

Она показывает гостям свои руки.

— Нужна пальцевая дисциплина. Запястный сустав должен быть гибким. Движение в руке делается в запястном суставе.

Мужчины рассматривают ее руки, восторгаются, даже аплодируют.

— Как вам удастся достичь такого совершенства? Сознайтесь, здесь какая-то тайна.

Мать только кокетливо пожимает плечами:

— А что вы думаете? Уж так и быть, я вам признаюсь. Мне всякий раз является во всем своем обличье тот композитор, которого я собираюсь исполнять. Ставит мне руки на клавиатуру и показывает, как надо играть его произведение.

Кристина смотрит на свою мать — какая она красивая, веселая. Мать рассказывает, как, к примеру, во время репетиции отдельных частей из «Хорошо темперированного клавира» перед ней предстал сам маэстро Бах. В парике, с пышным бантом у горла.

— Здесь лучше легкая оттяжка сильной доли, — говорил он ей тогда. — Изменение мелодического рисунка темы. Замена восходящей сексты нисходящей терцией.

В «Английской сюите» Бах научил ее, рассказывает мать, уплотнять фигуру в кадансе.

— Восьмые в басу превращаются в шестнадцатые. А в «Аллеманде» с шестнадцатого такта все восьмые с точками снабжаются мордентами.

Гости только ахали и удивлялись:

— Скажите, как интересно! Это что же — дух великого Баха или его призрак?

— Да нет же, — отвечала мать. — Сам композитор в своей живой плоти. Да и не только он один. Многие другие тоже являются.

И мать рассказывает, как дал ей бесценные указания Моцарт по поводу исполнения его сонаты.

— Правая рука слегка смещается во времени относительно левой. Арпеджирование аккордов.

Другой раз мать рассказывала, как у нее в гостях был Шопен. Он тоже научил ее некоторым приемам. Например — необычайная тонкость тушё при ограниченном звуковом потоке. Что называется, «слабый звук», руба-

то, которое есть непринужденность, но не беспорядок. Разные степени длительности стаккато и нон легато.

Кристина тогда была еще совсем маленькая и никак не могла понять, как все-таки могли живьем являться давно умершие люди. А потом мать и вовсе не вернулась из гастрольной поездки. Осталась где-то жить с директором филармонии.

— Сиротинушка ты моя, — снова вздыхает баба Шура.

А между тем волнения в поселке вокруг мироточивой иконы у сестер Прохоровых не утихали. По дворам ходил Спиридон Попрядухин и всем рассказывал, что он вылечился перед этой самой иконой от пьянства. И в самом деле, в поселке все хорошо знали про запой Спиридона, а тут, в какой дом он ни зайдет, предлагают ему угоститься рюмочкой, а Спиридон ни в какую. Даже глядеть на вино не хочет.

Или другой еще случай. Извѣстка, соседка бабы Шуры, приходит в гости, а у нее на подбородке большой чирей. Говорит, торговка какая-то на рынке обругала ее, и сразу чирей вскочил. Через день приходит снова Извѣстка, подбородок у нее чистый. А это батюшка отец Владимир помазал ей лицо тряпкой со следами мира от иконы, и чирей пропал. И благоухание от Извѣсткиной теперь сильное идет. Извѣстка так и сказала:

— Батюшка-Царь и есть новый Николай Угодник. Два Николая молятся за нас и помогают нам.

Спиридон Попрядухин вторит ей:

— Государь нами управляет! Он нас всех простил! Потому как каждый из нас его подданный.

Тогда же было еще одно знамение. Икону Царя Мученика в храме поставили рядом с иконой, на которой изображена вся Царская Семья. В центре Государь с Государыней, перед ними Царевич Алексей, по бокам четыре Великих Княжны. И вот от иконы Царской Семьи стал исходить чудесный запах. А на лице Царицы появились крупные слезы. Было это 12 августа, в день рождения Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича. Плакала Государыня два дня подряд.

Кристина водила бабу Шуру в храм смотреть иконы. У бабы Шуры отекавшие, больные ноги, она не могла вставать на колени в церкви. А тут вдруг она легко и просто опустилась на колени, потом и поднялась сама без посторонней помощи.

— Батюшка-Царь, Царица и детки их — живые, — сказала баба Шура. — Они с нами.

И вот тогда же, в августе, было решено идти с этими иконами крестным ходом в Кострому в Ипатьевский монастырь, чтобы успеть к празднику Обретения Феодоровской иконы Божией Матери. Известно, что этой иконой инокиня Марфа благословила на царство первого Романова — своего семнадцатилетнего сына Михаила. Народу в день выхода собралось много, человек около ста. Все люди знакомые. Блаженный Коля Барон, Маша с гармошкой, Спиридон Попрядухин, соседка Извѣстка. Были также из соседних деревень: Наталья Путятинская из Путятина, Дуня Жалкая, Марфа Кормилица из села Кормилицы. Блаженная Груша на костылях, хотя ноги у нее здоровые... Она всегда привязывала к своему телу мешочки с солью, которые причиняли ей боль и неудобства. Приехал даже Андрюша Прохоров из Москвы. Он как увидел Кристину — идет к ней вместе с сестрами. Протягивает Кристине толстую папку.

— Здесь мои бумаги, — говорит он. — Это я о своей невесте Полине написал. Возьми с собой. Как будет время, почитай.

А Коля Барон ходил в толпе и говорил:

— Это мои пули летели в Царскую Семью в подвале дома Ипатьева, в Екатеринбурге! Я виновен в убийстве Царской Семьи! Мой штык добивал их! Кровь Государя на мне! Господи, прости меня, окаянного! Не ведал, что творил! Православные, помолитесь обо мне!

Люди его успокаивали:

— Будет тебе, Барончик! Ты по возрасту не мог быть там! Это же когда было! Через год после революции!

Коля Барон только кивал головой:

— Да, да, я знаю. Но я нарушил клятву, данную русскими людьми на Великом Земском Соборе, — служить верой и правдою роду Романовых. Ведь это я говорил повсюду, что Царь — угнетатель и враг трудового народа! Ведь это я называл Государя кровавым убийцей! Считал героями бандитов, убивших Царскую Семью!

Колю Барона с трудом успокоили. А в полдень после Божественной Литургии двинулись в путь. Во главе шествия отец Владимир с крестом. За ним несли хоругви и большую икону Божией Матери «Державная» на носилках. Дальше мироточивый образ Царя Мученика и икону Царской Семьи. Впереди ехала машина, которая оповещала встречный транспорт о шествии. За ней походная кухня, а позади всех грузовик с сумками и вещами участников крестного хода. Шли с пением молитв.

В первый же вечер, когда пришли в деревню Вичуга, отслужили молебен перед домом культуры, где раньше был господский дом. Народу много, все обнимались и целовались, как на Пасху. После трапезы участников крестного хода разместили на ночлег в доме культуры. Кристина нашла себе каморку в подвале и устроилась там. Среди ночи просыпается она и вдруг видит в темноте какую-то фигуру. Свет на нее падает из окошка под потолком. Монашеская ряса, в руках крест. Кристина почему-то не испугалась, а ночной гость говорит:

— Гляжу я, какие почести Царской Семье! Какое почитание! Вроде как святые и есть! А ведь они простые люди, такие же, как другие.

— Вы кто? — спрашивает Кристина.

— Священник я, с Ваганьковского кладбища в Москве. Я как раз был там на кладбище во время коронации Государя.

Кристина сразу вспомнила свою мать, как ей тоже являлись люди из давних времен. «Ну вот, — подумала она. — Теперь и я сподобилась».

А священник продолжает:

— В первом часу ночи стали на кладбище прибывать подводы с трупами. Это на Ходынском поле катастрофа была. Сколько людей погибло! Несчастье! А все по жадности людской! Кинулись за царскими подарками! А что там дарили-то? Сайка, полфунта колбасы, пряник вяземский да кружка особая, «коронационная». Толпа огромная собралась с ночи. А там на поле ямы, рвы. Вот и подавили друг друга, как за подарками кинулись.

Кристина смотрит на силуэт и все равно не может понять: снится это ей или на самом деле батюшка из Москвы?

— Мы сначала не хотели пускать покойников на кладбище без установленных порядков. Но архиерей распорядился принимать. Которые покойники без гробов были, тех так и складывали возле забора. А которые в гробах, тех вдоль дорожек ставили в два ряда. Гробы мы не закрывали. Все открытые. Чтобы люди, значит, могли своих отыскать. Они как найдут родного, голосить принимаются. А трупы все страшные. Лица вздутые, почерневшие. Пригнали чухонцев, человек двести. Стали они ров рыть. Ну, часть покойников родные забирали, других хоронили тут же на Ваганькове. Гробы укладывали в ров один к другому. Насыпали сверху известки. Потом зарывали и ставили кресты.

«Нет, это все-таки не сон», — решила Кристина.

— Тогда многие обвиняли Государя в катастрофе, — продолжает батюшка. — А он не виноват. Не по вине Государя кровь, а по нашей жадности! Николай Александрович сильно переживал случившееся. Они с Александрой Федоровной были на панихиде в церкви. Потом обходили раненых в Старо-Екатерининской больнице. Государь каждого спрашивал: не нужно ли чего? А ему отвечали — всем довольны. Ни один не обратил-

ся ни с какой просьбой. Никакого упрека! Многие даже просили прощения у Царя за то, что испортили такой праздник. А Николай Александрович никого не винил. Распорядился выдать по тысяче рублей на каждую семью пострадавших из своих личных средств. Учредил особый приют для осиротевших детей. Все расходы на похороны принял на свой счет. Вот я и говорю: ведь не виноват, а как переживал. Такой же человек, как и все. А здесь чудно — икону его несут.

Кристина так заслушалась батюшку, что не заметила, как он пропал. Утром проснулась она, лежит и думает: был ли батюшка или не был? А как отслужили утреню, праздничный молебен Царю Мученику, двинулись дальше. Наталья Путятинская, которая шла рядом с Кристиной, говорит ей:

— Ноги у меня накануне разболелись, сладу нет. Еле дошла. И вот ночью снится мне сон. Будто я в большом зале. За круглым столом сидит наш Царь Николай Александрович. Вокруг свита, военные. Обсуждают что-то серьезное. А я стою в стороне, не решаюсь подойти. Вдруг Царь поворачивается ко мне и пристально так на меня смотрит. «Какая у тебя ко мне просьба?» — спрашивает. Голос тихий такой, ласковый. Я стала слезно жаловаться, что ноги болят. Царь тогда написал что-то на бумаге и протягивает записку подошедшему к нему офицеру: «Передать срочно!» Тот отдал честь и ушел быстрым шагом. А утром встала я как ни в чем не бывало. Ноги будто новые. Вечером думала, что дальше идти не смогу, а тут никаких следов болезни.

Когда подходили к селу Макарихе, навстречу к ним люди вышли. Опустились на колени цепочкой друг за другом посреди дороги. Над их головами пронесли чудотворный образ Государя, а они просят отслужить молебен о даровании дождя. Уже который день, говорят, у них засуха. Ну, молебен отслужили, пошли дальше. Не успели еще отойти от Макарихи, как хлынул ливень. Нитки сухой ни на ком не оставил. Отец Владимир утешает людей:

— Это дождь грехи с нас смывает, которые наружу с потом выходят.

К вечеру пришли в село Жеребчиха. Народу много собралось возле храма. После молебна трапеза. Сельчанам тоже раздавали еду. Приходили дети, старики, женщины с кастрюлями. Им накладывали гречневую кашу с подливой и зеленым горошком, давали хлеб, чай. На ночь всех участников крестного хода прихожане разобрали по домам. Кристина оказалась в доме у одинокой женщины. Хозяйка постелила ей в углу на сундуке. А ночью Кристина чувствует — на сундуке рядом с ней кто-то сидит. Она думала — опять батюшка с Ваганьковского кладбища. Потом пригляделась — вовсе не батюшка, а какая-то женщина в косынке, низко повязанной на лоб.

— Не удивляйся, — говорит гостья. — Я сестра милосердия. Из Царскосельского лазарета. Когда война началась, императрица и две старшие княжны окончили курсы сестер милосердия. Потом они у нас в госпитале работали. Ведь как обычные люди. Никакие не святые. Ольге тогда было девятнадцать, Татьяне — семнадцать. Я их каждый день видела. Мы приезжали к девяти утра. В операционную уже везли раненых. Вид у них ужасный. Я и сейчас забыть не могу. Вместо одежды — окровавленные лохмотья. С ног до головы покрыты грязью. Многие кричали от невыносимой боли. Другие без памяти. Смотришь на него и не знаешь — жив ли он? Надо было стащить с каждого завшивленное тряпье, вымыть его. А зловоние ужасное. Младшие княжны, Мария и Анастасия, в этом не участвовали. Они шили белье для солдат, как простые портнихи. Готовили бинты и корпию. А Государыня присутствовала при всех операциях. Императрица Всея Руси, как самая рядовая сестра, подавала стерилизованные инструменты, вату, бинты. Принимала из рук хирурга ампутированные конечности. Перевязывала гангренозные раны. А вот теперь она на иконе! Дивны дела Твои, Господи!

Сестра милосердия еще долго что-то рассказывала, а потом Кристина уснула. Утром хозяйка дома стала поить ее чаем, сама рассказывает:



— Я вашу чудотворную Царскую икону на себе испытала. Благослови, Господи! Муж у меня неверующий, непутевый. Из дома ушел, жил неизвестно где. А потом мне посоветовали съездить к вам в поселок к сестрам Прохоровым. Я и поехала. У них тогда икона была Царя Мученика. Покаялась я перед ней в греховном, горделивом отношении к своему мужу. И с сокрушенным сердцем помолилась Государю о нем. Ведь погибал человек. И вот, не успела я вернуться, письмо от него. Пишет, что сердце у него изболелось по дому. Писать раньше не решался. И вот наконец решился. А все по молитвам нашего Государя. Он ведь таким замечательным супругом был. Такая семья у них прекрасная.

Кристина вспомнила свою семью, свой дом и подумала: «Да, у них была хорошая семья».

— А где же сейчас ваш муж? — спрашивает она.

— Все письма пишет, — отвечает хозяйка.

Она снимает со шкафа и показывает Кристине большую коробку с распечатанными конвертами.

— Может, вскоре и сам объявится. Я все жду его.

Кристина поблагодарила хозяйку за чай и пошла к своим. После молебна, как обычно, двинулись в путь. День был жаркий, шли под палящими лучами солнца. Кристина шла сразу за отцом Владимиром и видела, что подрясник его весь пропитался потом и побелел от соли. Соль выступала на плечах, на воротнике. Лица у всех красные, обожженные. Когда на привале разувались, у многих на ступнях волдыри, кожа потрескалась и лопалась. Кристина тоже растерла ноги до крови, пальцы распухли. Ей помазали ступни святым маслом, боль стихла.

Вечером попала на пути пустая, брошенная деревня. Стоят крепкие, добротные дома, в которых никого нет. Люди ушли, вокруг запустение. На ночь решили остаться здесь. Кристина со своей спутницей Дуней выбрали просторный рубленый дом. Внутри пыль, грязь. Прибрались они немного, как смогли, и устроились на полу. Кристина легла в стороне от Дуни, возле двери. Она все ждала, что к ней непременно явится кто-то — медсестра из госпиталя или батюшка с кладбища. Но явился среди ночи совсем неожиданный гость — стройный молодой красавец в форме морского офицера.

— Лейтенант императорской яхты «Штандарт», — представился он, приложив руку к козырьку. — Имел честь принимать на судне императорскую семью.

— Очень приятно, — только и могла выговорить Кристина.

— Забавно глядеть, — продолжает офицер. — Сейчас Царская Семья на иконе, а мы-то их принимали на яхте как земных людей. Не как святых.

Кристина поднялась с пола и подошла к окну, за которым стояла яркая луна. Офицер оглядел ее с ног до головы.

— А уж как хороши были княжны! Загляденье! Ольга, самая старшая, ей восемнадцатый год шел. Упрямая, непослушная, вспыльчивая. Белокурые волосы, большие голубые глаза и дивный цвет лица. Татьяна худенькая, высокая, вся в мать. Редко шалила и всегда останавливала сестер. Они ее прозвали гувернанткой. Волосы темные, глаза серые. На мой взгляд, самая красивая из сестер. Мария тоже была бы красавицей, губы только у нее толстоваты. Она вообще была пухленькая. Густые каштановые волосы. Младшая, Анастасия, самая резвая, всегда шалила. Пряталась, смешила всех. Проказничала отчаянно. Однажды на яхте был торжественный обед, масса приглашенных. Анастасия забралась под стол и ползала там, как собачка. Ущипнет кого-нибудь за ногу, а тот не смеет что-либо сказать в присутствии Государя. Наконец отец вытащил ее за волосы и наказал.

Офицер подошел к окну и встал рядом с Кристиной.

— Мы все были влюблены в княжон и отчаянно ухаживали за ними. Вместе играли в теннис. Гуляли, гребли на лодках. Девочки тоже увлека-

лись офицерами. У Ольги Николаевны и вовсе был роман с лейтенантом Вороновым. Одевались сестры просто, почти всегда в белом. Золотых украшений ни у кого не было. Разве что золотой браслет, который они получали в двенадцать лет и никогда не снимали. Какое блаженное было время! И вот в эти божественные создания стреляли в подвале! Потом штывками! Чудовищно!

Офицер отвернулся и украдкой вытер глаза.

— Особенно жалко Ольгу Николаевну. Ведь за нее сватался румынский наследный принц. Он приезжал к нам со своей матерью. А потом Царская Семья отдавала визит. Ходили из Крыма на нашей яхте в Констанцу. Ольгу Николаевну все дразнили по поводу жениха. А она о нем и слышать не хотела. Не могу, говорит, уехать из России, от своих родных, от семьи. А ведь не откажись она тогда от замужества, осталась бы жива. Не оказалась бы в Екатеринбурге, в подвале Ипатьевского дома.

Когда стало рассветать, офицер пропал. Кристина на всякий случай спросила у Дуни:

— Ты ночью ничего не видела? Не было у нас никого?

— Да кому же здесь быть? — отвечает Дуня. — Да и спала я сегодня крепко, ничего не знаю. Можно сказать, впервые за сколько дней выпалась. Уж сколько дней зуб у меня ломило, прямо невтерпеж. А вчера, как акафист перед образом Царя Мученика спели, я платочек к иконе приложила. Икона-то мироточит. Я и говорю с Государем как с живым человеком: «Мой дорогой, любимый! Я не могу идти дальше с больным зубом. Что мне делать? Прямо хоть обратно возвращайся». Потом взяла и приложила платочек со следами мира к щеке справа, там, где зуб болел. В ту же минуту щека горячая стала. Зуб больше не болел.

Все участники крестного хода собрались возле разрушенной церкви и после утренней службы пошли дальше. В этот день снова стояла изнуряющая жара. В деревне Чириково остановились возле колодца. Отец Владимир освятил его, и все с жадностью стали пить. Местные жители сбежались, смотря как на чудо.

— А мы из этого колодца давно воду не берем, — говорят они. — Испорченная она.

— А теперь можете брать, — сказал отец Владимир. — Если крепко будет молитва ваша, Господь даст силу и молитве Царских Мучеников за нас...

Поскольку день клонился к вечеру, решили остаться на ночь в Чирикове. Кристина не стала ложиться вместе со всеми в избе, а пошла в сарай. Она все гадала: кто же к ней явится сегодня? Только лежала она, лежала, ночь уже на исходе, а никого нет. Она решила, что сегодня никого уже не будет. А под самое утро вышла из сарая и вдруг видит во дворе женщину в инвалидной коляске.

— Вы кто? — спрашивает она осторожно.

— Ты что же, не узнаешь? — хмыкает женщина. — Быстро же вы всех забываете. Фрейлина Императрицы княжна Орбелиани. Всю жизнь на костылях. Наследственная болезнь, от которой умерла моя мать, — прогрессивный паралич. Но я, несмотря ни на что, всюду следовала за Государыней. В поезде, на яхте. И теперь вот за ее образом еду.

Кристина вдруг неожиданно для самой себя спрашивает:

— А какая она была — Государыня?

Княжна вновь хмыкает:

— Такая же, как и все. Земной человек. Ты не смотри, что она на иконе. Все человеческие слабости, какие есть, были и у нее. Бережлива была до скупости. Я ей всегда это говорила. Дочерям ко дню их рождения дарила по три жемчужины, чтобы к их совершеннолетию у каждой вышло жемчужное ожерелье. А купить сразу целое ожерелье — слишком большой

расход. Во время визита короля Эдуарда Английского очень переживала, что Государь выбрал для англичан слишком дорогие подарки. Долго потом ему выговаривала, что мог бы и подешевле.

— А какие подарки она сама делала? — спрашивает Кристина.

— Вязала шарфы, шерстяные платки и дарила приближенным. Не золото и не бриллианты, а свое рукоделие. Однажды кому-то подарила отрез на костюм. Многие на нее обижались — разве это царские подарки? В некоторых салонах ее язвительно называли «полковницей». А она, бедняжка, все это переживала. Мученица, истинная мученица. Сколько пришлось вынести! Неприязнь матери супруга Марии Федоровны. А во время войны? Все общество было против нее. Одно слово — немка! Выслать ее из России! Уж как мне ее, голубушку, жалко было. Вот вечером сидит одна, вяжет что-нибудь. А Государь в это время в караулке с солдатами в домино играет. Ну, потом, правда, приходит. Книжку ей вслух читает. Однажды сижу я с Государыней, вдруг в соседней комнате свист какой-то. Я спрашиваю: что это за птица у них? А Государыня покраснела и отвечает, что это не птица. Это Государь вызывает ее. И тут же убежала.

В это время в доме слышались голоса, и княжна пропала, только следы от ее коляски остались на земле. А на крыльцо вышли Марфа Кормилица с хозяйкой дома.

— И охота вам в такую жару таскаться по дорогам, — говорит хозяйка. — Да еще тяжесть такую с собой нести.

— Как же иначе? — отвечает Марфа. — Царь-батюшка нас слышит. Он нами управляет. У нас в России теперь нет безвластия!

— С чего же ты взяла, что Царь нас слышит? — спрашивает хозяйка.

— А он моему помог, рабу Божию Сергею. Муж целый год был без работы. Фабрику ихнюю купил новый хозяин, Сергея моего и уволили. Двое детей у нас — мальчик и девочка. Долгов выше головы. А вот как-то был у моего мужа день рождения, тридцать восемь лет ему. Он и решил поехать на фабрику, где раньше работал. А я в это время молилась, просила помощи у Царя Николая Александровича. Вдруг телефонный звонок. Поднимаю трубку и слышу мужской голос: «Здравствуйте». Я говорю: «Здравствуйте, дядя Витя». Уж больно голос похож на голос дяди моего мужа. А мне в ответ: «Я не дядя Витя. Я Николай Александрович». Я сначала ничего не поняла, а потом мне все стало ясно. В нашей судьбе принял участие сам Государь. И муж мой получил в этот день работу, о которой даже и не мечтал. Все по молитвам Царя-батюшки.

Тут стали выходить из дома другие участники крестного хода. После обычной молитвы и трапезы двинулись в путь. И вот на пятый день вышли на берег Волги. Некоторые не выдержали, стали купаться. Вскоре подошел теплоход, погрузились на него и с пением молитв поплыли по Волге. На палубе сидел священник из Костромы, отец Паисий, настоятель храма. Он рассказывал, что храм его выстроен на средства одного благочестивого купца. В одной из партий бочек с селедкой купец обнаружил бочонок с золотом. Он и рассудил: «Просто Бог дал — Богу и верну». Не закопал на черный день, а отдал на строительство церкви. Скопил, стало быть, себе богатство не на земле, а на небесах. Теперь христиане, приходящие в эту церковь, молятся о нем.

— Упокой, Господи, его душу! — сказал отец Паисий.

Кристина часто садилась на палубе возле отца Паисия и слушала его рассказы.

— В годы гонений и скорби люди все же идут в гору — к Богу, — говорил отец Паисий. — Но наступает такое время, когда всего будет столько, сколько было при царе, и даже больше, и тогда все пойдут вниз.

Тут же крутился блаженный Коля Барон. Ходит вокруг батюшка кругами, подпрыгивает:

— Когда правил Николашка, то была крупа и кашка! Николай был не дурак, вот и стоил хлеб пятак! А сейчас другой режим — все голодные лежим!

Все, кто был рядом, принимались останавливать Колю Барона, но тот только отмахивался:

— Погодите, погодите! То ли еще будет! Вот придет Америка и всем покажет! Сметет все, и мало не покажется!

Скоро стали подплывать к Костроме, любовались куполами храмов, блестящих на солнце. Потом сошли на берег и двинулись в Анастасьин женский монастырь. Там в Богоявленском соборе — Феодоровская икона Божией Матери. Встречали их священники, толпа народу. Как только икону Царя Мученика приложили к образу Божией Матери, по царской иконе потекло миро. Кристина подсчитала — ровно тринадцать струек. Люди прикладывались к иконе, молились, опускались на колени. Среди них была женщина с большой коляской. Она сказала, что в коляске ее мальчик, которому пятнадцать лет. Он всегда без сознания, ни на что не реагирует. Детский церебральный паралич и еще водянка головного мозга. Голова у мальчика огромная.

— Он не может встать и приложиться к иконе, — говорит женщина. — Очень прошу вас — благословите его Святым образом.

Отец Владимир трижды перекрестил болящего иконой. Мальчик никак не реагировал. А потом смотрят — из-под его полузакрытых век текут слезы. Многие вокруг тоже заплакали.

— Душа его отреагировала на святыню, — сказал отец Владимир.

После службы всех участников крестного хода разместили в монастырской гостинице. Кристина оказалась в номере, где уже жила та самая женщина, у которой больной мальчик. Коляска с ним стояла тут же в номере. Кристина все переживала: вдруг ночью опять будут гости, как тогда с соседкой? Она долго не могла уснуть, все ворочалась. Потом не выдержала, вышла в коридор: там тоже никого. Обернулась — какой-то человек сзади стоит, не старый еще. Белые чулки, лакированные башмаки, мундир, шитый галунами.

— Вы что же, тоже от Царя Мученика? — спрашивает Кристина.

Гость церемонно склоняется перед ней:

— Камер-лакей Государя. Вы тут с иконами расходились, семью царскую носите. А ведь я их всех знал как обычных, живых людей. Царевич Алексей Николаевич, к примеру. Уж какой шалун был. Капризный, своенравный. Учитель у него был англичанин Гиббс, так царевич его вконец изводил. Ему тогда десять лет было. Я присутствовал однажды на их уроке. Англичанин читает что-то Царевичу, а тот в это время ножницами хлеб режет. Режет и кидает в клетку с птицами. После этого накрутил на зубы проволоку. Затем снова схватил ножницы и хотел остричь учителю волосы. Гиббс стал останавливать его, а Царевич залез за портьеру и завернулся в нее. Когда же англичанин вытащил его оттуда, то увидел, что Царевич выстриг себе большой клочок волос. После этого Царевич принялся резать ножницами обои и портьеру, выковыривал кусочки свинца, пришитые к портьерам для тяжести.

— Скажите пожалуйста! — удивлялась Кристина. — Никогда бы не подумала.

— Другой раз Царевич перенес из буфетного шкафа все столовое серебро и завалил им стол, за которым они занимались, так что сесть было некуда. Короче сказать, приводил своего учителя в полное отчаяние. Хотя, конечно, мальчика можно понять. Болезнь его все объясняет. Гемофилия, несвертывание крови. Несчастный мальчик, он не мог играть с другими. «Почему я не как все?» — без конца спрашивал он. Он только и занимался тем, что все дни напролет играл в солдатики. Да еще брэнчал на бала-лайке. Во время войны ему присвоили звание фельдфебеля. Он очень гордился своими нашивками.

Тут лакей достал из кармана своего мундира какую-то необычную бутылку, на дне которой плескались остатки жидкости. Бутылка была сделана в виде женской полуфигуры. Он отпил глоток и говорит:

— Водка высшего качества! Царская! А бутылка-то какая! Фигурная! Это моя Ольга!

Лакей прижал бутылку к щеке и поцеловал ее.

— Что еще за Ольга? — спрашивает Кристина.

— А это, видишь ли, в Санкт-Петербурге была такая фирма — «Бекман и К°». Так вот к трехсотлетию дома Романовых фирма выпустила водку в бутылках в виде фигур членов императорской семьи. Четыре девочки и один мальчик. Полное портретное сходство. У меня вот Великая Княжна Ольга Николаевна.

Лакей еще раз поцеловал бутылку.

— Не иконы надо носить, а такие вот сосуды! — заключил он.

После этого лакей повернулся на каблуках и не спеша стал удаляться, пока не растворился в конце коридора. Кристина вернулась в номер, легла и тут же уснула. Утром, как рассвело, соседка будит ее:

— Смотри, что я тебе покажу.

Она вынимает из коляски сумочку и достает из нее медальон с крышкой размером с куриное яйцо.

— Эта святыня всегда со мной. Здесь царская кровь.

Женщину звали Калерия Павловна. Она рассказала, что у нее в Екатеринбурге есть знакомый Саша. Мать Саши одно время была сторожем в Ипатьевском доме, пока его не разрушили. Саша ночами тайком ходил к матери. Они ставили свечи возле подвала, где была убита Царская Семья, молились, пели «Вечную память». Мать как-то сказала Саше, что на стенках подвала до сих пор видны следы крови. Сколько лет прошло, а кровь все равно выступает. Уж замазывали ее, счищали — ничто не помогает. Тогда Саша что сделал? Взял с собой долото и стамеску и ночью проник в подвал. Отколол от стенки кусочек штукатурки со следами крови. Потом выпросил у бабушки вот этот самый медальон, налил в него горячий воск и опустил туда кусочек штукатурки.

Кристина с восхищением разглядывала медальон. На фоне белого воска голубой кусочек штукатурки и на нем капли крови: одна большая — бордовая, средняя — со спичечную головку, бледно-оранжевая и пять мелких капелек, как точки. Семь капель по числу членов Царской Семьи.

— Здесь капелька и Наследника Цесаревича, — сказала Калерия Павловна. — Мой мальчик непременно поднимется. Я в это верю.

Она поцеловала медальон и снова убрала его.

В этот день крестный ход направился в Ипатьевский монастырь, где Михаилу Федоровичу Романову было объявлено об избрании его Царем. Дорóгой отец Владимир говорил:

— Династия, дарованная Господом в Ипатьевском монастыре, отнята Им в Ипатьевском доме за грехи людей. А лестница, по которой Государь сходил в подвал, привела Его в горнюю высь, в сонм праведников, молящихся о спасении России.

Когда шли по мосту через Волгу, всюду звонили монастырские колокола. Перед воротами к ним вышел настоятель монастыря архимандрит Павел. В Троицком соборе была служба, и опять икона Царя Мученика мироточила. Кристина смотрит — к иконе подводят старика с палочкой, который шел вместе с ним в крестном ходу в сопровождении мальчика. Старик в пути всем рассказывал, что у него диагноз — маколодистрофия. Это когда в глазной сетчатке отмирают клетки. Ему делали операцию, удалили катаракту. Он был и этому рад — теперь мог хоть дорогу перед собой видеть. А тут как подвели его к аналою, старик и говорит архимандриту:

— Хочу совсем исцелиться!

А отец Павел ему отвечает:

— Хочешь исцелиться — молись Царю Мученику вместе со мной.

Положил он голову старика на икону Государя, накрыл рушником со следами мира и стал молиться. Потом поднял голову старика и трижды приложил к его глазам рушник. Старик постоял, постоял, пожал плечами и отошел как ни в чем не бывало. А какое-то время спустя смотрят люди — он записочки подает о здравии и за упокой.

— Это я ведь сам написал! — кричит он. — Я теперь вижу, могу писать!

Его все стали поздравлять, благословлять Царских Мучеников. А отец Павел говорит:

— Знайте, что суть не только в прославлении Царских Мучеников. Главное — это возрождение через них. Подвиг Государя был ради победы над силами зла. В России сейчас смутное время. Но я верую — придет конец бесовскому шабашу. Воскреснет Святая Русь! Государь понес большие скорби за грехи русских людей. «Кругом измена, трусость и обман, — говорил он. — Если Господу нужна искупительная жертва для спасения России, я буду этой жертвой». Государь сейчас самый сильный молитвенник перед Господом за Россию.

Тут рядом с Кристиной бухнулся на колени Коля Барон.

— Увы мне, окаянному! Я был в этом подвале! Я все видел! Нет мне прощения!

Кристина пытается утешить его:

— Опять ты за свое, Барончик! Не мог ты быть там! Тебя и на свете еще не было!

А Коля Барон ее не слышит:

— Вот спускается вниз Царская Семья и их слуги. Всего одиннадцать человек. Наследник не мог сам идти, его несет на руках Государь. В подвал подали три стула. Остальные стоят на ногах. Потом вошли палачи. Двенадцать револьверов выстрелили почти одновременно. Залп за залпом. Люди валяются на полу, все залитые кровью. Наследник еще жив, он тихо стонет. Убийца Юровский стреляет еще раз в него, и мальчик затих. Анастасия Николаевна тоже еще жива. Она кричит и закрывает лицо руками. Девочку приканчивают штыками.

Коля Барон поднимается на ноги и отходит к двери.

— Помолитесь обо мне, православные! Помолитесь, чтобы не быть мне отлученным от Святой Троицы!

Он выскочил из церкви, Кристина пошла за ним. Только на улице блаженного нигде не было. Вместо него Кристина видит Андрюшу Прохорова.

— Что же вы не в храме? — спрашивает она.

И тут замечает, что все лицо Андрюши залито слезами.

— Господи, как она не хотела умирать! — говорит Андрюша. — Как молила оставить ее на земле!

Кристина сначала даже не поняла, о чем он говорит:

— Это вы о ком?

— Полина, невеста моя! Сначала она все жаловалась на разные недомогания. Боли во рту, температура высокая, слабость. Потом пошла в районную поликлинику, а там ей поставили диагноз — лейкопения, белокровие. Тут же на «скорой помощи» — в больницу. Отделение онкогематологии. Там ее сразу же взяли в оборот. Три цикла химиотерапии.

— Белокровие — это рак, что ли? — спрашивает Кристина.

— Малое количество эритроцитов в крови. Поражение мозга. Восемь процентов опухолевых клеток.

Андрюша вынул платок и вытер лицо.

— Я как пришел к ней, даже испугался. Трубочки вокруг какие-то, приборы. Штатив стоит с банками, катетер. Все время возят ее по разным кабинетам: рентген, сканер, томография. Без конца переливание крови.

Самая главная процедура — пункция костного мозга. Врач говорит: костный мозг ленив, работает не в полную силу. Однажды что-то не получилось с установкой катетера, и у Полины в этом месте образовалась огромная болезненная гематома. Другой раз ночью оборвалась трубочка, подходящая к катетеру, Полину залило кровью.

— Неужели все-таки ничего нельзя было сделать? — вздыхает Кристина.

— Я приходил к ней каждый день и всякий раз не узнавал ее. Волосы на голове выпали, лежит бритая, в чепчике. Рот весь в болячках. Воспалились кисти рук. Потом пошли печеночные колики. Печень была отравлена введением химии. Лицо все желтое от желтухи. Озноб немилосердно. Никакие одеяла не помогают. Все время надо менять белье — сильно потеет. Дышит с трудом, стонет, жалуется, что жмет сердце. Я думал, что сойду с ума. Прижму ее к себе и говорю: ты выздоровеешь. Плохие клетки убиты, растут хорошие. Возвращайся, не уходи!

Кристина тут чувствует, что у нее тоже глаза набухают слезами.

— Потом Поля вовсе перестала двигаться, не открывает глаза. Губы шевелятся, а слов не слышно. Врач говорит: она умирает. Сегодня или завтра утром. Я ему: может, реанимация? Он только рукой машет: какая реанимация! Я смотрю на Полю. Пульс у нее истончается, дыхание все реже и реже. Умерла она у меня на руках.

Андрюша не мог дальше говорить. Махнул рукой и побежал в храм. Кристина идет к монастырским воротам, сама думает: «Что же это я? Так и не читаю бумаги Андрюши, которые он мне дал. Сегодня же непременно начну читать».

Возле монастыря она увидела странную группу людей. Мужчина с бородкой, в гимнастерке, возле него женщина в простеньком платьице. Тут же четыре миловидные девушки с распущенными волосами и мальчик в матросском костюмчике. Они стояли и смотрели на толпы людей, идущие в монастырь. Если бы не современные одежды на них, Кристина так и решила бы, что это точно Царская Семья. Идет она мимо них и слышит разговор:

— Кто научил тебя, Ники, почитать подобным образом волю Бога? — спрашивает женщина. — «Да будет воля Твоя». И ты называешь это христианством? Только это звучит скорее как магометанский фатализм. Истинное христианство больше в действии, чем в молитве. Ученики Христовы никогда не сидели сложа руки. Они шли из края в край, проповедуя слово Божие. Господь Бог даровал тебе сто шестьдесят миллионов жизней. Бог ожидал от тебя, что ты ни перед чем не остановишься, чтобы дать им счастье.

— На все Его Святая воля! — отвечает мужчина. — Я родился шестого мая, в день поминовения многострадального Иова. Я был готов принять свою судьбу.

А женщина — свое, вроде как не слышит его:

— Надо было менять правительство Штюмерера! Тебя все предупреждали! Дядя твой Александр Михайлович так тебе и писал: если не поставишь других людей, будет катастрофа. Ты виноват во всем, что произошло!

— Что же я мог сделать? — оправдывался мужчина. — Я всего-навсего лишь полковник! Не велик чин! Не генерал какой-нибудь! Всю жизнь на военной службе. Сначала командир эскадрона лейб-гусарского полка. Затем командир батальона лейб-гвардии Преображенского полка. Вот вся моя карьера.

Девушкам, видно, надоело стоять без всякого дела. Они стали шалить, подталкивать друг друга. Одна из них, толстушка, дергает высокую девушку с бантом:

— А я на иконе красивее, чем ты!

Тут мальчик в матроске спрашивает:

— А что, правда, на иконе это мы и есть? Чудеса, да и только! Прямо не знаешь, что и думать...



В это время Кристина видит, что со стороны моста катят три легковые автомашины. Они останавливаются неподалеку, и из них выскакивают крепкие парни в одинаковых куртках. Все стриженные, в руках дубинки.

— Вот они! — кричит один из них.

Парни окружили семерых людей и повели их куда-то в сторону. Кристина подошла к одной из машин, в ней сидел лысый толстяк в черных очках.

— Частное охранное агентство, — сказал он Кристине.

Кристина тогда пошла следом за теми людьми. Они долго кружили по улицам, потом завернули в какой-то двор. Там невысокий дом с крыльцом, сбоку лестница в подвал. Парни стали заводить всех семерых по очереди в подвал. Кристина долго стояла возле этой лестницы, но никто из подвала не выходил. А потом ей показалось, будто внизу под домом раздаются выстрелы, после чего все стихло. «Нет, почудилось, — решила Кристина. — Точно послышалось». И она направилась обратно к монастырю. А навстречу ей идут сестры Прохоровы. Кристина слышит, как одна из них говорит:

— Моли Бога о нас, Царь наш батюшка...



---

---

БОРИС ВИКТОРОВ

\*

## СОВЕСТЬ И ПТИЦА

\* \*  
\*

Ветлу оживит на твоём полустанке  
экспресс, в девять тридцать в Москву проходящий...

В обратную сторону двинутся танки,  
качнется набитый газетами ящик,  
падут города, и рассыпятся гранки,

и тень Суламифи в чужую сторожку  
сквозь грохот и скрежет проложит дорожку,  
очнется под яблоней животворящей...

Рассыпется дробь, посветлеет на drankе  
икона в дому,  
где безмолвствует ангел  
летающий...

Ржавеет ружье, и мерцает страница  
той книги, где царствуют совесть и птица,

а гвозди и дробь сторожат холодящий  
покой, застревая в подранке.

\* \*  
\*

Влажный внутрь опрокинутый взгляд.  
Пол в опилках и камень.  
Так в завьюженный город глядят  
поселенцы палат или камер.

В отсыревшей тени крестовин  
под дрожащей от ветра фрамугой  
остаешься один  
на один с безымянной мукой.

Полотенце повесив на гвоздь,  
слышу голос, откуда, не знаю:  
«Здравствуй, гость,  
я тебя понимаю!»

Выхожу в коридор. Лифт гудит и гудит. Кореша  
 курят, маясь в нелепых пижамах,  
 и душа  
 замирает, когда появляется мама...

Скоро кончится самая долгая из остающихся зим.  
 Куст рябины в суровых объятьях —  
 серафим,  
 альбинос, отщепенец в собратьях.

Как хотелось ему прикоснуться, развеять сомненья, обжечь  
 откровеньем, вмещаться  
 в нашу речь,  
 к рукаву из цигейки прижаться,

отряхнуться, колючим снежком  
 ободрить наши зябкие плечи,  
 а потом  
 отвернуться — до будущей встречи!..

Пробивается сладкоголосая птица иглесиас сквозь  
 снежный март и чугунную ретушь решеток,  
 и любой приговор мягок, словно заржавленный гвоздь.  
 Окончателен. Четок.

\* \*  
 \*

И в твоём краю та же ночь и те же  
 огоньки холодные, даже реже,  
 холодней, скупей, чем в моей округе  
 на таком же брошенном побережье  
 возле Луги.

Кулаками в ставни твои стучу я,  
 проклиная, каюсь, подлянку чую.

Я от дома к дому в ночи кочую.

Отключили свет. Я устал. И усилился посвист вьюги.  
 Я в стогу высоком переночую.

\* \*  
 \*

Наслаждаясь, смотрела с откоса,  
 как река набухла и таяла,  
 и громадилась ветвь абрикоса,  
 и лиса из-за дерева лаяла.

Берегла, припадала к любимым  
 берегам, и тропинкою замкнутой  
 убегала навстречу гонимым,  
 исцеляла нелюбых и загнанных.

Доводила спасенных до дрожи,  
 всех жалела, слыла греховодницей —  
 самым загнанным зверем и в то же  
 время — самой жестокой охотницей...

Две жизни

То ли дождь — и газета стрекочет,  
 как у Бунина, то ли пчела  
 мозговую подкорку щекочет,  
 надоела, две жизни свела.

Вечен солнечный маятник Граса,  
 май, горячие руки подруг,  
 и любовь до последнего часа.  
 И свисающий с неба паук.

Тень прилипла, газета свалилась,  
 и гамак, тяжелея, провис.  
 В изголовье рябина светила.  
 Вдалеке угасал кипарис.

А гамак — отвратительней плена —  
 паутиной, как дратвой, прошит.  
 И как в детстве, прижаты колена  
 к подбородку. И дождь шебуршит.

\* \*  
 \*

Слишком низок порог болевой  
 у пророков рязанских и тульских,  
 все пируют с дурацкой толпой  
 в номерах на окраинах тусклых.

Угадать ли, впиваясь в глаза,  
 соглядатая и вертухая?  
 А в прихожей шинель и кирза,  
 и коллега, и муза бухая.

«Жизнь — жестянка», — басит эпигон,  
 входит, дверь распахнув сапогом,  
 делит славу, воркует, снобится.  
 В окнах снег. В стаканáх самогон.  
 И в чернильнице кровь ясновидца.



---

---

ГРИГОРИЙ МАРК

\*

## ОДИНОКИЙ ПИЛОТ

\* \*  
\*

Итак: итог —  
не подводить итога,  
но продолжать обрывки фраз плести  
и вслушиваться в них до глухоты,  
до вспышки смысла.

А в конце дороги  
связать концы с концами,  
завязать их,  
как узел брачный,  
чтоб — не продохнуть,  
хоть мозг упрямый  
норовит взбрыкнуть  
и выскочить из сбруи обязательств.

Так запрягай!  
Поедем по стихи  
в открытый храм, где служат литургию  
иглой каждой  
сосны голубые,  
замаливая все твои грехи.  
Войди в молитву,  
и дремучий лес  
в шуршание  
высоких крон поднимет.  
Раскинув руки,  
повторяй за ними:  
я часть Тебя,  
и я уже воскрес.

В меня насквозь  
струится ливень звездный,  
и грязь, налипшую  
за долгие года,  
смывает он.  
До Страшного Суда  
еще есть время.  
Ничего не поздно.

\* \*  
\*

Дрожащий лес — эпиграфом к любви,  
мох пересыпан муравьиным крошевом,  
татуировка сучьев, скрип травы,  
в плероме лиственной — личинки прошлого.

Флотилии поющих комаров,  
виденье самолета шестикрылого.  
Вполнеба белый воспаленный шов...  
Так долго длилось. И не знаю, было ли?

\* \*  
\*

Три семистрочия о стиховычитанье —  
искусстве вычитания живого  
из умерших внутри воспоминаний —  
вычитывать и вычитать себя.  
Чтоб никому не навязать ни слова,  
но превратить лирическое «я»  
в ожившую фигуру умолчанья.

Убрать предлоги, знаки препинанья,  
склонения, союзы, падежи,  
свисающие набор окончанья,  
созвучия, смущающий соблазн  
протяжных гласных, чтоб потом, в тиши,  
услышать шум толпы, ее дыханье,  
и осознать, что ты, как все, безгласн.

Ожившие фигуры умолчанья  
летят сквозь пустоту. Мерцают лица,  
подкрашенные красною гуашью,  
блестят от пота под прозрачной тканью  
материи первичной. Словно спицы,  
мелькают взгляды. Расплетают пряжу,  
а впереди столп огненный струится.

### Апокалипсис

...а в две тысячи мне неизвестном году,  
душной ночью, в кирпичном отеле, залитом  
тусклым светом, взгляну в пустоту  
и увижу в окне,  
как ребенок, летящий верхом на коне,  
света пригоршни из серебристого сита  
рассыпает вокруг, приближаясь ко мне...

Тут к стеклу прижимаясь щекою небритой,  
я молитвы начну бормотать на иврите

и умолкну, когда двое в черном войдут.

\* \*  
\*

Ручьи наших жизней, впадающих в круглое озеро смерти,  
мелеют. Все ближе к пустым берегам подступают болота.  
Тяжелые лодки с вещами течение медленно вертит.  
Над спящей землей одинокий пилот смотрит вниз с самолета.

\* \*  
\*

Сам себя пережив, ничего не забыв,  
в Петербург я вернусь. Совершенно седой,  
загорелый, похожий на свой негатив.  
Полукружье моста глубоко под водой  
изогнется, двойную дугу очертив,  
словно люлька для тени бездомной моей...

Вот я снова внутри. Отраженья со дна  
подымаются вверх. Я продрог до костей.  
Белой ночью плывет по зеленым волнам  
пароходик, обвешанный визгом детей.

Уплывают дворцы сквозь слоистую муть,  
и Исакия купол блестит вдалеке,  
как облитая золотом женская грудь  
с почерневшим крестом на разбухшем соске.

Уплывают ограды в последний свой путь...

Вереницей светящихся каменных плит  
в ночь еврейское кладбище тихо плывет.  
Там в прогнившей земле моя мама лежит.  
Уплывает под арку моста пароход,  
и, склонившись за борт, кто-то плачет навзрыд.

Это я, превратившийся в свой негатив,  
на экскурсию с классом, полжизни назад,  
сам себя пережив, уплываю в залив,  
и — по пояс в воде — смотрит вслед Ленинград.



АННА ВАСИЛЕВСКАЯ



## КНИГА О ЖИЗНИ

*«Мои родные, любимые мальчики Сережа и Андрюша <...> Эту тетрадь я стала писать и для себя, и для вас. Вдруг когда-то вам захочется узнать жизнь мою подробнее, понять, где и как выработывался мой характер. Наступит время, когда на ваши вопросы ответить будет некому».*

*Это время настало. Мальчики — это я, Андрей Василевский, и мой старший брат Сергей. Наша мама Анна Васильевна Орлова (в замужестве — Василевская) родилась в 1922 году в деревне Доронино Удомельского р-на Калининской области (ранее — Московской, а еще раньше — Тверской губернии), умерла в 1996 году в Москве.*

*Война застала ее, девятнадцатилетнюю студентку техникума (училась на библиотекаря), в Ленинграде. Она стала хирургической сестрой в медсанбате, но после войны уже не могла видеть ту же кровь и боль, пошла в типографию. В 60 — 70-х годах работала в журнале «Новый мир» (проверщицей цитат, заведующей библиотекой).*

*В двух номерах нашего журнала печатается вторая часть написанной ею книги (начало войны, блокада, медсанбат). Первая часть — деревенское детство, юность в Ленинграде — носит более семейный характер, хотя содержит много интересных эпизодов.*

*«Впервые захотелось вспомнить в подробностях свою жизнь (на бумаге) 25/XI-1978 г., в свой день рождения (56 лет). Тогда еще так остро не чувствовала, что самая трудная часть жизни уже на подходе. Сегодня начала вспоминать (писать), вернее, раскрывать основные этапы жизни, записанные ранее на клочках бумаги. Сегодня 1986 год (март), мне 64-й год. Старость, болезни, утраты, беспомощность — впереди, вот-вот... Это печально, но я не горюю, не негодую <...>. Трудно мне в жизни бывало, но если сравнить мою судьбу с судьбами людей, перенесших кошмарные трудности, то я счастливая: выжила в блокадную зиму, с фронта вернулась на своих ногах, имею чудесного, доброго мужа, хороших детей, внучат, хороших невесток; не была осуждена, не сидела в тюрьме, не была доносчицей, не была в плену, не испытала пытки, не стала пьяницей, ну и т. д. и т. п.»*

*В конце этой публикации (№ 3 с. г.) прилагается примечательное письмо Анны Васильевны Василевской от 19 января 1976 года к коллеге по «Новому миру» Нине Владимировне Малюковой, отчасти объясняющее истоки ее скромности, мужества, чувства собственного достоинства.*

*Андрей Василевский.*

**Э**то было воскресенье — 22 июня 1941 года.

О войне, о заявлении Советского правительства мы узнали в первом же населенном пункте... Будто ударил гром и сверкнула молния... время остановилось. А солнце светило ярко...

Город был вроде тот же... и другой. У репродукторов толпятся молчаливые горожане; у подъездов дворники с противогозами, сосредоточенно шагают люди. Паники не видели.



Все вчерашнее — беззаботное — ушло, это мы поняли сразу... Разбежались по домам, договорились встретиться в школе.

Около моего дома — народ кучками. Наш хозяин, дворник Степан Иванович, с противопогазом и в белом фартуке с бляхой, сообщил, что их уже «собирали и инструктаж провели».

В дом не хотелось идти. Ждала на улице у репродуктора повторения правительственного заявления.

...22 июня в 4 часа фашистская Германия без объявления войны напала на нашу страну... Значит, рано утром уже были убитые, кто-то принял на себя первый бой...

Спросила себя — чего я буду делать и что я такое: ни медицинская сестра, ни политпросветработник, всего по чуть-чуть. Но есть руки, сила, молодость. Все это нужно будет городу. Куда пошлют — буду трудиться. Тут очень подходила бабушкина присказка: «Что заставят, то и делай, что поставят, то и ешь».

Собрались мы в своей «политпросветке», а там полно народу — устроен мобилизационный пункт. Нас привлекли писать и разносить повестки, заполнять документы, сверять списки и на другие разные поручения от военкомата.

Многие мобилизованные были уже в шинелях, сидели на полу в «актовом» зале, ждали дальнейших распоряжений. Никакой суеты, все молчаливые, нацеленные на совсем иную жизнь и дела...

22 июня в Ленинграде и на всей территории Ленинградской области введено военное положение.

В ночь на 23 июня была воздушная тревога. После отбоя люди говорили, что то ли сбили вражеский самолет, летевший к Ленинграду, то ли отогнали. Оптимисты считали: «Вообще скоро покажем им дорогу назад!..»

Создание студенческих отрядов в помощь районному штабу МПВО и РК комсомола. Днем мы — «политпросветки» со студенческим отрядом там, куда пошлют (мальчиков в нашей школе было очень мало, и они все ушли на фронт).

Мама по-прежнему ездит на работу в Лесной, я — в своем районе: дежурства, составление списков на трудоспособное население, так как уже через несколько дней после начала войны — постановление о привлечении к трудовой повинности граждан... сама на этих работах (устройство щелей, траншей для укрытия, работы по маскировке района и т. д.).

Вечером — дежурства на территориях, на крышах, обучение людей, как маскировать окна.

Два окна нашей дворницкой квартиры Степан Иванович очень здорово завесил плотной черной бумагой.

3 июля — речь И. В. Сталина. Даже оптимистам стало ясно, что жизнь надолго перевернулась, и трудно будет долго, и что каждый обязан помочь родине...

В Дзержинском райвоенкомате мне ответили, что люди будут нужны не только на передовой, но и в самом городе... Бабушкино воспитание и здесь сработало — не спорить, а исполнять, и я не посмела быть назойливой.

Трудовая повинность: для прикрытия Ленинграда — строительство оборонных сооружений вокруг города. Даже не знаю, в какой район направлена мама (она от своей работы). Нас, девчонок, возили ежедневно, но вечером привозили обратно (Автово, Средняя Рогатка, Рыбацкое, окружная железная дорога). Потом уже домой отпускали не каждый день...

Решение об эвакуации (в первую очередь детей, оборудования и ценностей, учреждений).

Мама числилась «трудоармейкой», а я — студенткой, находящейся на трудовом фронте. Зам. директора школы объявила, что с октября начнутся занятия, будто программы будут перестроены на военный лад — для фрон-

та. Мы поверили, и многие остались в «студентах», работающих на «общественных началах» в студенческом отряде. Стипендию пока выплачивали.

Мне хотелось отправить маму в деревню к Коке, ее сестре, но она и слышать не хотела: «Я не сделаю ни шагу из Ленинграда! Работать я умею, и здесь мои руки пользы больше принесут, чем в деревне или где-то в Сибири. Да и ехать в эвакуацию не с чем, не в чем. Жили как птички божьи — ни гроша в запасе. Да что говорить — ни при каких условиях из Ленинграда не двинусь никуда — хоть и беспокойно здесь, но это мой родной город; хоть и жилья своего нет — все равно он дом мой родной...»

И, гордый своей принадлежностью к Ленинграду, народ каждое утро двигался на рытье окопов.

С 10 июля началась героическая оборона Ленинграда.

С конца июня стали активно эвакуировать детей. В начале июля, вернувшись с окопных работ на передых, застала растерянного брата — школа его эвакуируется, завтра надо быть в школе с вещами, а для родителей — собрание сегодня. «А вас нет дома, и я не знал, как мне быть, — ехать или оставаться дома. Степан Иванович советовал уехать... а как бы я без вас уехал...»

А как бы мама решила? Вспомнила наш с нею разговор об эвакуации, который она закончила фразой: «Вот Анатолия надо бы куда-то отправить... мы мало будем бывать дома, а он беспризорничать будет».

Подумала и твердо сказала братцу:

— Толенька, надо ехать! Неизвестно, как здесь будет складываться жизнь. В эвакуации ты будешь учиться. Свои ребята, свои учителя. Чего ты здесь делать будешь — с четырьмя классами мальчишка.

Как трудно мне было сказать это брату! Как мне было тревожно за него! За всех нас!

Заняла у Ольгиных родителей, наших соседей, денег, собрала сумку (всю ночь штопала его одежды) и утром «сдала» брата учительнице, очень просила ее сразу же сообщить адрес.

Толя не плакал, но глаза прятал. А я не сдержалась. Потом бодро пообещала ему: как только кончится тревожное положение — вызволим тебя домой сразу же. Обняла его худенькое тельце, и стало жутко: вдруг мы больше никогда не увидимся!.. Он мелко дрожал. Боже, он ведь еще ребенок, а сколько лиха было в его жизни! Обрел семью, и вот... опять... один.

Эвакуацией руководила специальная комиссия исполкома. Дети уезжали без родителей.

Вернувшись с окопов, мама всплакнула, что не смогла попрощаться с Толей, но сказала, что именно так и надо было мне за нее решить: «Здесь будет, дочка, очень трудно!..»

Город хранит свою строгую красоту. Он для всех нас стал еще дороже... С какой благодарностью вспоминаются недавнее мирное время, праздники, демонстрации, белые ночи.

Как дурной сон — Гитлер рвется к Ленинграду... Невероятно! Но это явь — страшная, и как долго она продлится?

С Олей не виделась и как-то даже забыла о ней. И вот на лестничной площадке встреча. Оля нарядная, ухоженная, не тревожная...

— Оля, ты куда на рытье окопов едешь? Дома часто бываешь?

— Представь, у меня почки оказались нездоровые... Мама взяла в поликлинике справку... Нефрозо-нефрит у меня. Мама говорит, что это у меня с детства. Так что физическая работа мне противопоказана, — как-то небрежно сообщила Оля и хихикнула тоже как-то небрежно.

— Надо же, напасть какая на тебя! А хоть лечишься? Это нехорошая болезнь — в медицинской школе мы проходили...

Вместо ответа Оля спросила меня, что я делаю. Я рассказала о рытье окопов, с каким настроением трудятся в котлованах от мала до велика люди разных профессий, образования. Работа нелегкая...

Оля слушала вполуха. Интересна в глазах никакого. И вдруг сказала:

— Мама моя может и тебе справку о нефрозо-нефрите достать...

— Мне не нужна справка, я здорова... Как ты могла такое предложить?.. Кроме окопов много в городе другой работы — ты уж выбери полегче, по своему здоровью. А где твоя школа сейчас работает?

Оля раздраженно ответила:

— Знаешь что, дружок! Не учи меня жить! Копаешь — и копай свои окопы, траншеи... Неужели ты думаешь, что этим можно остановить прущего немца?..

— Оля! Опомнись! Что ты говоришь? Что с тобой? Ты слышала обращение — над городом нависла прямая опасность вторжения врага?

— Извини, мне некогда. Желаю успеха! — Оля посмотрела на меня через плечо, скривив тонкие губы, и исчезла за дверью своей квартиры. Я долго стояла в подъезде и размышляла: кто мы друг для друга? Подружки? Нет! Приятельницы? Нет! Соседки по площадке? Да! Так стоит ли огорчаться, что мы разошлись сегодня?

Июль. Бывают воздушные тревоги — немец пытается совершить налеты на город. Бомбежек пока не было.

Оборонительные работы у стен города. Плотную глинистую почву копать трудно. Жарко. Воодушевляют люди — плотная стена ленинградцев: одни работают умело, ловко, другие — физически не сильные — и рады бы, но быстро устают, стараясь изо всех сил не отстать от соседей.

А как трудно подниматься с «перекура»... Как приятно расслабить натруженные руки дома.

Вечером бегали по квартирам, объясняли населению, почему лучше держать окна открытыми, если будет бомбежка (сохранить стекла, думать о зимнем времени).

Стипендию пока платят. Собирали взносы в фонд обороны.

Навестила свою подругу Танечку. Ее мама (и Татка тоже) от эвакуации отказались. К физической работе не приспособленные. Активно работают по месту жительства. И все же им надо бы уехать...

От Анатолия никаких вестей. На окопах одна женщина встревожила всех: будто немец 2 июля и в другие дни позже бомбил скопившиеся эшелоны с детьми в районе Новгородской области.

Матери, отправившие в тот период детей, запаниковали, побросали лопаты и уехали выяснять.

От брата Василия тоже нет весточки. Знаем только то, что он в морской пехоте.

В Ленинграде появились беженцы из близрасположенных областей.

От тетушки тоже нет писем. В начале войны она звала нас к себе. Мама не хотела об этом слышать. А еще можно было уехать (в июле, августе).

*В середине июля введены продовольственные карточки, но не «строгие» нормы и цены. Была и коммерческая продажа.*

С первых дней войны, еще до введения карточек, люди ринулись скупать продукты в магазинах, делать запасы круп, муки, сахара, спичек, соли, мыла... У нас с мамой никогда не было свободных денег — жили от получки до получки, но на крупу нашлись бы и деньги. Но по извечному

легкомыслию мы даже не допускали мысли, что придется голодать. Только однажды мама принесла из магазина два кулька крупной соли и большой пакет горчичного порошка, сказав, что в лихие времена исчезала соль, а горчица, мол, от простуд... Как мы потом раскаивались, что не купили впрок хотя бы по два килограмма разных круп...

Да, мы всегда были не от мира сего и жили тем, что на сегодня есть в доме.

Дальновидные люди поступали иначе, и их запасы помогали им облегчать голод. А где было денег на это взять?

Но были и такие (их оказалось немало), которые засыпали ванны сахарным песком, мешками запасали муку, крупы. С ними вели борьбу. Ходили по квартирам, извлекали лишнее. От страха, что у них обнаружат такое количество продуктов, эти люди спускали сахарный песок в унитаз. Я это видела сама — пришлось в составе комсомольского отряда ходить к тем, кто значился в списках, а в список они попадали потому, что их засекли другие отряды в магазинах, наблюдали, куда носит человек такое количество продовольствия.

А надо ли было это делать в этот период? Все равно сгорели Бадаевские склады, где была мука, сахар и прочее для снабжения города. Если бы можно было предвидеть эту катастрофу, то пусть бы скупали как можно больше, а излишки нужно было отбирать, когда не стало в городе продуктов...

Но невозможно предвидеть. Хотя надо было рассредоточить продукты, хранящиеся на Бадаевских складах...

Когда ввели карточки, мама радовалась — хоть порядок будет. Карточного довольствия вполне было достаточно. Мама рассказывала о карточной системе 1928 — 1935 годов (я застала ее в Ленинграде, когда училась во 2-м классе и в 5-м). Мама приветствовала упорядоченную продажу, чтобы не хапали сверх нормы. А наша семья к ограничениям приучена жизнью.

Фронт подошел к городу.

Мама вернулась с Лужского оборонительного рубежа. Рассказала о сброшенных с самолета листовках с издевательским текстом: «Советские дамочки, не ройте ямочки. Все равно в эти ямочки придут наши таночки». Сама она листовку не читала, так ей рассказали читавшие. Немцы ли их писали? Уж не русские ли немецкие прислужники? В этот период фашист двигался к Луге.

Вскоре мамин отряд был передвинут ближе к Ленинграду, так как Лугу наши войска оставили (сейчас установила — в двадцатых числах *августа*).

*Норма хлеба* с введением карточек была:

рабочим и ИТР — 800 гр.,  
служащим — 600 гр.,  
иждивенцам и детям — 400 гр.  
+ другие продукты.

В августе — эвакуация женщин с детьми, инвалидов и стариков. Как же сопротивлялись эвакуации милые ленинградцы! Как напрасно! Но это стало ясно позже. Чем больше уехало бы, тем легче было бы оставшимся, трудоспособным. Многие имели бы возможность остаться в живых, не откажись они в это время уехать. Уехали бы, если могли представить ужас блокады.

Кстати, еще в начале войны немало уезжало без уговоров... О таких ленинградцы говорили: «Как крысы с корабля бегут... И первыми вернутся, когда все наладится...»

Какая была радость для мамы и для меня, когда мы одновременно оказывались дома.

Но наш ли это был дом? Нет, это было беспокойное место для ночлега.

Степан Иванович сдурел. Упорно стал грозить, что выпишет нас из дворницкой, если мама не согласится стать вместо него дворником, так как он хочет отказаться от должности — стал уставать, постарел. Если мама не согласится, то его должность займет какая-то одинокая женщина (следовательно, и дворницкую квартиру), а он согласен (и та женщина согласна) ютиться на кухне, следовательно, «вы окажетесь здесь лишними». Мама доказывала, что мы здесь прописаны постоянно и никто не может выселить нас на улицу, а он твердил, что дворницкая — помещение казенное, посторонним жить не положено...

Мама ему: «А коль казенное, то и тебе, если из дворников выбудешь, здесь не жить. Куда же ты пойдешь?»

Он: «Меня из уважения к возрасту оставят в кухне, а если не разрешат, то уйду к Алене, — (это мать чахоточного Саши, умершего перед войной), — она согласна взять меня к себе».

Мама: «Ох, Степан, чего ты вздурился! Время-то сейчас не то, чтобы чудить. Чего же ты будешь делать — сидеть сложа руки? Сейчас у тебя работы меньше стало, чем до войны: парадный вход не запирается — ночью ты спокойно спишь, и днем ты не постоянно на улице... В дворники я переходить не намерена — я трудармейка, а это как военнообязанная — собой не вольна сейчас распорядиться... Сиди ты и сиди в дворниках...»

На стенах домов плакаты: «Враг у ворот Ленинграда!..»

В начале *сентября* — первое снижение норм по карточкам:

рабочим, ИТР — 600 гр.,

служащим — 400 гр.,

иждивенцам, детям — 300 гр.

Спичек на месяц — 3 коробочки.

Зашла в свою «политпросветку». Все помещения заняты военными. Формируется какая-то часть. Наша секретарша сказала, что школе предложено эвакуироваться, уговаривала меня уезжать со школой: «Там будут возобновлены занятия, закончишь последний курс...» Многие согласились.

Я отказалась; она мне выдала справку об окончании двух курсов. Круглой печати у нее не было — поставила треугольную и подпись: «Секретарь учебной части такая-то». В справке даже успеваемость за 1940 — 1941 учебный год указана.

После войны эту справку признали недействительной, когда я предъявила ее в числе документов, говорящих о моем образовании: чиновники спрашивали — почему печать не круглая и подпись не директора? Школа была без директора с первых дней войны — он погиб в первых боях, а секретарь учебной части сидела в школе за все начальство и имела только треугольную печать. Но кому тогда пришло бы в голову рассуждать, будет ли эта справка действительной...

В августе — продолжительная воздушная тревога, но вражеские самолеты не пропустили.

«Внимание! Говорит штаб местной противовоздушной обороны... Воздушная тревога! Воздушная тревога!»

Стучит метроном...

На окопы в этот период наш отряд не посылали, работаем в местной группе самозащиты от РК комсомола: ночные дежурства на крышах, осмотр светомаскировок в домах, разъяснение населению, где укрываться в случае бомбежки. Руководит нами член партии из нашего дома (полит-организатор). У него большая семья, а он инвалид — открытый туберкулез. От эвакуации вся семья дружно отказалась.

У них тоже нет лишнего гроша за душой и одежда хилая.

А профессор Шаргородский уехал в первом потоке, наверно, со своим научным коллективом (в какой науке он работал — не знаю).

Ходим на военные занятия. Военное обучение населения.

Навестила Смирнова Сашу в общежитии историко-архивного техникума. Он инвалид, а не уехал в эвакуацию. В общежитии могильная тишина. Две души у стола в коридоре — вахтерша и Саша. На столе чайник. Кругом гнетущая пустота. Саша мне сначала обрадовался, потом замолк. Протез не носит (что-то не так сделано). На костылях. Дотопал до подоконника, ловко уселся на нем, оставив и мне место.

— Как живешь, Саша?

— Да вот кукуем со сторожихой. В этих стенах мы с нею единственные, а следовательно, главные ответственные за «объект». По очереди дежурим на крыше и у подъезда.

Неизвестно, будут ли в этом году занятия. Кто на фронте, кто в эвакуации, большинство (девчонки) — на оборонных работах.

Очень сожалеет, что сам себя сделал инвалидом.

— Сейчас такие возможности стать инвалидом или быть убитым. А я — сторож этих стен. Глупо. Мог бы воевать, пользу принести... На улице не выхожу — стыдно, так как спрашивают, на каком фронте ногу потерял... а я ее потерял по дурости.

Поговорили душевно о многом. Грустный, похудевший.

Верна поговорка: «На миру и смерть красна». Чем тяжелее городу, тем дружнее люди, сердечнее.

*Первые дни сентября — обстрел города из дальнобойных орудий...*

Недавно прочитала в какой-то книге (цифры выписала, а автора и название не записала, а может быть, это была книга без автора — сборник) о том, что в это время решено было примешивать к муке 12 процентов солодовой, соевой и овсяной муки, 2,5 процента размолотых жмыхов, 1,5 процента отрубей.

Боже! Какие шикарные добавки, если сравнить с тем, что будут есть ленинградцы зимой!

Когда я вернулась с фронта и зашла в музей обороны Ленинграда, увидела на весах 125 гр. блокадного хлеба и перечисление, из чего его пекли...

8/IX немец захватил Шлиссельбург, и не стало сухопутного сообщения с Большой землей.

Работаем в городе.

Еды маловато. Ограничения ощущаются во многом: в освещении, в питании, в топливе, в воде, в транспорте.

Начало блокады.

8 (или 6-го?) сентября 1941 года была первая бомбежка города. А утром мы узнали, что при бомбежке погибла наша сокурсница и член нашего отряда Зина Литманович — великий книголюб политпросвета, снабжавшая всех нас литературой, какой не имелось в библиотеке школы. Негодовала на мою привязанность к Достоевскому («Ты свихнешься на нем! Читай лучше Чехова и Пушкина — ты ведь их совсем не знаешь, кроме программного за семилетку»). Зина подкрашивала (румянила) щечки. Когда ей об этом говорили девчонки, она сердилась и уверяла, что они у нее такие от природы. Толстенные косы ниже пояса. Блондинка. Однажды услышала, как Зину спросил кто-то: «Разве бывают светловолосые евреи?» Она ответила: «Не так уж часто, но встречаются. Ты хочешь услышать от меня подтверждающие твою догадку слова — еврейка ли я? Ты права — я еврейка. А что тебя смущало — несоответствие моего еврейского носа цвету волос? У природы не такие чудеса бывают...»

Умная, ироничная Зина до войны казалась многим высокомерной, а в трудное для всех время была моральной поддержкой для уставших и сникших.

До войны (да, мы уже тогда говорили — «до войны») не всегда удавалось правильно оценить человека.

Вот, например, Оля, любившая повторять фразу, которую написала на обороте своей фотографии для меня:

«Смелей, мой мальчик... Два раза в жизни не умирать!», теперь ловчит и криво усмехается над «блаженненькими».

Вот моя Танечка — духом не сильная, физически слабая, напуганная сейчас обстоятельствами, но старается посылно быть полезной.

Или вот женщина из моего подъезда. Прозвище у нее было «Митафана» (она имя мужа Митрофан так выговаривала), карелка, многодетная мать. До войны она не работала (четверо детей), слыла беспечной. Ее всегда можно было увидеть в нашем сквере на скамейке с книгой или болтающей с другими женщинами. Соседки спрашивали ее, почему она, имея такую большую семью, так свободна. Отвечала: «Много ли надо времени, чтобы сварить картошку и послать кого-то из детей в магазин за хлебом и килькой. Надо иметь мало денег, и тогда высвобождается время...»

С первых дней войны откуда в ней взялись деловитость, расторопность, трудолюбие? И работать пошла в госпиталь нянечкой, и успевала дежурить по дому, тушила зажигалки, всех умела успокоить, утешить и даже ловила «шпиона». В город враг, конечно, засылал шпионов, и нас призывали к бдительности. Во время бомбежки она увидела в доме напротив плохо замаскированное окно, а в окне, на подоконнике, стоит зажженная лампа. Она бежала и кричала: «Там предатель сигналы из окна подает!..» В квартире никого не оказалось — наверно, ушли в бомбоубежище, а про лампу забыли. Но около подъезда «Митафана» углядела «подозрительного гражданина», одетого «на заграничный манер», и была убеждена, что он шпион и имеет отношение к лампе на подоконнике. Свела в милицию... Выяснили — ошибка.

В декабре вся семья слегла. Нашли мы их мертвыми, только младшая девочка Инна лежала еще живая под ворохом тряпья. Отец, туберкулезник, истощенный до войны болезнью, умер раньше их. Инна не выжила — умерла в больнице дистрофиков, куда мы ее определили.

Мне хочется здесь вспомнить о них, вернуться в предвоенное время. Если мать сидит в сквере, а дети дома, время от времени раздавался звонкий ее голос-команда:

— Ин-н-на! Кинь в окно мою жакетку! Что-то прохладно стало! — И с четвертого этажа летит на асфальт жакетка.

— Ит-т-та! — (значит — Ида), — сходи в магазин, купи триста граммов кильки. Скоро отец обедать придет!

— Юр-р-а! Сделай носику массаж! Курносый и лопухий мужчина — фу! Спустись вниз, я помогу!

— Фо-о-фа! — (это Вова), — ты опять баклушу колотишь? Беги встречай папу — он уже сейчас должен подходить к углу Литейного и Петра Лаврова!

Если мать дома, а дети на улице — она на страже ребячьих просьб:

— Ма-ма! Кинь ниточку с иголочкой — надо кухле платье зашить! — И с четвертого этажа летит сверточек.

— Ма-ма! Когда обед? Если не скоро — кинь корочку хлеба. — Это мальчиков просьба, и «Митафана» спускает на веревке кусок хлеба.

— Ма-ма! Папа появился из-за угла... вот уже по нашей улице идет!

И наконец «Митафана» высовывается из окна наполовину, свесив пышный бюст, кричит:

— Ин-н-на! Ит-т-та! Юр-р-ра! Фо-о-фа! Идите апетать!

И как в убыстренной киносъемке, дети исчезают в подъезде. И так целый день всей улице известно, что происходит в этой семье. А через двадцать минут она опять выходит на улицу, но уже с детьми — провожает мужа на работу с обеденного перерыва.

8 сентября 1941 года — начало блокады Ленинграда.

Жуткая бомбежка в этот день. И второй налет в этот же день (ближе к ночи). А с 4 сентября начались систематические артобстрелы.

Я запомнила тогда не даты первых бомбежек (хотя в моем дневнике, конечно, дата была отмечена), а чувство оцепенения, сосущее в животе, в позвоночнике ощущение — от воя бомб и крошечного треска после разрывов... Казалось, что во мне сидит и воет бомба и вот-вот, сейчас, тело мое разорвется...

Сейчас нам известно, что «за два налета (6 и 8 сентября) на город было сброшено 48 фугасных и свыше 6300 зажигательных бомб. В городе находилось 2 млн. 544 тыс. жителей».

В одну из этих бомбежек (а может быть, 19/IX — самый крупный налет: в течение дня было шесть бомбежек), когда был отбой воздушной тревоги, я спустилась с крыши, вышла на улицу. Со стороны Литейного проспекта по нашей улице двигалась кучка людей. Впереди шла старушка: седые волосы растрепались, кровь на щеке, в руках икона (так несли иконы в деревне, во время крестного хода). Старушка раскачивалась из стороны в сторону, подвывала и бормотала. Женщины из толпы вторили ей. В глазах у всех ужас, вокруг себя ничего не замечают. Я пропустила их, прижавшись к стене дома, и тоже с ужасом глядела им вслед. Их ноги не успевали за устремленными вперед туловищами. Они скрылись за Таврическим садом. Что это было? Обезумевшая ли старушка увлекла толпу с крестным ходом по городу, или все они бежали от того места, где, может быть, погибли их близкие, а может быть, заклинали Бога остановить пожар — горели Бадаевские продовольственные склады — об этом люди на улице вещали из уст в уста...

Вечер. Я на крыше. В разных точках пожары. Один пожар особенно страшен — огонь и густой дым. Черный дым простирался над городом; этот дым имел запах — подгорелой муки и пережженного сахара. Может, так казалось... потому что всюду с ужасом люди твердили — горят запасы муки и сахара, грядет голод... «Оптимисты» ругали «паникеров»: «Кто вам сказал, что на одном складе хранятся запасы продовольствия? Все предусмотрено руководством города...»

В сумерках шла домой. В подъезде споткнулась обо что-то. Никого, а на полу белый узелок. Принесла домой, с мамой развязали его, увидели икону Божьей Матери, и на бумажке — молитва. Я связала узелок, собираясь отнести на прежнее место. Мама заволновалась:

— Доченька, оставь у себя — это добрый тебе знак, это вроде Божьего благословения.

(Мама всегда была суеверной, верила в приметы, в сглаз... Если ее кто спрашивал, как она поживает, она никогда не отвечала — хорошо! — наоборот, начинала «прибедняться», чтобы «не сглазить самого себя словом»).

— Мама, вдумайся в свои слова! Какой знак, какое благословение?! Кто-нибудь пережидал в подъезде воздушную тревогу, бомбежку и от горя и страха забыл свой узелок.

— Нет, дочка! Не так! Не может человек забыть то, что взял с собой из всего своего имущества, — икону и молитву, явно же, чтобы всегда иметь при себе. Это не человек забыл. А почему именно ты нашла? Это тебе знак во спасение.

— А если человек хватился забытого узелка, если он «спасается» этой иконой и молитвой? — возразила я и отнесла узелок на то же место. Утром узелка в подъезде уже не было.



Мама долго не могла отрешиться от мысли о каком-то мне «знаке».

...Бомбежки, тревоги, пожары, жертвы, аэростаты... В нашем районе объекты: Смольный, казармы, Арсенал, «Большой дом» (на Литейном). Маскировка объектов продолжается. Повреждены несколько домов на Литейном проспекте, на улице Чайковского, Жуковского, повреждение на Литейном мосту.

Как страшны стоны людей, оказавшихся под обломками разрушенного дома... Кажется, что копаешь медленно, хотя стараешься как можно быстрее... Извлекаем полузадохнувшихся раненых, нередко мертвых...

Вернулась с Марсова поля — рыли траншеи, щели. До этого копали в Таврическом саду (это рядом с нашим домом). Частые воздушные тревоги. День солнечный. Дежурные внутренней обороны во время воздушных тревог направляют граждан в бомбоубежища...

Шла домой. Тревога. Не пошла в бомбоубежище — быстренько побралась к своему дому. Степан Иванович дежурил во дворе. Мама по несколько дней не бывала дома. Волнуюсь за нее — а вдруг что-то с нею случилось: попала ли под бомбежку, да мало ли что еще...

...Открыла окно, села на подоконник — нужен отдых телу и душе. Ах, если бы действительность оказалась сном!

У окна остановился военный, увидел меня — попросил водички. Сказал, что у него два часа личного времени — не знает, куда себя деть. Пригласил посидеть с ним в сквере... Невысок, худощав, курносый, продолговатая голова, лицо обыкновенное. Он мне показался похожим на Павла I, портрет которого я видела в книге. Улыбка добрая. Лейтенант (какой род войск — я не очень-то разбиралась в этом).

Я не успела додумать, стоит ли мне выполнить его просьбу насчет «посидеть на скамейке в сквере», как объявили воздушную тревогу. Всем приказывают идти в бомбоубежище (на другой стороне нашей ул. Петра Лаврова). Бомбоубежища меня пугают после того, как пришлось откапывать засыпанных людей... Лучше уж быть убитой на улице, чем задыхаться в подвале разбитого дома... Но лейтенант уже подал мне руку, помог спрыгнуть с подоконника на улицу. Бежим в толпе. Бомбоубежище заполнено людьми так, что стоим как селедка в бочке, а наверху треск, вой, гром, разрывы, земля содрогается, дом вздрагивает. Где-то близко взрывы, похоже, за Таврическим садом и еще на Фонтанке. Вот очередной свист бомбы — он противно отдается в позвоночнике и животе. С каждым разрывом я утыкаюсь лицом в грудь лейтенанта, а он успокаивающе гладит меня по плечам. Отбой тревоги. Люди в молчании быстро расходятся, продолжают путь свой в тревоге за близких своих: «Не мой ли дом пострадал...»

Я стою с лейтенантом в сквере, он смотрит на часы — его личное время кончается, и он говорит, что уезжает на передовую. Кто он, откуда и куда его путь, я не спросила.

— Если у меня будет время и возможность написать вам, ответите мне?

Я согласилась на переписку. Девчонки из нашего отряда переписывались с фронтовиками.

— А вы дайте мне адрес — если вам некогда будет писать, я сама напишу, как живет Ленинград, который вы защищать идете.

— Адреса своего я пока не знаю. Приблизительный адрес такой: фронт. Землянка меж трех берез. А зовут меня — Сергей Михайлович Морозов.

Именно так полностью и назвался. Подумав о его возрасте, я определила — примерно двадцать пять, около тридцати. Его мужское рукопожатие, пожелание друг другу быть в живых.

В этот момент и потом я и мысли не допустила, что мы еще встретимся, что этот человек спасет мне жизнь, создаст для себя и меня трудную ситуацию...

Все, что я имею сейчас: жизнь, семью, детей, внуков, — не имела бы, не встретиться на моем пути в этот солнечный осенний тревожный день Сергей Михайлович... Лежала бы я в братской могиле на Пискаревском или Охтинском кладбище, как моя Таня и ее мама, уснувшие голодной смертью в парке на скамеечке весной 1942 года...

А сейчас наш отряд работает на чердаках: разбираем хлам, смазываем балки огнеупорной жидкостью от зажигалок, чтобы меньше было пожаров. А чем спастись от фугасных бомб?!

Жизнь в городе с каждым днем становилась труднее. Снаряды, бомбы, усталость, недоедание.

Обстрелян Кировский завод (там работал Ольгин отец). Случайно встретила ее — собирается поступить учиться в морское фельдшерское училище (или техникум). Даже странно, что где-то кто-то сейчас учится. Говорят, что наши части уже на трамвайном кольце. Город готовится к обороне.

Еще раз снижены нормы продуктов:

хлеба рабочим — 500 гр.,

служащим, иждивенцам, детям — 250 гр.

Качество хлеба резко ухудшилось. Теперь знаем (узнала из документальной литературы в последние годы), что примешивали сою, овес, хлопковый жмых. Но это все хорошие добавки, как покажет время.

*(Прочитала недавно: «До этого считалось, что хлопковый жмых имеет ядовитое вещество, опасное для здоровья», но в сентябре 1941 года выяснилось, что «это вещество от температуры при выпечке разрушается».)*

РК комсомола забрал из нашего отряда девочек физически не сильных — в бригаду для помощи медикам в госпиталях, а более выносливых оставили на трудовых работах в районе — маскировка мешками с песком, баррикады и т. д.

В дворничкой не было репродуктора, газет. Все новости узнаю на работе или вечером в домоуправлении — там «Митафана» собирает людей, и все обговаривают новости дня.

Электроэнергию строго экономит город.

Очень страшные разговоры, будто продовольствия осталось на один месяц...

Бомбежки часто ночью. В укрытие не ходим, а Степан Иванович ни разу не уходил в бомбоубежище.

Побывала на Кузнечном рынке. Завоза продовольствия на рынки уже нет, но людей много, так называемая «толкучка» — спутник военного времени. Продают все, что может сгодиться в это лихое время: керосин, жмых, дрова, прочищальки для примусов, одежду. Меняют хлеб на одежонки, одежонку на хлеб.

К обстрелам притерпелись, если можно употребить такое слово. Снаряды рвутся в центре города. И мама уже работает в черте города.

Люди много говорят о диверсантах, агентах, шпионах. Не исключено. Пробраться вместе с беженцами области просто.

Гостинный двор (на Невском) — пострадал.

Жутко смотреть, когда снесена стена дома; там остатки бывшего человеческого жилья; кусок пестренских обоев, висящая на одной ножке железная кровать, за арматуру зацепился абажур — сиротливо раскачивается на ветру... Там жили люди, где они сейчас?

*С октября —*

рабочим — 400 гр. хлеба,

остальным — 200 гр.

Крупы по карточкам не выдают.

Наверно, Ольга права, называя меня «блаженной», «недотепой». Мне в голову не приходило взять справку в РК комсомола, что я выполняю труд

рабочего. Никто не подсказал (наверно, были уверены, что я переоформила свое студенческое звание «служащая» на рабочую карточку. А если бы я и сама додумалась, наверно, было бы стыдно идти хлопотать о себе — «в такое время!»).

В бюро заборных карточек лежала старая справка — служащая (студентка политпросветшколы). Имея право на рабочую карточку, получала «служащую»... И вот 200 гр. хлеба, без круп. Запасов в доме никаких...

Все ходят с противогазными сумками — пайка хлеба всегда с собой. Постоянная несытость. Похолодало — одежда у меня не для длительного пребывания на улице.

«В октябре в Ленинграде 2,5 млн. жителей».

«В октябре фашистская авиация бомбила город 38 раз. 800 фугасных и 43 тысячи зажигательных бомб... Дни без тревог — 19 и 20 октября».

У Степана Ивановича много дров — кухня и коридор-аппендикс завалены ими до потолка, но топить печку не разрешает. Если бы расщепить пару полешек на щепочки, можно в круглой печке быстро вскипятить кастрюльку воды... У нас с мамой дров нет. Что удастся притащить с разборки домов, тем и пробавляемся. И одеяло у нас тонкое, валенок нет. Степан Иванович спит в дворницкой шубе и в валенках под ватным одеялом, подушкой накрывает лысую голову. Мама и я спим на одной кровати: железная, с тощим матрацем.

Когда ни мне, ни маме не удавалось раздобыть щепок, палок, досочек, мы ужинали так: хлеб запивали холодной водой... Но как только мы кончали «трапезу», Степан Иванович разжигал в печке три полешка и варил себе из муки или из отрубей болтушку, тут же у печки съедал ее, закрывал вьюшку в печной трубе (а в печке был еще синий огонь) и заваливался в свою кровать-берлогу. В комнате становилось сыро и дымно, изголовье нашей кровати у печки. Утром наши головы были «пивными горшками», а ему хоть бы что. Открыть трубу не разрешал: «Я здесь хозяин, а вы прижиwalkи...»

Явно у него были кое-какие запасы, так как, прежде чем сварить себе болтушку, он выходил из квартиры, а через некоторое время приносил в ковшике муку или отруби и начинал стряпать. Дворник знал все тайники в доме, чердаки, подвалы, ниши и, наверно, где-то держал запас. Нередко говорил, что старику много не надо, «переживу голод и все неудобства жизни — только бы дом не пострадал от бомбы...»

«В октябре убитых и раненых жителей — 2147 человек».

Дружу с Тасей — из нашей бригады. Ее родители в эвакуации, а она не поехала из-за одноклассника Игорешки (он воевал под Ленинградом). Она так много о нем говорила и так возвеличивала его характер и внешность, что мне он стал представляться богатырем, а когда она показала фотографию (в первые дни войны сфотографировались вдвоем, во весь рост), то он выглядел на ней меньше ее, угловатый, с растерянным лицом, уши торчат.

Эта Тася сдала в фонд обороны брошь (говорили, что ценная). Мне понравилось, что Тася не на базар ее снесла, а могла бы на нее выменять хлеба или одежду (на рынках были люди, которые в хлебе не нуждались, а «ловили» ценные вещи, выменивая их на хлеб...).

А мне нечего сдать в фонд обороны. Есть две пары новых галош. Не имея свободных денег, мама до войны любила время от времени сделать какую-нибудь дешевенькую покупку, чтобы «душу повеселить» самим фактом покупки. И вот эти галоши сейчас очень намгодились.

А Тася погибла под обстрелом на Невском. Шла к подруге...

Нелепо погибла Нина Якушкина. Во время разборки руин дома упал кирпич — проломил ей череп. Тоненькая, беленькая, остроносенькая девушка. Когда кому-то называла свою фамилию, добавляла: «Я — потомок декабриста Якушкина». Жила она с матерью, отец погиб в первых боях. После гибели Нины мать перебралась к брату мужа — полубезумному человеку.

Вообще в это время ленинградцы старались жить кучнее. А вот Степан Иванович упорно отъединялся от людей, становился недобрый, угрюмым, жадным (последнее качество было очень заметно в нем и до войны). Очень быстро происходил в нем какой-то «сдвиг». От склероза? От страха? Или натура проявилась? Зачем-то по ночам кровать свою передвигает, не дает нам спать. Твердит, что хочет жить один. Оказывается, у него были дети, сын и дочь, — об этом он сказал мне давно. Жили они где-то далеко, в других городах, к нему никогда не приезжали, а самое странное — он никогда не получал от них писем и сам никогда никаких писем не писал. В минуту его откровенности я попросила адрес его детей и предложила написать им. Он зло ответил: «Не желаю унижаться!»

Убедить Степана Ивановича в том, что в такое страшное время люди должны лепиться друг к другу, не смогла. Он сдурил совсем, стал попросту вредить нам, вредил мелко, некрасиво, пакостно издевался, не давал отдохнуть. Откуда что бралось — даже стал материться...

Терпение мое иссякло, когда однажды мы застали такую картину: наша постель оказалась обгоревшей, залитой вонючей жижей из туалетного бачка. Мама со слезами обратилась к нему: «Зачем ты это сделал, Степан? Ведь ты это специально сделал!» Он мрачно объяснялся, будто уголек из печки стрельнул на нашу кровать и загорелось... а он тушил.

«Но почему же ты тушил не водой, а дерьмом?» — Ответил: «А чтобы тебе плохо было, чтобы спать не на чем, чтобы вы от меня ушли — я хочу жить без вас...»

Мама всю ночь ворочалась на тонкой подстилке на полу, я сидела в кухне. Мне надо было выговориться перед кем-то, и я написала письмо в райисполком: объяснила нашу ситуацию, попросила предоставить нам любую каморку, хотя бы временно, или разрешить постоянно ночевать в бомбоубежище или домоуправлении.

Утром письмо отправила (маму не посвятила в свою затею). Письмо-то отправила, выговорила, стало полегче на душе, но потом стало очень стыдно: как же я могла? До того ли сейчас руководству? В городе нет продуктов, рушатся здания, погибают люди, а я — с личной мелкой просьбой. Потом стала себя успокаивать: коль сейчас не до того руководству, так письмо мое и пролежит в какой-нибудь папке до конца войны... А когда же ей конец-то наступит? И как же мне было стыдно, когда дней через десять пришли две женщины из исполкома по моему письму. Мамы не было. Они велели позвать Степана Ивановича. Я готовилась принести им слезные извинения, что заставила их отрываться от трудных своих дел на такую мелочь... Но они деловито расспрашивали, *заинтересованно*, с какого года моя мама живет в Ленинграде, как мы оказались в казенной дворничкой у Станкевича Степана Ивановича, чем он недоволен. Степан Иванович моргал, бормотал, был насторожен, удивлен (что это за люди пришли, с какой целью):

— Я пустил Елену Алексеевну к себе в начале тридцать восьмого года: тогда с нею было трое детей, жила она в рабочем общежитии. Мне она понравилась, я ее пожалел, думал, что она будет мне благодарна, станет моей женой, потом вместо меня дворником. Прописал я их легко — дворнику в паспортном столе все знакомые, да и не препятствовал никто. Но она не захотела со мной регистрироваться и в близкие отношения тоже не вступила... А теперь я хочу один жить...

— Напрасно вы, Степан Иванович, хотите остаться один. Вы уже немолоды, потребуется помощь — время-то какое! Без людей плохо. Люди с людьми должны жить, поддерживать друг друга...

— Я хочу один жить!

— Почему?

— У них нет дров, а у меня есть. Я не обязан их отапливать...

— А если их с вами не будет, разве себя отапливать не будете? Неужели жалко, если люди погреваются у вашего тепла? Наверно, от них тоже есть отдача? Они разве для вас ничего не делают?

— Почему для меня? Где бы они ни жили, им все равно пришлось бы убирать в жилье; да, они уборку делают...

— А кто вам стирает белье? — спросила женщина.

— Анюта стирает. Так это нетрудно, вместе со своим бельем — в одном корыте!

— А может быть, они очень распространились со своими вещами и потеснили вас?

Молчит. Ответила я, показав «наши вещи» — кровать и под нею фанерный чемодан и корзина. На кухне — две наши кастрюли, две чашки.

Обследовательницы больше ни о чем не стали спрашивать. Одна из них сказала, чтобы мама в ближайший день, когда будет свободна от работы, зашла в райисполком за ордером: в доме № 17 на этой же улице нам предоставляется комната во временное пользование (хозяин комнаты — на фронте, его жена — в эвакуации). Все, что есть в комнате из вещей, надо принять по акту, сохранить... Жизнь сама растолкует будущее: если хозяева комнаты вернуться — нам предоставят другое жильё, Кудряшова имеет на это право: в Ленинграде давно живет, труженица, троих детей вырастила, не имея своего жилья... Мать фронтовика.

Проводив женщин, я, ошеломленная, тут же опустилась на Степановы дрова... На меня «нашел столбняк»... А когда меня Степан Иванович окликнул, я разревелась. Старик ничего не понял из происходившего только что. Я объяснила ему. Он тоже был ошарашен, бубнил: «Вот и угол свой будет...»

Моему сообщению мама не поверила, пока в ее руках не оказался ордер, прописка и ключ от комнаты. Все происходило просто, быстро, без волокиты.

Акт на вещи оформляли домоуправша с дворничихой. Шкаф фанерный, столик, металлическая кровать, комод, диван с рваной обивкой и провалом посередине, ведро, топор, четыре тарелки.

Комната на первом этаже, вытянутая в длину, метров десять. В переднем углу — печка круглая, обитая железом (как у Степана Ивановича). В квартире еще четыре комнаты, но ни одной живой души. Чувствуется, что людей здесь нет давно. Кухня свидетельствует о том же. Комнаты заперты, свету нет. Коридор длинный, темный (буквой «Г»). Наша комната в конце коридора, около кухни. Слава богу, окно одно — меньше будет холод проникать, да и маскировать одно окно проще.

В комнате подвальный холод.

Переехали за один час. Дом Степана Ивановича, № 41, — на одном конце улицы, наш, № 17, — близко от Литейного проспекта. Степан Иванович раздобылся — дал нам для перевоза скарба высокую большую двухколесную тележку, и мы за один раз перевезли свои вещи: постель, чемодан, корзину. Мама просила у старика несколько поленьев дров — как не слышал...

Когда собирали вещи, я заглянула в коридорный «аппендикс», где Толя любил возиться со зверьем. Когда он уезжал, ворону подарил «Митяфаниковым» ребятам, а ужа вместе с ящиком велел отнести в Таврический сад, но я начисто об этом забыла. А сейчас заглянула в ящик — там лежала высохшая ужиная кожа... Осиротевший, погибший блокадный ужонок...

Начало ноября. Метет поземка (зима началась рано), ветер холодный. Одиночные прохожие смотрят, как две женщины толкают тележку. Кто-то сказал: «Наверно, их дом разбомбило...» А мы едем в свой угол...

Мне казалось, что все это происходит во сне... Случись в этот день бомбежка или обстрел, наверно, я на них не отреагировала бы. Степан Иванович долго стоял около своего дома, смотрел нам вслед, прокричал, чтобы тележку сегодня ему вернули и чтобы написали ему наш адрес. А все-таки он растерялся от такого оборота дела...

Продрогшие, голодные, но деятельные, мы быстро перенесли пожитки в квартиру и повезли Степану Ивановичу коляску. Он сидел у печки на низенькой скамеечке в высоких валенках, в тулупе. В печке весело пылал огонь. Он ел горячую болтушку из котелка. Пока не съел — не заговаривал с нами. Все мы за последние два месяца похудели заметно.

Мама с поклоном попрощалась со стариком, пожелала долгой спокойной жизни.

И вдруг старик стал говорить — у него дрожал подбородок.

— Не осуждайте меня, Хелена, Анюта. Я в каком-то затмении и страхе был все месяцы, как началась война, я сам себя не понимал, что говорил и делал... А когда вы уехали с вещами, я как-то опомнился и понял, что мне без вас лучше не будет.

Адрес мы ему оставили, звали приходиться к нам, если нужна будет ему наша помощь.

Тут Степан Иванович пошел к комоду, что-то достал из-под салфетки и подал мне конверт со словами:

— Забыл, совсем забыл о письме. Сейчас вдруг вспомнил! Недели две уж, как я из ящика вынул его, положил и забыл сказать. Тебе письмо.

Это было первое письмо от того «сентябрьского» лейтенанта Морозова Сергея Михайловича. Конверт надписан зелеными чернилами, почерк четкий, ровный. Прочитала — хорошее письмо: знает о трудностях ленинградцев, заверяет, что воины будут мстить и уничтожать фашистов до последней капли крови.

Просит ответить. Полевая почта указана. Вспоминает бомбоубежище на ул. Петра Лаврова. Хочет иметь мою фотографию.

В этот вечер осваивали «свое» жилище. За шкафом обнаружили листы картона — ими заколотили секции в раме, где недоставало стекол, завесили окно старым одеялом. На кухне нашли трухлявую табуретку, раскололи ее и затопили печку, согрели водички, поужинали дневной пайкой хлеба (с утра сберегали хлебушек). И чтобы не заоченеть, легли спать в платках, пальтушках, в обувке. Не спалось, хотелось есть. Одолело чувство одиночества — гнетущая тишина, ни одна душа в квартире так и не появилась. Не установили, есть ли в квартире электричество, так как в коридоре, в кухне, в нашей комнате отсутствуют электрические лампочки, хотя проводка есть. Мама вспомнила, что в корзинке вместе с ее иконочкой должна быть и лампадка, и гарное масло в бутылочке. Это нас очень выручило на несколько дней. Зажигая лампадку, мама сказала:

— Вот что означал тот «знак» — найденный тобой в подъезде узелок с иконой Божьей Матери. Тебя Бог возлюбил и помог нам.

— Мама, помогли люди!

— Не скажи: кто-то натолкнул тебя написать в исполком... Кто-то внушил людям, прочитавшим твое письмо, что тебе надо помочь... Кто? Кто, кроме Бога?

Плохо, что в нашем жилье, как и у Степана Ивановича, нет репродуктора — без радио как в темном лесу, даже не знаешь, когда объявляется воздушная тревога, узнаешь о ней, когда уже свист, разрывы бомб... А может, так и лучше. Еще было бы лучше, будь в квартире соседи, а так мы как замурованные в склепе. Голодные бессонные ночи создавали впечатлительные, что во всем городе я и мама — единственные жители...

«В канун 24-й годовщины Октября на город упало более 100 бомб весом от 50 до 1000 кг. Впервые — бомбы замедленного действия с часовым механизмом и другими приспособлениями. Пострадали 333 ленинградца. Кроме того, обстрелы с 11.35 до 18.50, а в 21.00 — новый обстрел. Детям к празднику выдавали по 200 гр. сметаны и по 100 гр. картофельной муки. Взрослым — по 5 соленых помидорин»...

Доклад И. В. Сталина.

В Таврический сад упал сбитый вражеский самолет — бомбардировщик. Говорят, что летчика поймали — он на парашюте спустился. Людей собралось много, все возбуждены, делятся новостями — о маленьких и больших удачах на фронтах, о сборе теплых вещей воинам, о начавшемся партизанском движении. Потом стали придумывать, какой бы казнью казнили Гитлера, окажись он вдруг сейчас среди нас.

Очереди за хлебом огромные. Суровые, похудевшие, побледневшие ленинградцы. Хлеб мокрый, горьковатый — пайке хлеба можно придать любую форму... но если бы его было побольше!

Сейчас известно нам, что тот хлеб «имел до 40 процентов разных примесей: мешочная пыль (выбойка из мешков), мельничная пыль, отруби, проросшее зерно, рисовая лузга, кукурузные ростки, целлюлозная мука (из древесины)».

Долгими голодными ночами, в холоде нет здорового сна, а лишь дрема, провалы. На улице метель наметает сугробы, морозно. Прожекторы освещают небо — когда нужно помочь нашим зенитчикам сбить вражеский самолет.

«13 ноября снижены нормы хлеба:

войскам 1-й линии — 500 гр.,  
войскам 2-й линии — 300 гр.,  
рабочим — 300 гр.,  
остальным — 150 гр.

В хлебе 25 процентов обработанной древесины».

Электричество только для важных объектов, госпиталей.

Тощем, слабеем. Но двигаемся, работаем, верим.

20 ноября — пятое снижение норм хлеба:

рабочим — 250 гр.,  
остальным — 125 гр.

Кроме этого хлеба, других продуктов не выдают...

«Сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам...»

(О. Берггольц).

В столовой на крупяные талоны можно съесть чечевичный суп (теплая водица, а в ней несколько штук чечевичин).

Давно уже нигде не увидишь ни собак, ни кошек...

Дохнут лошади. Когда на санях везут сдохшую лошадь, люди идут следом, чтобы узнать, куда ее везут и как бы разжиться кусочком мяса.

Птиц, крыс — будто никогда в природе и не было.

Однажды мама принесла в котелке мясной гуляш — от вида такой пищи я остолбенела сильнее, чем от сообщения об ордере на комнату. Какое блаженство, как вкусно!

Мама не ела, сказала, что на работе столько же съела, будто это им выдали по талонам... Я думала, что она хочет меня подкормить, обделяя себя. Когда скормила мне все, рассказала, что это конина, гуляш из мяса дохлой лошади. Им военные дали большой кусок, и в столовке сварили. И призналась, что не могла есть гуляш из дохлой лошади...

Вот рисовываю из книг, как выглядела карточка на хлеб этого периода.

**Ленинград**

**Карточка на хлеб.**

**На... месяц 1941 г.**

**Фамилия,  
имя, отчество**

**Место печати**

**Норма — 125 гр.**

**При утере карточка не возобновляется.**

За время блокады умерло от голода 641 000 жителей Ленинграда. Даже в эвакуации продолжали умирать...

«Дистрофия и холод в ноябре унесли 11 085 человек».

Мужчины сдают раньше женщин — еще в ноябре все это отметили.

«Сентябрь — ноябрь 1941 года — 250 раз воздушная тревога (чаще чем по 2,7 раза в сутки). За это время город обстреливался 272 раза, разорвалось 24 184 вражеских снаряда... Воздушные тревоги до декабря длились по 10 — 12 часов».

Декабрь: ни топлива, ни света, ни трамвая, ни водопровода. Коммунальные учреждения не работали. Стекла *выбиты*, холод, морозы.

Теперь мы называемся «бытовым отрядом»: выявляем больных, мертвых, устраиваем, вернее, передаем списки в соответствующие комиссии и организации о тех, кто нуждается в госпитализации в отделения дистрофиков, детей-сирот — в больницы и детские приемники; помощь почте и домоуправлению. Под нашим надзором две улицы — Петра Лаврова и Кирочная.

Когда видишь, как страдают люди и надо их успокоить, что-то для них предпринять, — свои страдания как бы отступают на время. Но ноги становятся тяжелыми, одолевает сонливость.

Наверно, простудилась — мучает сухой кашель... часто кружится голова...

Декабрь — январь, я еще на ногах, но все чаще хочется лечь... Исхудавшая, почерневшая мама очень ругает меня за эту слабость: «Ляжешь — и не встанешь...»

Сейчас буду писать отдельные картины-воспоминания. Время тогда будто остановилось, будто показывают тебе на экране затянувшийся страшный фильм, будто один и тот же кадр прокручивают.

Два раза навестила Степана Ивановича. Безучастный, апатичный, иссохший старик. Скулы обтянуты истонченной сухой кожей, нос вытянулся, заострился. Ругает себя, что неэкономно расходовал «запасец отрубей», дров: «Не могу сдержаться — постоянно голодно и холодно». Признался, что одному жить страшно. Никаких дворничьих обязанностей не исполняет, да никто этого и не требует. Он подарил мне два полена дров, а я часто занимала для него очередь за хлебом, и он подходил, когда его очередь была уже у входа в булочную.

Выстаивать очередь за хлебом на морозе, много часов (с раннего утра) для истощенных людей — огромный труд.

Кто пободрее — занимали очередь с ночи. Конечно, выдержать такое мог человек очень тепло одетый. А хлеб еще и утром не выпечен — на хлебозаводе нет воды, трубы замерзли...

Хвост очереди уходит в бесконечную даль. 6 часов утра. Разговоров в очереди почти нет, поэтому слышишь все.

Вот услышанный мною разговор между пожилой и молодой женщиной (кстати, тогда не всегда можно было угадать, кто молодой, кто старый):

— Я не ошибаюсь — это вы?

— Да.

— Как поживаете, что дома у вас?

— Да вот... я одна из всей семьи пока двигаюсь... могу только за хлебом... На Сашу похоронка пришла... Мама лежит... Сегодня папа умер... *начало месяца* — может, его хлебная карточка спасет маму...

(Карточка умершего оставалась живым, никто не требовал ее сдать — регистрация умерших отставала при такой смертности.)

Кстати, вроде еще до зимы проводилась перерегистрация карточек; ходили слухи, что немец забросил в город ложные карточки. На регистрации требовали паспорт, чтобы выявить случаи, когда продолжали получать карточки на членов семей, выбывших на фронт или умерших.

Сейчас в книгах пишут, что «перерегистрация дала возможность сократить количество выдаваемых карточек на 88 000.



Страшнее бомб, снарядов — потеря хлебной карточки. Это — смерть! Кроме того, по карточным талонам прикрепившиеся к столовой могли купить дрожжевой или чечевичный суп — тепленькую мутную водицу; студень (из чего он?) — невкусный и плохо пахнувший... но все же еда, спасение.

Какой же душевный подвиг совершал блокадник, если отщипывал от своей пайки хлеба и давал несчастному, потерявшему хлебную карточку. Нередки случаи, когда карточку выхватывали у человека из рук, когда тот готовился выкупить свой хлеб, уже находясь близко от прилавка. Выхвативший должен иметь более быстрые ноги, чем люди в очереди, успеть убежать. Говорили, что это делали фэззушники — подростки, очень страдавшие от голода.

В бомбоубежище пришла женщина в невменяемом состоянии, села на пол и объявила, что в один из ближайших пяти дней умрет. У нее украли карточку. До конца месяца оставалось пять дней. Каждый из нашего бытового отряда выделял ей от своей пайки «таблеточку» хлеба, и она дотянула до новой карточки...

Очередное поручение — разнести письма по квартирам дома на ул. Кирова, заодно выявить больных, а мертвых, если у них никого из родственников не осталось, перенести в домовую прачечную с помощью людей подъезда, физически на это способных.

В одной из квартир наткнулись на человека, сидящего на полу. Мы носили с собой огарок свечки... Мрак, холод, грязь, а на полу сидело лохматое, седое существо мужского пола и грызло с урчанием ножку от стула. Увидев нас, испугался, спрятал деревяшку за спину со словами:

— Не отдам! Это у меня последний кусок мяса!.. А может быть, вы мне еще принесли мяса?

Жадно оглядел нас... И пополз к нам, шепча: «Вот оно, мясо-то... само ко мне, на ножках, прибыло!..»

Может быть, он не был вполне нормальным и до блокады, а голод окончательно его превратил в зверя... Сообщили о нем в поликлинику.

Мама и я при встрече, в нашей комнатухе, исподтишка всматриваемся друг в друга. Свой вид правильно определить невозможно, а за маму тревожусь — кожа у нее (лицо) стало какое-то смуглое. Худенькая, как девушка, но походка, движения не замедленные, взгляд не заторможенный. Она на меня посматривает с тревогой. Да я и сама собой недовольна: приступы кашля переходят в удушье, мне не хочется двигаться...

За хлебом хожу я, и за водой на Неву — я.

Вечером садимся за стол: выкупленный хлеб мама делит на две равные части, одну из которых делит пополам и подвигает мне мою долю, себе — другую. А вторую часть режет на мельчайшие кусочки — «таблеточки», — мы эти «таблеточки» ночью; в постели, будем сосать, когда голод будет нестерпимым.

Иногда часть общего хлеба мама велит отнести на рынок, чтобы выменять на него керосину для коптилки или лучинок. Неосвященная комната угнетает голодного человека еще сильнее.

Спим в верхней одежде, в постели долго не согреться.

Как хотелось бы помыться! Далеко не каждый день удается добыть чего-нибудь горящего для печки, чтобы растопить в кастрюльке лед — вода в ведре замерзает.

Из старого ватного одеяла сшили чувяки, на них надели имевшиеся у нас галоши. Маленькая радость от этого.

Вслух о еде, о чувстве голода не говорим. Если не уснуть, мама рассказывает свою жизнь (неудавшуюся), читает наизусть «Мороз, Красный нос» (ее любимое, созвучное с ее судьбой).

От Сергея Михайловича было три письма. Я на все ответила. Его и мои письма в одном духе — преодолеем все трудности, фашиста победим. Просьбу его о фотокарточке выполнила — послала предвоенную. Благодарит.

Жизнь города: нет транспорта, замерз водопровод, нет света. Хлебная очередь-змея молча смотрит в ту сторону, откуда подвезут хлеб (лошадка тянет сани, покрытые брезентом), а то и просто на санках подвозят. Волнуются, хватит ли на всю очередь. В булочной не теплее, чем на улице, но чья очередь подошла к дверям булочной, радуются — сейчас будут спасены от ледящего ветра и колющего щеки мороза.

Все способное двигаться население (и я в том числе) подает по цепочке ведра с водой — от Невы до хлебозавода. Чтобы разогреться получше, часто вызываюсь работать у проруби — зачерпывать ведрами воду. Скользко (расплескивающаяся вода замерзает), и вот я наконец ложусь на край проруби, только зачерпываю, а стоящие вокруг женщины подхватывают ведро, другие очищают прорубь ото льда. Рукавицы обледенели — поочередно закладываю то одну, то другую в рот, скусываю с рукавиц сосульки, сосу их, как конфетки-леденцы, забыв о своем кашле. Душа ликует: сегодня всем хватит отовариться своей нормой хлеба!

Входную дверь в квартиру мама не велит закрывать на крюк (а «вдруг сыночек Васенька каким-то чудом появится»), а мне приказала написать крупными буквами на бумаге, что «в этой комнате есть живые люди — Кудряшова Елена Алексеевна, Орлова Аня», и повесить на двери нашей комнаты.

Однажды мама спросила: «Месячные у тебя бывают?» Я не сразу поняла, о чем речь, а поняв, удивилась, что их не бывает. Мама сказала, что это от истощения. У большинства женщин это прекратилось, у нее — тоже.

Десять вечеров в нашу квартиру кто-то приходил. Шаркающей походкой, с крѣхтом и кашлем добредал до кухни и затихал. Утром исчезал. Старик, похоже. Страшно! Наверно, считает, что в квартире никого нет, коль входная дверь не на запоре. Когда он проходил мимо нашей двери, мы замирали, желания познакомиться с пришельцем не возникало от страха. Кухней пользоваться нам не было необходимости. Там валялся старый тюфяк — раньше его не было. Значит, человек приходил ночевать. Кто он? Без пристанища или потерял рассудок. Кухня загажена — у него понос с кровью. Значит, последняя стадия дистрофии.

А где же ему оправляться? Туалет не работает. Мы с мамой, как и все теперь, ведро свое выносим на улицу (хорошо, что у нас первый этаж), а то видела, как с третьего этажа тетка выплеснула из ведра на лестницу.

Куда исчез наш кухонный постоялец? Наверно, на улице умер, как умирают дистрофики: прислонится к стене дома или к сугробу, замрет в такой позе, а потом упадет, как бревно промерзшее. Умер, как умирают голодные птицы на морозе, — с ходу.

Хоть бы природа пожалела людей — смягчила бы морозы... Зимние улицы не расчищались. Высокие сугробы, меж них протоптанные дорожки на тротуарах. Так выглядела наша улица.

Провода покрыты толстым мохнатым слоем инея, безлюдье на улице. Фантастическая картина, особенно ранним утром и поздним вечером. Утром бывали трупы на тротуаре. Позже их уберут — ездили спецгрузовики или подводы, собирали и увозили, наверно, к местам братских захоронений.

На Невском, Литейном (в других районах города я не бывала в последние месяцы) людей больше. Особенно днем. Город жил, трудился, превозмогал.

Вот женщина тянет за веревку фанеру, на которой лежит покойник, завернутый в одеяло. Везет хоронить (если имеет хлыст), а то довезет только до места, где трупы временно складывают, а потом увозят в места братского захоронения. Но далеко не всякий имел силы дотащить сюда. В доме Степана Ивановича трупы складывали временно в домовой прачечной.

Шла в булочную. Раннее утро. Впереди шел, покачиваясь, старик в тряпье (а может, и не старик еще). Похоже, тоже направился в хлебную очередь. Сделает шаг — остановится, покачается, опять шаг... Опустится на сугроб.

Подошла к нему, вижу — человеку конец скоро: нос побелел, взгляд затуманен. Еле разобрала его бормотанье, просит приподнять ему пальто и спустить штаны... Зачем? — Живот болит. Помогла. Держась рукой за сугроб, приподнялся. Я сделала, что он просил... Из него с силой вылетела струя жидкости (понос). Потом стал оседать и свалился мертвым. С подошедшей женщиной мы оттащили его от грязного места, натянули штаны... Она сказала: «Отмучился. Оставим тут — сегодня днем машина будет, подберут...»

Страшно, если человек забирает (выкупает) свой хлеб на день-два вперед. Самообман. В конце месяца он будет расплачиваться за это: два — три дня до новой карточки абсолютно без крохи еды.

Вот и я залезла вперед (по своей карточке) — надо сходить на рынок, выменять чего-нибудь горячего для коптилки или щепочек-лучинок (коротенькие связочки — как школьные палочки для счета — умещались в ладошке).

Надо иметь возможность подогревать воду, чтобы не усиливался кашель от воды со льдом. А может, лучше хлеб обменять на жмых («дуранду») — дольше можно держать во рту и сосать.

Удачный поход: уношу с рынка половину четвертинки керосина, горсть лучинок и один квадратик жмыха (величиной с шоколадный квадратик). Но горько при мысли, что маме придется делить *свою* норму хлеба на двоих.

Путь с рынка — мимо дома Степана Ивановича... Дверь подъезда — настезь, обледенелые ступеньки (так во всех домах — расплескивают воду или... выливают горшки).

Дверь в дворницкую полуоткрыта... гробовая тишина, мрак на кухне, пронизывающий холод... Прошла в комнату — Степан Иванович спит: поперек кровати лежит навзничь, ноги в валенках опущены на пол (он часто так устраивался на кровати, чтобы проще встать, если постучат в парадной, — это было до войны)... Открыла угол маскировочной шторы, окликнула старика... не шелохнулся... Подошла к кровати и поняла, что старик уснул вечным сном... Почудилось, что усы его покрыты инеем...

Пятясь, вышла на лестничную площадку, постучала в Ольгину квартиру — молчание! Побегала (это был не довоенный бег, а поспешающий шаг...) к матери чахоточного Саши — дверь тоже открыта, но женщина очень ослабевшая — помочь не может... Только расстроила ее. В домоуправлении застала домоуправшу, она мало изменилась внешне. После войны о ней говорили, что она имела хороший запас продуктов, меняла даже на вещи; будто уносила в свою нору вещи из квартир умерших... Домоуправша сказала, что труп старика надо снести в домовую прачечную, что сегодня будет машина на нашей улице брать трупы, что в прачечной нашей как бы «точка, куда складывают трупы», — водитель о ней знает и заезжает... Но велела со старика снять тулуп и валенки — «они казенные», числятся...

Помогали сама домоуправша и еще две женщины. Сняли тулуп с трудом, а валенки не снимались — замерзшие стопы не позволили. Старик усох — не тяжелый... Завернутого в одеяло, уложили Степана Ивановича с другими трупами на каменном полу в прачечной...

Когда вышли со двора — по улице двигалась грузовая машина, в кузове, как дрова, вровень с бортами лежали промерзлые трупы...

Я перешла на другую сторону улицы и оттуда с ужасом глядела, как «грузили» мертвецов из прачечной... Вот такое было мое прощание со стариком, который в свое время приютил нашу «барачную» семью.

До этого момента я не думала, что я или мама можем умереть. А сейчас не только подумала, но с ознобом ощутила — с нами может это произойти...

Керосин не горел... по каким-то приметам мама определила, что это моча... Плакать слезами мы уже не умели... плакала душа от обиды...

Чтобы подольше растянуть хлеб, я макаю палец в соль — облизываю его и запиваю ледяной водой. Соль крупная. Понимаю, что много пить нельзя, тем более с солью, — будут отеки, но нет сил остановиться...

«Буржуйку» мы так и не смогли приобрести (на рынке они имеются). Надо для этого иметь много хлеба. «Буржуйка» выручила бы: тонкие стенки, мало надо щепок. В печке, с краешку, сложишь маленький костерок — не успеешь воду подогреть. Уже сожгли все, что могло гореть: два стула (хозяев комнаты), кухонную табуретку (тоже не наша). Я уговаривала маму разломать на топливо фанерный шкаф, ломаный диван (выживем — расплатимся с хозяевами, если они будут живы и вернуться...) — мама упорствовала. Стали думать, что можно сжечь. Я предложила истопить печку шеститомником В. И. Ленина, который был подарен брату Васе в ФЗО за отличное окончание учебы (штукатур, маляр). На титуле первого тома — дарственная надпись. Красные толстые книги, которые Вася не раскрыл ни разу. Я один раз заглянула, готовясь к экзамену по политпросветработе в июне 1941 года, перед самым началом войны.

С трудом уговорила маму топить печь томами. Начали с шестого (первый, с надписью, мама хочет сохранить — для Васи?..).

Да простит нас Владимир Ильич! Окажись он тут — сам бы, думаю, положил книги в печь, чтобы измученные люди хотя бы видом огня погрелись...

Но были наказаны! И чуть не умерли в эту ночь... Мама положила в печку два тома целиком, чтобы дольше горело, а надо было бы разорвать, скомкать. Тома то загорались, то вяло тлели. Я уснула, мама осталась кочегарить...

Ночью я проснулась от дурноты: тошнило, голова чумная и кровать будто покачивается. Мамы на кровати рядом со мною нет. Горит коптилка. С трудом приподнялась — шум в ушах, рвота... Стало чуть полегче. Сползла с кровати — я уже поняла, что маме не лучше, чем мне... Но что с нами? Мама сидела на продавленном диване, опустив голову на грудь, изо рта слюна тягучая, лицо темное... и хрипит. Подползла к ней, потрясла, а у самой в голове все мутится.

Что это? Голодный обморок у нас? Но почему у обеих одновременно? И тут я учуяла угар... Добрела до печки, ворохнула кочергой, а там синее тление... Труба закрыта. Все поняла. Мама хотела побольше тепла сохранить в печке, рано закрыла трубу.

Мама прохрипела:

— Вот и конец наш... Мы угорели... Я виновата, что согласилась сжечь эти книги. Наказал Бог — я трубу закрыла совсем... Доченька, выползай на улицу, если в силах, а мне, видно, каюк — я ближе была к печке, а дверца была открыта...

Вот когда о еде совсем не думалось. Я сорвала с окна маскировку, выбила стекла, какие еще сохранились. Открыла трубу, дверь в коридор. Стали умолять маму найти силы выползти на улицу. Меня тошнило, шатало, а у мамы вязкая слюна изо рта. Но вот мы выползли на улицу, хватаем морозный воздух, жуем снег. Помочь нам никто не может — будто на вымершей, вымершей планете только мы... В квартиру шли уже не на четвереньках, забрались в ледяную постель и провалились в тяжкий сон.

С этой ночи кашель душил меня почти без перерывов. Лекарств, градусника, горчичников в нашей семье не водилось даже в мирное время. К врачам никогда не обращались — не потому, что не испытывали хотя бы самых обычных недомоганий, а просто потому, что не было принято, *стыдно*. А сейчас тем более. Да мы и не знали, работают ли сейчас поликлиники, врачи. «Люди мрут от голода, а ты хочешь найти „врача от угара“.... Пройдет», — сказала мама.

Коммунальные учреждения в декабре — январе не работали, врачи в поликлиниках если и были, то тоже «вид имели»...

При заводах, наверно, были свои санчасти, какие-нибудь столовки. А я если успевала днем сходить в столовую на Литейный, то съедала тарелку супу (хоть тепленький), но ведь надо было отдать хлебный талон (часть дневной нормы). Почему-то маме казалось это неразумным — «давай лучше тянуть только на хлебе».

Когда мама и я работали на разборке деревянных строений, заборов, всегда удавалось принести немного для печки, а теперь сидим на абсолютной холодной воде.

Комсомольские взносы платила в РК нерегулярно. Записалась в доноры — раненым нужна кровь.

На Главпочтамте, говорят, провели разборку скопившихся писем, распределили по районам. Задание — работать по разноске почты. Послали из нашей бригады меня, Елену Григорьевну (почтового работника с почты на ул. Некрасова), Раечку. Мои улицы — Чайковского, Воинова, Пестеля. Письма носим не по квартирам, а по домоуправлениям. Населению было объявлено об этом.

Выполняя это задание, Елена Григорьевна «сама себе вручила» похоронку на сына. Она жила тоже на Петра Лаврова, у нее никого родных в Ленинграде не было, а теперь вообще она абсолютно одинокий человек. Единственный сын — теперь и его нет. Она сдала, слегла. Рая и я стали ее опекать: выкупали хлеб, привозили на ее долю невской водицы. «Буржуйку» она топила книгами (большая, хорошая личная библиотека). Она давала нам книги читать. Ах, если бы можно было всю ночь жечь коптилку — книги утишали чувство голода. Мы просили Елену Григорьевну подбирать нам такие книги, где не говорилось бы о еде...

Мой путь в это время: с раннего утра — в булочную, во второй половине дня — за водой на Неву, днем — почта и разнос писем. Если в домоуправлении какие-то письма залеживались — шли на квартиру, так как это могло значить, что или у человека нет сил дойти до домоуправления, или... А может быть, человек давно в эвакуации или на фронте, а его разыскивает кто-то из близких. Выяснить, ответить.

Очередь в булочную. Тяжко стоять на морозе, на ветру. Я давно хожу в зимнем пальто брата, подпоясанном кушаком от халата. Все чем-нибудь подпоясывались — теплее. Голову согревали давние бабушкины подарки: снизу — платок (катетка кашемировая), поверх — башлык (такие башлыки надевали зимой, отправляясь в санный путь или в лес за дровами).

У мамы одежда удобнее: ватная телогрейка, штаны ватные — это ей подарили военные, когда она еще работала на окопах.

В хлебной очереди стараются говорить о хорошем или молчат. Скрюченные, закутанные, малоподвижные люди возбуждаются, если заметят обвес:

— Продавец-то как ловко вместе с хлебом свою руку «взвешивает»!..

Или:

— А еще до чего додумались продавцы: на дно чашки весов приклеивают пяточки — по несколько штук...

— Ну, это уж вы придумали... Надо быть не человеком, чтобы от ста двадцати пяти грамм воровать...

Кто-то мрачно изрек:

— «Цыпленки тоже хотят жить...»

Видела, как умирают дистрофики в хлебной очереди: стоит с побелевшими носом, щеками, без движения, без жизни — и вдруг без звука, без жалобы падает... мертвый. Всем понятно, что произошло, отчего, почему... В мирное время собралась бы толпа, охающая, ахающая, обсуждающая, предпринимаящая что-то... А здесь — молча отнесут труп в сторонку, и очередь сомкнется в том месте, которое от умершего освободилось. Бывало, что кто-нибудь скажет: «Он из нашего дома — скажу родственникам».

Многие носили в кармане записки — кто он есть и адрес.

Бывало и так: подходит твоя очередь войти в булочную. Продавец взвешивает горькие граммы; человек не успел еще взять с весов свой хлеб... его хватает другой человек, стоящий сбоку, одичавший от голода, с горящими глазами, и как ловко он этот хлеб хватает, засовывает в рот и падает на пол вниз лицом (чтобы не отняли), урча, жует... Его пинают ногами, пытаются перевернуть на спину, отнять хлеб, стыдят; пострадавший хозяин хлеба или беспомощно плачет, или бьет вора — все напрасно: одичавший человек, дожевывая хлеб, бубнит: «Подождите!.. Потом... Доем — и можете хоть убивать...»

Все было: если хлеб несешь в руке, а не в сумке — тоже могли выхватить. Вытаскивали карточки. Мальчишки-скелеты, подростки очень трудно переносили голод. Или опускался до такого поступка человек, потерявший карточку.

«С ноября 1941 по октябрь 1942 года трест „Похоронное бюро“ вывез на кладбище 451 209 трупов, а всего погибло от голода 641 803 человека».

«В декабре от голода умерло 52 880 ленинградцев». «К началу января 1942 года — апогей голода».

В один из декабрьских вечеров я вышла из подъезда, чтобы сходить в домоуправление — нет ли нам писем. Трещал мороз. Изредка прошаркает на отяжелевших ногах прохожий. Засмотрелась на деревья в инее, на сугробы... Кто-то шел от Литейного проспекта по нашей улице, по моей стороне улицы. Ну, идет — и пусть идет... Почему же мне захотелось на этого человека посмотреть? Дело в том, что человек шел бодрой походкой — снег скрипел под его ногами, в хорошем здоровом ритме походка...

Это была женщина... Чем ближе она подходила, тем знакомее мне казалась ее походка, весь ее облик...

Я не ошиблась, я ее знала. Это была Оля, которую я не видала с того летнего разговора о ее больных почках.

Она настолько была «узнаваема», будто не жила эти месяцы в блокадном Ленинграде. Только повзрослела. Аккуратно, чисто одета, на голове белый вязаный шерстяной платок. Не клонится ее голова на грудь, не под ноги себе она смотрит (что свойственно ленинградцам).

Как приятно смотреть на «довоенного человека». На рынке, на толкучке встречаются такие целенькие особи, на лицах которых нет блокадных следов, и больше того, из сумок их выглядывает хлеб — целая буханка, они на него выменивали ценные вещи — котиковые манто, серебро, золото. Жизнь что океан — в ней тоже акулы водятся.

Так вот — это была Оля. Поравнявшись со мной, даже не взглянула. Я тихо произнесла ее имя, она равнодушно скользнула взглядом, продолжая путь. Но мне очень хотелось расспросить, узнать, чем и как живет она. Я более требовательно позвала ее... Подошла неуверенно, с опаской, всмотрелась:

— Неужели это ты, Аня? Как ты изменилась!.. Слушай! Как ты могла позволить себе дойти до!.. Ты выглядишь изможденной пожилой женщиной... — подбирала она слова помягче.

— А ты разве не замечаешь, что все сейчас такие?.. Да и одежда не красит: платок по-деревенски подвязываю, теплее, все на мне балахонистое... А ты явно лучше меня живешь, и мне любопытно узнать — как? Я, например, постоянно думаю о еде, мечтаю о бане, — закашлялась я от разговора на морозе.

— Аня, пойдём, я тебя доведу до твоей дворницкой!

— Я там давно не живу, а Степан Иванович умер — я в тот день стучалась к вам, но никто не отвечал.

— А мы там тоже не живём, давно переехали: нам выделили квартиру у Пяти Углов — это Валентина-сестра устроила. Хозяйка квартиры умерла (но не от голода — тогда ещё голода не было, это летом ещё было, вскоре после нашей последней встречи на лестнице). Квартира с неплохой обстановкой, даже есть пианино. Мама хозяйство ведёт — она ведь очень плохо переносила прежнюю (сырую) квартиру. Сестра Валя переехала к нам — от ее мужа-«райкомовца» нет вестей (он на фронте).

— Ну а как вы переносите все блокадные трудности, как живете?

— Каждый живет как умеет... мы уже с тобой на эту тему объяснялись и разошлись... Одни хотят выжить — к ним принадлежит моя семья, естественно, и я. Другие плывут по воле волн к гибели, причисляя себя к героям-мученикам (ты и подобные тебе). Конечно, умереть любой может, я тоже — скажем, от бомбы, — но от голода не умру! Нет!.. А тебя, Анна, — (она всегда любила коверкать имена), — мне жаль...

— Во-первых, не верю в твою жалость, во-вторых, я ее не желаю, не прошу. Я только хочу понять, что помогло тебе сохранить вес тела? Где все твои близкие?

— Валя работает в «Бюро заборных карточек», туда же устроила Анфису — Васину жену, а сам Вася имеет бронь. Брат Иван скоро станет летчиком. Отец работает на Кировском заводе, мама — дома, а я помогаю ей — ревматизм ее замучил.

— А как с едой? Любому ясно, что на блокадной норме хлеба ты не была бы такой...

— Запиши мой адрес, приходи, если сил хватит, подкормлю, выправлю... У нас на каждого члена семьи — рабочая карточка (Валина помощь). А у Вали и Анфисы — по две карточки... У Вали есть генерал (проще сказать — любовник) — он на Большой земле, но по долгу службы часто прилетает в Ленинград — привозит продукты Вальке. Да и с нарочными присылает гостинцы... А при генерале есть капитан (то ли адъютант, то ли вместе служат, но всегда у нас бывают вместе). Капитан — мой, генерал — Валин. Должна тебе сказать, что капитан не менее радетельный и шустрый. К тому же мама сделала солидные запасы в начале войны... Вот ты, наверно, уже съела сегодняшний хлеб, а мы еще и не начинали. С дровами неважно — когда скапливается много хлеба, меняем его на дрова. Если ты добредешь до нас — накормлю пшенной кашей, с хлебом...

— Оля, уж лучше бы ты соврала, а не рассказывала бы все так откровенно. Что ты чувствуешь и думаешь, когда мимо тебя везут на листе фанеры труп? В твоей семье на рабочую карточку право имеет только отец... Ведь вы крадете... И этот хлеб ты предложила мне!

— Вот что я тебе скажу: люди умирают не оттого, что я не голодаю и хочу выжить... Не думаешь ли ты, что я испугалась своей откровенности? Я-то вижу, что сейчас происходит в городе, а ты по-прежнему митингуешь... так и осталась недотепой... Слова, слова, а жизнь у человека одна. Кто-то выкарабкается, а кто-то... Кашу я искренне тебе предлагала... Прощай!

С Олей я увижусь еще раз, последний, — после войны, но уже не будет между нами никаких отношений — ни дружбы, ни ненависти, ни споров. Я не ответила на ее попытку сблизиться со мной.

Освобожден Тихвин. Есть Ладога, есть станция Войбокало... Надежда и вера поддерживают.

Конец декабря. Оживились даже безнадежные. Радость — *ПОВЫШЕНИЕ ХЛЕБНОЙ НОРМЫ*:

«Войскам 1-й линии — 600 гр.,  
тыловым частям — 400 гр.,  
рабочим — 350 гр.,  
остальным (служащие,  
дети, иждивенцы) — 200 гр.

Но смертей от голода не меньше. Дополнительные граммы хлеба (никаких других продуктов) не спасают. Физически те же муки, но моральная поддержка огромная.

Кто хотел и мог уехать, воспользовались эвакуацией через Ладогу в ноябре — декабре.

Ходила сдавать кровь... Оказывается, моя группа крови — IV (себе может принять все группы, отдать — своей и I-й).

Взяли. Тут же сразу кормят. Домой взять нельзя. Получила половину яйца, квадратик шоколада, жиденький, но горячий суп. Как обидно, что нет возможности разделить это с мамой. Утешаюсь только тем, что свой хлеб сегодня я отдам ей.

Обстрелы города постоянно. Мороз — 30 градусов.

А в РК обсуждают дела и заботы, связанные с предстоящей весной...

Наш бытовой отряд уменьшается. Два раза в неделю буду ходить в больницу им. Некрасова на ночные дежурства — помощь отряда измотанному медперсоналу.

Сутки заняты плотно. Сильному и здоровому все это было бы просто. Много сил и времени берет стояние в очереди за хлебом. Принести воды — тоже уже нелегко. Выпечка хлеба — с задержкой большой: нет топлива, воды, света.

Кашлю надсадно, грудь пронзает боль, дышать глубоко не могу. В больнице дали таблеток от кашля — не помогают.

«В городе более 2 млн. человек... 40 тыс. детей». «На 1 января 1942 г. в Ленинграде оставалось 980 тонн муки».

## ДЕКАБРЬ — ЯНВАРЬ

Что пришлось есть, кроме выдаваемой нормы хлеба:

1. Распаренные кусочки ремня (к сожалению, ремень был всего один). Толку от этой «еды» никакой, но хоть что-то жуешь...

2. Котлетки из горчичного порошка. Надо бы его долго вымачивать, но нет сил ждать... Слепишь лепешечку, выпаришь касторку на сковородке и погреешь эти лепешечки. Потом — корчи, боли в животе.

3. Кусочек жмыха — восторг!

4 «Кисель» из столярного клея. Мама где-то добыла пластиночку.

5. Дважды ела мясо сдохшей от голода лошади. Царский пир!

6. Невская ледяная вода — ею запивала соль.

7. Дуранду, обойную муку.

НЕ ЕЛА:

Собак, кошек, крыс, птиц. Возможно, и ела бы, но не удалось встретить — их не было, не попадались...

В январе город представлялся на первый взгляд, особенно рано утром, замерзшей планетой. Казалось, исчезли все условия для жизни на ней.

Но жизнь была! Впотьмах, без еды, без канализации и света, без дров, без бань, без транспорта, без писем, под снарядами и бомбами, без спи-



чек, без похорон по-человечески... Мама говорит, что цвет лица у меня землисто-серый, а я ей говорю, что у нее лицо почерневшее.

Мама в телогрейке, под юбкой из «чертовой кожи» — ватные штаны.

Я же на телогрейку напяливаю пальто брата. Под юбкой — братневы брюки. Растоптанные валенки. Чтобы холод не забирался под одежды, подвязываюсь бечевкой.

В январе отсутствовала медицинская помощь, в стационары не попасть, витаминов нет — цинга, дистрофия, — речь замедленная, короткими фразами, движения апатичные, реакция на все окружающее притупилась.

На Новый год по карточкам дали вместо крупы чуть-чуть сушеной моркови и сухого вина. Маме удалось вино продать какому-то военному и купить немножко жмыху (на рынке).

О плохом и трудном люди стараются не говорить.

Прибавка нормы хлеба + новогодняя выдача обрадовали, все мы твердим: «Еще немного, и блокада будет прорвана».

А вот походка не становится бодрее, и лица отечные, с «голодными» синяками.

«Чувства сытости не было, пища скудная, не всасывающаяся в кровь. Кровь жидкая. Непреодолимая мышечная слабость, быстрая утомляемость при физическом напряжении. Падение температуры тела (иногда до 35 градусов), понижение обмена веществ, замедление пульса (у молодых — до 40 ударов в минуту). *Не ясны отличительные признаки многих болезней или совсем исчезли. Воспаление легких без температуры.* У медиков возник термин — «блокадная медицина».

(Коровин, «Записки военного хирурга» — работал в блокадном Ленинграде).

Хлеб в булочные доставляют на ручных тележках, на санках. Часы работы — с 6 ч. утра до 9 ч. вечера (в магазинах).

Произошло прикрепление к определенному магазину — хороший признак: что-то выдадут, кроме хлеба.

Да! В счет *месячной нормы* отоварили следующими продуктами: 100 гр. мяса, 200 гр. крупы, 200 гр. муки (в счет крупы).

Выдавали все сразу, в одном магазине, к которому ты прикреплен. Тонюсенький розовый пластик — ледышка мяса.

Увидела, как многие, идя по улице, отламывали кусочки от мяса и ели, сосали. Я тоже не выдержала — отломила.

Сколько же времени не видели мяса!

В этот день перенесла потрясение. Только что вышла из булочной с выкупленным хлебом, как он исчез из моих рук — вырвал мальчишка, так быстро и ловко... Пока я стояла как столб — он скрылся за углом.

Дурнота, ноги ватные. Долго стояла, привалившись к стене дома. Ничего не поделаешь. Выстояла новую очередь — забрала хлеб следующего дня. Позволялось и на 2 — 3 дня вперед взять, но пока человек не дошел «до края», старался бороться с этим соблазном.

На рынке килограмм хлеба стоил 300 рублей, килограмм мяса — 1000 рублей, коробка спичек — 5 — 10 рублей.

В один из выходных дней мама ушла на рынок менять хлеб на керосин.

Я ходила за водой. Вокруг проруби наледь, да и лунка быстро затягивается пленкой льда. Ведро неполное могу нести — дышать очень трудно — боль в боку...

В комнате такой холод, что выплеснувшаяся на пол капля воды затягивается ледяной пленкой, пол промерз окончательно. А на улице солнышко. Сняла с окна одеяло — слабый дневной свет (солнца в этой комнате никогда

не бывает — первый этаж, окно во двор в какую-то стену, окно в углу комнаты, а комната вытянута кишкой); какая сиротливая картина: мрачно, копоть, вид нежилой. Наверно, в этой комнате и в мирное время было мрачно, сыро, холодно, неуютно. Похоже, что жили в ней люди малообеспеченные.

И так захотелось немного прибрать это жильё. Понемножку, потихоньку стала вытирать пыль. Вода леденит руки. Пришла отчаянная мысль вынуть полочки из «не нашего» шкафа, затопить ими печь. Огонь в печке, кружка теплой воды — взбудрили, работа пошла веселее, но одежда мешала. Сначала сбросила платок, немного погодя — пальто. Подмела, обтерла пол. Тепло из печки смешалось с холодным воздухом комнаты, стало сыро. Отойдешь от печки на два шага — охватывает холод. Решила докопать все полочки из шкафа. Вынимая полочки, нашла в пазах шкафа (ранее обследованного мною) десяток рисовых зерен, кончик лаврового листика, заплесневелый кусочек печенины «Мария» — довоенные дары, из которых сварила в кружке суп, добавив две стружки сушеной моркови, что осталась от новогодней выдачи. Волшебный аромат лаврового листа! Чтобы суп был теплый к маминому возвращению, накрыла его подушкой. Ведь это такая находка для сегодняшнего дня, так как часть хлеба сегодня уйдет на керосин.

Увлелась, не сразу поняла, что очень охладилась. Легла в постель. В лежачем положении кашель буквально душит.

...Ели с мамой суп с хлебом, разделенным на маленькие кубики, радовались. Мама говорит, что наше сегодняшнее настроение не к добру.

Чувство голода мучает сильнее, чем раньше, до прибавки хлеба и выдачи продуктов. Смешно: что для истощенных людей 100 гр. мяса, 200 гр. крупы, 200 гр. муки *на месяц!* Подразнили желудки, а от этого не легче.

Я не пишу о том, чем жили ленинградцы и страна в это тяжкое время, о неудачах и победах на фронтах, о стойкости и мужестве, о стратегии и тактике военных действий — это все сейчас можно прочесть в книгах. В описываемое время мы, маленькие люди, вертевшиеся в своем квадрате видения и знания, жили надеждой и верой в то, что «враг будет разбит, победа будет за нами». Вместе со всеми обсуждали оставление и освобождение населенных пунктов.

Но не могли не думать о еде, о грызущем чувстве голода, о том, как бы достать столярного клея, чтобы сварить «кисель», о том, сколько сегодня не вышло на работу — значит, не могли встать и идти. Вот наша Елена Григорьевна уже не может идти. Навестили ее я и Раечка. Страшно быстро истаивает человек, если слег: безучастная, еле шелестит голосом. На крупяные талоны купили ей столовский суп.

В доме, где мы с мамой живем, абсолютно не чувствуется никакой жизни. Да вот, к примеру, наша квартира. Где ее довоенные жители? Эвакуировались? Переехали? На фронте? Четыре комнаты, кроме нашей, и ни души.

Но все же люди в доме есть, так как ступеньки лестниц обледенелые — то ли от расплесканной воды, то ли выплескивают нечистоты. Страдаем от холода, а надо бы благодарить природу, что нет оттепели, — всякая грязь замерзла, а когда оттекает...

В начале зимы были хоть субботники, воскресники, а сейчас ни на улицах, ни в подъездах не убирается, не расчищается.

В январе 1942 года умирало больше, чем в декабре. Нас посылали выявлять мертвых и давать данные в отдел регистрации смертей.

В больнице (в настоящее время это госпиталь) ношу дрова, топлю печки, подаю попить, подбинтовываю, кто кровит. Стоны, бред. Хочется спать. Здесь я имею возможность попить теплой воды.

Как донора меня забраковали в этот раз (ослабленная).

Раннее утро — пришла к подъезду (после ночного дежурства), не топлюсь заползая в квартирный мрак, темень и холод. Призрачный город. Слепые окна, сугробы. Дальше Невского, Литейного и своих улиц не бываю. Радио у нас нет.

Хочется узнать, что и как с Семашками (тетя Аня, Женя, Надя), где они? А как моя Таня? Вот с кем бы я сейчас душу отвела... Но транспорт не ходит (трамваи, автобусы стоят занесенные снегом). Пешком — очень далеко, сил не хватает.

Объявлена эвакуация (через Ладогу). Мама, конечно, не поедет, раз не собиралась уезжать в начале войны, когда обе мы были в силе. Говорят, в пути будет организована помощь. Нет! Как ни страшно здесь, ехать еще страшнее. Еще два месяца — и, если будем на ногах, погреемся на солнышке. Хочется верить, что с приходом весны все изменится к лучшему. Хорошо устроена человеческая психика — чем тяжелее человеку, тем больше надежды на лучшее. Только бы не слечь! Каждый ленинградец борется с этим до конца. Если бы не холод, не так тянуло бы лечь в постель, укрыться всем, что есть в доме.

По ночам раза три «оживляем» себя хлебными «таблеточками». Сейчас, у подъезда, проворачивалась в голове довоенная жизнь...

С Литейного проспекта на нашу улицу свернула грузовая машина... с какой целью? На нашей улице машина или подвода появлялись крайне редко... когда надо было собрать умерших, которых не в состоянии были отвезти родственники до кладбища.

Машина движется медленно, будто водитель изучает нумерацию домов; также медленно подъехала к нашему дому и остановилась. Из кабины вышел brave офицер, тепло обмундированный, шофер остался в кабине.

— Тетушка, это дом номер семнадцать? Мне нужна квартира номер два — это со двора или с парадной?

(Странно: квартира номер два — наша...)

— А кто вам нужен?

Командир достал из-за пазухи конверт и, прочитав, сказал:

— Мне нужна Орлова Анна Васильевна... Проживает она тут?

— А вы не от Орлова Василия — ее брата?

— Нет, мы — от Морозова Сергея Михайловича...

Командир стоял уже около меня, держал конверт в руках (я отчетливо увидела почерк Сергея Михайловича).

— Пройдите в квартиру, Орлова здесь живет...

Командир позвал шофера, велел ему чего-то взять из машины, и мы пошли. В темном коридоре я знала каждый выступ и поворот, а они тыркались в стены, пока шофер не осветил коридор электрическим фонариком.

Когда вошли в комнату, я сказала:

— Вот здесь Орлова и живет.

— А где она сейчас?.. Вы родственница ее или соседка? Если долго ждать надо — мы не можем, нам надо побывать по нескольким адресам еще, а времени — чуть более суток, да и командировочных дел много... Может, заехать вечером?

— Зачем вечером? Письмо, которое вы держите в руках, оно мне. Я и есть Орлова Аня.

Командир посмотрел на меня с недоверием:

— Да нет! Не соответствуете по возрасту той, которая нам нужна. Та должна быть очень молодой, до двадцати лет... Кстати, Сергей Михайлович мне даже фотографию показал, когда мы выезжали из части.

Я показала им свой паспорт и точно такую же фотографию свою, сняла с головы платок... Изучив мое лицо, освещаемое фонариком, мужчины притихли, найдя сходство, поверив, что я — Орлова Аня.

Командир сказал:

— Я последний раз был в Ленинграде в августе... Конечно, я слышал, читал о положении Ленинграда в настоящее время, Ленинград защищаю, но до конца, видно, не представлял... Пожалуй, даже *муж* не сразу бы узнал вас... Мы приехали с Большой земли, с той стороны Ладоги.

Последней фразе (*о муже*) я не придала того значения, какое вкладывал говоривший, и стала читать поданное мне письмо, а посетители пошли зачем-то к машине.

Сергей Михайлович писал, что очень хочет помочь мне, зная из верных источников о положении ленинградцев. Призывает проявить максимум благоразумия, рассудительности; не удивляться, не возмущаться (особенно вслух перед подателями письма), чтобы не поставить его в очень неприятное положение перед командованием дивизии... Дело в том, что сейчас командование использует любую командировку для того, чтобы вывозить из Ленинграда близких родственников дивизионных командиров, желая помочь мне, он тоже подал заявление, назвав меня *своей женой*. Посылает документ на выезд в Молотовскую область, там живет его матушка... Поехавшая машина должна захватить троих, в том числе и меня, привезти нас в дивизию, а там нас переправят в тыл в соответствии с документами на эвакуацию. «У меня будет возможность лично проследить ваш отъезд из дивизии в тыл».

Просит не отвергать его помощь, согласиться на выезд и не осуждать его за ложь, предпринятую во имя моего спасения, а другого варианта не могло быть: «Эту идею подсказал мне мой непосредственный командир и большой друг, начальник того отдела дивизии, где составлялись списки; он — единственный, кто знает, что Вы мне *не жена*, а девушка, о которой я не перестаю думать с той короткой единственной встречи...» Умоляет ни в коем случае не проговориться подателю письма, что не жена Морозова.

Меня одолели разноречивые чувства: благодарность, удивление, тревога. Какое он имеет право уговаривать меня на выезд на таких началах — тем более призывать меня воспользоваться его обманом многих людей, стать соучастницей лжи...

Мужчины вернулись с двумя свертками и тремя березовыми чурбаками. Шофер принялся колоть чурбаки, а командир сказал, кладя свертки передо мной:

— Для подкрепления перед отъездом — гостинец: один пакет *от мужа*, другой — от командования части. Мы к вам заедем послезавтра утром — будьте полностью готовы к отъезду...

Я поблагодарила их... Свертки приковывали мое внимание, и я размышляла, как поступить. Была мысль — не принимать посылочек! Это в моем-то положении! То чувство благодарности и предвкушения еды захлестнет, то возмущение ложью Морозова возьмет верх... Если приму гостинцы — значит, стану соучастницей обмана? Чем руководствовался Сергей Михайлович? Святая ложь во спасение человека? Человека вообще или именно меня? Представляет ли он меня сегодняшнюю? Не принять в моем положении гостинец — нелепость... Принять — значит принять ложь доброго человека.

Мужчины торопились уходить — им надо разыскать других людей, *настоящих* жен командиров их части...

И я выдавила из себя:

— Я никуда из Ленинграда не поеду, — передайте это Сергею Михайловичу...

— Почему?

— Я утром передам с вами письмо для него, в нем объясню, почему не могу и не хочу ехать...

— А все же — почему?

— У меня мама... и сил у меня нет... Но это не главные причины. О главной причине я могу сообщить лишь Сергею Михайловичу... А эти по-

сылочки передайте тем, кого вы будете еще навещать, может, они им нужнее, чем мне, я пока на ногах, а там, может, уже слегли... — искренне и одновременно печалась, что могут эти пакетики сейчас мужчины взять и унести, сказала я.

Но мужчины не взяли, сказали, что они предназначены мне, а другим тоже послано...

...И вот я одна в комнате... Распаковала посылочки: одна от С. М., другая — от «командования части». При виде продуктов закружилась голова, затряслись руки...

Последней моей мыслью было: «В конце-то концов, имею я право воспользоваться этим богатством как изголодавшаяся блокадница!» — и все исчезло из памяти: приход мужчин, ложь Сергея Михайловича...

Передо мной на столе лежало невероятное чудо из двух пакетов: две буханки хлеба (не блокадного, настоящего), пакет замороженных пельменей, по кульку риса, пшена, две баночки мясной тушенки, кусочек сала...

Невероятно! Как раз в эти дни блокадные хлебные граммы возмещали мукой (75 процентов), так как лопнули трубы на хлебозаводе и хлеб не выпекали. Выстоять в очереди эту муку-муку на 30 — 40-градусном морозе не просто. Горсточка. Если нет топлива, что толку от этой муки! Даже болтушку не приготовить. Запьешь эту пыльцу ледяной водой...

...Нащипала лучинок, сложила их в устье печки, подожгла, а поверх щепок — полено (целое полено!).

Терпеть дольше не было сил — хлеб притягивал как магнит. Мысленно распределила: одна буханка — мне, другая — маме. Откусила угол от «своей» буханки... потом второй угол, третий, четвертый — и вот уже нет половины буханки... Усилием воли остановила себя... Подбросила еще полешко в печку и сварила суп: пять пельмешек, горстка пшена. Какой аромат!

Всплыли в памяти картинки из довоенной жизни, когда мама еще работала курьером, а не в студенческой столовой в академии. С полочки мама приносила всякой вкуснятины (сардельки, масло, сахарный песок, булки, плюшки) и велела есть «от пуза», чтобы «жирилка в теле завелась и чтобы до следующей полочки вы помнили вкус хорошей еды». А потом две недели жили на хлебе и столовском гороховом супе. Так «неразумно» она поступала потому, что «все равно моей зарплате не хватит на нормальное питание, так уж лучше раз вкусно поесть и запомнить эту еду!»

...Пришла мама. Нет, не шаркающей походкой шла она по коридору, а бежала. Позже объяснила, что бежала она «на запах еды», спешила узнать от меня, не сходит ли она с ума, что ей «стали запахи довоенные чудиться».

— Нет, не чудится тебе, мамочка! Мы сейчас будем есть настоящие суп и хлеб!

У нее расширились зрачки, дышит часто. Даже не спросила — откуда это все появилось. Она была не похожа на себя вчерашнюю, пододвигавшую «незаметно» мне лишнюю «таблеточку» блокадного хлеба.

Сейчас она не слышала, не видела меня. Я не успела оглянуться, как мама доела «мою» (без уголков) буханку хлеба. Стала есть сырые замороженные пельмешки, еще не разжевав их, откусила от сала... Жевала крупу... Мне стало за нее страшно — это же опасно, может возникнуть кровавый понос, смерть... Я налила ей супу.

Я потрясла ее за плечи, потом стукнула кулаком по столу перед ее носом. Она опомнилась и спросила:

— Куда же провалилось все, что я съела сейчас?! Как в яму, а не в желудок... Я совсем не чувствую съеденного, еще столько бы съела... Да, а откуда еда взялась?

Я рассказала. Только скрыла, с помощью какой неправды Сергей Михайлович предлагает мне уехать из Ленинграда.

Подумав, мама сказала:

— Доченька, а уехать-то тебе надо бы. Ты таешь с каждым днем. Кроме истощения ты чем-то еще очень больна: ты плохо дышишь, кашель не-

хороший. Я крепче тебя — держалась прежним своим жиром. Ты и тетя Аня Семашко все стыдили меня за пятипудовый вес (как-то сестрица поживает сейчас, не выдюжить ей голод, так как и до войны была тоща, как вобла). Лишний жирок мне не мешал, выручил. А вот скажи, чем бы ты могла довольствоваться в мирное время, после войны, когда жизнь наладится, какой едой?

Я ответила, как клятву произнесла:

— Если мы выживем, то всю жизнь ела бы одну пшеничную кашу... или манную... жиденькую, горячую, на воде сваренную, без масла, из прогорклой крупы даже...

Как плохо без радиотрансляции. Слушаю радио, когда бываю у Елены Григорьевны и в больнице. Почта закрыта, делать нам там нечего. Когда на городской почте разберут все письма, призовут обслужить и наш район.

Продукты (чудесный дар!) мы с мамой распределили на порции, я выделила немного и Елене Григорьевне. Она уже не выходит из квартиры.

Мама моя работает теперь в центре города (перешла в другой трудармейский отряд, так как сил ходить в Лесной не хватает). Я — в больнице Некрасова внештатно, как «отрядница», еле отрабатываю смену, а дома в постоянно дремотном состоянии...

По пути на работу выкупаю хлеб (встаю в очередь с 6 ч. утра, чтобы успеть на работу).

Да, через день, как обещал, тот командир заехал ко мне, сказал, чтобы я выходила к машине. Они выполнили все командировочные дела, побывали у жен, которых надо вывезти, — их две, в машине.

Я сердечно поблагодарила, сказала, что не еду, передала для Сергея Михайловича письмо, объяснив, что не хочу быть спасенной с помощью неправды.

В один из дней до работы пошла к Елене Григорьевне, чтобы отнести ей «кружевной» пластик сала и две ложки крупы. Это на нашей же улице, рядом со стоматологическим институтом, обледенелая лестница... дверь в квартиру открыта, в дверной ручке записка: «Е. Г. умерла, я помогала ее выносить к машине... Рая».

С выкупленным хлебом и с тем, что я несла Е. Г., пошла на рынок, выменяла керосинцу и маме «обувку» — два рукава от старой шубы (концы рукавов зашьем наглухо — получатся «валенки», на них галоши).

«В январе 1942 года каждый день умирало от дистрофии не менее 3,5 — 4 тыс. человек».

В конце января прибавка хлеба. И в счет месячных норм кое-что из продуктов, но это громко сказано: «продукты».

Рабочим и ИТР — 400 гр. хлеба,

служащим — 300 гр.,

иждивенцам и детям — 250 гр.

У нас с мамой — 700 гр. хлеба.

В конце января в воскресенье опять (после долгого перерыва) Рая и я разносили письма. Как много оставалось невостребованной корреспонденции — некому было уже востребовать... или умерли, или не могут дойти до домоуправления (таким домоуправ отнесет).

Гостинцы наши иссякли быстро. После разноски писем позвала Раечку к себе «на кашу» (сварили из остатка пшена). Когда Рая ушла, у нас произошла первая за блокадное время ссора с мамой. Мама выговаривала:

— Сама на ладан дышит, а последнее скармливает... Была рукосуйкой до войны и сейчас такая же... Всех не пережалеешь. Посмотри на себя.

А кашляю я надсадно, сухо, «изнутри». Таблетки не помогают. Та уборочка в комнате, постоянное охлаждение на морозе в хлебной очереди, ледяная постель — усугубляют болезнь. А иногда мне кажется, что острая боль при дыхании — это боль в сердце. Слабость. Не хочется двигаться — при движении тоже боль и удушье. Дышу поверхностно. О боли в груди

маме не говорю, не хочу расстраивать. Хочется лежать, дремать, но в лежащем положении совсем дыхание останавливается, а боль усиливается. Разговаривать трудно. Даже есть теперь меньше хочется. Впервые промелькнула мысль — не к смерти ли дело идет... Неодолимо хочется лечь и не вставать... Мама сильнее меня духом и телом. Чтобы заставить меня утром подняться и идти, она употребляет даже грубые, обидные слова... я позже оценила ее метод...

Я не пишу об обстрелах города. Они были постоянными.

Очень долго стояла в очереди, чтобы выкупить сахарный песок (по 100 гр. на человека). Промерзла до костей.

Стоя в магазине у стола, засовывала выкупленный песок в варежку, и вдруг дурнота нашла... и куда-то провалилось сознание. Очнулась — нет ни песка, ни варежек, и опять окутал туман... Я не падала, а туловищем лежала на столе.

Пришла, легла. Оступение. Слез нет. Когда шла из магазина, видела грузовик с заколоченными трупами (как дрова)...

Маме не сказала, что в магазине случился провал сознания, а просто сказала, что украли песок, за что она обозвала меня «гнилой вороной». Было обидно, а слез нет. Мне кажется, ленинградцы-блокадники «не умели» плакать.

Сожгли «не наш» кухонный столик, дожгли «не наш» шкаф фанерный. И уже не волнуемся, что «не наше» уничтожили. Сожгли бы и комод (тоже не наш), но он из очень крепкого дерева — топор не берет... а может, у нас сил мало стало.

В больнице стараюсь подольше возиться у «буржук», которые я обязана в определенные интервалы затапливать, — греюсь.

Мама и я всегда носим с собой веревочку, гвоздь. Если по пути домой найдем у разбитого дома что-нибудь деревянное, вколачиваем гвоздь, привязываем к нему веревку и тащим по снегу домой.

Смерть косит ленинградцев. Февраль. Прибавка хлеба — даже крупы отпускают по карточкам (один раз в месяц), но очень уж истощены люди — умирают...

Хлеба:

рабочим — 500 гр.,  
служащим — 400 гр.,  
иждивенцам, детям — 300 гр.

крупы на месяц:

рабочим — 2 кг.,  
служащим — 1,5 кг.,  
остальным — 1 кг.

Казалось бы, это уже хорошо: 900 гр. хлеба и 3,5 кг. крупы. (Иногда вместо крупы сушеные лук или морковь.)

«В феврале на город сброшен 4771 снаряд.

От истощения в первые два месяца 1942 года погибло 199 187 человек. *Большая часть смертей падает на февраль*, несмотря на то что в город прибивают продукты».

И все-таки — последний месяц зимы. Надежда спасает. Весеннее солнце оживит людей.

На дежурстве меня послушала врач — маленькая, худенькая. Слушала ухом. Велела поставить «хорошие» горчичники. Назвала мою болезнь хронической простудой, отягощенной истощением.

От мирного времени мы с мамой имели кулек крупной соли и пакет горчичного порошка. Попросила маму сделать мне горчичники. Хорошо бы горстку мучки подмешать в горчичную массу, но это только в теории.

Мама отговаривала от горчичников — еще больше от них простудишься: в комнате холодно, как на улице, только ветра нет, но капля воды на полу покрывается ледяной корочкой.

Горчичники не только не помогли, а ухудшили состояние. Но странно — почему нет жара у меня, температуры? Измеряла — ниже нормы. Медики объяснили, что не бывает у блокадников температуры. А может, все же у меня не легкие больны, а сердце? Боль пронзает именно в этой области. Удушье.

Мои наблюдения (в очередях, на рынке, на работе): всем людям голодно, и все же по-разному — показатель: внешний вид, походка. Тяжелее тем, у кого к началу голода не было запаса крупы, муки, сахара, кто жил одним днем, как мы: без своего угла, без добротной теплой одежды. Когда начались первые затруднения с продовольствием в городе, я, пожалуй, и внимания на это не обратила, так как и до войны была привычка мало есть и почти всегда раз в день... Может, эта привычка и выручает до сих пор. Ах, если бы не болезнь. Я не смотрелась в зеркало с переезда в эту квартиру, здесь у нас нет и огрызка зеркального, а если бы и был — не хочется.

Квартира, где мы теперь живем, состоит из четырех комнат, кроме нашей. Кто жил в тех комнатах, где эти люди сейчас? Почему до сих пор я не думала о жильцах этой квартиры. Что все четыре комнаты заперты — нам стало ясно, когда мы тут поселились. Значит, стало угнетать одиночество в квартире.

Но ни в декабре — январе, ни в феврале ни разу не пришла мысль разломать хоть одну дверь и взять мебель на дрова или поискать съедобного... Спасибо воспитавшим нас... А вот я, сегодняшняя, как поступила бы, окажись опять в том же аду? Наверно, так же.

Жила в нас неистребимая вера, что мир не рухнул, что не одолеть врагу Ленинграда, что наступит время — вернуться в свое жилье эвакуированные, будет квартира со светом, водой, теплом, будет мир, хлеб.

Мой радиус передвижений: в булочную; на Неву за водой, на Литейный — в больницу; на почту, где Рая с января заменила Елену Григорьевну; рынок (редко) за горючим (на хлеб). Самое «населенное» место — рынок и хлебная очередь. Здесь можно с ходу рассортировать людей по группам: «доходяги-дистрофики» с заострившимися носами или просто голодные; есть более-менее нормального вида, но все равно с «печатью» на лице. Но иногда можно было увидеть «особь» весьма благополучного вида, выменивающую на хлеб часики, шубки, кольца, броши. Или: где можно было раздобыть столько жмыха, чтобы продавать его на рынке: и целыми плитками, и наломанный квадратиками, как шоколад. И каждый раз, наткываясь на рынке на этих людей, вспоминала свою приятельницу Ольгу... Я допускала мысль, что и она где-то здесь придирчиво осматривает старинный сервиз или настенные часы в руках дистрофика и бодрым голосом торгуется, стараясь не продешевить хлеб, полученный ею по незаконной карточке.

И я в своих предположениях на ее счет не ошиблась: мы встретились после войны, она зазвала меня к себе, и первое, что она сделала, — показала вещи, «приобретенные» в блокадное время на рынках...

В довоенном барачном детстве я не удивлялась, когда видела, что ребенок не хочет есть шоколадную конфету — плачет, плюется, а мать его настойчиво хочет скормить ему конфету или яблоко («война» эта происходит в сквере, на скамеечке). Было удивление, но не возмущение с моей стороны, со стороны наблюдателя. Я рассуждала тогда здраво: «Значит, он живет в семье, где достаток, у него, наверно, есть отец... инженер, но никто не виноват, что в моей семье все сложилось иначе...»

Другое дело — в блокадном Ленинграде. Изверг Гитлер держит в кольце блокады город, и всем одинаково трудно... оказывается, не всем одинаково. Почему? И я ненавижу сытых, здоровых людей блокадного Ленинграда — они не могут быть честными, душевными.



Заходила к Рае на почту. После долгого молчания на почте зашипело радио — такой же слабый голос, как у всех блокадников.

Лежим с мамой в холодной постели, одетые в пальто. Я давно сплю полусидя. Если лечь — задыхаюсь. Мама уже видит, как я преодолеваю боль и удушье при дыхании. Когда я затаихаю, мама ощупывает меня — это не ласка, а желание убедиться, жива ли я...

Мама на работе ежедневно получает суп из дуранды по крупяным талонам.

Мама рассуждает: «Что было бы с Толей, растущим подростком, если бы он не уехал? Где-то он сейчас? Здесь бы он умер... и наш хлеб съедал бы... Ведь человек растет до 20 — 25 лет... И ты еще растешь — тебе больше соков надо, чем мне, сорокачетырёхлетней».

А я про себя думала: «Человек способен очень многое вынести».

Вот и дотянули до *марта*.

С продовольствием лучше стало. Продукты везут по Ладоге. Но люди умирают, умирают — страшная зима сказывается. Кроме хлеба — иногда 100 гр. мяса (кусочек мясной льдышки).

В очередях вяло говорят об эвакуации. Большинство не помышляют об отъезде, другие нервно ждут включения в списки на эвакуацию. Мудрые говорят, что лучше уж дома умереть, чем в пути. Транспорта не хватает, и ожидающие его на берегу Ладоги жалеют, что двинулись...

Обстрелы. Попало Петропавловской крепости, Кировский мост пострадал. Не помню, когда была в бомбоубежище.

Во время бомбежки потребность быть на улице, видеть небо. Наверно, потому, что принимала участие в откапывании погребенных в развалинах. Теперь отношусь к обстрелам и бомбежкам равнодушно.

Так хочется тепла. Может быть, больше, чем еды. Небо вроде выше стало, солнышко проглядывает.

8 марта — женский день. Объявлен воскресник. Мама на расчистке трамвайного пути, я — на расчистке нашей улицы. Вышла с трудом. Пока очень немного людей. Какой у всех вид! Похожи на весенних мух: движение — и замрут... «Взлететь» пока нет сил. Но вот выходят тощие, замотанные в немыслимые одежды, востроносые, с пятнами-теньями на лицах. Включаются... и оживают. Мужчин единицы. Старые. Хотя попробуй разберись — кто старый, кто молодой. Но улица уже не кажется вымершей.

Город не расчищали всю зиму. Высокие сугробы, обледеневшие нечистоты на лестницах и у подъездов. По фигурам людским можно представить, кто не мог выйти, но вышел. Быть на народе, принять участие... Все понимают важность предотвращения эпидемий.

Общегородской воскресник. Много значит для людей это «*общее*»... Узнают друг от друга новости. Каждый хочет сообщить что-то обнадеживающее.

Рядом со мной — высокий тощий мужчина. Подцепил на лопату откопываемую мной льдину и несет лопату к корзине, льдина соскакивает. Он заторможенно смотрел, потом опустился на сугроб. Отдохнул и переключился на другую работу — толкал корзинку, поставленную на санки. Я взяла лом — его никто не брал. Сначала я не могла высоко его приподнять, и удар по льду получался слабый. Постепенно дошла до успеха. Разогрелась, распрямилась, лом выше, удар точнее, будто силы прибывало, старалась делать свою работу быстрее и сделать побольше. Я и до войны не умела в работе рассчитывать свои силы. И сейчас так. А дыхание со свистом, с приступами кашля — глотаю холодный воздух. Странно — отступило колотье в боку. Обрадовало давно не испытанное — я вспотела! Домоуправша (довольно приличный вид у женщины) позвала везти санки с корзиной, наполненной льдом и снегом. Две женщины спереди — в веревочной упряжке, я толкаю сзади. Дыхание медленное, и потому начинаю охлаждаться...

Ночью опять задыхалась.

Через неделю опять на воскреснике. Возили снег, лед на фанере, на брезенте, на санках — к машине. Сугробы стали ниже. Во дворе напротив люди откопали из сугроба труп... Никто не удивляется — понятно, что не всех упавших подбирали в тот же день, а потом их заносило снегом.

На этом воскреснике во время приступа кашля я выплюнула на снег слюну с кровью...

В эту ночь нечем было осветить комнату. Легли в кровать рано. Мама отогревала мои руки своим дыханием. Мне было тяжело. Страх от удушья.

Мамин голос:

— Доченька, с завтрашнего дня заведем такой порядок: вечером, когда я обычно возвращаюсь домой, старайся не спать, слушай внимательно мой голос — я буду звать тебя по имени, не входя в комнату... а ты должна обязательно откликнуться... Если не откликнешься — я уйду и в квартиру никогда не вернусь. Ты понимаешь — почему? Похоронить тебя я не смогу: нет на это у меня ни сил, ни хлеба, а дотащить до морга тебя, завернутую в одеяло, и бросить там — сердце не выдержит.

Я промолчала, вяло размышляя над ее словами. Я знала, как трудно получить место в больнице, и мама об этом речь не вела, и я не просила... Неужели мама считает, что я дошла до точки? Или она пугает меня смертью с тем, чтобы я нашла в себе силы выжить?

Думаю обо всех близких. Где они. Думаю о брате Толе. Осенью пришло письмо от его учительницы из эвакуации — сообщает, что по пути следования «потеряли» троих мальчиков, в том числе и Толю. Это случилось вскоре после отъезда из Ленинграда, во время бомбежки...

Не нашли их ни живыми, ни мертвыми. Могли заблудиться в лесу (когда началась бомбежка, детям велели бежать в лес), могли и сознательно отстать (как раз эти трое мечтали или о фронте, или о возвращении в Ленинград).

Дальше в письме она характеризует Толю: хороший мальчик, легко подвержен влиянию, как хорошему, так и плохому, и если попадет в хорошие руки — будет человеком, если в своем бродяжничестве встретит дурных людей — пропал человек. Доехав до места, подали заявку на розыск детей — ответа пока нет.

А мне этой ночью виделся Толя как наяву: нежное личико с родинками над углами губ, выющиеся волосы, изящная фигурка. Сон, бред???

И вдруг — шаги и приглушенные голоса из коридора... Подумала — не галлюцинация ли у меня? Но мама тоже слышит, говорит: «Это явно не „блокадные“ люди и с квартирой незнакомые».

Договорились не подавать признаков жизни...

Голос в коридоре:

— Свети хорошенько... Надо постучать во все комнаты...

Другой голос:

— Не похоже, чтобы здесь были живые люди... Входная дверь настезь, и вообще...

И вот шаги и голоса уже возле нашей двери (дверь на крючке).

Мама шепчет мне: «А вдруг кто от сыночка Васеньки?! Надо открыть».

Голос:

— Товарищ старший лейтенант, смотрите — на двери записка, в ней значится, что в этой комнате живут...

Мама открыла дверь, люди вошли, светя фонариком. Их двое. Одного я узнала и по голосу, и в лицо — Сергей Михайлович Морозов... Он подошел к кровати, осветил меня фонариком и, всматриваясь, говорил:

— Разве можно узнать?! Прав Лейбович — с фотографией сходства нет... я сейчас... мы сейчас... мы на машине... Все будет хорошо... Миша, неси дрова!

...Запылало в печке, и коптилку чем-то заправили... варят еду — от ее запаха мне еще труднее дышать. Я все время куда-то проваливаюсь и вынырываю. Мама причитает: «Анечка не выживет...»

Печку топят как следует. Печное тепло перемешалось с холодным воздухом, все отпотело...

Поднесли мне горячую рисовую кашу, а я не просто не хочу есть, а даже тошнота...

Мама стянула с моей головы платок, расчесала свалевшиеся волосы (я полусижу, опираясь на подушки, круто поставленные к спинке изголовья кровати), я не проронила пока ни слова. Сергей Михайлович велел шоферу ехать по какому-то адресу, сам остался: «В Ленинграде пробудем два дня, а пока надо обсудить кое-что».

Мама долго ела, о чем-то тихо разговаривая с С. М. Потом С. М. до утра просидел у изголовья кровати, убеждая меня уехать из Ленинграда...

Я спросила:

— Туда же? С теми же документами? В том же «звании»?

— Какое это имеет значение для вас в таком положении? Я же хочу спасти вас! В Молотовской области живет моя матушка: домишко, корова, мой аттестат. Она будет рада принять вас...

— А дальше что? Вот приняла меня ваша матушка в нахлебницы, выходила с помощью коровки своей и вашего аттестата...

— Сейчас не то время, чтобы заглядывать далеко вперед. Надо победить фрицев, дожить до Победы... Я напишу матушке, что вы моя невеста, она будет беречь вас, как дочь. Сначала я привезу вас в свою дивизию, попрошу медсанбатовских врачей осмотреть вас, поместить в палату на несколько дней, а потом сам помогу с отправкой в Молотовскую область.

— А как вы будете меня представлять всем добрым людям, обращаясь за помощью для меня? Как в документе на выезд — женой??? Неужели вы не испытываете неловкости от своей лжи, оформленной в бумаге и сказанной своему командованию?

— Я сжился с этой ложью легко, так как с той памятной для меня встречи с вами мечтал, чтобы подобное стало действительностью. Не мог же я просить командование помочь вывезти просто знакомую девушку?.. А солгал потому, что мне дорога и нужна ваша жизнь...

— А разве я просила вас об этом? Разве хоть раз в своих письмах я жаловалась? А вы разве спросили меня — хочу ли я, могу ли я уехать из Ленинграда, а спросить надо было, прежде чем вводить в заблуждение командование и себя?! Я не сомневаюсь в вашей человеческой доброте, благодарна вам, но я останусь дома, *со своей* мамой.

Утром С. М. ушел по делам командировки. Я попросила маму сдвинуть в сторону оконную маскировку — проверить, светлее ли стали утра — ведь середина марта... Хотя наше единственное окно (окно первого этажа) упирается в стену узкого двора-колодца, все равно дневной свет чувствуется. И днем погода становится мягче.

Мама дома — выходной день. Сегодня она велит мне лежать. Опять варит кашу. Но почему у меня нет желания поесть? Это пугает. Живот хочет есть, а рот противится: как только поднесу ложку с кашей ко рту — дурнота наступает.

Мама, похоже, за ночь обдумала ситуацию, предложение С. М., и очень убежденно заговорила об этом:

— Вот что, дочка, считаю я — тебе надо уехать. Наступает весна. Не думаю, что она оздоровит ослабленных и больных. Уж не чахотка ли у тебя? Я сегодня увидела на полотенце, в которое ты откашливалась, кровь... Здесь ты можешь умереть, а я этого не переживу. Морозов, видно по всему, очень душевный человек: если уж сейчас говорит тебе, что ему

нужна твоя жизнь, то это серьезно с его стороны. Подумай, может, это твоя судьба?! Выживешь под крылом его матери, и если его пощадит война, будете вместе, станешь его женой... обо мне не беспокойся — ты же видишь, я двузначная. Если уж Кудряшов меня не доконал, Гитлеру меня не одолеть. Я совершенно теперь уверена, что не слягу, — дело идет к теплу, к травке...

Мои же мысли текли в другом направлении. Я понимала, что они нелепы для моего состояния и вида. А думала я о том будущем, когда закончится война и я, благодарная Морозову за спасение жизни, должна стать его женой. И тут же задала себе вопрос: захотела бы я стать его женой при иных, нормальных условиях: предположим — нет войны, нет всего этого ужаса и встретился на моем пути вот этот Сергей Михайлович и сделал мне предложение?.. И ответила тут же — нет, в таком плане я о нем не думала бы, не взволновалось бы чувство, и я, наверно, предложила бы ему только дружбу, товарищество.

И хотя не по времени и не к месту были эти мои размышления, я обрадовалась: значит, я жива, буду жить! Умиравший думать так, как я, не мог бы.

Вспомнила наставления тетушки о том, что никогда в жизни не надо ловчить, пользоваться удобными для тебя обстоятельствами, надо обдумывать свои поступки с заглядом в будущее, как твой поступок обернется для тебя и для других.

Попыталась объяснить маме свои мысли и чувства: «Умирать ли, выживать ли — утешительнее в своем городе, в своей халупе, нежели стать обузой для хороших людей. А возможно, и неблагодарной свиньей. Предположим, я согласилась уехать в Молотовскую область, выкормилась на хлебах С. М. и его мамы... кончилась война, и С. М. приехал... я *обязана* стать его женой! Ведь он даже сейчас не допускает мысли, что может быть иначе потом, окончись для него и для меня война благополучно. Меня, конечно, радует, что мы оба верим в будущую Победу.

Но не радует, что он руководствуется только *своим* чувством ко мне: по его словам, сразу после единственной встречи со мной он стал думать обо мне как о его будущей жене. Почему ни в одном письме не спросил, как я отношусь к нему? Как он думает обо мне? С первого взгляда полюбил, что ли?

Мама вставила реплику:

— Если бы не полюбил, то и не соврал бы своему начальству, будто «жена в блокадном Ленинграде»!

— Что же получается, мама! Любовь может толкнуть человека на ложь? А мне мои воспитатели и книги внушали, что любовь очищает, облагораживает человека!

— Ой, какая ты еще дура. Права твоя Ольга, что ты блаженненькая... Даже стыдно слушать... Одной ногой стоит в братской могиле, а рассуждает о любви... Постарайся увидеть себя сегодняшнюю и спаси себя ради меня, ради Сергея Михайловича. Я с благодарностью уверенно вручила бы твою жизнь в его надежные руки. Будь благоразумной, рассудительной. Говорю тебе исходя из опыта своей жизни. Искалечила я свою жизнь своими двумя легкомысленными замужествами!

— Между прочим, насколько мне известно, оба раза ты выходила замуж *по любви*. Другое дело — оправданно ли, благоразумно ли, но по *большому чувству* — иначе поступить не могла.

— Аня, твои слова не к месту сейчас. Поверь мне, ранее неблагоразумной, что если в будущем судьбе угодно соединить С. М. и тебя — ты будешь жить с ним как у Христа за пазухой. Он ведь обращается с тобой, как добрая нянька, а ты сейчас — живые мощи. Значит, он действительно тебя любит. Иди навстречу своей судьбе...

Нет, не понимает меня мама. Маме и Сергею Михайловичу, каждому по своим соображениям, нужна моя жизнь: ей — жизнь дочки, ему — жизнь будущей жены.

Я достала из-под подушки свой дневник, придвинула коптилку и быстро отдала бумаге свои мысли и чувства. Не скрою, заранее знала, что дам прочитать Сергею Михайловичу, понимая, что не сумею на словах сказать их ему.

Вечером он прочитал. Очень долго молчал.

— То, что я прочитал, для меня не новость. Когда я читал ваши письма, понимал, что вы не испытываете ко мне ни капли из тех чувств, какими жил я. Думаю, что отвечать на мои письма вы согласились от одиночества — вам нужен был товарищ. Ваши письма являли образец патриотизма, товарищества. А у меня и так этого много; я хотел получать нежные письма. Но понимал, если я в своих письмах возьму такой тон, то совсем лишусь ваших писем...

А теперь между нами встала моя ложь начальству; документ на выезд, где Аня Орлова названа женой лейтенанта Морозова. Я хотел поступком, а не словами сказать, как вы мне дороги. Теперь я понял, что этого не надо было делать, чтобы не вспутнуть вас. Но я все равно искренне хочу помочь вам...

Давайте переиначим. Я согласен бухнуться в ноги командованию, признаться, что я соврал... что я не женат, а вывез из блокады любимую девушку, с которой один раз только и виделся... Может быть, простят (ведь я не специально за вами машину гонял в Ленинград, а использовал командировку — конечно, я очень старался, чтобы послали меня; я все время жил под впечатлением рассказа Лейбовича о жизни Ленинграда, о вас, о вашем отказе уехать).

Простят не простят ложь, но вас-то я спасу. Из дивизии я сумею отправить вас к матери. Успокойтесь! И матушке напишу, что вы просто моя знакомая из Ленинграда. Она у меня добрая, сердобольная. Вы выправитесь, начнете работать и можете жить по своему усмотрению. Даже даю право выйти замуж, но при условии, что только за того, кого полюбите. Для меня это очень важно (тогда вы лучше поймете меня). Но дайте слово, что не будете отказываться от моей денежной помощи, то есть тем, чем располагает моя мать, пока не окрепнете окончательно?!

Ехать я наотрез отказалась. Первый раз за блокадные месяцы я плакала — от избытка благодарности к этому удивительному человеку, от того, что пережито и что предстоит пережить.

С. М. сказал маме:

— Елена Алексеевна, я бессилён. Конечно, хорошо бы увезти с Аней и вас, но такой возможности я уж вовсе не имею.

И тут мама вдруг разъярилась на меня:

— Да понимаешь ли ты, что делаешь! Мало того, что хорошего человека обидела, так хочешь и мое положение ухудшить, быть обузой. Неужели ты не понимаешь, что мне без тебя будет легче? Я буду все силы на себя тратить, а так я о тебе должна дрожать. Какая от тебя сейчас польза — мне, городу? Ты еле до булочной доходишь раз в сутки. Кашель, боли, кровь в мокроте — спасай себя, и мне легче будет. Ты же видишь, что я здорова, а истощение меньше твоего. Я выживу. Прорвут блокаду — вернешься в Ленинград.

И низко поклонилась Сергею Михайловичу.

Горько мне было слышать от мамы слова «обуза», «без тебя мне будет легче». Думаю, что бросала она их в меня специально — из-за страстного желания спасти. Да, права она — какую пользу я приношу? Наверно, действительно, ей без меня морально будет легче, будет думать, что для моего спасения что-то сделала.

Наверно, впервые за эти страшные месяцы так лихорадочно заработал мой мозг. Ругая себя, что летом не настояла в военкомате, чтобы отправили

меня на фронт (и осенью попытка была ненастойчивая — испугалась, что подумают, будто не хочу на окопы ездить), желая страстно встать в строй и делать дело, я вдруг придумала план и сказала Сергею Михайловичу:

— Отвезите меня в свою дивизию — скажете, что подобрали меня на Ладого (там ведь сидят уезжающие, ждут транспорта, мне рассказывали).

— Не разрешено на машинах воинских подразделений привозить в воинские части гражданских. Эвакуированных возят к эшелонам специальным транспортом...

— Но ведь вы уже согласны были «бухнуться начальству в ноги» и признаться, что не жену, а знакомую девушку вывезли... Вы же сами сказали, что так сделаете, и это было бы меньшим проступком, нежели продолжать врать... Вот и скажете, что подобрали меня на Ладого... Не заставят же отвозить меня обратно на Ладого... А я попрошусь оставить меня солдатом или в медицинской части санинструктором...

— Не заставят, но отправят в тыл, — сказал С. М.

— Если не примут, я вернусь с попутной машиной в Ленинград, в другое место никуда не поеду.

— Думаю, что легче выехать из Ленинграда, чем вернуться. На то и другое нужен документ. И не в вашем состоянии все это превозмочь. Не забывайте о военном положении, на все передвижения нужны бумаги...

Но мой вариант меня воодушевил, дал силы. Я встала с кровати, поела каши и сказала:

— Милый, добрый Сергей Михайлович! Если хотите мне помочь, отвезите меня как «найденыша» в дивизию, в подразделение, где есть врач или фельдшер. Я верю, что стоит мне облегчить кашель, и я скоро окрепну и буду полезна. Я не подведу вас... Я согласна выехать только на фронт! И без лжи вашей начальству.

Сергей Михайлович согласился наконец на мой вариант. Это был последний час его пребывания в Ленинграде. Утро. 25 марта 1942 года. С. М. ждал шофера с машиной, чтобы вернуться в часть.

Мама собирает меня в дорогу. А чего собирать-то?! Паспорт, комсомольский билет. Взяла и справку об окончании 1 курса двухгодичной медицинской школы — я уже была уверена, что она пригодится. Одета: пальто брата, голова обмотана бабушкиной шалью, как в детстве, на ногах «стеганки» из рукавов старого ватника, с галошами. Кусочек хлеба в кармане, маленькая мамина карточка.

Пришла машина — крытая брезентом полупортка.

Вышли на улицу. Ни души... Летают снежинки. На одно мгновение пахнуло далекой еще весной...

Мама вынесла подушку — зачем? С. М. легко приподнял меня в кузов (сам он должен ехать в кабине — предъявлять постам командировочное предписание, путевой лист или что там полагается в военное время).

Мама кинула мне подушку, велела или сесть на нее, или положить под спину и плотно прижимать спиной к стенке кабины. С. М. подал плащ-накидку, велел в нее завернуться. Все спокойно, деловито. Почти молча, без суеты отправляла меня мама неизвестно куда. Мама не плакала, и я не плакала. Я как-то не осознавала, что происходит, мысли прыгали по мелочам. И вот я поехала по родной улице Петра Лаврова к Литейному проспекту, и пока не завернули направо, я видела маму, смотревшую на машину. Руки опущены вдоль туловища, ни одного взмаха.

Первое письмо от нее мне на фронт начиналось словами: «Доченька, когда ты уезжала, я стояла как мертвая, будто парализовало, — руку не могла поднять, чтобы помахать или благословить тебя на неизвестное, трудное...»

Моя последняя мысль была — суждено ли мне будет увидеть маму и Ленинград, а потом я провалилась в дрему, прерываемую кашлем, — было мне холодно. Сколько и где ехали — не замечала. Машина мчалась быстро, бултыхаясь-кувыркаясь на неровностях (груз-то в ней легкий: ин-

тересно, сколько я тогда весила?), меня подбрасывало и качало из стороны в сторону, а это усиливало кашель и боль в боку. Мне казалось, будто не со мной все это происходит, а я смотрю кино.

При въезде на Ладожскую дорогу машина остановилась. С. М. с кем-то разговаривал, потом заглянул в кузов, спросил, как себя чувствую. Он-то и сказал, что теперь поедем по Ладоге...

Теперь я выяснила, что от берега до берега 30 км., а вообще длина озера 200 км., ширина — 140 км.

Задний борт не закрыт брезентом, и я вижу убегающую назад дорогу, «озерный» простор и машины, идущие к Большой земле и назад — к Ленинграду, с продуктами: мешки, замерзшие мясные туши.

И опять полусон-полуявь. Чтобы не чувствовать в сердце (или в легком?) «кинжалов», дышу чуть-чуть.

...И вот едем по лесу. Над ним летит осветительная ракета... Это кажется, что близко, на самом деле не здесь. Где-то татакает пулемет. Остановились...

Кто-то спрашивает Сергея Михайловича, куда идет машина? Он ответил: в медсанбат. Попросят взять раненых. Через полчаса подготовят их документы. С. М. выгасил меня из машины и привел в землянку погреться. В землянке тепло и сыро. Коптилка. На нарах раненые. С потолка капаят капли в подставленный котелок. Входят и выходят люди. С удивлением смотрят на меня. И каждый безошибочно определяет. «Из Ленинграда? Как там? Скоро прорвем блокаду!»

Погрузили трех раненых: двое лежачих, один — сидит. Один из лежачих проследил взглядом за мной, когда я устраивалась в машине, сказал:

«Тетенька, ты из блокады? Возьми у меня хлебушка кусочек, в кармане шинели...»

Я подложила свою подушку под головы лежачим. Сидячий пощупал подушку и сказал: «Надо же! Настоящая! Перовая! Давно не видел...»

Ехали, как мне показалось, недолго. Поселок, вернее, бараки (вроде того барака-общежития в Лесном, где жили мы). Кругом лес.

Машина остановилась... Раненых унесли в барак. Подошедший к машине военврач спросил Сергея Михайловича, всех ли выгрузили и у кого сопроводительные документы на них. Сергей Михайлович и врач называли друг друга по имени-отчеству, а не по званию. Я оставалась в машине.

С. М. ответил врачу, что есть еще один пассажир, но не раненый, а больной, особый больной... и с этими словами С. М. быстро влез в кузов и хотя и шепотом, но требовательно произнес:

— С этого момента мы должны друг к другу обращаться на «ты». Ты сейчас предстанешь перед лицом командира медико-санитарного батальона — Алексин Борис Яковлевич его зовут. На его вопросы о тебе буду отвечать я, твое дело — помалкивать, если даже я что-то скажу не так...

С. М. помог мне выбраться из машины.

Комбат вопросительно поднял брови:

— А эта хвороба откуда? Где подобрали? Вы же знаете, Сергей Михайлович, что мы не имеем возможности обслуживать гражданских лиц... А дальше куда мы ее направим? Вы из Ленинграда? — спросил комбат меня. — Печать истощения блокадного... Я прав?

— Да, — ответила я, хотела продолжить, но С. М. перебил:

— Товарищ комбат, я вывез из Ленинграда жену... прошу приютить на недельку, прошу врачебного осмотра, а потом я ее отправлю к своей матери... Извините, тороплюсь в полк... при первой возможности загляну...

И тут же уехал.

Мне хотелось заскулить. Да, я чувствовала себя щенком, жалким, беспомощным, обманно подкинутым к людям, которым не до меня. Презирала себя за то, что не опровергла ложь. А как объяснить правду? Все равно я соучастницей лжи стала уже, промолчала...

Комбат вызвал старшину, распорядился отвести меня в барак, вызвать терапевта, «еды блокаднице пока не давать»...

Барак... двухъярусная система нар. Дымит печка, холодно. Кто-то спит, кто-то встал с нар и торопливо собирается на смену, кто-то ложится на освободившееся место. Все женщины, девушки. С верхнего яруса слезла младший лейтенант — седая, с птичьим лицом, — сразу же стала опекать, узнав, что я из Ленинграда, помогла забраться наверх, на ее место, и велела спать. Печка страшно дымила, кашель не давал лечь, и я сползла вниз, предложив свои услуги в качестве истопника.

Седая фельдшерица — звали ее Екатериной Васильевной Агаповой (москвичка) — приговаривала: «Ну и ладно... ну делай, как тебе лучше... Все обойдется, все будет хорошо».

Днем она привела двух женщин-терапевтов. Гражданских здесь нет.

Главный терапевт медсанбата — Прокофьева Зинаида Николаевна и ее ординатор Качурина Мария Ивановна, Мусенька, как называла ее Зинаида Николаевна.

Когда я разделась до пояса для осмотра, на лицах здоровых, сытых людей заметила сострадание...

З. Н. воткнула в мой левый бок кулак, отпустила... тихо сказала Марии Ивановне:

— Видишь, Мусенька, какая подушка при общем исхудании и какая ямка от кулака... Теперь послушаем, что там внутри...

— Здесь, думаю, явный ТБЦ. Если так, то в наших условиях мы ничего не сделаем. И рентгена нет. И весна! Таяние снега, сырость, холод. Кашей не поправишь...

Потом слушала меня Мусенька:

— Мне кажется, что тут случай запущенного экссудативного плеврита... Конечно, при благоприятных условиях опасность перехода в ТБЦ...

— Без рентгена мы с тобой не ответим на вопрос, перейдена эта грань или еще нет. Из своего опыта знаю, что запущенный экссудативный плеврит означает то, что я первоначально сказала. Хорошо бы с первой партией раненых направить ее в тыловой госпиталь, скажем, к Порету?

Присутствующий здесь комбат сказал:

— Порет отправит ее в глубокий тыл официальным порядком...

— Надо послать с нею для Порета письмо — все объяснить. Только рентген, и обратно сюда, а уж тут муж сам ее отправит к матери...

Алексин спросил меня:

— Свекровь-то у тебя хороший человек? Поможет стать на ноги? Тебе надо лечиться, работать ты не вдруг-то сможешь... Если отправим тебя в госпиталь на рентген, ты никому там не говори, что из Ленинграда... а мы Порету напишем, чтобы никуда дальше не отправлял тебя. Вернешься с первой нашей машиной, которая приедет туда с ранеными.

И тут меня прорвало:

— Я очень прошу — после рентгена оставьте меня здесь! Я не хочу никуда ехать — ни в Молотовскую область, ни в другие места... Я понимаю... вы не обязаны... вам не до меня, но я прошу... я уверена, что очень быстро поправлюсь и пригжусь вам на любой работе...

Алексин горько усмехнулся:

— Наша работа не для тебя, во всяком случае, в теперешнем состоянии твоём: пилить дрова, стирать окровавленное белье, таскать раненых, идти пешком тридцать — сорок километров, спать на снегу, на земле, дологи чинить и т. д.

— Я выносливая!.. Я все смогу! Я прошу!

(Окончание следует.)



---

---

ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ

\*

## ОПУСТЕВШЕЕ ДЕТСТВО

\* \*  
\*

Припомни свое опустевшее детство.  
Немного растерянно пробормочи:  
Что, милый, тебе перепало в наследство?  
Пронзительный запах кошачьей мочи.  
Колени и локти в порезах и цыпках  
И след от шнуровки мяча на лице.  
Мне это сыграют на ангельских скрипках,  
Мне именно это сыграют в конце.

\* \*  
\*

Как голос, застрявший в гортани,  
ни вытолкнуть, ни расплескать.  
Заплаканной девочки Тани  
мне мячик уплывший искать.  
Как я, одномерный схоластик,  
исчислил объем и размах,  
пока карандаш или ластик  
непрочно держались в руках.  
Поэзии слабая влага.  
Испарина, пот на усах.  
Ходивший на поиски блага  
неблагообразно пропах.  
Дорожка натоптана к раю,  
герой или подлинный враль,  
ходивший по краю, по краю  
и переступивший за край.

\* \*  
\*

Мой единственный творческий вечер  
состоялся в начале марта  
восемьдесят девятого года  
в Салтыковке на даче.

Присутствовали:  
от критики — Костя Пантуев,  
мой друг и тонкий ценитель  
поэзии, прозы и прочего,  
стихи мои не любивший,  
но ко мне всегда относившийся  
благоклонно;  
от поклонниц была Татьяна,  
меня никогда не любившая,  
но смотревшая на чудное животное  
благоклонно.  
Жаль, мои животные качества  
ее христианскую душу  
и тело ее христианнейшее  
совершенно не волновали.  
От публики был Сережа,  
тогда — аспирант мехмата,  
сказать о котором нечего,  
потому что он жив, слава Богу,  
и, несмотря ни на что,  
ко мне до сих пор благоклонен.

Я прочитал вступление,  
предложив выпивать и закусывать,  
чтобы не было слишком скучно,  
но к вину никто не притронулся,  
пока не закончилось чтение.

Пили очень торжественно —  
«Гурджани» и «Цинандали».  
Костя сказал: «Однако  
ты расписался за год,  
много всего написал».  
Этим процесс обсуждения  
начался и закончился.  
Через четыре месяца  
Костя Пантуев умер.  
Покончил с собой, выпив  
пригоршню снотворных таблеток.

Эти четыре месяца  
я помню настолько четко,  
буквально до тени жеста,  
до льдинки, до вкуса снега,  
до колеи в Салтыковке,  
тополей возле Павелецкой,  
до запаха бензиновой гари  
и пуха, щекочущего ноздри.

Я лежал как озеро. Если  
меня что-нибудь касалось,  
то это была ресничка,

прилипшая к яблоку главному,  
или лист, упавший на воду.  
Если что-то со мной случилось,  
то трогало только оболочку,  
а случилось всего много.

В ночь на четвертое апреля  
родился мой сын Ваня.

\* \*  
\*

Бывает удивительно хорошо.  
Ни почему, беспричинно.  
Прогуливаю собак по ноябрьской слякоти,  
прихваченной первым бесснежным морозом,  
и вдруг этот сладкий укол:  
— потому что ничего у меня не болит,  
— потому что свободен на целый вечер вперед,  
— потому что здоровы и живы чада и домочадцы...  
Это — длится недолго.  
Это — всегда мгновенье.  
Тихое счастье, малое, глупое.  
Но другого и не бывает.

\* \*  
\*

Грехов-то и тех существенных нет.  
Все по мелочи, и покаяться не в чем.  
Чем же ты занимаешься столько лет?  
Продай бы душу, умер бы певчим  
дроздом. Так ведь нет, живешь,  
если это можно назвать словом  
жизнь или судьба. Бельевая вошь,  
путешествуя по простыням и покрывам,  
видит суровые горные ледники,  
и, пригорюнившись на краю обрыва,  
смотрит на заходящее солнце из-под руки,  
и вспоминает щель, где была счастливой.

\* \*  
\*

Все, что я завершил,  
кончалось словом «аврал».  
Я долго на свете жил,  
потому что не умирал,  
потому что земля была  
слишком тверда для меня,  
потому что я не хотел  
и не мог ничего изменить.  
Табачок горек на вкус,  
да запах сладок его.  
Если я кого-то боюсь,  
то себя самого.

От себя-то не убежишь,  
не спрячешься под кровать.  
Если ты сам решишь,  
кого тогда упрекать?  
Похрустит под ногой ледок  
и превратится в грязь.  
Ну что ты скажешь, дружок,  
напоследок? Жизнь удалась?

### Апокриф

Однажды к поэту Блоку  
пришел молодой Шкловский.  
Он рассказывал долго и ловко  
о своих формальных открытиях.  
Поэт внимательно слушал  
и сказал на прощанье:  
— То, что вы говорите,  
интересно необыкновенно,  
но поэту знать это вредно.  
Я ваши слова забуду  
так быстро, как только можно.

\* \*  
\*

Разве физическое страдание —  
только утрата сил и времени?  
Оно разрушает тело,  
но для духа оно лечебно.  
И это довольно часто  
единственное лекарство.

\* \*  
\*

Звезда наливается светом,  
как августовская лоза.  
Я убеждаюсь в этом,  
к небу подняв глаза.

Отяжелели грозди  
после июльских гроз.  
Налитые светом звезды  
я вижу сквозь линзу слез.

Сад постепенно вянет,  
слива уже сошла.  
Сын подойдет и встанет  
возле кухонного стола.

Это — вершина лета  
и его пережат.  
Тяжелые капли света,  
как слезы, падают в сад.



---

---

# ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ИГОРЬ ДЕДКОВ

\*

## УЖЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ СЧЕТ

*Из дневниковых записей 1987 — 1994 годов*

27.3.88.

**С**талин вызвал Митина и Юдина. Те были тогда в Институте красной профессуры (аспирантура?). И сказал им, что думает назначить их академиками. Юдин засомневался: справится ли? Они вышли от него: Митин — академиком, Юдин — член-корром.

Минц<sup>1</sup> кому-то рассказывал, как был направлен для переговоров или еще зачем-то в штаб Махно. Был он молод, худ, неказист. Его привели в штаб к Махно и, видя его невзрачность, предложили тут же с ним и покончить. Махно их остановил и налил Минцу кружку самогона. «Пей».

Тот выпил. Еще налил. «Пей». Выпил и вторую. «Ну как, — спрашивает Махно, — можешь разговаривать?» А тот вполне членораздельно отвечает: «Могу». Махно удивился: «Что ж, поговорим».

Н. Б., работая в «Вопросах философии» вместе с Митиным (редактор журнала), однажды ехал с ним в Ростов-на-Дону. Зашли в вагон-ресторан, и Н. Б. робко предлагает: «Может, выпьем по рюмочке (или стопочке)?» Тот отвечает: «Нет, товарищ Биккенин, это было бы ошибкой», — и Н. Б. обомлел. «Это было бы с нашей стороны ошибкой. Надо взять бутылочку».

Якобы при допросе Василия Сталина, когда следователь упомянул об ответственности его отца за убийство Кирова, Вас. Сталин сказал, что об участии отца в этом убийстве ничего не знает, но помнит, как однажды отец на даче метнул бутылку коньяка в голову Ежова с криком: «Ты, гад, и Кирова мне не уберег!»

А. Н.<sup>2</sup> отрицательно отозвался о статье Н. Андреевой в «Сов. России». Н. Б. считает, что Валя Чикин<sup>3</sup> просчитался и не удержится. «Правде» поручено выступить против публикации в «Сов. России». Посмотрим, что будет.

28.3.88.

Рассказывал, как сидели на даче — писали Алиеву доклад о трудовых коллективах. Он прочел, понравилось, сделал замечания, пообещал угостить коньяком. И действительно, прислал две бутылки азербайджанского коньяка «Наири» и несколько бутылок вина.

Если сказать: этот человек прекрасно информирован, то это равнозначно тому, что определить его принадлежность к госбезопасности. Наш Анат. Алекс. знает бездну всяких фактов: как штурмовали захваченные самолеты, подробности ареста секты скопцов.

---

Продолжение. Начало см. «Новый мир», № 1 с. г.  
Публикация и примечания Т. Ф. ДЕДКОВОЙ.

<sup>1</sup> Минц И. И. (1896 — 1991) — историк российского революционного движения, академик АН СССР (1946).

<sup>2</sup> Здесь и далее — А. Н. Яковлев.

<sup>3</sup> Чикин В. В. — главный редактор газеты «Советская Россия».

Читая «Лит. Россию»:

Они в этих заседаниях — секретариатах, советах, комиссиях, юбилеях — как рыба в воде (Алексин и проч.).

Так и переплывают: из протоки в протоку, из озера в озеро, и так без конца.

Феликс Кузнецов сидел (прежде) в президиумах, как в теплой ванне, — откинувшись и развалясь.

«Красное копыто» (штамп цеховский на бумагах). <...>

Никогда я так не ощущал многоэтажности, многослойности жизни, как в эти дни. Отвлеченность живет за счет конкретности. Плавание в разных водах.

У Флоренского вычитал прекрасные слова по поводу отвлеченностей и отвлеченных обобщений. Только один путь: через конкретное к всеобщему, т. е. не покидая конкретного.

Это в тон тому, что я думал.

Флоренский — из «Вопросов истории, естествознания и техники», 1988, № 1. Сегодня мне сняли ксерокопию: там Вернадский и в связи с ним — Флоренский.

Хочется писать, но поздним вечером нет собранности. Как у меня бывает, настроение сменяется, как волна волной, живу как на волнах.

Я чувствую, что писать — слишком серьезно, и надо касаться всего самого серьезного и главного, и в этом одном — уже что-то пугающее.

29.3.88.

Огорчаюсь так, что не могу читать: не переключаюсь никак на «Живаго»<sup>4</sup> и Антиповых, а у них уже пошла своя семейная жизнь, дети, и мелькают годы. Читаю отстраненно, занят своим... И вырваться хочу отсюда, вырваться, все одно: их аппаратный слог и склад ума мне не освоить, они мне чужие, и, комбинируя с текстом, разумеется, они предпочитают свое (аппаратная солидарность), а не мое, хотя в отличие от их идей мои идеи резче, новее и обращены опять-таки не к аппаратной и казенной логике восприятия, а к людям широкой мысли и культуры.

Поехали с Н. Б. в Академию общественных наук к 16 часам: должен был выступать Яковлев. Оказалось, что не приедет, перенесли на 18 часов, но очень неуверенно. Когда вернулись, Н. Б. позвонил помощнику Яковлева, тот сказал, что идет беседа с Океттой у М. С.<sup>5</sup> Таким образом, послушать не удалось и почувствовать реакцию слушателей — тоже.

Рассказывают, что вчера после торжественного заседания, посвященного Горькому, Горбачев, разговаривая с теми, кто был в президиуме, сказал, что статья Андреевой в «Сов. России» плохая. (Так как Лигачев эту статью на совещании редакторов (только-только Горбачев и Яковлев уехали, один — в Югославию, другой — в Монголию) хвалил и некоторые областные газеты ее перепечатали, то это не просто суждение, а некий выбор, сделанный главой партии.)

Записал все это, но «температуру» души не сбил: та же горечь и острое чувство напрасности: что я тут делаю? Зачем? Время — думать и писать, — как всегда, в одиночку, время — сосредоточиться, отойти от старых приемов письма и переналадить мысль: то, за что ратовал, многое осуществилось, становится общим местом; нужно продолжение, нужно другое направление...

<sup>4</sup> Роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» был прочитан Дедковым в 60-х годах. В 1988 году «Новый мир» публикует «Доктора Живаго» в первых четырех номерах. Вероятно, Дедков перечитывал роман по этой журнальной публикации.

<sup>5</sup> Окетта Акиле — в ту пору председатель Демократической партии левых сил Италии; М. С. — здесь и далее — Горбачев М. С., Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР.

Это надо уметь: надо поджаться, меньше чувствовать, потушить воображение, не давать воли мысли.

Надо сидеть себе, как в танке. И катить. И чтобы все отскакивало и отлетало. И тебе все нипочем.

Можешь ты это?

Я не могу жить собою. Я пытаюсь, меня вынуждают, чего-то от меня хотят, и я стараюсь, пробую.

Это все от бездомья. Дома можно успокоиться, прийти в себя. Какое было счастье, — хотел написать: непонятое, потом подумал: неправда, понятое, почувствованное! — когда я сидел за столом в своей комнате... Чудеса, чудеса, счастье!

Прочел же ты у Флоренского: необратимость времени — вот доказательство его существования. Время проходит сквозь нас, проносится, струится, и сердце болит, чувствуя именно это бесконечное движение.

А наверное, это точно: из тех лет, объем души, мысли, чувства.

Лидия Корнеевна — даты под! — как смогла?! Она уже тогда отрешилась от всего этого, она все поняла — тогда<sup>6</sup>

29.3.88.

Что значит видеть? Писал в письмах, глядя в окно: сосны в снегу. А вышел пройтись, а сосен-то и нет: стоят елки, а рядом березы, а перед другим окном другого коттеджа, где я жил в январе и где тоже писал в письмах: сосны в снегу, — то ли липы старые, то ли еще что — не пойму, но никак не сосны...

Куда смотрел? Себе под ноги или — скорее всего — внутрь себя? И — переживал необычность обстановки, занятий, незнакомых и значительных людей?

Наверное, так и есть. Когда смотришь внутрь себя, когда — переживаешь, видишь вокруг мало и даже теряешься, как бы плутаешь.

И раньше это замечал: помнишь свое состояние и предполагаемое тобой состояние других и как бы общее состояние жизни, но остальное обступает как второстепенное, как пространство: ты пересекаешь его и мало что помнишь, только — бедность его или богатство, или сам дух, владеющий им или выражающий его суть.

Теснение души — так это называется, или — томление, или сам трепет жизни, колеблемой, как свеча ветром...

Вот еще про что думаю: вот я ушел в 76-м из газеты и уже лет пять до этого мучился в ней и понимал: ничего уже ни прибавить, ни изменить, и наконец ушел на волю, — слава Богу, была возможность... Еще раньше — отказался от Академии общественных наук (1968), т. е. от очевидного карьерного выбора... Стал заниматься литературной работой, — непросто, трудно распрямлялся, но опять-таки себе не изменял, не прилаживался, не угождал власти...

То есть такие, как я, как Тома, как многие другие, как Виктор Бочков, например, ничего не делали для карьеры, для поднятия авторитета в глазах власти.

Наоборот, сколько себя помним, со студенчества, — на подозрении, на полуподозрении, на самой грани позволенного.

И вот время перемен. Хорошо, поднялись снова такие люди, как Буртин<sup>7</sup>, доньше как бы отсутствующие. И еще другие, похожие на грибы, пошедшие в рост после дождя.

Но вот я смотрю вокруг: большинство — те, кто поднялся и удерживался на своей высоте во времена Брежнева и Черненко. Они делают вид, что понимали все всегда, а теперь просто дают выход своему пониманию. Вопросов им не задавайте, они были правы тогда, правы и теперь.

<sup>6</sup> Повесть Л. К. Чуковской «Софья Петровна», написанная в конце 30-х годов, была впервые опубликована в журнале «Нева», 1988, № 2.

<sup>7</sup> Буртин Ю. Г. — литературный критик, публицист.

Они вроде бы ждали этого времени и ему — в уровень.

Точнее бы сказать: они служили тогда, служат и теперь. Просто условия службы чуть смягчились.

Правда, чохом их не охарактеризуешь. Не все радуются переменам: я это понял, когда выступал перед некоторыми представителями этого клана.

Впрочем, мне все равно, хотя эта формула: они правы были тогда, и правы теперь — меня задевает.

Их правота неизменно подкреплена силой власти.

В этом отличие от правоты другой, не подкрепленной ничем, кроме чувства исторической справедливости, кроме чуткости к времени и человеческому состоянию.

Ели за окном напоминают ели на бухаринском пейзаже в «Огоньке». Мартовское солнце лежит на ветвях...

Аля Чернявская как-то сказала (недавно), что вам... никогда не везет до конца. Т. е. все в конце концов складывается неплохо, но что-то всегда мешает, все дается трудно — я готов написать эти слова печатными буквами... Хотя, опомнившись, говорю себе в сотый раз: не гневи Бога, не гневи...

Через какие муки прошли люди в революцию, в 30-е годы, в войну, да и потом, — сколько ушло их времени, сколько жизней, а если выживали, то как измерить пережитое ими в лагерях, ссылках, в бесконечно долгом отсутствии, в изоляции от близких и родных... Как? Какую изобрести единицу измерения горечи, страданий, боли?! Я догадываюсь, что многие из них жили уже одни, совсем одни, не считая время, т. е. считая — с единственным ориентиром, — пока не обманут, — на истечение срока...

Попробуй представь себе, что будет с пальцем, если сунуть его во вращающуюся мясорубку.

Попробуй представь себе, что было бы с тобой там, и в полной неизвестности остались бы самые дорогие тебе люди...

29.3.88.

Смотрел фильм «Конец ночи» (кажется, так), советский, из новых. История из начала войны: советский танкер спасает команду и пассажиров немецкого парохода, не зная, что война началась. Потом немцы захватывают судно и т. д. Вся новизна и вся философия перестройки — в очередных раздеваниях и постельных сценах. Их необязательность, их приправочная задача (специи) очевидна. Абсолютно. Дешевка, что называется; а режиссер — Нахапетов. Чепуха, господа, чепуха это всё. Ни красоты, ни храбрости, ни мысли. Ремесло, и притом второразрядное.

30.3.88.

Опять сказал Н. Б. о квартире, просил, чтобы он позвонил в Цека; обещал. А. Н. рассказал ему, что на последнем Политбюро М. С. сказал, что вот Наиль («Вы его знаете, редактор „Коммуниста”») передал ему слова писателей после появления статьи Андреевой: «А что, у нас Генерального сменили?»

Что было дальше — не говорилось. На Е. К. Лигачева неловко было смотреть.

Все произошло после того, как Н. Б. передал эти слова В. О. Богомолова Яковлеву.

Н. Б. озабочен: прямым упоминанием своего имени в таком тексте и прямыми указаниями М. С. и А. Н. о проведении идеологического «круглого стола» и написания к конференции передовой статьи («с последующей перепечаткой в республиканских изданиях»).

Разговоры за ужином об ошибках в составлении официальных бумаг, а также об их хранении. Всего-то была записка от Б. Пономарева с пожеланием заменить в докладе слова «сфера услуг» на «непроизводственная сфера», но



потеря ее (а была подпись: секретарь ЦК и соответствующие штампы) грозила разными карами, и чтобы отыскать ее, уже собирались вытрясать все сейфы отдела. Такое — поиск по всем сейфам — в порядке вещей.

5.4.88.

Простаивание мысли.

Что в Китае пытка, в Люберцах шутка.

31 отдел, хорошо бы — не гибель<sup>8</sup>.

5.4.88.

Сходит снег со здешних полей, темнеют летние тропинки и дорожки под деревьями, проступили клумбы, площадки для настольного тенниса, лохматая серая кошка, долго мяукавшая под деревьями, пришла на наш зов и стала поочередно тереться о ноги всех нас.

Мальчишка перелез через забор, а выбраться назад не может; над краем забора показалась ругающаяся голова женщины, испуганной таким нарушением и шествием солидных начальников по аллее; я посадил мальчишку, он скрылся, но скоро высунулся снова и закричал: «Пронесло!» (Видимо, мать не сильно его ругала.)

Сегодня фильм «Терминатор» (Кибер-убийца) — жуткая американская фантазия насчет будущего, завоеванного взбесившимся, вышедшим из повиновения роботом.

В «Правде» статья против «Сов. России» с резкими абзацами, написанными, видимо, А. Н. «Патриоты» и «сталинисты» будут недовольны. В «Сов. России» сегодня партсобрание, и Валя Чикин там, думаю, оправдывается. <...>

7.4.88.

Выступали (Н. Б., Колесников, Гайдар<sup>9</sup> и я) в Академии общественных наук на курсах председателей госкомитетов радио и телевидения, редакторов лит.-художественных и партийных журналов страны. Виделся с Жорой Радченко (работает в Магадане на ТВ), с С. Законниковым и А. Вертинским (Минск).

Потом вернулись. Здесь, конечно, спокойнее. В «Правде» изложение статьи в «Руде право», где отвергается сходство программы «правых сил» 1968 года и советской перестройки. Заметка начинается с имен: Шик, Млынарж, Дубчек. Бросается в глаза возможная параллель происходящего в стране с даваемой в статье оценкой послеянварской ситуации в Чехословакии. Существенно, что с Млынаржем М. С. учился в одной группе в университете и в последующие годы встречался с ним.

Заметка о возвращении к диктатуре пролетариата появилась на первой полосе «Соц. индустрии». Там же говорится о происходящей сейчас в партии борьбе «большевиков» и «меньшевиков».

Ностальгия по сталинизму поддерживается на страницах некоторых газет едва ли не целенаправленно. Любопытно, что впервые не дается изложение очередной речи Лигачева (на совещании по художественному воспитанию народа).

<sup>8</sup> В фантастическом романе шведского писателя Пера Вале (1926 — 1975) «Гибель 31-го отдела» (1964) рассказывалось о пресс-концерне, который собрал под своей крышей самостоятельно мыслящих писателей, журналистов, критически настроенных публицистов. Их правдивые статьи оплачивают, набирают, но не печатают. В конце концов концерт их убивает.

<sup>9</sup> Колесников С. В. — экономист, член редколлегии.

Гайдар Е. Т. — в 1987 году — заведующий отделом редакции журнала «Коммунист». Позднее Гайдар перешел на работу в газету «Правда».

Правда, это поправимое дело — еще могут дать.

Вот жизнь: шутка ли, девятый месяц, как нет у меня привычной, нормальной жизни. Будет обидно, если это все кончится как-нибудь печально.

Первый весенний дождь. Проезжали мимо университета, мимо общежития Никиты. Надо ему об этом написать.

[Б. д.]

<...> К вечеру — усталость от суеты, от рассредоточенности — на то, на это...

Адамович<sup>10</sup> вернулся из Парижа — он любит эту деятельность. А я — нет.

Даже если б была ее возможность — уклонялся бы. Просто все разные...

В Москве лужи, мокрый снег. Иногда едешь в метро, думаешь, проезжаешь свою остановку. Возвращаешься.

[Б. д.]

Я ловил себя на том, что вот этот поворот головы не мой, и движение вздернутого влево подбородка не мое, и ногу на ногу забросил чересчур знакомо, повторяя отца, — и вот, дивясь сумме этих движений, я думал, а где же мое? А если и остальное — не мое, то тогда — чье же? Каких неизвестных мне предков-предшественников? И чьи сюжеты в своих снах я досматривал? В чьих домах там хожу и живу?

Иногда я смотрю на людей — на улице и т. д., чувствуя, что смотрю давний, молодой, и вижу в молодом ровню или, все равно, близкого...

Не знаю, как дотянуть до времени, когда снова сяду за свой стол и буду работать по-старому.

Меня вовсе не увлекает возможность включиться в общий хор (Карякин — Нуйкин — Клямкин — Ю. Афанасьев и др.<sup>11</sup>). Но я человек того же направления, и я жалею, что отстранен от всего — другого такого времени может не быть.

18.6.88.

<...> Вместо Замоскворечья — Ленинские горы, но улита едет — когда-то будет. Про все эти хлопоты и треволнения не хочется и писать. Это то, что не жизнь, а пауза.

<...> наладься наша прежняя жизнь, и я тотчас повернусь в сторону литературы, политики и всех прежних занятий. Но пока — настроение такое: грустное, печальное и т. д.

13.5.89.

<...> В промежутке совсем уж нерегулярно от руки не раз что-то записывал: в Волынском, на Октябрьском поле. Надо бы свести воедино, но тратить на это время кажется недопустимой роскошью.

Почему я не записывал?

Не в том состоянии была душа. Никакого покоя. И радость была, и светлые минуты, и разные события, которые бы удержать в памяти, но помимо отсутствующего покоя останавливало что-то еще, словно я боялся нарушить какое-то

<sup>10</sup> Адамович А. М. (1927 — 1994) — писатель, публицист, член-корреспондент АН Белоруссии, общественный деятель.

<sup>11</sup> Известные публицисты 80-х годов.

зыбкое равновесие своей — нашей — жизни. В этом было что-то суеверное; Тома в Костроме, Никита в армии, — как об этом писать, чтобы не повредить тому, что есть и пока вроде бы хорошо. Будто слово мое, никому не ведомое, могло что-то стронуть с места. А как было записывать свое самочувствие на Октябрьском поле? Изливать свою горечь? Зачем? Достоинно ли? Вот и носил в себе то и это, надеясь, что горечь рассосется, радостное не исчезнет. А большая политика, российские потрясения, неожиданные-негаданные перемены, все новые и новые непривычные степени свободы!.. Вот это-то следовало фиксировать — в мелочах, в смене надежд, страхов, разочарований и новых очарований! И тут нечего винить душу и ее неустойчивые состояния. Тут сам ход моей жизни был против: долгая история с получением квартиры, бессчетные поездки домой, в Кострому, и обратно. Да и зачем, кому я объясняю свое молчание? Молчал — значит, была причина, изъяснить которую, наверное, можно, но во многих словах, которые кажутся лишними. Не хотелось ничего писать — ни после обретения московского дома, ни после Италии и Нью-Йорка<sup>12</sup>, — выходит, мешало что-то. Сама жизнь мешала, оттаскивая меня от машинки или — растаскивая меня по всем московским надобностям и поводам. Жизнь лишила меня сосредоточенности, а в Костроме она у меня была... А впрочем, не буду копаться в причинах-мотивах. Попробую постепенно, если ничто не помешает, восстановиться и вернуть себе свое прежнее состояние. Бог мне в помощь!

Надо бы, наверное, кое-что вспомнить из этих двух лет. 20 июля 1987 года я действительно вышел на работу. Очень скоро, не прошло и месяца, как Биккенин ввел меня в редколлегия, получив поддержку А. Н. Яковлева. Вернувшийся из отпуска Архипов был чрезвычайно удивлен, если не потрясен, скоростью моего утверждения секретариатом.

28.11.89.

Чего я боюсь? Я боюсь, чтобы мы оба не оказались в больницах, хотя понимаю, что и это еще не худший из вариантов.

Жили, жили — и дожили. И надо как-то вывернуться, а чувство такое, что шел-шел и наткнулся на что-то трудно преодолимое. На препятствие.

(Надо бы писать медленнее: слова подводят, чувство, ощущение не узнают себя.)

30.11.89.

Нет, похоже на правду или близко. Перемешавшаяся жизнь, остановившаяся. Боже, как мы устали надеяться!

И уже стыдишься мгновений прихлынувшего энтузиазма.

Волынское. Конец мая — июнь 1990.

Состав: Шахназаров Георгий Хосроевич; Остроумов Георгий Сергеевич; Биккенин Наиль Бариевич; Дедков Игорь Александрович; Ермонский Андрей Николаевич; Ястржембский Сергей Владимирович. Вместо Остроумова работал Черняев Анатолий Сергеевич.

[Б. д.]

Березы во все окно, голубое небо в просветах листвы, птички поют, зеленые лужайки, яркая майская трава, ждановская дача в два этажа, белые ска-

<sup>12</sup> В декабре 1988 года Дедков вместе с Тенгизом Абуладзе, Василем Быковым, М. А. Захаровым и другими деятелями культуры присутствовал на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. На заседании Ассамблеи выступал с речью М. С. Горбачев. Визит советской делегации был прерван из-за катастрофического землетрясения в Спитাকে.

мейки перед домами, где никто никогда не сидит, — сверкающая листва, а дача зеленая с обилием окон, с жалким подобием фонтана, т. е. круглой чаши, опять же зеленой, заполненной прошлогодними листьями.

4.6.90.

Утром Шахназаров и А. Н. Яковлев плюс Петраков, и мы: Н. Б., Андрей Ермонский<sup>13</sup> и я. А. Н. («не для записи», была стенографистка): «Марксизм — это теория классово-борьбы. От нее пора отказаться». Прозвучала мысль (А. Н.) об отсрочке съезда<sup>14</sup>.

27.6.90.

Вчера остались одни с Андреем. В первую половину дня ездил в город (я — в редакцию, Андрей — в свою контору). После обеда — читали и ждали. Ч. и Н. Б. весь день пробыли в Ново-Огарево. Поздно ночью, когда мы еще смотрели футбол, вернулась машинистка А. С. Черняева<sup>15</sup> и сказала, что тот заедет утром. Распространились слухи, что съезд будет перенесен, но, судя по рассказу машинистки, работа над текстом продолжалась.

Накануне, в понедельник утром, когда я явился, приодевшись и надеясь на отъезд (конференция советско-американская), появился хмурый Черняев и сказал, что в воскресенье была передиктовка и нужно садиться за работу.

Так оно и было. Никто никуда не поехал. Все сорвалось, и я, получается, обманул людей. Сидели до третьего часа ночи. Вписал кое-что новое (по истории и реабилитации крестьян, раскулаченных).

В субботу шла шлифовка и ожидание, т. к. все съехались.

28.6.90.

Клод Лелюш, Бельмондо и Френсис Лей в фильме «Баловень судьбы». После «Драки» и прочей нашей дряни — и здешней политической скуки и оторванности от грешной земли — так было приятно видеть и слышать нечто, говорящее о человеке в его лучших возможностях, почти сказочное.

Начальство в отсутствии, а мы с Андреем как позабытые часовые. Или — точнее — как отдыхающие в доме отдыха.

(Пишу все это — и чувствую, как все это далеко от состояния душевного и умственного. И если хочется что-то писать, то совсем другое, очень далекое от здешней жизни, в сущности, унизительно-служебной.)

Из «Записок консерватора» (А. Проханов, «Наш совр.», 1990, № 5): «пятилетка великого ренегатства». Образ СССР как летательного аппарата, чье управление в некоем центральном отсеке, где «сокровенные недра партии», т. е. Центр управления там. Но Сталин ушел, «забрав с собой ключи, отсек не открыть, и к рулю прорвались пассажиры» («изначальный чертеж» он тоже забрал).

Так вот — удастся ли вырвать руль у «спятивших пассажиров»?

«Слушая, как трещат и ходят ходуном межреспубликанские границы, они (государственники) вспоминают славу Суворова, Ермолова, Скобелева».

«Пусть везут свой изюм и урюк на рынки Ирана и Турции, а мы наполним прилавки Урала морковью».

---

<sup>13</sup> Шахназаров Г. Х. (1924 — 2000) — юрист, член-корреспондент РАН (1987), помощник Президента СССР М. С. Горбачева.

Петраков Н. Я. — экономист, академик РАН (1990).

Ермонский А. Н. — журналист, сотрудник аппарата ЦК КПСС, университетский товарищ Дедкова.

<sup>14</sup> Речь идет о XXVIII съезде КПСС.

<sup>15</sup> Черняев А. С. — в то время помощник Президента СССР М. С. Горбачева.

Виктор Кочетков («Наш современник», 1990, № 5):

Россияне, соотчичи,  
 скорее себя вспоминайте.  
 Все победы и беды  
 далеких и близких веков.  
 Есть нам что вспоминать.  
 Мы отечество строили, знаете,  
 больше тысячи лет  
 до пришествия большевиков.

Прочищайте скорее  
 пустословьем забытые души,  
 разувайте смелее глаза.

Это я выписываю в пятницу, 15-го числа, в ожидании опять же то ли укааний, то ли отпущения нашего восвосяи. Здесь все в полном составе — в том же, какой я уже отразил в записках. Есть во всем этом что-то печальное, не-обязательное и вынужденное. Но роль-то надо доигрывать...

Явился Лацис, и в нем я опять заметил то, что обнаружил раньше: довольство, наращиваемое со временем; надутый он стал, важный. <...>

30.12.90.

Кажется, опять пытается лечь снег. Метет. Вчера шли через Красную площадь по мокрой брусчатке, мартовской или апрельской, и я отметил про себя, как бугриста здесь земля: словно она напирает, а камень ее сдерживает. Наверное, маршировать марширующим неудобно, а вот танкам — все равно. Я уже привык и к этому возвращению из столовой через Красную площадь и Александровский сад, как и ко всему прочему, связанному с моей московской службой. Привык как к повинности или как к содержанию играемой роли: это то, что входит в роль, и от чего легко отказаться, если необходимость ее исполнять исчезнет. Не нужно будет, и слава Богу. Лишь в последнее время, а точнее — в последние дни и недели, я подумал о том, что уход мой из журнала на полную свободу выглядит теперь сложнее, даже тяжелее, чем прежде. Это связано с тем, что дальнейшие события в стране трудно предсказать: рост инфляции и цен, вероятно, неизбежен, а переход к военному или полувоенному правлению реальнее, чем когда-либо прежде, отсюда — ощущение нестабильности и полнейшей неуверенности, а в таких условиях гарантированный заработок (зарплата) кое-что значит. Хотя не настолько много значит, чтобы остановить меня, если придется принимать какое-то решение из-за поворота (вынужденного!) политического курса журнала (как следствие общеполитического поворота руководства страны). Не хочется писать о политических событиях и впечатлениях последних дней, они все чаще вызывают какое-то пустое раздражение, то есть, раздражаясь и досадуя, понимаешь, что все это впустую и не стоит того. Много разных людей мы видели на советском верху, но откровенного пошляка (Янаева) нам предложили в начальники впервые. И благодарить приходится Президента. Даже думать об этом персонаже и его покровителе кажется каким-то компромиссом с пошлостью. Великая затея пошлеет на глазах. Или это — возвращение в старую колею. Во всяком случае, последний выдвигенец Горбачева вполне в духе брежневских времен.

Нарастает ощущение, что реформирование страны наталкивается прежде всего на психологически тяжелое состояние общества. В который раз я думаю, что человеческое сознание чрезвычайно податливо ко всякого рода обработке, и результатом такой пропагандистской обработки становится нарушение психического равновесия, разрушение здравого смысла и массовое отклонение от нормы в сторону всякого рода социальных, национальных и прочих безумств. Это такой поворот «логического винтика» (Короленко), что вся резьба летит к черту и вразумление становится невозможным. Разве что кровопролитие способно протрезвить свихнувшиеся умы. Когда Олег Хлевнюк рассказывает о

вычитанном в архивных бумагах (он смотрит сейчас документы 37-го года, партийные и хозяйственные), я думаю о том, что безумие, его приступы, массовое безумие захлестывало страну не один раз: только безумием (основанием могло быть разное: тогда, допустим, и страх, сегодня — злоба, озлобленность, мстительность, ненависть, разбуженные и востребованные в разных целях, и т. п.) можно объяснить тогдашнюю коллективную бесчеловечность, забвение, отказ от здравомыслия, от элементарной человеческой логики. Поразительно, что на недавнем Съезде народных депутатов Союза чуть ли не решающим аргументом во время переоголосования по кандидатуре Янаева стала апелляция к чувству единства перед угрозой раскола. Например, вот что говорил Назарбаев, восходящий казахский лидер, вовсе не входящий в категорию послушных политиков: «Предлагаю продемонстрировать перед лицом всей страны в этот критический период, перед лицом всего мира нашу поддержку Президента» (много лет назад была необходимость продемонстрировать, опять же перед лицом всего мира, мирового пролетариата и мирового империализма, единение вокруг партии, Сталина и т. д.).

3.5.91.

Читаю Солженицына («Март Семнадцатого») и Троцкого («Моя жизнь»). В промежутках — Марка Алданова («Истоки»). Далее — еще Алданов («Самобийство») и воспоминания Милюкова. А когда-то брал в костромской нашей библиотеке «Армагеддон» Алданова, поражаясь, как уцелел, антиленинский, антиреволюционный, открывая собой старый тематический («русские писатели») расклад библиографических карточек в главном каталоге. А еще читал Алданова в Ленинской библиотеке, не в семьдесят ли пятом, когда был на «курсах» литкритиков при Литинституте и заходил почитать что-нибудь эмигрантское, и было уже кое-что возможно: тогда же читал Ремизова «Подстриженными глазами». А к чему вспоминаю все это? Чтобы еще раз подивиться, что сегодняшнее чтение стало возможным и обыденным? За этим? Но и дивиться уже наскучивает: что-то другое встает за этой новизной, более глубокое. И неизменное.

Лучше всего я чувствую это, вспоминая Кострому. Или побывав там, как это было недавно. Но мало побывав и как-то скоро и занято. Вдобавок шли дожди, и посидеть на берегу Волги не удалось. И даже дойти до берега. Но все равно: эти улицы я воспринимал как часть своего всегдашнего, неотъемлемого уже мира, как будто это все то же пространство, где я живу, нет, родное, обжитое пространство, просто не каждый день имеешь возможность туда добраться, дойти, и вот наконец идешь, идешь и добираешься, и встречаешь знакомые лица, и все так, будто и посейчас принадлежишь всему этому, знакомому до мелочей. Правда, все, кого давно не видел, постарели, и, глядя на них, догадываешься о себе. И столько я уже не встречу, а ведь их тени все еще пересекают в моей памяти и эти улицы и скверы, и я их отчетливо вижу. Я не знаю, где блуждают души, оставляя этот мир, и блуждают ли. Но я знаю другое: они остаются в тех, кто их помнит, — тенью, отсветом — словом, всем, с чем мы соприкасались. Как я хочу, чтобы пришел счастливый миг воспоминаний, когда все прояснится и я увижу опять и запишу, — какое должно быть для того состояние и настроение! За окном — все зеленее, и листва — вот хорошо — закроет землю внизу.

25.8.91.

Утром девятнадцатого в Марьино я видел сон, как меня арестовывают по приказу царя, то есть суют какую-то бумагу об аресте, но говорят, что я могу опротестовать. В начале восьмого, едва встав, я включил телевизор. Передавали заявление этого комитета. В первые мгновения, когда до сознания стал доходить смысл произносимого текста, я решил, что это информация о чем-то та-

ком, что было в Прибалтике (комитеты спасения), и где-то кем-то снова затеялось, но тут же как-то разом воссоединились похоронное лицо диктора и сзади его — похоронный фон и главное — зазвучавшая подпись под текстом: Комитет по чрезвычайному положению. И тут же проснувшаяся Тома сразу все поняла, о чем идет речь. Еще через несколько минут, выслушав весь блок сообщений, поняли до конца: чей переворот и какие лица во главе. Настроение было тяжелое. Соседи по столику в столовой — работник ЦК РКП (так мы решили, исходя из его разговоров) и его жена — были бодры, веселы, но сдержанны. А следовало ждать откровенной радости: любимое занятие этой пары, как мы уже усвоили, — ругать Горбачева, даже больше, чем Ельцина и «националистов» из республик. Этот человек (отчества его я не узнал, спрашивать не хотелось, но из книжечки заказов на столике узнал фамилию — Беляков, а из уст его жены имя — Анатолий; по возрасту, пожалуй, чуть помоложе меня, но плотен, налит мясом и силой, как бык) упоминал про свою работу в Кемеровской и Самарской областях секретарем горкома партии, а потом — в Бурятии секретарем обкома партии, может быть, даже и первым. С год назад это семейство перебралось в Москву, и он даже (возможно, депутат) чуть ли не возглавлял комиссию Верховного Совета по делам кавказских репрессированных народов. Так вот из разговоров — довольно громких, они не стеснялись, — следовало, что в победе над Горбачевым они уверены, и глупая жена принималась не однажды толковать, что Г. или уедет за границу, или покончит с собой. Не раз бывало, что, наталкиваясь на наше неприятие, они замолкали.

26.9.91.

Впервые подумал: придется уходить. Не куда-нибудь, а как в 76-м, просто домой. Вариант сохранения нашего журнала, предложенный А. Н., — через утверждение на ноябрьском съезде Движения (за демократические реформы) и перехода в изд-во «Прогресс» с подразумеваемым превращением в ЦО (не зря же предложил включить в редакционный совет Г. Попова и Шеварднадзе) — меня не устраивает. Нынешний «радикализм» А. Н. — при всем моем к нему уважении — кажется мне избыточным и все менее точным в своей обличительной части. Сегодня он говорил Н. Б., что надо решительнее порывать с прошлым, кончать с ним — т. е. начинать новый журнал, а Н. Б.-то уже поддержал мой текст (вступительный к № 14), а там о том, что мы не хотим перелицовываться и отречься от себя. А мне-то куда проще отречься, чем А. Н. Или он не чувствует, что его ответственность за состояние партии такова, что просто так, как пиджак с плеча, ее не скинешь. Все-таки я верно написал, что капитаны покинули корабль первыми, а что это тогда за капитаны?

Я чувствовал, что в А. Н. происходят перемены, но надеялся на тот самый здравый смысл, о котором он так любил напоминать.

Если бы нам удалось сохранить журнал, мы бы постарались вырвать в сторону от политики, предпочтя держать дистанцию от сменяющихся временных распорядителей жизни. Ну а явятся постоянные, то и от них. Но, кажется, порулим мы до конца года, а там — Бог весть.

Иногда не могу понять, что со мной. Присоединиться бы к хору, проклинающему Ленина, революцию, Дзержинского и т. п., — к хору газетному, телевизионному, уличному, — а не могу. Давным-давно — в середине 60-х — я думал про кровь революций и про то, что Россия и без Октября, с одним Февралем многого бы достигла и была бы, стояла бы в мировой иерархии не ниже, чем советское государство. В самый раз бы подключиться к нынешним обличителям, а я вдруг думаю, что тогда все было так же непросто, как сейчас, и более того — во много раз сложнее, и чересчур легко воспринимать Дзержинского палачом и Ленина злодеем, вырывая их из обстоятельств и условий тех далеких дней, из их логики, невнятицы и т. п. Или кто-то из сегодняшних, обвиняющих, отлавливающих, прокурорствующих, гарантирован от втягивания в жестокость, от приспособления к ней? Боже, сколько героев,

знающих, как жить! Боже, где они были вчера? Боже, как неразвито, убого их воображение! Как грубо и бесцеремонно продолжают они худшее из опыта обличаемых своих предшественников!

16.11.91.

Продолжаются славные дни. Позвонил Антипов<sup>16</sup>, вычитал в утренних «Известиях», что наша подписка — 20,9 тыс. (экз.) В процентах мы восстановили, кажется, меньше всех; выходит, мы и хуже всех, даже «Партийной (ныне — Деловой) жизни». Понимаем, конечно, что не хуже, но данные-то объективные, и кто нам теперь поможет? Что-то мы делали не так, и средняя наша линия, иногда обозначаемая как линия «реформаторского крыла партии», во времена поляризации, конфронтации и даже остервенения не принесла нам успеха. Мы напечатали в течение года и Полозкова, и Гуренко, а еще раньше Прокофьева<sup>17</sup>, и, хотя знающие люди нас понимали (все-таки орган Центрального Комитета, и крупным, по должности, отказать трудно), все равно след оставался. Возможно, не случись августовских событий, положение журнала было бы устойчивее, а в новых обстоятельствах одинаково плохо повлияло на подписку и старое название, обостренно воспринимаемое после августа, да и новое, несомненно воспринятое частью подписчиков как измена. Далее обсуждать эту тему не хочется; в конце концов, сами события побуждают меня вернуться к литературным занятиям, чего, собственно, я и хотел, не так ли? Однако Лацис был прав, оставив наш кораблик вовремя, что, впрочем, не делает ему чести. Хотя мне страшно неприятны многие оттенки внутриредакционных отношений (не на них бы тратить душевные силы), но я продолжаю терпеть: чувство долга во мне, кажется, неискоренимо: все-таки меня не зря воспитывали в этой стране, и воспитывали долго.

А дни славные. Чем дальше, тем больше невольно сравниваешь происходящее с семнадцатым и близкими к нему годами. Я даже не характер событий имею в виду, а состояние тогдашних людей. В брежневские времена ощущение беспомощности было, но оно было инерционным, и с ним свыклись: издавна шло. Но вот после 85-го нарастало иное чувство: или просто жизнь пошла желанным, совпадающим с твоим умонастроением курсом, и стало казаться, что и при твоём соучастии тоже, — что-то вроде «наша берет!», или в самом деле личная вовлеченность в события стала больше (выборы, всякие митинги и т. п.). Но сейчас я себя ловлю на знакомом ощущении: та же, еще более возросшая, беспомощность, словно физические силы — не духовные, — затеявшие тяжбу и не брезгующие средствами (хотя бы сам способ расчета с партией — подписание на глазах у Горбачева и миллионов телезрителей Ельциным Указа, обнародование, с оттенком садизма, второго Указа накануне праздников и т. п.), безмерно превосходят мои физические и нравственные силы. Разыгрывается старый, испытанный, российский вариант, освященный традицией: на глазах у нации выходящие из-под контроля начальствующие лица управляют (или пытаются это делать) страной, насаждая повсюду себе подобных и лично преданных. Под разными названиями, но восстанавливается, регенерируется все та же структура и система, пренебрегающая строительством жизни снизу. Все сверху и беспрекословно. Другое дело, что теперь прекословят, и сильно, и не всегда этому радуешься. Все чаще задумываешься о том, что в государственном деле сила необходима, но где возьмутся в нашей стране такие искусники, чтобы знать в ее применении точную меру. Знал ли эту меру Столыпин, применяя силу против революции Пятого года? Или тут секрет в твердом признании того, что является преступлением против государства? Против безопасности его жителей? Во всяком случае, применение госу-

<sup>16</sup> Антипов А. И. — ответственный секретарь журнала «Свободная мысль» в 1991 — 1992 годах.

<sup>17</sup> В то время видные функционеры Российской компартии.



дарственной вооруженной силы должно рассматриваться как наказание за преступление законов, и прежде всего связанное с посягательством на жизнь и дома его граждан, на его жизнеобеспечивающие системы. Еще ярче предстала — уже не теоретически — роль личности в направлении событий; с ролью брежневых и других было проще, теперь же народ сам называл имена и головоуложением подтверждал свой выбор (и я, дурак, тоже!) и вроде бы призвал новых людей. Однако паразитично и выразительно не то, что называют «ошибками», «просчетами» и т. п., а другое — масштаб личностей, вдруг представший в своей реальности, некая обнаружившаяся человеческая мелкость, заурядность, наложившая личный отпечаток на принимаемые решения, личный настолько, что государственная мудрость, которая призвана «светиться» в речах и документах, стала все чаще отступать перед транслируемыми на всю страну качествами личного характера и интеллекта, личными претензиями. Отсюда множество решений, обещаний, заявлений, отменяемых чуть ли не на другое утро, и вообще оттенок мелочности выносимых «на люди» каких-то частных отношений. Несовершенство человека, каждого из нас, несомненно, но государственное — это уже «отсеянное» частное, решительно отодвинутое. Как вспомню про то, как на сессии Моссовета депутаты (чуть ли не с этого начали) таскались с бюстом Ленина (оставить? убрать?), как всплывут в памяти те речи, что воспроизводились в газетах, где элементарное чувство приличия было преступлено, то тоска берет страшная и знакомая беспомощность с нею; почему весь этот вздор непереваренных личных чувств, личной невоспитанности, личных невежественных или поверхностных представлений должен не только обрушиваться на отдельного человека, но влиять на само направление жизни? Или в самом деле демократия не «спелая» и спешит...

25.11.91.

(Бумага из Афин, на ней перепечатывал текст своего выступления по просьбе какой-то англичанки, должно быть, троцкистки (переводчицы); не весь, конечно, а две-три страницы)<sup>18</sup>.

Иногда хочется писать на хорошей белой бумаге. Заходил в редакцию Борис Негорюхин со своей бородой Маркса, без которой он не остановит ничего взгляда. Рассказывал про тяжбы и ссоры костромских писателей. Мишка Базанков, съезжая с квартиры, переходящей к Беляеву, отвинтил даже ручки у дверей. Об этом говорили на собрании. И о тому подобном. От водянки умер Бочарников. Лишь Вася Травкин вышел из СП РСФСР и перешел в союз новый. Я слушал и думал: а если б я остался там, как бы я жил, как бы ходил на эти сборища. Прошло всего четыре года, а перемен бездна, и странное чувство горечи от проходящей жизни, от своего в ней — хотя бы и костромской — неучастия. И одновременно — чувство освобождения или своей переключенности на что-то другое, которое опять же превратилось в несвободу.

Бывает страшно печально: жизнь тащит, тащит и тащит, и хочется никуда не ходить, сидеть на месте, вслушаться в самого себя. <...>

Я знаю, что мне много лет, но почему кажется, что жил мало? И вот с таким чувством — краткости и ясного сознания молодости — люди уходят? Бедные люди, и чем они заняты, и как транжирились, тончает жизнь. Боже, прости мне эти банальности.

26.11.91.

Обремененность души — и жизнь общая повернулась, обернулась каким-то фарсом, обманом, и дни мои заполнены чем-то все-таки ненастоящим.

<sup>18</sup> В Афинах в 1990 году состоялся Международный симпозиум «XX век и права наций на самоопределение». Дедков участвовал в том симпозиуме.

А на дворе тепло, снег легкий выпадал, но растаял, к вечеру туман, то ли весна? — наверное, перед снегом...

Бывают счастливые мгновения — неожиданные, на ходу, в метро, в толпе, в троллейбусе, прижатый к задним стеклам, — когда отвлекаешься от всего, уходишь в «глубину» и чувствуешь себя человеком, и все прожитое близко, и что-то всплывает, откликаясь на запахи, блеск трамвайных рельсов, сумрак переулков и т. д.

Я не могу всерьез воспринимать митинги и новые президиумы, когда там знакомые чересчур лица революционеров — Оскоцкий, Нуйкин, — прости меня, Господи, они же мои друзья и вроде единомышленники. Но что-то тут не так...

13.12.91.

Политическое колесо буксует — летит грязь в наши лица. Они хотят, чтобы огромная часть народа вывернулась наизнанку. Жили так — теперь живите, как мы решили.

Кругом — марш!

Иногда так отвратительно — понимаешь, почему уходят люди. На *таких* условиях — не хотят жить.

14.12.91.

Тома вернулась из Костромы. Встречал в метро на пустынном раннем перроне. Настроение тяжелое от новой заведенности — службы, политической тупикивости, от бестолочи и чуши. Опять все оборачивается обманом.

Ты погляди, какая в мире чушь...

15.12.91, нет, уже пошло 16-е.

Начал писать, то ли для себя, то ли думая о журнале, диалог А и Б, сидящих на трубе, о свободе, но кажется, эти А и Б мне помешают, т. к. в конце возникнет вопрос: кто остался на трубе, или придется упомянуть И, который «работал в КГБ». Но шутка шуткой, а без писания, убиваемого ежедневной службой, жизнь уныла и теряет смысл, выходящий за пределы дома<sup>19</sup>.

О политике, о новом абсурде писать не хочется. Кажется, все иллюзии рушатся безвозвратно. Побеждает сила, которую невозможно приветствовать.

27.12.91.

Уже «отставленный» и покинутый, М. С. вчера позвонил Н. Б. (сначала Н. Б. звонил и не застал) и, выслушав прочувствованные слова, сказал: «Что это у тебя такой похоронный тон?» И дал понять, что он еще собирается действовать, и даже попросил то ли сбересть «ребят» (в редакции), то ли удержать, давая понять, что по-прежнему рассчитывает на поддержку журнала.

А предновогоднее это время — смутнейшее. Я все — про смуту и смуту, а что поделаешь — точнее слова нет.

Вот занесло поистине в глубокую колею, и как выбраться? В такие-то времена, когда выработать «прожиточный минимум» литературным трудом (свободным) без службы, кажется, невозможно...

Конечно, нужда заставит — и службу бросишь и как-то спасешься, но ведь я не один.

*(Продолжение следует.)*

<sup>19</sup> Дедков Игорь. На дороге. Умонастроения. — «Свободная мысль», 1992, № 4.

ВАЛЕРИЙ СЕНДЕРОВ



## СОЛИДАРИЗМ — ТРЕТИЙ ПУТЬ ЕВРОПЫ?

**Т**ермин «солидаризм» возник в конце XIX века во Франции. В русский оборот его ввел Георгий Гинс — петербургский юрист, министр колчаковского правительства, профессор университетов Харбина и Беркли.

В последние два-три века Европа не страдала от нехватки спасительных социальных теорий. Можно даже сказать, пользуясь языком одной из них, что века эти прошли под знаменем «измов». На первый взгляд различные, «измы» совпадали в главном признаке: они выделяли в обществе вредные, паразитические слои, мешающие народному счастью. Вначале это были дворяне и священники. Но жажда добра и прогресса росла, и число врагов гармонии соответственно увеличивалось: к ним присоединили иных эксплуататоров, буржуев. Следующий «изм» переименовал буржуев в плутократов и открыл главный подвид зловредной породы, им оказались евреи. Врагов надлежало истребить — разумеется, под корень и, разумеется, с запасом: со всеми сочувствующими, помощниками и т. д.

Что противостояло победоносному шествию всемогущих и верных учений? Ничего; во всяком случае, в идейном плане. Защита традиционных ценностей сама по себе редко бывает для человека вдохновляющей идеей. Да и носители этих ценностей — что учреждения, что люди — к моменту великих революций бывают не в лучшей форме. В этом и причина мифа о «великих и бескровных»: обычно первые месяцы их разбою сопутствует общественный паралич. Что защищать, за что сражаться? Чтобы все было как прежде? Это уж потом, над вконец загаженным пепелищем, «встает былое светлым раем, словно детство в солнечной пыли»...

В этой ситуации первые солидаристы выдвинули несложные и довольно очевидные аргументы, попытавшись революционизму противостоять. «Да, в мире есть противоречия: между различными народами, общественными группами и т. п. Но есть и общность интересов и путей, она гораздо важнее. Общность народов, живущих вместе или рядом; работников и хозяев одного предприятия. И надо постараться понять: солидарность — основа всякого развития. И если мы поймем это, жизнь на земле станет более терпимой и сносной. Солидаризм обеспечит народам стабильное бытие, неуклонный прогресс».

Терпимая, сносная жизнь... Только-то? Умеренные, «скучные» призывы не запечатлеваются в исторической памяти — и неудивительно, что за пределами круга специалистов мало кто сегодня о солидаризме помнит. Но дело не в популярности и не в моде. Посмотрим на солидаризм по существу. Он призывает к единению ради равновесия и процветания, а не во имя очередных глобальных утопий. Могут ли подобные призывы как-либо повлиять на ход истории? Или они обречены осесть в выступлениях и книгах, самое большее — в программах небольших респектабельных партий?

---

Сендеров Валерий Анатольевич — математик, публицист, педагог. Родился в 1945 году. В 1970 году окончил Московский физико-технический институт. Автор нескольких десятков статей по функциональному анализу. В 1982 году подвергся политической репрессии и провел в заключении пять лет. Выступает со статьями по культурфилософии, истории и современному состоянию общественного сознания. Постоянный автор «Нового мира», журнала «Посев».

Во Франции солидаристы пришли к власти в конце XIX века, солидаризм считался официальной идеологией Третьей республики. Лишь в тридцатые годы XX столетия солидаризм ушел с французской политической арены, удалившись в тишь кабинетов профессоров, учеников Эмиля Дюркгейма, далеких от практической политики. Наступала новая эпоха, и в резко поляризованном мире примирителям-солидаристам места уже не нашлось. Но не в эту последующую эпоху, а именно в начале века были заложены основы нынешнего французского благосостояния. Значительное влияние солидаризма на Англию также относится к концу XIX века, здесь оно было не политическим, а юридическим. Современное английское право сформировано не только либерально-индивидуалистическим мышлением, как часто принято думать. Следствием крайне индивидуалистического подхода можно, по-видимому, считать жизнь Британии в позапрошлом веке. Она, конечно, протекала в правовых рамках, — но трудно представить себе в XX веке европейскую страну с каторжным трудом пятилетних детей и виселицами для бродяг. А кардинальное изменение юридического мышления в Великобритании — прямое следствие влияния правовых идей солидаризма.

Перейдем теперь к Германии, к Австрии — к «немецкому экономическому чуду»: началось оно не с экономики как таковой, а с послевоенного общественно-хозяйственного устройства этих стран. Социальное рыночное хозяйство полностью сформировано солидаризмом, но уже не секулярным, как во Франции, а католическим, опирающимся на папские энциклики «*Quadragesimo anno*» и «*Mater et magistra*».

Некоторые истины очевидны уже на уровне терминов: вряд ли кто-нибудь употребит «немецкое» словосочетание «социальное рыночное хозяйство», говоря, допустим, о США. Интуитивно ясно, что речь идет о каком-то ином устройстве жизни. Пути к свободе и процветанию могут быть существенно разными. Чтобы понять это, даже нет нужды особенно углубляться в тему. Почему же так заплевано в нашем сознании словосочетание «третий путь», почему так безнадежно плоски споры? Как часто от сегодняшней дикой стигии, отождествляемой со свободой, шарахается публицистическая мысль к отождествляемому с регулированием рынка советскому «порядку». А потом обратно — в ответной полемике...

Но вернемся к немецкому солидаризму: он сумел развиваться, реализоваться как в теории, так и практически. И поэтому на его примере ясны многие общие, внациональные черты направления, в частности, его антииндивидуализм: не очень заметный в век рождения солидаризма, он решительно заявил о себе в середине XX века.

«Обе известнейшие системы — индивидуализм и коллективизм — односторонне исходят либо из отдельной личности (индивидуализм), либо из общества (коллективизм).

Для индивидуализма отдельный человек (индивид) — это все, в то время как общество — лишь нечто, чем этот индивид пользуется, причем в той мере, в какой он ожидает от него пользы для себя. По сути дела, индивидуализм вообще не признает никакой общности, но лишь взаимоотношения, которые, подобно шнурам, проходят от одного индивида к другому и за которые он может потянуть, когда ему понадобится что-либо от другого индивида.

Для коллективизма, наоборот, общество — это все, а отдельные люди — лишь шестеренки в огромном механизме, не имеющие сами по себе никакого значения, винтики, которые можно заменять, если они плохо работают. И в этом представлении, по сути дела, подлинная общность подменена неким левиафаном, который называется „обществом“, „народом“ или как-либо иначе.

Так писал Освальд фон Нелль-Брейнинг, один из отцов немецкого экономического чуда<sup>1</sup>. Эволюция солидаризма в сторону таких взглядов понятна: на

<sup>1</sup> Нелль-Брейнинг О. фон. Построение общества. Перевод с немецкого Р. Н. Редлиха. Сидней, «Посев», 1987.

бесчеловечность классово-расовых «солидарностей» мир ответил индивидуалистическим отрицанием солидарности как таковой. Разве любые слова о сообществе, о единении, об общем благе не воспринимаются многими — в частности, и в нашей стране — как пережитки тоталитарного мышления? Однако распад общества не лучше, чем «цементирование» его. Поначалу распад апеллирует к неограниченной личной свободе, и после пережитого XX веком апелляция эта выглядит соблазнительно. Но свобода, отказавшаяся от направленности вверх, быстро теряет цену — в том числе и в глазах ее носителей. Свобода «делать что хочешь» — не источник силы, и при первой же угрозе не находится охотников ее защищать: выбор между *такой* свободой и безопасностью люди безоговорочно делают в пользу последней. И вскоре общества, отвергшие христианскую солидарность, оказываются в шаге от нового «цементирования»...

Но о «двух путях к одному обрыву» и без нас сказано немало; здесь же речь идет о том узком пути, который, быть может, способен увести от пропасти.

Отвергая засилье индивидуализма или коллективизма, сторонники этого пути не отвергают ни одного из этих понятий по существу — они за гармонию, за равновесие их. Что часто и служит основанием для упреков в эклектичности, отсутствии в солидаризме принципиальной новизны.

«Дорога не есть лишь середина между двумя канавами и еще меньше — смесь из двух окаймляющих ее по сторонам кюветов; у нее есть собственный профиль и собственное основание (пакелаж и т. д.), и покрытие дороги не сводится к выемке между двумя кюветами... Для водителя автомобиля не обиден тот факт, что он ведет свою машину по дорожной насыпи, посередине между двумя канавами», — так не без иронии отвечивал на эти упреки Нелль-Брейнинг. Но к немецкому солидаризму мы еще вернемся позже; обратимся (пока в рамках первоначального краткого обзора) к истории солидаризма на российской почве.

Основы солидаристского мышления были заложены в России в XIX веке, приблизительно в одно время со странами Европы. Скончавшийся в 1904 году русский юрист Николай Коркунов был предшественником Леона Дюги в стремлении создать солидаристское учение о праве. В 1912 году в «Юридическом вестнике» появились статьи, популяризирующие основные труды Н. М. Коркунова, они давали новую теорию государства и права. Статьи получили тогда широкую известность, они показали обществу, в юридическом ракурсе, весь комплекс проблем солидаризма. А в это же время вышли и знаменитые «Вехи», в них проблема свободного служения, свободы и ответственности прозвучала в полную силу...

Многое родилось в России на рубеже минувших веков; но развиваться рожденному было суждено не в обществе, а лишь в умах и душах. И не на родине — лишь в эмигрантской России... Впрочем, если у нас и нет ничего, кроме «литературы», то ведь и это — показатель несомненный: могла ли *такая* литература возникнуть по чистой случайности? Об этом говорил еще Достоевский. Применительно к солидаризму: Н. Лосский, С. Франк, И. Ильин, С. Левицкий — может ли быть случайным *такой* философский ряд? Восходят же идеи этих мыслителей к А. С. Хомякову, И. В. Киреевскому, а особенно ясно — к Владимиру Соловьеву, к его учению о том, что вещи не могут существовать отдельно от «всего», а только со всем и во всем, об осуществляемых через Абсолют внутренних связях мира.

Идеи русского солидаризма охватили весьма широкий мыслительный спектр. Учение Н. О. Лосского касается главным образом теории познания, философ развивает основанные на «всеобщей имманентности» представления об интуиции. По Лосскому, элементы субстанции «частично единосущны: все они, как носители тождественных формальных принципов своей деятельности, сращены в одно целое. Потому они так интимно связаны друг с другом, что состояние каждого из них существует не только для него, но бессознательно существует и для всех других...». Дополняя построения Лосского,

С. Франк естественно приходит к общественным связям. Он объясняет возможность интуиции тем, что каждый субстанциональный элемент укоренен в Абсолюте и потому до всякого нашего познания его он уже находится с нами в непосредственном контакте — он соединен с нами не сознанием, но через само наше существо. Фундаментальный труд Франка «Духовные основы общества» — как бы мост, связующее звено между абстрактными философскими умозаключениями и практическим солидаризмом.

Следующей «линией спектра» были политические программы Народно-Трудового Союза: борьба НТС с коммунизмом вдохновлялась не только неприятием его, но и позитивным видением будущей России. Это видение стало солидаристским, базируясь на многом: от русской религиозной философии и творчества католических мыслителей Запада до наблюдений за тенденциями и жизнью пред- и послевоенной Европы.

Материалов по солидаризму, как видим, немало; но все-таки говорить о нем непросто. Для иллюстрации возникающих трудностей проведем мысленный эксперимент: представим себе аудиторию, которой ничего не известно о социализме, — как мы стали бы рассказывать ей о нем? Ответ, думается, прост: краткий рассказ мы начали бы с «предтеч», со всяческих Фурье и Сен-Симонов, благо они толпятся у истоков позапрошлого века. А потом — через Маркса — Энгельса — Ленина — перешли бы к реализации их проектов; вот и весь рассказ. В нем нет особых нюансов: реализация утопии в разных исторических условиях была в общих чертах одинаковой. Да и вообще вторая часть нашего повествования мало отличалась бы от первой: что намечтали, то и получили. Порой реальность была кровавей и грязней фантазий, чаще же наоборот: жизнь неплохо корректирует бумажные бредни, как это случилось в катедер-социализме, лейборизме и т. п.

Можно ли по этой нехитрой схеме рассказать о солидаризме? В принципе, можно: к настоящему времени имеется уже немало фундаментальных его обоснований — теологических, экономических, философских. Но написаны эти труды в основном не ранее 30-х годов прошлого века. К этому времени, напомним, солидаризм сформировал уже экономические и общественные отношения одной великой европейской страны, Франции, и правовые принципы другой, Великобритании. Развитие солидаризма было как бы «антиутопическим» — как и сама его суть. Импульсы к его появлению были, если разобраться, в различных странах одни и те же. Но появлялся он по-разному, отвечая на конкретные насущные потребности этих стран. И представляется, что было бы неверным, рассказывая о солидаризме, «выпрямлять» историю, подгонять ее под удобную логическую схему. Суть солидаризма не в словах, и для его понимания историческая последовательность важнее формальной.

Основателем французского солидаризма стал публицист Пьер Леру (1797 — 1871). Парадоксально, но именно он ввел в широкий оборот термин... *социализм* — для учения, основанного на идеях общечеловеческой солидарности. Термин сразу вошел в моду, он был тут же подхвачен Оуэном, Прудоном, Марксом. И еще долгие годы под крышей «социализма» революционные учения мирно уживались с реформаторскими. До 1848-го...

В 1851 году между реформаторами и революционерами зияла уже непроходимая пропасть: Леру и его учеников, оказавшихся в эмиграции, социалисты решительно не признали своими. Леру проповедовал социальный строй, основанный на науке, проведенный в жизнь по возможности без политических потрясений, верил в силу идеи справедливости. Странники «большой церкви революции» обзывали его в эмигрантских изданиях «энтузиастом, иллюминатом и болтуном», предупреждали всех «честных революционеров» против «поэтов и прочих пустоголовых, которые отстали от нашего времени».

Время благих слов для социалистов прошло, вместе с авторами «Коммунистического манифеста» клеймили они филантропию и братство. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — ставка на классовую борьбу была сделана окончательно. Началась травля Леру и его друзей: их лишили всякой возможности

заработка, и Леру пришлось покинуть Лондон. Но ни на какие компромиссы с революционерами солидаристы не пошли.

«Марксисты и классические экономисты, хотя и стояли на противоположных, казалось бы, полюсах мышления, были все же соседями по их общей привычке не видеть ничего, кроме игры интересов, считать эгоизм главной движущей силой человеческих действий... Научный социализм был шагом назад по отношению к утопическому социализму. Человеческая воля опять исчезла перед будто бы неумолимым и неотразимым авторитетом фактов. Ни справедливость, ни равенство, ни идея человечества не могли больше играть роли. Никакой моральный фактор не мог озарить эту „непобедимую” доминацию», — так характеризует ситуацию, сложившуюся к 1852 году, историк солидаризма Моранж.

В 1854 году возникает новая школа французского солидаризма — школа Шарля Ренувье. Истерзанная Франция все внимательнее прислушивается к голосу примирителей: время работало на «поэтов, болтунов и пустоголовых». Конец XIX века во Франции связан с именем Леона Буржуа — юриста по образованию, автора многочисленных работ по вопросам права, социологии и экономики. Л. Буржуа был в правительстве министром народного просвещения, юстиции и иностранных дел, в 1895 году он стал председателем Совета министров Франции.

«Справедливость не реализуется в обществе, члены которого не признают себя его должниками. Ни один результат интеллектуальной, моральной или физической деятельности человека не может быть достигнут собственными его силами, его собственной персоной... Человек, живущий в обществе и не могущий жить без него, является должником по отношению к нему... Все знания, которыми я обладаю, — результат огромной работы, произведенной в течение веков; язык, на котором я говорю, выработан бесчисленными поколениями людей... Ни один акт производства невозможен без орудий производства, которые кто-то изобрел, и т. д. Я всем этим пользуюсь; как могу я заявить себя независимым от общества, которому я должен?»

Ввиду всего этого я фактически, вольно или невольно, принял на себя долг, который я не имею права отвергнуть, не ставши несостоятельным должником... Обязательства по отношению к другим людям не являются результатом произвольного решения; они попросту оплата тех преимуществ, которые общество предоставляет своим членам».

Так излагает Леон Буржуа свою теорию социального контракта, одну из основных теорий французского солидаризма. На подобных основах и сформировалась Франция XX века — как видим, и от социализма, и от классического либерализма основы эти равно далеки.

Пока Франция захлебывалась в конвульсиях, жизнь Великобритании текла в упорядоченном русле: о единственной в своей истории революции англичане к началу XIX века давно успели забыть. Эволюционность английского пути выглядит подчас хрестоматийной: Хартия вольностей, газон, который подстригали веками... Был, однако, в новейшей истории Британии и качественный скачок. Произошел он в малозаметной внешнему взору правовой области. Но чтобы оценить его масштабы, вспомним, чем была Англия позапрошлого века.

Не только в России в начале того века существовали антиправительственные кружки: приблизительно в одно время с декабристами большая группа молодых людей была арестована в Англии. Как и их петербургские «коллеги», они принадлежали к высшему свету; и занимались они примерно тем же: разговаривали. С той, однако, разницей, что нижних чинов британские аристократы к делу не привлекали. Да и вообще планы их были умереннее. Молодые люди были арестованы, судимы и казнены — все. Но не через повешение: способы казни в Англии позапрошлого века ничем еще не отличались от описанных Стефаном Цвейгом в «Марии Стюарт». Каждого преступника убивали долго, несколько дней; и описание способов убийства наверняка лишило бы сна как Николая Павловича, так и последнего из его подданных. Профили

казненных не украсили обложку оппозиционного журнала: если бы у Англии нашелся свой Герцен, окончил бы он жизнь не в изгнании... В Англии никогда не было внепарламентской оппозиции — только ли вследствие совершенно демократического устройства этой страны?

Но может, средневековые «наказания» были исключительны и применялись только к потрясателям основ?

Еще в середине XIX века на британском флоте действовала дисциплинарная мера с выразительным названием «килевание»: провинившегося матроса протаскивали под килем судна; если жертве везло, то она умирала почти сразу. Судебного приговора этот аналог колесования не требовал: применялся он по приказу офицера, порой за незначительные проступки. (Впрочем, законы были жестоки повсюду: в России прогоняли сквозь строй, случалось — до смерти. Но ощущения *нравственной* справедливости происходящего у наказателей не было: еще Аракчеев *оправдывался* за такие случаи перед Царем.)

На этом фоне данные об условиях труда выглядят даже и невыразительно. Тысячи детей работали по шестнадцать часов в день, на ночную смену их запирали в цехе, где они иногда погибали во время пожаров. Некоторых не выпускали из рудников, и они слепли, как рудничные лошади. Избиения фабричных детей один из исследователей, Джемс Майлс, сравнивал с наказаниями черных рабов в штате Каролина — подчеркивая вегетарианский, на английском фоне, характер последних...

Но дело не только в жестокости наказаний: путем простого смягчения нравов переход от подобной правовой системы к нынешней осуществиться *принципиально* не мог. Сегодняшняя англосаксонская система базируется не только на строгом исполнении закона, в нее заложены, под названием прав человека, общехристианские нравственные принципы. Причем в спорных, нестандартных ситуациях эти принципы приоритетны: например, американский солдат имеет право не выполнять приказы, противоречащие его представлениям о человеческих правах.

Однако вплоть до начала XX века и право, и экономика Англии базировались на принципах противоположных. «Бессмысленно писать гражданские законы, противоречащие законам природы», — говорил сэр В. Петти, один из первых либеральных экономистов. Коллеги его повторяли эту же мысль, уверяя, что следование естественным законам — счастье для человечества. А если это так, то должна существовать полная свобода хозяйствования и конкуренции: если жизнь рабочих тяжела, то при «искусственном» вмешательстве в естественное течение хозяйственной жизни все станет еще хуже. Иначе говоря, из экономических закономерностей выводились, так хорошо знакомым нам образом, незыблемые законы всей жизни и ее правового оформления.

Под этим углом зрения любопытно взглянуть на дискуссию, развернувшуюся уже в конце XIX века вокруг идей вышеупомянутого французского ученого Леона Дюги. «Мир права, — писал Дюги, — не есть замкнутый в себе мир, как стараются показать нам некоторые юристы, идеальный мир, далекий от реальности; на самом деле это — мир конкретных фактов, которые должны быть объяснены и классифицированы, мир человеческих волей, которые должны быть поняты в их конкретных проявлениях: необходимо определить и оценить социальный эффект, который эти воли производят...»

«Далеким от реальности миром» Дюги называл обе господствовавшие системы права — как частного, так и публичного. Он противопоставил им систему *объективного права* — основанную, по его представлениям, на общественных связях, действительно существующих в окружающем мире. Основной такой связью ученый считал солидарность, учение о ней разработано им весьма подробно.

В своих книгах Дюги писал о том, как на основании принципов объективного права следует приступать к законодательству, которое обеспечило бы развитие человека и общества, содействовало бы солидаризации людей и наказывало за нарушение солидарности. Объективное право стоит выше законода-



тельных палат; закон делается таковым лишь тогда, когда он соответствует принципам солидаризма, в противном случае он только узаконенное бесправие.

Перед нами попытка положить в основу юридической жизни солидаристские принципы — общечеловеческие, как назвали бы их сегодня. И попытки такие не были поначалу поняты, более того, они вызывали гневную отповедь в англосаксонском юридическом мире. Как можно утверждать, писали оппоненты, что государственная власть не суверенна, а подчинена некоему высшему закону? Не является ли государство, издающее законы, верховной инстанцией? Далее, сомнительно, чтобы законы делались таковыми не потому, что так решил соответствующий парламент, а в силу того, что они — проявление объективного права. Право есть то, что соответствует закону, а не наоборот. Нет такого адресата, к которому можно было бы апеллировать на решения суверенной власти, а если это и возможно, то лишь в революционном порядке.

Такова была суть возражений. Но «в революционном порядке» или нет, а брешь в традиционалистском мышлении была пробита. Общие принципы, о которых писали Дюги, М. Ориу, Томас Хилл Грин, вскоре стали базой англосаксонской правовой системы. Правда, теперь они уже не назывались солидаристскими. Да и сам юридический солидаризм в качестве отдельного направления перестал существовать, он сделался органической частью европейского юридического мышления как такового.

Так бывало почти всегда. Сыграв свою роль, выполнив поставленные перед собой задачи, солидаризм отступал в тень других систем и школ: его самостоятельное бытие начинало казаться сомнительным, ненужным. И лишь однажды в своей полуторавековой истории он оказался скорее лозунгом, чем практическим рецептом. Это произошло в 20 — 30-е годы XX века. Либеральные демократии казались обреченными: Франция бурно социализировалась, Германия колебалась, в красную или в коричневую пропасть ей рухнуть. Ряды симпатизантов Советам множилось, а не принимавшие тоталитаризм люди оказывались перед невеселой альтернативой. Что будет дальше? Демократия не мешает жить, но сама она нежизнеспособна; зато Советский Союз демонстрирует леденящую жизнеспособность и мощь. Время *человека без государства* необратимо кончалось. А *государство без человека* пленяло лишь мечтателей, остальным и тогда была очевидна его суть.

В этих условиях европейская мысль, как зарубежная, так и русская эмигрантская, обратилась к рекомендациям солидаристским. Роль государства предполагалось усилить, но позаботиться о том, чтобы «ночной сторож» не превратился в «левиафана». Демократию — сохранить, значительно изменив, однако, ее методы и формы. Многопартийность с ее коррупцией и хаосом казалась способом не столько бытия демократии, сколько ликвидации ее. Место многопартийности, по мысли многих солидаристов, должна была занять беспартийная демократия с прямой выборностью наиболее достойных: писались программы, разрабатывались всевозможные проекты «беспартийных парламентов». Далее, кто должен править: бесформенная народная масса, способная при случае проголосовать за кого угодно? Или бесконтрольная, самоназначенная псевдоэлита советского образца? Ответ казался ясным: ни то и ни другое, в каждом народе есть способный выразить его волю потенциальный «правлящий слой», жертвенный и ответственный. Перемены должны были коснуться и экономики: место стихии должно было занять направляемое (но не управляемое) государством, регулируемое (но не планируемое) им рыночное хозяйство.

Заметим, забегая несколько вперед, что почти все эти предложения реализованы в разное время и в различной форме и степени в ведущих европейских странах и в США. Роль государства во многих из них давно уже перехлестнула умеренный солидаристский порог; у власти находится тонкий сравнительно с общей массой населения слой конкурирующих между собой профессионалов. Влияние государства на экономику в разных странах различно, но как таковое оно не отрицается даже в ультралиберальных США, и в критические

периоды оно резко возрастает. Утопической оказалась лишь идея беспартийного развития, быть может, вследствие простоты и привычности традиционной модели. Но пороки этой модели по-прежнему вопиют, и не случайно проекты прямой выборности снизу доверху исходят и от таких людей, как А. И. Солженицын.

Иной вопрос, что солидаристские периоды в западных странах оказывались недолгими, и панацеей от соблазнов, прежде всего социалистических («с человеческим лицом»), солидаризм не становился: точка равновесия между свободой и силой, обществом и государством в ряде европейских стран давно пройдена, и стрелка, кажется, двинулась в сторону все большей зарегулированности... Но, во всяком случае, способность к самокоррекции демократический мир проявил. Однако предвидеть это семьдесят лет назад вряд ли было возможно, и в те годы взоры многих обратились к Италии. Одним из интеллектуальных лидеров европейского солидаризма был В. Парето, последователь О. Конта, Э. Дюркгейма, Л. Дюги. Сегодня Парето известен в основном как создатель корпоративной теории общества, но специалисты знают его и как автора первых математических моделей общественных и экономических процессов. Корпоративная теория сулила социальную гармонию — в противовес как большевизации, так и упадку. И казалось, все в Италии благоприятствовало ей: идеи Парето взял на вооружение молодой итальянский фашизм.

Не только солидаристы смотрели в те годы на Муссолини с симпатией и надеждой. О. Чемберлен отзывался о нем как о «замечательном человеке... работающем не покладая рук для величия своей страны». У. Черчилль, побывав в Риме, заявил, что «если бы он был итальянцем, то не снимал бы с себя фашистской черной рубашки». Ллойд Джордж публично соглашался с Черчиллем в том, что корпоративная система «является весьма многообещающей концепцией».

Среди высказываний тех лет нетрудно найти и восхваления Гитлера, а нежная любовь к Троцкому или Мао и поныне не считается позором. Но Гитлера и Сталина боялись и дифирамбами им пытались успокоить, загнипотизировать самих себя. Муссолини же ни у кого страха не вызывал, причины симпатии к нему были иными. Расовые пристрастия поначалу не играли в итальянском фашизме роли. Нетерпимый к политическим противникам, режим Муссолини был в то же время относительно мягок, его репрессии и сравнить было нельзя ни с ленинско-сталинским адом, ни с многообещающими первыми опытами Рейха. Более того — Муссолини еще в 1934 году отзывался о Гитлере как о «чрезвычайно опасном идиоте», называл национал-социализм пародийной, скотской имитацией фашизма. Но самое главное — основой корпоративного государства провозглашалась солидарность. Социальная гармония казалась достижимой — эволюционным путем, без революционной ломки государства и общества, без насильственного перераспределения собственности.

Однако надежды оказались тщетными, а родство фашизма с солидаризмом — иллюзорным. Чтобы понять, почему Муссолини принимал поначалу идеи Парето, надо учесть, что у итальянского фашизма не было ни своего «Коммунистического манифеста», ни «Майн Кампф»: он вынашивался и рождался стихийно, собственная идеология у него долгое время отсутствовала. А когда она появилась, ею сделался вульгарный этатизм. И это закономерно привело фашизм к союзу со «скотской пародией» на него, к соучастию в преступлениях нацизма. Несостоявшиеся солидаристы поклонились Левиафану, и это стало крушением надежд на гармонию и мир, хотя корпоративизм как лозунг продолжал сохраняться.

Так закончился итальянский эпизод солидаризма, по сути, даже и не начавшись. Но именно он и служит единственной мишенью левых критиков центристской доктрины. Логика понятна: к обычному безграмотному отождествлению нацизма и фашизма добавляется еще одна подстановка, совмещающая фашизм и солидаризм, а отсюда — один шаг до отождествления солидаризма с гитлеровщиной. И этой демагогией возражения как бы на корню сняты...

Во всем этом есть одно нечаянное совпадение с исторической истиной, которое сами критики как раз и отрицают: именно в Германии солидаризм явил себя наиболее ярко. Но произошло это уже после крушения нацизма, в 50-е годы. Для восстановления разрушенной страны нужно было прежде всего целостное мировоззрение. То есть единая идея — это в благополучные времена ее роль и значение принято отрицать: когда жизнь течет мирно и сытно, тогда «мировоззрение свободы подменяется свободой от мировоззрения» (С. Левицкий).

Мог ли либерализм сделаться «мировоззрением свободы» только что освобожденного от национал-социализма народа? Мог бы, при соблюдении нескольких условий. Если бы территорией Германии были бескрайние необжитые прерии; если бы их осваивали одиночки, сознательно, по своей воле недавно переселившиеся сюда... Если бы эти одиночки, с крепкими характерами и нервами, не образовывали еще пока единого народа; и если бы они были не католиками, не лютеранами, а принадлежали к радикально индивидуалистическим религиозным группам.

Последнее — основное. Теоретики немецкого солидаризма пишут о географических, экономических, правовых его корнях. Но главное, подчеркивают они, лежит в религиозной глубине: «принцип солидарности действует сначала в бытии и лишь затем выводится в долженствование».

«И если Бог нашел, что нехорошо человеку (мужу) быть одному, и решил „сотворить ему помощника, соответственного ему“ (Быт. 2: 18), то решил Он так потому, что с самого начала человек был создан так, что не мог жить один и сам по себе, но был предназначен к тому, чтобы пользоваться помощью и оказывать помощь. Так, мужчина и женщина по замыслу Творца уже по физическим свойствам рассчитаны друг на друга, на взаимную поддержку и на совместную деятельность во всем, что составляет содержание и задачу человеческой жизни на Земле... По своей духовной природе человек в еще большей степени, чем по природе физической, приурочен к жизни в обществе. Дух — как верно говорится — загорается только от духа... Прекраснейшие и благороднейшие способности, дарованные Богом человеку как духовно-телесному существу, раскрываются только в общении... Бог одарил человека множеством способностей, дарований, позволяющих ему воплощать духовные, нравственные, религиозные и иные культурные ценности, мыслимые и действительные только в общении будь то людей, будь то — когда Богу угодно — людей и Бога, но лишённые содержания и смысла для замкнутого в себе единичного существа...»

Так пишут теоретики немецкого солидаризма Генрих Пеш и Освальд фон Нелль-Брейнинг, излагающий в ряде своих книг концепции многотомных трудов Пеша<sup>2</sup>.

Перед нами «срединный» подход к проблемам личности и общества. Этот подход почти незнаком в нашей стране, обычно мы мечемся между двумя полюсами. «Бог сотворил людей равными и свободными», — начертано на одном из них. И за безусловной справедливостью деклараций, подобных джефферсоновской, забывается недостаточность их: в радикально-протестантском мировоззрении человеческая общность не имеет божественной санкции. А на другом полюсе — оскопленная «соборность»: отвечающая за спасение всего живого личность изгнана из нее.

Теоретики солидаризма не ограничиваются, разумеется, созданием религиозно-философской базы концепции: рассуждения в их книгах доведены до практических рекомендаций. Так, важную роль играет у них так называемый «принцип субсидиарности» — принцип оптимальной поддержки.

<sup>2</sup> Pesch Heinrich. Liberalismus, Socialismus und die christliche Gesellschaftsordnung. 1 Bd., 1896; 2 Bd. 1901. Его же, Lehrbuchs der Nationalökonomie. 5 Bd. 1903 — 1925.

«Общество должно оказывать своему члену активную поддержку в том, чего он не может совершить самостоятельно, своими собственными силами; и, напротив, оно не должно снимать с него трудов, с которыми он может справиться сам, так как этим оно лишает его возможности в результате собственных усилий приобрести умение и опыт и стать совершеннее, чем до сих пор; это было бы для него не оптимальной поддержкой, а скорее вредом и помехой... Если отдельный человек или самостоятельная ассоциация могут собственными силами управиться со своими задачами, то охватывающее их общество не должно вмешиваться в их деятельность, навязывая им свою помощь, потому что такая помощь будет не оптимальной поддержкой, а ненужной опекой: умалением их самостоятельности. Если же отдельный человек или самостоятельная ассоциация, предоставленная самой себе, не в состоянии справиться с превышающей их силы задачей и вынуждены искать опоры в охватывающем их обществе, то общество обязано оказывать им необходимую поддержку, которая в этом случае будет проявлением подлинной солидарности».

Вдумаемся в эти кажущиеся на первый взгляд самоочевидными тезисы. Они обязывают общество и государство (трактуемое в солидаризме как *одна из общественных структур*<sup>3</sup>) к многосторонней поддержке нуждающихся; с другой стороны, благотворительности ставятся жесткие пределы, за которыми она уже вредна. Так страна ограждается от социалистических и либеральных крайностей, а политика поддержки государством людей и объединений теряет зыбкий интуитивный характер, приобретает ясную логическую базу. И конечно, все это предполагает сильные, хорошо структурированные общество и государство.

Принцип субсидиарности сыграл важную роль при выработке налогового законодательства ФРГ: согласно этому принципу, государство не должно увеличивать налоговое обложение до такой степени, чтобы у людей оставалось очень мало или совсем не оставалось свободных денег для поддержки благотворительных ассоциаций: присваивать функции, с которыми общество способно справиться на негосударственном уровне, государство, даже и с наилучшими целями, не вправе.

Еще одна цель законодательства: «Закрепить за свободными ассоциациями и церквями преимущественное право не только там, где у них уже есть готовые организации или кадры и средства для их создания. Достаточно и того, что в обществе возникла потребность создать еще одну свободную ассоциацию, и абсолютно несущественно, имеет ли оно для этого финансовые возможности. В таких случаях задача местной власти — не самой отстраивать нужный объект, а обеспечить свободной ассоциации необходимую денежную поддержку, разумеется, при условии, что эта ассоциация захочет и сможет ею воспользоваться. Таким образом... закон обязывает местную власть путем денежной субсидии расширить сферу возможной деятельности вольных ассоциаций... Не только то, что они уже делают, но и то, что они могут сделать, закрепляется, таким образом, за ними»<sup>4</sup>.

Если принять эти положения, то станут беспредметными многие наши споры: о принципах построения в России гражданского общества, о правомерности субсидирования властью независимой прессы. Государство *обязано* поддерживать независимые гражданские структуры, а солидаристский подход *не предполагает при этом* страха и недоверия по отношению к нему.

---

<sup>3</sup> Такое отношение к государству кардинальным образом отличает солидаризм от либерализма: для последнего государство — лишь «ночной сторож» с минимальными правами, инициатива которого всегда вызывает тревогу и подозрение. Эта традиция получила особое развитие в отечественных условиях. Молчаливая в периоды тирании, российская либеральная интеллигенция активно компенсирует прежнюю свою безропотность при изменении внешних условий: свободу слова она интенсивно использует для призывов к борьбе с властью и государством. История ничему не учит, и неудобоназываемые сподвижники Юшенкова и Явлинского ничем, кроме меньшего культурного уровня, от соратников Милокова и Набокова не отличаются.

<sup>4</sup> Нелль-Брейнинг О. фон. Построение общества, стр. 103.

Так строилось социальное рыночное хозяйство. Парламент нередко пытался сдвинуть его влево, социал-демократы настаивали на плановости, иногда — на регламентации цен. С другой стороны, государство подвергалось нападкам за антикартельную политику, за вмешательство в «частную сферу». Но нападки не меняли правительственной установки, ею неизменно было «свободное хозяйство и сильное государство, надзирающее за неприкосновенностью свободы». Такая идеология и обеспечила немецкое экономическое чудо.

А дальше — судьба немецкого солидаризма была такой же, как и французского, английского. Принципы этой доктрины при всей своей простоте все же понятны только меньшинству, они вытесняются демагогией речей и брошюр.

«Термин „социализм“ обладает чрезвычайной притягательной силой, и не только среди рабочих. Услышав же слово „солидаризм“, люди лишь покачивают головой, оно не вызывает у них никаких эмоций», — констатировал Нелль-Брейнинг в 1981 году. «Но нам важно, чтобы дело делалось; нам безразлично, какое имя ему дают», — добавлял он.

Теперь мы можем сформулировать, наконец, что такое солидаризм: это — теория и практика сбалансированного взаимодействия личности, общества и государства. Этот баланс часто нарушался в новейшей истории, и общество кидалось от кровавой революционной каши к атомарному распаду. Или наоборот: коснело, забыв об общественной солидарности, в правовых крайностях либерализма. И тогда наступала потребность баланса. В каждую страну солидаризм приходил «на национальных ногах». В Англию он пришел в облике усовершенствованной правовой доктрины. Во Франции он был обоснован рационалистически, в основном русле национальной философии. В Германии его базой сделалась фундаментальная, многотомная разработка социальной доктрины Католической Церкви.

Что касается русского солидаризма, то, оставшись, по историческим обстоятельствам, в рамках письменного творчества, он в этой сфере создал необычайно много. Мы не ставим своей целью рассмотрение десятков ярчайших авторов — богословов, философов, социологов, экономистов — от Алексея Хомякова до Питирима Сорокина. Наметим лишь основные темы — по неизбежности, пунктиром.

Мы упоминали выше об эффективности, при обосновании солидаризма, католического подхода; каковы «взаимоотношения» православия с этой доктриной?

Православную соборность часто упрекают в массовости, в невнимании к личности; соборность, говорят нам, породила самодержавие — общину — коммунизм. Нас будет интересовать то зерно истинности, которое есть в этой «теории»: абсурдность ее выводов не гарантирует отсутствие такого зерна.

Православие первых веков часто ассоциируется у нас с египетскими и сирийскими аввами. (В контексте этой статьи несущественна более поздняя дата Схизмы: интуитивно ясно, что следует отнести к «протокатолическому» менталитету, а что к «протоправославному».) Эти аввы — глубочайшие психологи, знатоки человеческих душ. Говорить здесь об «антииндивидуальности» нелепо: для молитв о спасении всей твари земной самому нужно быть соразмерным миру. Но такие высоты — для избранных, для немногих; а по пути адаптации православие не пошло, оно развивалось как бы «над историей». Неверно, что в соборности нет личности, верно другое: в истории православия мало интереса к срединному — душевному, а не духовному — срезу человеческой природы. И к срединному — общественному — слою человеческой общности тоже. И общество, и личность интересовали Православную Церковь лишь с точки зрения вечности, без несущественных перед ее лицом оттенков. Для сравнения вспомним столь важного для католического мира бл. Августина, великого знатока человеческой души в современном, не надмирном значении этого слова. Что сопоставимо с ним у истоков православного мира? Все тут *иное* — уносящее лишь вверх и лишенное тем самым «слишком человеческого». Таким образом, православие, взятое глобально и в целом, действительно не способствовало «срединному» солидаризму.

Это положение радикально изменилось с явлением Алексея Хомякова. Соборность у Хомякова — уже не только мистическая, во Христе, общность; она — свобода и единство объединенных любовью *в этом мире* людей<sup>5</sup>. Так началось «обмирщение» горних понятий.

А далее — через философские («всеединство») и социальные («христианская политика») идеи Вл. Соловьева — сборник «Вехи», приблизившийся, не потеряв при этом и небесной выси, к человеку общественному, «к земле». Русское религиозное мышление намерстывало тысячелетия, оно как бы обживало этаж за этажом — вплоть до философии общества С. Франка и затем политической философии С. Левицкого. Не хочется называть всех этих авторов солидаристами, есть в этом какая-то стилистическая натяжка; но если посмотреть по существу... Для всестороннего осмысления проблем личности — общества — государства в России и в Русском Зарубежье сделано очень много. Почему сегодня в наших рассуждениях и действиях мы так мало пользуемся этим багажом?

Наконец, следует упомянуть еще и о солидаризме в эмигрантской *политической* мысли. Зародыши этой мысли возникли в Белом движении, в окружении Врангеля и Колчака. Но времени белым отпущено не было. Да и самой необходимой в глубоком осмыслении общественных проблем еще не ощущалось: доведем страну до Учредительного Собрания, оно все и решит. Что ж, в этом был свой резон: общество еще не было окончательно разрушено, и было, в принципе, кому и из кого выбирать. Но год шел за годом, и проблемы вставали с новой силой: как, на какой основе воссоздавать общество и страну?

Идейные поиски Белого движения продолжил Народно-Трудовой Союз. Эту организацию, основанную детьми белых воинов в эмиграции в 1930 году, советская пропаганда всегда называла террористической. В действительности, не отрицая нравственной оправданности вооруженной борьбы с большевизмом, Союз с первых своих лет сосредоточился на *идейных* поисках. Ясно было, что следует разрушать: леволиберальных и правосоциалистических надежд на эволюцию режима члены НТС, разумеется, не разделяли. Но что строить взамен? Идея солидаризма возникла органически: именно классово-партийная рознь похоронила Россию. «В борьбе с большевизмом нет места ни партийности, ни классам», — повторяли вслед за генералом Корниловым энтээсовцы.

В социально-политическом плане опереться лишь на наработки и программы Белых правительств было нельзя. И в продумывании «пути к будущей России», в размышлениях о предстоящих послекоммунистических реформах умы обратились к *современному* западному опыту. Единственно серьезной основой будущего предстала при этом, в итоге изучения многого — от русской религиозной мысли до пред- и послевоенной экономики Европы — солидаристская основа. «Под названием „солидаризм“ НТС пытался соединить личную свободу с интересами государства именно в той форме, которая стала общепринятой в послевоенной Европе», — написал в своей «Истории Советского Союза» Д. Хоскинг.

Среди изданий Народно-Трудового Союза была серия «Библиотечка солидариста» — тонкая бумага, карманный формат. «Соборность и солидарность в философии братьев Трубецких», «Солидарность — идея будущего», «Парла-

---

<sup>5</sup> Впрочем, церковной санкции хомяковская мысль не получила, академическим православным богословием она принята не была; для государственного русского консерватизма философ также остался чужим. Дело здесь не в непонимании: в рамки ортодоксально-«византийского» мироощущения хомяковские категории действительно не вмещаются. Это выразительно показал в своей критике «рационалиста» и «протестанта» Хомякова другой одинокий мыслитель — Константин Леонтьев. Русское солидаристское сознание нашло свое завершенное выражение лишь в эмиграции, при непосредственном взаимодействии с европейской мыслью. Представляется, что одними лишь историческими обстоятельствами этот факт объяснить нельзя: российский солидаризм по сути своей — итог *синтеза*, «скречива-ния» собственной и западной духовных традиций.

ментаризм и солидаризм», «Политическое самосознание древней Руси» — странные были названия для конспиративной антисоветчины... Нельзя сказать, что семена эти давали обильные всходы: борьба с коммунизмом, условия подполья в стране к объемному мышлению не предрасполагали.

Но сегодня — не пришла ли пора? Условия наши много ближе к немецким, чем к североамериканским. Как и немцы, мы давно сложившийся, отягощенный великой историей и церковной традицией народ. Как и они, мы не в диких прериях — на развалинах разрушенной страны. Да и огромность русской территории — кажимость, миф: говорить ведь надо об обжитой, *окультуренной* ее части. А коли так — большая ли Россия страна? Мы обречены ощущать локоть друг друга, вопрос лишь в том, *с каким чувством* мы будем ощущать его.

Позитива для создания либерального, индивидуалистического общества у нас нет. Протестантская культура, как и всякая иная, односторонняя: равнодушная к одним человеческим чертам, она культивирует и развивает другие. Посмотрим на героев Джека Лондона, Брета Гарта. Они не подозревали о сорборности. Но поселения вчерашних душегубов и каторжан сковывало добровольно принятое ими на себя *бремя закона* — все понимали: без него не прожить. Кто рискнет утверждать, что такое же понимание ширится и крепнет в нашей России?

Наш «третий путь» не уводит нас из Европы. И не «вводит» в нее — он просто является одним из европейских путей. Он не прославлен на каждом углу назойливой политической рекламой. Однако дадим себе труд вдуматься и взглядеться в него.

---

---

---

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ

\*

## НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О «ЕВРАЗИЙСТВЕ» Н. С. ТРУБЕЦКОГО

*Опыт беспристрастного взгляда*

**Д**ля начала мне трудно обойтись без нескольких слов о самой личности Н. С. Трубецкого — гениального лингвиста, очень интересного литературоведа, оригинального мыслителя о культурах и спорного «идеолога». Его умное и хрупкое лицо, лицо человека, которому не дано было дожить и до пятидесяти лет, своим физиогномическим обликом свидетельствует о типе уязвимом, даже страдальческом и депрессивном, в котором, однако, боль скорее провоцирует, нежели подавляет впечатлительность и специально чувство юмора.

Рудольф Ягодич, возглавлявший в 1963 году Институт славистики Венского университета и выступавший на академических торжествах, устроенных в том году в Вене по случаю 25-летия со дня кончины венского профессора князя Николая Сергеевича Трубецкого, на правах коллеги, знавшего человеческий облик покойного из опыта личного общения, свидетельствовал о чертах благородного великодушия в его облике: «Князь Трубецкой потерял благодаря революции все — родину, состояние и какую бы то ни было налаженность культурного дворянского быта. Но никогда от него не слышали ни слова жалобы». Там же — другое свидетельство: «Без сомнения, Трубецкой жил своими научными интересами. Однако все это не может объяснить выражения сосредоточенного спокойствия, присущего его сущности. Но кто был знаком с Трубецким ближе, знал, что этот остроумный эрудит и гениальный исследователь был глубоко религиозным человеком — всецело в духе русской православной Церкви, верность которой он сохранял. Этого, пожалуй, не объяснить иначе как тем, что князь Трубецкой жил той благодатной силой, которую ему давали твердая религиозная убежденность и его подлинно русская набожность»<sup>1</sup>.

В качестве одного из русских гостей дунайской столицы должен засвидетельствовать, что память о Трубецком Вена, слава Богу, сохраняет и ныне, через шесть с лишним десятилетий после его безвременной кончины, случившейся в 1938 году, под недобрый гул «аншлюсса»<sup>2</sup>. В Институте славистики взгляд дваж-

---

Аверинцев Сергей Сергеевич — филолог, историк культуры, литературный переводчик, поэт. Родился в Москве в 1937 году. Работы и переводы в области античной, византийской, европейской литератур, а также по истории русской поэзии XVIII — XX веков. Профессор Московского и Венского университетов. Из последних книг: «Поэты» (1996), «„Скворещниц вольный гражданин...“ Вячеслав Иванов: путь поэта между мирами» (2001), «София — Логос. Словарь» (2001).

<sup>1</sup> Jagoditsch R. Nikolaj Sergejevic Trubetzkoy. Sein Bild als Mensch und Gelehrtenpersönlichkeit. Wiener Slavistisches Jahrbuch, XI. Band, 1964, S. 21. Добавим, что русский православный приход в Вене, переживавший как раз в период между двумя войнами тяжелое время, имеет что рассказать о действенной помощи своего прихожанина Трубецкого...

<sup>2</sup> Его кончина была ускорена именно этим прискорбным событием австрийской истории. Русский профессор Венского университета оказался тем подозрительнее для оккупационных властей, что известна была его статья с критикой нацистского антисемитизма; в его квартире учинили обыск, и сердце ученого, давно уже больное, не выдержало унижения.



ды (в самой большой и парадной аудитории, а также в мемориальном коридоре между кабинетами профессоров) сталкивается с его портретами; а когда венский коллега старшего поколения хочет сказать мне именно как русскому что-нибудь уж очень комплиментарное, он уподобляет меня — Трубецкому.

Человеческий облик Н. С. Трубецкого, его научные заслуги в области языкознания<sup>3</sup>, его более фрагментарные, но достойные всяческого внимания догадки по части истории русской литературы — все это предметы, о которых говорить гораздо легче, ибо они по существу своему вне спора. Иначе обстоит дело с той попыткой широчайшего мыслительного обобщения, поставленного на службу идеологическому проекту, которая именуется «евразийством». Тем более строгая ответственность на том, кто говорит именно о ней; его нравственная обязанность — избегать равно и благостного замазывания острых вопросов, и злорадствующего фельетонного разоблачительства. И здесь действует общий закон интеллектуальной честности: чем больше страстей вызывает тема, тем к большей беспристрастности тона и объективности анализа должен принуждать себя говорящий.

Итак — *in medias res*.

Трубецкой писал Р. Якобсону в письме от 28 июля 1921 года: «Это — сборник статей четырех авторов: Сувчинского, Флоровского, Савицкого и меня. Мы объединились на некотором общем настроении и „мироощущении“, несмотря на то, что у каждого из нас свой подход и свои убеждения. <...> Очень будет интересно узнать Ваше мнение об этом сборнике. Сущность его состоит в нащупывании и прокладывании путей для некоторого нового направления, которое мы обозначаем термином „евразийство“, может быть, и не очень удачным, но бьющим в глаза, вызывающим, а потому — подходящим для агитационных целей. Направление это носится в воздухе. Я чувствую его в стихах М. Волошина, А. Блока, Есенина <...> Похоже, что в сознании интеллигенции происходит какой-то сдвиг, который, может быть, сметет все старые направления и создаст новые, на совершенно других основаниях. Сейчас все это еще очень неопределенно, но безусловно „что-то готовится, кто-то идет“»<sup>4</sup>.

Запомним на будущее чуть-чуть неожиданное, пожалуй, слегка озорное по тону, однако отвечающее сути и делающее честь правдивости Трубецкого упоминание «агитационных целей», функционально оправдывающих, «*может быть, не очень удачное*» ключевое словечко. Гениальный ученый отдает своей совести отчет в том, что покидает куда более привычное ему пространство научного размышления и вступает в совершенно иное, неуютное для него пространство, где, в частности, намеренно заостренный, чуть ли не скандальный вызов может быть поставлен на службу «агитации». Для такой природы, как Трубецкой, — очень дорогая плата; насколько дорогая, ясно из его собственных признаний, о которых пойдет речь чуть ниже. Едва ли иначе обстояло дело для его соратников. У колыбели движения стояли очень яркие фигуры русской диаспоры: кроме самого Трубецкого — Петр Сувчинский, музыкант и теоретик музыки из круга Пьера Булеза; Петр Савицкий, специалист по экономической географии; князь Святополк-Мирский, едва ли не лучший теоретик литературы и литературный критик этого поразительного поколения; Георгий Флоровский, позднее священник, ученый-патролог и автор образцового труда «Пути русского богословия»; Лев Карсавин, медиевист и философ... Характерно также, что почти все они быстро или медленнее, открыто или втайне, но разочаровывались в своем идеологическом проекте. Так, Флоровскому принадлежит статья с весьма многозначительным заглавием «Евразийский со-

<sup>3</sup> Как известно, авторитетный голос Мейе назвал его «самой сильной головой» во всем международном языкознании тех десятилетий.

<sup>4</sup> N. S. Trubetzkoy's Letters and Notes, prepared for publication by R. Jakobson with the assistance of N. Baran, O. Ronen and M. Taylor, The Hague — Paris, 1975, p. 21 — 22. В финале процитированного отрывка — строки из шуточной мистерии Козьмы Пружкова «Сродство мировых сил» («Есть бестолковица... / Сон уж не тот! / Что-то готовится... Кто-то идет!»).

блазн»<sup>5</sup>. Разумеется, как увлечения конструированием евразийской доктрины, так и горечь разочарований в этом занятии должны быть рассматриваемы внутри своего конкретного исторического контекста, обусловленного прежде всего мечтой о выходе за пределы дихотомии большевизма и антибольшевизма — мечтой для того времени столь же неизбежной, сколь и двусмысленной<sup>6</sup>.

Амбивалентность эмоций Трубецкого выражена в письме к П. П. Сувчинскому от 10 марта 1928 года: «Мое призвание — наука. Но к публицистике и философствованию у меня никакого призвания нет... Занимаясь писанием всего этого евразийского кошмара, я чувствую, что мог бы все это время и труд с гораздо большей пользой (и для себя, и для других) потратить на науку, что отнимаю время от науки и вместе с тем, что время уходит, что его, может быть, осталось уже не так много... Евразийство для меня тяжелый крест, и притом совершенно без всяких компенсаций. Поймите, что в глубине души я его ненавижу и не могу не ненавидеть. Оно меня сломило, не дало мне стать тем, чем я мог бы и должен бы стать. Бросить его, уйти из него, забыть про него — было бы для меня высшим счастьем...»<sup>7</sup> Да, трудно человеку, в такой степени наделенному личной порядочностью и умственной честностью, как Н. С. Трубецкой, заняться построением идеологической конструкции! Но в задаче этой статьи не входит обсуждение принципиально присущей евразийству настроенности на политическую инструментализацию и всего того, что Бердяев назвал евразийским «*утопическим этатизмом*»<sup>8</sup>. Понятие идеологии будет обсуждаться ниже наряду с другими мыслительными понятиями. Нашему анализу подлежит евразийство как попытка объяснения истории, не как проект воздействия на историю.

Для начала попытаюсь назвать некоторые пункты, в которых евразийцы (как и их наследники, например Л. Н. Гумилев, впрочем, утрировавший их взгляды) занимают довольно сильную позицию. Сюда относится прежде всего

<sup>5</sup> «Современные записки», 1928, № 34 (републикации: «Новый мир», 1991, № 1; а также: Флоровский и Г. Из прошлого русской мысли. М., 1998. — *Прим. ред.*) Ср.: Хоружий и С. Россия, Евразия и отец Георгий Флоровский. — «Начала», 1991, № 3.

<sup>6</sup> Вспомним поэтов, перечисляемых Трубецким в вышеприведенном пассаже. Как ни относиться к «скифскому» периоду Блока или к весьма далеко зашедшему в самопротиворечиях утопизму Есенина, огромный резонанс, вызванный во множестве душ этими поэтами, очевиден; воздействие поздних стихов Волошина относилось понятным образом к более узкому кругу, но было также достаточно сильным. Расплатой в случае Блока было наступившее молчание, в случае Есенина — самоубийство, и даже в наиболее благополучном случае Волошина — постоянная недоуманность мыслей. Сюда же относятся надежды на создание в Италии некоего нейтрального, не антисоветского, но и не подвластного советской цензуре русского литературного журнала, которыми М. Горький не совсем без успеха пытался в свой итальянский период увлечь Ходасевича и Вяч. Иванова (каковой в свою очередь недаром долго удерживал советское гражданство, платя за это осложнением проблемы своего трудоустройства). Мы уже не говорим о таких специфических сюжетах, связанных с прямой инструментализацией подобных устремлений со стороны ОГПУ, как моральная, а затем и физическая гибель злополучного евразийца Сергея Эфрона, как путь другого евразийца — Мирского, также завершившийся гибелью, как вся эпопея сменевеховства, а затем движения младороссов (ср. ниже) и т. д. И тем не менее динамика самой истории привела к тому, что русская дихотомия «большевизма» и «антибольшевизма» после семи десятилетий с лишком непримиримого противостояния завершилась не просто компромиссом, но красочным постмодернистским сочетанием наиболее контрастных знаковых примет того и другого, когда противоположности были не то чтобы приведены к взаимной совместимости путем продуманных взаимных уступок, а просто de facto признаны за тождественные. (Разумеется, на смену череде все новых революций и реставраций неизбежно приходит некоторая пестрота в области национальной эмблематики, как хорошо видно на примере Франции; однако город Санкт-Петербург, лежащий в Ленинградской области, — кажется, все-таки уникальный казус в мировой топонимике.) Хотя бы поэтому те мечтания в кругах интеллигентной русской диаспоры в пору между двумя войнами, о которых идет речь, приобретают в «большом времени» определенную значимость симптомов, выходящих далеко за пределы своего «малого времени»; мы не можем глянуть на них свысока и подивиться непонятым безумствам прежних поколений.

<sup>7</sup> Цит. по изданию: Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. Составление, подготовка текста и комментарии В. М. Живова. М., 1995, стр. 777.

<sup>8</sup> Бердяев Н. А. Утопический этатизм евразийцев. — «Путь», 1927, № 8 (неоднократно перепечатывалось).

сомнение в привычном тезисе, согласно которому азиатские кочевники — половцы в XII веке, монголы в XIII веке — внушали нашим предкам негативные чувства будто бы не только в качестве противников, но в придачу еще и специально в качестве азиатов, в качестве кочевников, словом, представителей неевропейской варварской стихии; словно эти негативные чувства были чем-то вроде того, что на нынешнем языке именуется «культурным шоком». Прежде всего сами понятия «Европа» и «Азия» — это отнюдь не вневременные ориентиры человечества, которые якобы сохраняют в принципе один и тот же смысл для различных эпох. Пожалуй, даже немецкие и польские рыцари, которые преградили монгольскому войску его дальнейший путь при Легнице, сражались за свои земли и за государей этих земель, также за свою католическую веру, но вовсе не за «европейскую цивилизацию»; в их умах не было такого концепта. Далее, слишком очевидно, что и позднее культурные границы между Европой и Азией пролегают отнюдь не однозначно. Мы это начинаем ощущать, едва только отвлечемся от идеологизированного, риторически оценочного употребления этих концептов (как у наших леволиберальных поэтов второй половины XIX века, обожавших рифмовать «Азию» и «безобразие»<sup>9</sup>). Вопрос, является ли Россия частью Европы или частью Азии, именно в качестве вопроса заключает в себе единственный возможный ответ; никто ведь не спрашивает, принадлежит ли Франция к Европе или Китай — к Азии, если же вопрос осмыслен, он сам по себе уже сигнализирует о невозможности чересчур однозначного ответа. Когда Андрей Белый поехал в Палестину, его зоркий художнический глаз с изумлением отметил сходство между тамошними арабскими женщинами и южнорусскими деревенскими бабами<sup>10</sup>; при всех необходимых оговорках относительно помех, которые эксцентричность этого автора в соединении со штейнерианскими прописями сообща ставили его наблюдательности, пассаж интересный.

Но тут же критический вопрос: существует ли единство романо-германской цивилизации в таком градусе неоспоримости, как это виделось Трубецкому? Южная Италия, Сицилия, Испания — края романские, но вправду ли это намного больше несомненная Европа, чем Россия, или тут надобно сочинить термин «Евразика»? Старые города Европы прямо-таки переполнены шуточками насчет того, где именно начинается не-Европа. В Вене я слышал, что то ли Азия, то ли Балканы начинаются сразу, как пройти Шварценберг-платц (площадь, вплотную прилегающая к старому городу с юга и чуть-чуть с востока). В Кёльне меня научили тезису куда более радикальному — что «Сибирь» начинается сразу за Рейном. (Кто чувствует немецкую историю, найдет, что эта шутка не так уж бессмысленна: Рейн и вправду граница цивилизаций, католические города вроде Кёльна, Бонна или Аахена не по одному только конфессиональному признаку отделены от протестантской восточной неметчины, и недаром Мартин Лютер — явление сугубо восточногерманское, как это и отмечалось, помнится, во времена ГДР профессиональным фольклором тамошних историков, за пивом рассуждавших насчет того, что ведь великий реформатор ну ни разу не ступил на территорию ФРГ, вот уж сознательность!) А Бердяев без всяких шуток заверял, что дистанция между русской и немец-

<sup>9</sup> Как в стихотворении В. С. Курочкина «Я не поэт...» (1859): «Но не могу же я плакать от радости / С гадости / Или искать красоту в безобразии / Азии...» Двадцатью годами позже Д. Д. Минаев, представитель того же типа журналистской поэзии, писал: «Нет в том сомненья, что край безобразия — / Азия, / Как уверяют учебники многие / Строгие; / Но и Европу когда б мы потрогали, / Много ли / С Азией будет у той безобразницы / Разницы?..»

<sup>10</sup> «Окрестности Иерусалима после Египта показались мне очень уютными; самые турки, сирийцы, арабы по цветам, по манерам, так согласно сливались с российской кумачовою пестротой; особенно назаретские женщины с незакрытыми лицами, в красных, наподобие сарафана, платьях, выглядят знакомо: настоящими рязанскими бабами; я потом наблюдал переход национальностей от Сирии до Украины; мне казалось, что перехода никакого и нет...» (Белый Андрей. Между двух революций. Подготовка текста и комментарии А. В. Лаврова. М., 1990, стр. 400).

кой культурами меньше, чем между немецкой и французской<sup>11</sup>. Не торопясь безоговорочно соглашаться с Бердяевым, поскольку у нас едва ли есть приборы для измерения и сопоставления таких умопостигаемых дистанций, признаем, что в его словах тоже есть смысл, заслуживающий быть принятым во внимание.

Трубецкой так суммировал смысл своей книги «Европа и человечество» в письме Р. Якобсону от 7 марта 1921 года: «Понять <...> что все народы и культуры равноценны, что высших и низших нет, — вот всё, что требует моя книга от читателя». В самой книге мы читаем: «Момент оценки должен быть раз и навсегда изгнан из этнологии и истории культуры, как и вообще из всех эволюционных наук, ибо оценка всегда основана на эгоцентризме. Нет высших и низших. Есть только похожие и непохожие...»<sup>12</sup>

Нужно отдать должное Трубецкому — он уловил тему, которой суждено было оказаться под конец века и тысячелетия в самом центре злободневнейших споров, идущих по всему земному шару, но в особенности, разумеется, в центрах западной цивилизации, и обнажающих интересную внутреннюю антиномию современного демократического дискурса, который не может отказаться ни от аксиомы равноценности всех культур, защищаемой в наше время параюридическими процедурами *political correctness*, ни от императива распространения на весь глобализующийся мир системы ценностей, выработанных все-таки именно на «Западе». Если в первой главе «Европы и человечества» высказано энергичное сомнение в самой возможности существования европейцев, которые считали бы культуру так называемых *дикарей* равноценной *романо-германской* культуре, то сегодня Трубецкому пришлось бы в преизобилии встречать таких европейцев, мотивом которых является, правда, не столько реальная или хотя бы сентиментальная любовь к экзотическим культурам, сколько мстительный аффект «сердитых молодых людей» по отношению ко всему своему — к собственным родителям, учителям, вообще «старшим»<sup>13</sup>; при этом кто-то среди равных оказывается, как водится, более равным, чем остальные, но это, как правило, отнюдь не «*всеромано-германская*» культурная традиция по Трубецкому, а просто сами господа уравнители. Разумеется, это дает шанс впустить с заднего хода и эгоцентризм «Запада». Однако здесь интересны не случаи лицемерия, а проявления вполне подлинного внутреннего несогласия современной демократической идеологии с самой собой, ее, как я только что сказал, глубоко укорененной антиномии. Имеющие хождение в за-

<sup>11</sup> «Русские очень склонны были причислять к одному типу германский и романский. Но это ошибка и недостаточное понимание Европы. В действительности между Францией и Германией разница не меньшая и даже большая, чем между Германией и Россией. <...> Цельной европейской культуры не существует, это выдумки славянофилов» («Русская идея», гл. II, 1).

<sup>12</sup> См.: Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык, стр. 81.

В соответствии с жанром этой статьи мы не входим в обсуждение вопроса: как логически соединить тезис о безоговорочном равенстве всех культур с целым рядом тезисов Трубецкого, имплицитно указывающим именно вердикт о превосходстве одних культур и низшем статусе других, например, таким: «Великие культуры всегда религиозны, безрелигиозные же культуры — упадочны» (статья «Религии Индии и христианство», 1922; там же, стр. 294). Вообще вся эта статья, показывающая Трубецкого таким, каким его описывал Р. Ягодич, — искренним, отчасти чуть наивным и менее всего толерантным апологетом Православия, — едва ли оставляет место для тезиса о равенстве культур. Единственный шанс спастись для индуса — это не просто принять христианство, но сделать это, «произведя коренной переворот во всей своей унаследованной от предков и впитанной с молоком матери религиозной психологии, разрушив эту психологию до самого основания, чтобы от нее не осталось и камня на камне» (стр. 292). Раз не должно остаться *камня на камне*, значит, индийская «инкультурация» христианской проповеди, ее перевод, так сказать, на язык автохтонной культуры не предполагается.

<sup>13</sup> Эта тенденция покамест слаба в странах романских, но чрезвычайно сильна в Великобритании, Германии и особенно Австрии. Если где-то еще можно встретить, хотя бы на правах реликта, наивно-самодовольный пиетет к собственной культурной традиции, то разве что во Франции.

падном дискурсе модные шуточки насчет «мульти-культу» (принципа «мультикультурности») — едва ли не прикрытие некоторой беспомощности перед лицом этой антиномии. Но я намерен говорить не об этом. Едва ли хоть один разумный человек станет сегодня безоговорочно настаивать на том, что какая-то культура непререкаемо и во всех отношениях «выше» другой. Но совершенно очевидно по крайней мере, что одна культура может быть и бывает *конкурентоспособнее* и в этом смысле «сильнее» другой; сильнее именно *как культура*, помимо действия каких-либо внекультурных факторов, очень часто вопреки их действию. Кто-то обучен на языке своей культуры отвечать на вопросы, которые задаю ему я, и задавать мне вопросы, на которые моя культура не научает меня ответить; и я пасую — не перед ним, а перед его культурой; и если даже, оправаясь от поражения, я готовлю ему отповедь, то уже в его системе понятий. Этот момент конкуренции культур жизненно важен, и должен быть каждый момент принимаем во внимание. Невозможно поставить культуры в условия, при которых их соперничество было бы исключено надолго, тем паче — навсегда; скажем, японская цивилизация была предохранена от такого соперничества изоляционистской политикой сёгунов на несколько веков, но ведь и этому настал неизбежный конец.

Важно, что далеко не всегда вытеснение автохтонных ценностей и принятие ценностей другой культуры бывает связано с государственным принуждением или с идеологической мотивацией. Для Трубецкого вполне естественно сосредоточивать внимание на ситуациях, когда это было так. Здесь удобный пример — классический колониализм, во времена Трубецкого очень сильный. «Когда европейцы встречаются с каким-нибудь неромано-германским народом, они подвозят к нему свои товары и пушки. Если народ не окажет им сопротивления, европейцы завоюют его, сделают своей колонией и европеизируют насильственно» («Европа и человечество»)¹⁴. Другой эффектный пример — идеология государственно проектируемой и проводимой полицейскими мерами европеизации в петровской и послепетровской России. «Новая идеология была идеологией чистого империализма и правительственного культуртрегерства, насильственного насаждения иноземной цивилизации внутри страны в соединении с завоевательским задором против иностранных держав вонне страны» («Наследие Чингисхана»)¹⁵. Трубецкой даже позволяет себе морализаторские выпады против сподвижников Петра: «Знаменитые „птенцы гнезда Петрова“ были большею частью отъявленными мошенниками и проходимцами, воровавшими несравненно больше прежних приказных. То обстоятельство, что, как с грустью отмечают русские историки, „у Петра не нашлось достойных преемников“, было вовсе не случайно: действительно — достойные русские люди и не могли примкнуть к Петру»¹⁶. Не вступая в спор с Трубецким относительно человеческих качеств деятелей петровских реформ, отметим, что на несколько десятилетий позже Ломоносов, которого не так просто морально дезавуировать, — безусловный, страстный до несносной горячности приверженец петровских реформ, и притом не только в официозных проявлениях своей Музы, а даже, по преимуществу, в таких «потаенных» стихах, как «Гимн бороде». Вполне очевидно, что Трубецкой имел все основания говорить о полицейском, подневольном характере дела Петра; чего уж, если более века спустя, в конце царствования Николая I, славянофилы, вздумавшие отращать бороды, еще сталкивались с действием циркуляров относительно обязанности отставного офицера Российской армии брить бороду. Однако есть и совсем другие примеры мощного воздействия одной культуры на другую, решительно не похожие на то, о чем говорит Трубецкой.

Вот один из них. Древний Рим, как известно, силой оружия завоевал Грецию; римская государственная идеология возводила *mores maiorum* («нравы

¹⁴ Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык, стр. 98.

¹⁵ Там же, стр. 244.

¹⁶ Там же, стр. 242 — 243.

предков») в ранг высшей ценности и стремилась сделать смешными «маленьких греков» (graeculi), — однако греческая культура в силу своего превосходства заставила Рим добровольно принять ее парадигмы. А ведь у римской республики не было ампула государя-реформатора, сравнимого с нашим Петром, — все произошло само собой. Римлянин Гораций нашел для этого запоминающееся выражение: «Graecia capta fenum victorem cedit» (Ер. II, 1, 156), «*плененная Греция взяла в плен дикого победителя*»<sup>17</sup>. Тут не было даже практических мотивов для переимчивости, воздействовавших на Петра, — в практических делах, начиная с организации армии, государства и хозяйства, римляне побивали греков. Но вот в сфере культуры как таковой влияние Греции было совершенно непреодолимо. Это оказалось возможным прежде всего благодаря новой технике мышления, разработанной греками со времен софистов на путях логической, философской и риторической рефлексии<sup>18</sup>. (Еще больше поражает воображение рецепция той же мыслительной техники в аристотелизме арабов.) Можно иметь самые благородные мотивы к тому, чтобы вместе с Трубецким настаивать на равноценности всех культур, на принципиальной невозможности для культуры иметь какое-либо превосходство над другой культурой; можно, исходя из таких предпосылок, утверждать, что автохтонная культура древнейших римлян была ничем не слабее греческой — и даже сильнее, ибо подлиннее, чем римские подражания греческим образцам; но историческая реальность останется такой, какова она есть. Ибо новые технические парадигмы и приемы заразительны, их перенимают прежде, чем кто-либо поймет, что, собственно, происходит. Рецепция идет спонтанно, без чьего-либо «волевого» решения.

Мне кажется, что русское историческое самопознание немало страдает от давней привычки к мифологизации роли Петра. Одописцы и риторы осьмнадцатого столетия, впадая в припахивающие кощунством гиперболы, стилизовали инициативу царя-реформатора под акт демиургический, под сотворение мира из ничего («*Он бог, он бог твой был, Россия*»<sup>19</sup>). Критики Петра, начиная с кн. Щербатского, через славянофилов и до евразийцев, если не до наших дней, споря с этой тенденцией, перенимают ее парадигму. Получается, что вся беда в Петре! Характеристика насильственного образа действий Петра, разного рода детали вроде спорных, но действующих на воображение расчетов числа безымянных жертв строительства Санкт-Петербурга и т. п., — все это инструментализируется для описания европеизации России. Антагонисты Петра очень легко приобретают в нашем сознании облик противников европеизации как таковой, фанатических защитников изоляционистски понимаемой русской традиции. Такова стилизация истории, выразившаяся, например, в гениальной музыке «Хованщины» Мусоргского, в романе Мережковского «Петр и Алексей». Но в документах несчастной царевич предстает уж скорее как «агент влияния» Австрии. У Цветаевой мы встречаем строки: «*На Интернационал — за терем, / За Софью — на Петра*»; подумать только, здесь Софья, самая эмансипированная женщина русской истории до Екатерины II, предстает как часть мира терема, кто бы подумал! В любом случае слишком очевидно, что

<sup>17</sup> Интересно, что очень сходные формулировки употреблялись римлянами в связи с весьма сильным в Риме влиянием религиозных традиций Востока. Например, у Плиния Старшего мы читаем: «Vincendoque victi sumus», «*победив, мы побеждены*» (Natur. hist. XXIV, 5). Специально о влиянии иудаизма Сенека говорит: «Victi victoribus leges dederunt», «*побежденные дали законы победителям*» (см.: August. De civ. Dei VI, 11). Но это явление, завершившееся в конце концов христианизацией Римской империи, — особая тема.

<sup>18</sup> Ср. нашу статью «Античная риторика и судьбы античного рационализма» в кн. «Античная поэтика. Риторическая теория и литературная практика». Под ред. М. Л. Гаспарова. М., 1991, стр. 3 — 26; перепечатано в кн.: Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996.

<sup>19</sup> Ода Ломоносова на день тезоименитства Петра Федоровича, 1743 год. (Разумеется, слово «*бог*» со строчной литеры, — графика дала возможность, вплотную подойдя к границе кощунства, не перейти ее.)

европеизация не может рассматриваться ни как единоличная заслуга, ни как единоличная вина Петра. У ближайших врагов Петра, начиная с Софьи и Голицына, были свои планы европеизации; различие, без сомнения важное, состояло в том, что они, как и Алексей, ориентировались на ближнюю, восточную Европу, на цивилизацию Польши, Австрии, Чехии, а Петр — на западную Европу, то есть на протестантский Северо-Запад и во вторую очередь на Францию.

К европеизации шло все, кроме разве старообрядчества. И в этом пункте самый яркий пример — поведение тех русских православных духовных лиц XVII века, которые для того, чтобы получить на Западе теологическое образование, формально принимали католицизм, а после от него формально отрекались. Один ученый дьякон, не выдержав кошмара раздвоения личности и распада совести, по возвращении на Русь отказался отречься от католицизма и до конца жизни протомился в заключении... Их никто не заставлял делать это; они ставили в опасность вечное спасение своей души и отнюдь не облегчали себе жизни в этом мире, ибо их прошлое в любой конфликтной ситуации было очень сильным компрометирующим материалом. Но они снова и снова шли на это. В особенности для украинско-белорусской православной среды было совершенно нестерпимо, что в глазах поляков их конфессия — не просто «схизма», но именно *viara chlopska* («мужицкая вера»), не имеющая культурного престижа ввиду неспособности ее защитников ответить иезуиту на диспуте; они готовы были идти к тому же иезуиту, чтобы выкрасть у него, как секретное оружие, его мыслительно-диспутальную технику, а затем повернуть ее против него. О. Георгий Флоровский решается утверждать, что в пору того, что он называет на шпенглеровском языке «*латинской псевдоморфозой*» православного богословия, влечение к схоластической технике было для Православия даже опаснее, чем переходы в католическую веру<sup>20</sup>. Но влечение это было непобедимо по мотивам образовательным. Между прочим, в реальной предыстории униатства важным мотивом было желание получить от католиков помощь в налаживании образования; накануне Брестской унии с отчаянной просьбой прислать учителей обращались к православным грекам, но не получили ответа. Это заставляет подумать о том, что ведь и в католическом ареале победа схоластической парадигмы не была навязана никакой другой силой, кроме силы самой этой парадигмы. Первым маэстро и виртуозом схоластики, прославившимся по всему Западу, был не какой-нибудь образцово католический наставник вроде Фомы Аквинского, но грешник и полуретик Абельяр (1079 — 1142), герой бесчисленных баек о том, какой сенсационной приманкой его уроки на холме Св. Женевьевы были для международного студенчества; каждый помнит, что для католических институций он был *persona non grata*, что Собор в Сансе его осудил. Авторитетнейшие мыслители и деятели католицизма XI — XII веков, как Петр Дамиани (1007 — 1072) и Бернард Клервоский (1091 — 1153), решительно выступали в принципе против того прорыва рационализма в мир веры, каким был с самого начала схоластический дискурс. Их причислили к лику святых — но дело Абельяра одержало безусловную победу в самой огаде Церкви, потому что спорить (хотя бы и с самим Абельяром) можно было только по-абеляровски. И вот уже безупречно благочестивый Аквинат начинает свое знаменитое рассуждение о пяти доказательствах бытия Божия с формулировки опровергаемого им тезиса: «Представляется, что Бога нет» (*Videtur quod Deus non sit*) и с перечисления (тоже для опровержения) аргументов в пользу такого тезиса!<sup>21</sup> Думая о том, как трудно было его набожной руке вывести все это (той своеобразной, неразборчивой скорописью, которой поражают его автографы), кажется, понимаешь, почему

<sup>20</sup> Флоровский Г. Пути русского богословия, 3-е изд. Париж, 1937, стр. 49.

<sup>21</sup> *Summa theol.* I, qu. 2, 3. Излагаются два возможных аргумента против бытия Божия; их опровержение («*ad primum ergo dicendum est...*»; «*ad secundum dicendum...*») следует в конце раздела, после изложения пяти «путей» доказательства бытия Божия.

в самом конце своей недолгой жизни он пожелал прекратить диктовку своих трудов. Но трудно не задуматься о том, какую силу в самом себе имеет начало мысли, вооруженной для спора с самой собой.

И если уже техника мышления способна иметь такое действие, понятно, что это а priori относится к технике в более обычном смысле, как она была разрабатываемая Западом Нового времени. Трубецкой, как славянофилы до него, готов был видеть в петровских реформах плод мечтательной идеологии; однако у русского самодержца на рубеже XVIII века просто не было другого выбора. Его задача сделать Россию конкурентоспособной, прежде всего в военном и торговом смысле, не могла быть разрешена иначе. Это повторяется всегда и повсюду. В современной западной цивилизации ощутимы ее негативные черты (и еще более негативные возможности), наивное западничество давно стало столь же мыслительно невозможным, как и наивное славянофильство, но одного нельзя сказать о современной западной цивилизации: что она по действию абстрактного принципа равноценности культур не лучше и не хуже никакой другой цивилизации прошлого и настоящего, а просто такая же, член однородного ряда, одна из многих. Может быть, она хуже, но она — иная, она имеет такие возможности, а заодно такие опасности, какие были неведомы до нее.

Несколько слов о политическом проекте, ради которого и была выстроена, как честно отмечает в своих письмах Трубецкой, евразийская концепция в целом.

«Одной из основ евразийства является утверждение, что демократический строй современности должен смениться строем идеократическим...»<sup>22</sup> Вполне понятно, что в поисках примеров реальной идеократии — которая, как нам тут же разъяснено, должна быть и партократией — взор Трубецкого обращается к Ленину и особенно к Муссолини<sup>23</sup>. Было бы грубой вульгаризацией спора использовать это обстоятельство для, так сказать, политического доноса на евразийство, апелляции к инстанциям современной политической корректности; Трубецкой ответил бы нам, что идеократия бывает истинной или ложной в зависимости от истинности или ложности самой идеи; что идея Муссолини его просто не касается, будучи «романо-германской», но идею большевиков он сам обсуждает в одной из статей как ложную (хотя и уготовляющую путь истинной). Я не принадлежу к фанатикам либерализма, призывающим ради исключения рецидивов тоталитарных идеологий искусно ампутировать у человека его способность жить идеями и идеалами; честно говоря, моя натура воспринимает эти призывы примерно так, как воспринимала бы проект всеобщего оскопления с целью предупреждения насилий и прочих сексуальных эксцессов...

Мой вопрос к программе идеократии касается ее внутренней связности. Для того чтобы он был понятнее, я возвращусь к ориентиру русской идеократии по Трубецкому: к его характеристике «*туранского*» культурного склада.

<sup>22</sup> «Об идее-правительнице идеократического государства», 1935; до этого — статья 1928 года «Идеократия и армия».

<sup>23</sup> «В революциях русской и итальянской характерен не <...> захват власти, а тот факт, что все государственное строительство стихийно направляется в сторону создания особых политических форм, соответствующих принципу идеократии и долженствующих укрепить идеократический строй». Правда, описание этих феноменов у Трубецкого отнюдь не обходится без критики. «В Италии сущность идеократии заслонена культом личности Муссолини и голым организационизмом; благодаря этому фашизм не создает стройной миросозерцательной системы» («О государственном строе и форме правления», V — в кн.: Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык, стр. 412 — 413). Достаточно известно, что само по себе сближение по критерию *идеократичности* между большевизмом и итальянским фашизмом не представляет собой в те годы для дискурса сменовеховско-младоросского типа ровно ничего необычного; Н. В. Устрялов подчеркивал, что «в деле ниспровержения формальной демократии <...> „Москва“ указала дорогу „Риму“» (см.: Цакун в С. В. Нэп. Эволюция режима и рождение национал-большевизма. — В кн.: «Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал». Т. 1. Под ред. акад. Ю. Н. Афанасьева. М., 1997, стр. 57 — 119, особенно стр. 96 — 100).



Как известно, в его системе, имеющей в своих негациях некоторое сходство со славянофильством, в отличие от последнего «романо-германскому» Западу противопоставит не славянство, величина в его глазах едва ли не мнимая<sup>24</sup>, — а именно туранство<sup>25</sup>. Тем важнее для оценки общей концепции с точки зрения ее элементарной непротиворечивости, с какой эмфазой в характеристике туранства подчеркиваются черты бессознательной естественности, безотчетной цельности: «Типичный представитель туранской психики в нормальном состоянии характеризуется душевной ясностью и спокойствием. Не только его мышление, но и все восприятие действительности укладывается само собой в простые и симметричные схемы его, так сказать, „подсознательной философской системы“. В схемы той же подсознательной системы укладываются также все его поступки, поведение и быт. Притом „система“ уже не создается как таковая, ибо она ушла в подсознание, сделалась основой жизни<sup>26</sup>. Благодаря этому нет разлада между мыслью и внешней действительностью, между догматом и бытом. Внешние впечатления, мысли, поступки и быт сливаются в одно монолитное неразделимое целое...» («О туранском элементе в русской культуре», 1925)<sup>27</sup>.

В этом же тоне выдержана позитивная характеристика Московской Руси: «Весь уклад жизни, в котором вероисповедание и быт составляли одно („бытовое исповедничество“), в котором и государственные идеологии, и материальная культура, и искусство, и религия были нераздельными частями единой системы — системы, теоретически не выраженной и сознательно не формулированной, но тем не менее пребывающей в подсознании каждого и определяющей собой жизнь каждого и бытие самого национального целого, — все это, несомненно, носит на себе отпечаток туранского психического типа. А ведь это именно и было то, на чем держалась старая Русь...»<sup>28</sup>

Соглашаться с Трубецким в позитивной оценке этой туранской идиллии или нет — особый вопрос; как бы то ни было, одна из примет настоящей культуры — уважительная симпатия к простоте (доходящая до аффекта, описанного Т. Манном в его «Тонио Крёгере»). С другой стороны, если все это, именно это, предстает как корень и подлинная суть русской души, трудно понять, откуда бы это у нас явился, например, Достоевский, весь мир коего — полная противоположность такому, как выражался один персонаж Лескова, «животному благоволению»; да и другие репрезентативнейшие фигуры русской культурной традиции мало сюда подходят. Но в любом случае совершенно очевидно, что туранская душа, как ее рисует Трубецкой, абсолютно несовместима с сознательными проектами идеократии. Бессознательное есть то, чего нельзя построить по сознательному проекту, — и это, конечно, относится отнюдь не только к евразийству, но к весьма многим большим и малым общим

<sup>24</sup> «„Славянский характер“ или „славянская психика“ — мифы... Славянство не есть понятие этнопсихологическое, антропологическое, этнографическое или культурно-историческое, а понятие лингвистическое. Язык, и только язык, связывает славян друг с другом» («Общеславянский элемент в русской культуре», 1927 — в кн.: Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык, стр. 206 — 207).

<sup>25</sup> Столь характерное для Трубецкого превознесение туранства и превращение именно его в символ и знак неевропейской идентичности русских — пункт, в котором евразийцы особенно резко отошли от ранних славянофилов, для кого (отчасти в силу романтической рецепции антитезы *Иран — Туран*, как она разработана в только что открытой тогда европейцами поэме Фирдоуси «Шах-наме») Туран есть символ рабства, — так что начало туранства усматривается ими в чем угодно (вплоть до католицизма), только не в русском Православии.

<sup>26</sup> [Примечание автора]: «Важно, чтобы система стала именно подсознательной. В тех случаях, когда система, в простые и ясные схемы которой должно укладываться все (внешний мир, мысли, поведение, быт), осознается как таковая и постоянно пребывает в поле сознания, она превращается в „навязчивую идею“ („*idée fixe*“), а человек, одержимый ею, — в маниака-фанатика, лишенного всякой душевной ясности и спокойствия...» Далее в примечании разъясняется, что именно это происходит с туранцем, когда он попытается без способности к этому сознательно создать систему.

<sup>27</sup> Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык, стр. 155.

<sup>28</sup> Там же, стр. 156.

и частным программам, возводящим в систему сознательное манипулирование бессознательным. Само по себе подобное манипулирование, рассчитанное на безграничную доверчивость всех вне касты посвященных, сильно напоминает программу Великого Инквизитора у того же Достоевского: «Будут тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла». Это уже достаточно неутешительно. Но плод трудов новых инквизиторов, взявшихся сознательно лепить чужое бессознательное, будет к тому же, как мы видим из истории тоталитарных идеологий только что завершившегося столетия, очень ненадежным и недолговечным. Владычество настоящих инквизиторов старых времен, не способных концептуально артикулировать ничего подобного, длилось из столетия в столетие, — а тут все кончалось за несколько десятилетий; *«век сплошных скоропадских»*, как скалambuрила когда-то Цветаева. Это реальность, от которой не отделаться банальными максимумами насчет убыстрения хода истории. Ибо если у человеческой души и впрямь есть бессознательное знание, это, наверное, знание о том, говорят ли с ней, этой душой, от имени настоящей веры — или от имени головного проекта. Такой специалист по части бессознательного, как К. Г. Юнг, отмечал как важнейшую черту религиозного, что в этой сфере ничто не возникает на пустом месте, ничего нельзя сконструировать, смастерить, придумать, — любая выдумка скоро разобьется.

Между прочим, упомянутые программы являются одним из дурных побочных эффектов того самого *«романо-германского»* рационализма, который так претил Трубецкому. Историческая наука по внушениям этого рационализма на каждом шагу демонстрирует свою секуляризованность тем, что ищет для самых различных, в основном религиозных актов выбора таких мотиваций, которые просто были невозможны для сознания любой эпохи, кроме нашей. Тут и князь Владимир, со своим окружением будто бы размышляющий о выгодных социальных и политических последствиях принятия Православия, и Александр Невский, отвергающий союз с Папством не по вообразимой для великого князя этого времени комбинации простейшего послушания духовнику со столь же простыми и конкретными политико-стратегическими мотивами, — в конце концов, татары были всегда рядом и всегда готовы к нападению, а западная помощь в любом случае заставила бы себя ждать, как и пришлось убедиться галицким князьям, — но по якобы инструментализирующим веру «геополитическим» или «цивилизационным» мотивам предпочтения союза с «Востоком» союзу с «Западом», то есть по соображениям, которых нельзя было бы даже описательно сформулировать на реальном языке эпохи! Конечно, у людей в любую эпоху бывают и неосознаваемые, неформулируемые мотивы — но очень важно для характеристики культурного типа, что имеет свое имя, а что еще не имеет. В конце концов, мы можем говорить, если нам угодно, что феномен идеологии так же стар, как само человечество, и что любая власть, светская или духовная, осуществляла себя при посредстве некой идеологии, которую насаждала, ведя некую «пропаганду» (а внутриситуативно — и «агитацию»). Неоспоримо, что носители власти, причастные к среде правящей элиты, особенно в таких государствах, как, скажем, древние восточные деспотии или Византия, были не абсолютно чужды каким-то чертам сознания Великого Инквизитора у Достоевского и ощущали себя носителями не только частных государственных секретов, но и некоего единого «секрета власти», *arcantum imperii*. И все же до тех пор, пока терминов-концептов «идеология», «пропаганда», «агитация» не существовало, как пассивное, так и активное участие в том, что для нас обозначается этими словами, могло практиковаться в такой степени *bona fide*, в которой это становится невозможно по мере введения этих слов (и понятий) во все более широкий оборот. Человек XX века, казалось бы, доказал свою способность быть индоктринируемым, идеологически инфицируемым; но из этого не рождалось и не могло родиться той верности вере, что наследуется в род и род, это скорее похоже на мимолетный гипноз рекламы. Недаром такой мастер пропаганды, как Владимир

Маяковский, написал рассуждение о тождестве дела пропаганды делу рекламы (которое он, как известно, тоже практиковал в годы Моссельпрома.) Нынче мы слышим, что для России нужно «создать» идеологию по специальному проекту; я уже сказал, что не разделяю идеологии стерильно-чистого антиидеологизма, которая хочет ради предотвращения фанатизма ампутировать у человека вместилище для общих идей, — но в шансы рукотворной идеологии поверить никак не могу. Обожание рукотворного, строго воспрещенное Писанием — «не сотвори себе кумира», — еще меньше приведет к чему-то субстанциальному сегодня и завтра, чем в тоталитарном вчера; ибо хотя люди, увы, не склонны извлекать из истории сознательных уроков, бессознательная или полусознательная эмоциональная память поколений оставляет все меньше и меньше возможностей для подлинной, не поддающейся подделкам доверчивости. Как сказано у Ахматовой, *«вместо мудрости опытность — пресное, не утоляющее питье»*. С мудростью плохо, но опытности хватает, хотя бы той, что проявляет себя не ясностью в голове, а болью где-то в костях.

Это не значит, что любой разговор на евразийские темы кн. Трубецкого представляется мне бесплодным. Да, я не могу вылепить из себя (или дать вылепить другим) простодушного туранца — получится разве что имитация, ради которой будут загублены и те остатки здорового простодушия, которые во мне еще есть; но я могу в длящемся, никогда не замыкающемся процессе самопознания открыть в себе самом также и этого туранца, вступить с этой частью себя в осмысленный разговор, — не приписывая ни одному слову в этом разговоре значения последнего. Так вырывают идеи, движением которых можно жить, не торопясь превращать их в кирпичи для постройки идеологий. Слово *«идеология»* явно имеет в нашем языке два различных смысла. Деструктивный релятивизм называет так всякую попытку последовательных личных поисков ответа на вопрос о смысле нашего существования, всякую личную верность личным убеждениям; отнять это у человека означало бы *capitis diminutio* человеческой сущности, умаление достоинства человека. Но если под термином *«идеология»* имеется в виду попытка предложить уже не лицу, а целой нации искусственно *«разработанную»* по специальному проекту систему идей, — это инструментализация того, что инструментализовано быть не может. Кн. Н. Трубецкой был лично не только гениальным мыслителем, но и человеком с весьма чуткой совестью, которую нельзя было надолго успокоить оглядкой на *«агитационные цели»*, поминаемые в цитированном выше письме к Якобсону; отсюда неожиданный мучительный вопль души о *«евразийском кошмаре»* и о собственной несклонности *«к публицистике и философствованию»*, который мы слышим в опять-таки цитированном выше письме к Сувчинскому от 10 марта 1928 года. (Приходится только догадываться специально о том, в какой мере православная вера Трубецкого, так живо запомнившаяся именно своей неподдельной искренностью тому же Р. Ягодичу, беззвучными, «невидимыми миру» слезами протестовала против аннексии также и вероисповедных аргументов для нужд *агитационного* дискурса; все-таки одно дело вести полемику против западных конфессий по мотивам религиозной убежденности, а совсем другое — потому что так «надо» ради идеократического проекта<sup>29</sup>.)

Под конец можно в той же связи вспомнить исключительно резкую реак-

<sup>29</sup> Конечно, это только крайнее заострение проблемы, которая сама по себе возникла существенно раньше и в связи с общими чертами новоевропейской культуры. В классические эпохи конфессиональных контrovers, от поры Вселенских Соборов до поздневизантийско-латинской полемики и далее, споры велись в более строгом жанре, довольно однозначно ограничивавшем тематику: прежде всего — собственно о догматах, во вторую очередь — об обрядах, которым средневековое сознание тоже склонно было придавать вероучительный ранг; и если за всем этим прорисовывались контуры имперской и/или церковной политики, то не надо забывать, что сознание тех времен придавало идее «Священной Державы» (*Imperium Sacrum*), не говоря уже о церковном ранге Вселенских Кафедр Рима и Константинополя, опять-таки догматическое, вероучительное значение. О чем никто не говорил в те времена, так это о материях этнокультурных, этнопсихологических и «геополитических». Иная ситуация могла в полной мере реализоваться лишь тогда, ког-

цию Трубецкого на сменовеховство (как бы двойник евразийства при более прямолинейной акцентировке именно политической интенции)<sup>30</sup>, а также пассаж из его письма П. П. Сувчинскому и П. И. Савицкому от 9 сентября 1925 года:

«Мы становимся политиками и живем под знаком примата политики. Это — смерть. Вспомните, что такое мы. Мы — это особое мироощущение. Из этого мироощущения происходит особое мирозерцание. А из этого мирозерцания могут быть выведены, между прочим, и некоторые политические положения. Но только между прочим»<sup>31</sup>.

---

да открытые романтиками концепты «местного колорита» и национальной «души» или «идеи» создали по всей Европе, включая Россию, новый интерес к затихшей было конфессиональной полемике: отныне речь шла о том, что инославные, как говорилось и прежде, имеют ложные доктринальные воззрения, но, *кроме того*, вся их культура — как минимум религиозная культура — являет некое дурное качество.

<sup>30</sup> Ср. письмо П. П. Сувчинскому от 26 февраля 1922 года: «Какие тут могут быть разговоры о соединении с этими хамами?» (Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык, стр. 775). Позднее, как известно, линия вульгаризации евразийской политической программы в сменовеховской манере была продолжена группами вроде младороссов во главе с А. Казем-Беком, и т. д. и т. п. Но проблема, которой не мог не видеть Трубецкой и которая причиняла ему столь очевидные страдания, в том и состоит, что выбор в пользу прагматической инструментализации идей в принципе требует прогрессирующего огрубения интеллектуальной совести и вкуса, которое у тех, кто будет приходить позже, непременно пойдет дальше, чем у основателей. Это как стародавний, использованный Гёте сюжет об ученике чародея, с ужасом взирающего на действие сил, которые сам же вызвал.

<sup>31</sup> Там же, стр. 776.



---

---

# КОММЮНИТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА

\*

## «ЭТНИЧЕСКАЯ ДАННОСТЬ, ИМЕНОВАВШАЯСЯ РОССИЕЙ»

*Четвертая мировая*

**К**нига Анны Политковской «Вторая Чеченская» (М., «Захаров», 2002) вышла незадолго до того дня, когда группа мужчин в масках и женщин в маскарадных чадрах попыталась внести режиссерские изменения в мюзикл «Норд-Ост».

Я всегда уважала мужество Политковской, но частенько пропускала очередную ее репортаж в «Новой газете» — слишком предсказуемым казалось то, что она напишет. Но мне понравилось, как она вела себя в дни захвата заложников, как таскала соки и воды несчастным людям, понравилась статья, в которой она без обычного пафоса рассказывала, как вместе с доктором Рошалем входила в пустующий вестибюль захваченного здания, не зная, чего ждать, и не особенно полагаясь на гостеприимство террористов: «Протопали до дверей не помню как. Страшно. Очень». И я устыдилась того, что часто откладывала в сторону ее статьи — результат трудных поездок, тяжелых расспросов, опасных встреч. И купила книгу, положив прочесть ее от корки до корки.

Сентябрь 1999. Начало второй Чеченской войны. Бомбежки сел и городов. Поток беженцев. Военные вертолеты кружат над колонной несчастных людей, обстреливая их.

Чеченское село Дуба-Юрт, сначала полностью разбомбленное, потом разграбленное и сожженное русскими войсками.

Концлагерь в селе Махкеты Веденского района. «Фээсбэшники» пытаются чеченцев — избивают, издеваются, рвут ногти, бьют по почкам бутылками из-под пепси. Сажают зимой в ямы, наполненные водой, куда сбрасывают дымовые шашки. Пропускают ток через тело. Отдельная картинка — офицеры насилуют пленников-мужчин. Иногда отпускают — за выкуп.

Веденский район, все жители которого стали заложниками военных в масках, «голодных, злых и жестоких». Они разрушают снарядами дома, они обстреливают сельские школы. Они стреляют во все, что движется в лесу, — и потому заготовка дров для обогрева дома превращается в смертельный трюк. Жители Ведено хотели бы уехать куда угодно — но им не выдают документов, удостоверяющих личность.

Грозный в очередной блокаде, «причиной и поводом» к которой стал подбитый вертолет. Медсестра в белом халате идет в больницу. Ее провожает автоматная очередь. Ночные зачистки, кончающиеся тем, что женщины сходятся к комендатуре узнать, какой выкуп назначен за их мужчин. Офицеры торгуют заложниками. Детская больница. Операционное оборудование, спрятанное врачами от бомбежек в подвалы, уничтожено «федералами», отрапортовавшими, что нашли «тайную операционную, где возвращали в строй чеченских боевиков». Другая больница, где врач оперирует чеченку, прошитую автоматной очередью, — так развлекаются русские солдаты на зачистках. Зачистки — это вообще повод «федералам» заняться грабежом и насилием, похищением людей с последующим выкупом — торгуют если не живыми, так трупами...

Я не буду пересказывать всю книгу, хотя честно дочитала ее до конца. Это тот случай, когда осколок полностью сохраняет свойства целого. В отличие от многих, я готова доверять книге Политковской. Кроме, разумеется, исторической справки, где автор предполагает, будто Шамиль и Хаджи-Мурат — одно и то же лицо («в 1834 г. наиб Шамиль (Хаджи-Мурат) был провозглашен имамом»), и где утверждается, что в 1840 году чеченцы создали свое государство — имамат Шамиля. Шамиль, как известно, был аварцем, а целью его имамата (созданного, кстати, в 1848 году) было объединение всех народов Кавказа под знаменем ислама, а вовсе не под главенством Чечни. Впрочем, возможно, автор черпал сведения с одного из сайтов Мовлади Удугова — там много интересного о превосходстве чеченского этноса можно узнать, даже то, что колесо изобрели чеченцы.

Повторю: *я верю в то, что все, что Политковская рассказывает, она не придумала, а слышала собственными ушами, запомнила, записала.* Но в голове начинают вертеться всякие вопросы. Ну вот, например, трагическая судьба селения Дуба-Юрт, подвергнутого «бессмысленной» бомбежке, артиллерийской обработке и почти полностью уничтоженного. Виноваты, конечно, федеральные войска. Но, может, боевики, которые, как вскользь упомянуто, заняли позиции на окраине села и окопались, разделяя часть вины? Может, «бойцам сопротивления» следовало бы подумать о соотечественниках и не прятаться в домах мирных жителей, чтобы не навлекать на них беду?

Зачистки, конечно, вещь жестокая и, по убеждению рассказчиков, совершенно бессмысленная. Можно понять жителей сел. Но если чуть-чуть вникнуть в их рассказы, получается, что никто никогда в «федералов» не стрелял, их не убивал, не подрывал. То, что в среде мирных жителей рождается миф, будто «федералы» специально прекращают обстрелы, когда боевики входят в села, а потом под предлогом борьбы с ними начинают облавы, чтобы пограбить, — это естественно. Но мне нужны все-таки более веские доказательства сговора «федералов» с боевиками, чем эмоциональные рассказы горцев из разных сел.

В «Коммерсанте» от 16 ноября я увидела фотографию агентства Reuter. Участники очередной антивоенной демонстрации держат плакат: «Putin is gas killer». О теракте уже забыли. Просто кровожадный Путин отдал приказ отравить зрителей «Норд-Оста» газом.

Примерно такое же понимание причин и следствий у информаторов Политковской (если только они не играют на доверчивости журналистки). Ужасно жаль жителей чеченских сел, униженных жестокими зачистками. Но вот я вспоминаю сюжет, прошедший по ОРТ: трое освобожденных при зачистке русских рабов. Один из них, Виктор Зимин, рассказывает: «Хотели в Урус-Мартан отвезти, продать. Хабас говорит: „Здесь сейчас продадим“. Подъехал чеченец с автомобилем: „Возьмешь работника себе?“ Он: „У меня уже трое есть“. — „Еще возьми“. Ну вот взял. Его Асхан звали. Ну и начали там земляные работы делать, огород вот убирать. Потом кончились огороды, начали сажать на зиму чеснок, лук». Рабов держали в яме. «Картошку уже прямо сырую бросали. Четыре листа капусты бросят — и ешь. Называют нас „свиньи русские, вот, ешьте вам“. Били за все. Я вот рукой не могу уха достать, потому что избитый сильно».

Униженный зачисткой житель села вполне может держать в своем подвале такого раба и даже не понимать, почему его отнимают. Он же его честно купил, а рабство — это такой древний институт.

То, что жители чеченских сел забыли про триста тысяч русских, армян, евреев, изгнанных из Чечни во время дудаевского, а потом масхадовского правления, про грабежи, резню, угрозы, шантаж (особенно часты были требования — переписать дом, квартиру или машину на чье-то имя), про похищения людей, обращение их в рабов, убийства, насилия, комедию шариатского суда — все это понятно. То, что об этом не помнит Политковская, — все же странно. (Тысячи таких свидетельств разбросаны по разным сайтам в Интернете.)

Книге предшествует эпиграф из «Набега» Толстого. Надеюсь, что, в отличие от «Хаджи-Мурата», этот рассказ автор прочел. Но, видно, не слишком внимательно. Иначе Политковская не предлагала бы отнестись к войне потолстовски, хотя бы потому, что писатель, сочувствуя горцам, еще больше сочувствует капитану, возглавившему набег, хорошему прапорщику, подстреленному горцами, и много рассуждает о русской храбрости: «В фигуре капитана было очень мало воинственного; но зато в ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. „Вот кто истинно храбр“, — сказалось мне невольно».

И горцы для Толстого — это «неприятель» (слово повторено десятков раз), а русские войска — «наши» («Наши частые выстрелы заглушают неприятельские»; «Аул уже был занят нашими войсками, и ни одной неприятельской души не оставалось в нем»).

У Политковской, конечно, нет «наших» — есть отстраненное: «федералы». Слово «солдатик» может быть употреблено, только если солдатик мертв — да еще от пули своих. Зато есть «фээсбэшное офицерье». Оно препятствует работе журналистки, арестовывает, допрашивает, угрожает расстрелом. И вдруг то тут, то там мелькает фраза, что журналистка куда-то летит на военном самолете, на военном вертолете. Значит, «офицерье» все-таки еще возит и сопровождает?

Однако все эти возникающие по ходу текста вопросы вовсе не отменяют того факта, что Политковская объездила Чечню, опросила сотни свидетелей и собрала гигантский обвинительный материал против действий русских войск в Чечне.

Если европейские левые устроят что-то вроде показательного суда над «российской военщиной», как в 1968 году был устроен расселовский трибунал для суда над «американскими военными преступлениями во Вьетнаме», то Анна Политковская будет приглашена свидетелем обвинения и вполне может выступить в духе Жан-Поль Сартра. Тогда в своей речи «О геноциде» знаменитый писатель и кумир левых утверждал, что в войне, «развязанной американским правительством против Вьетнама», «геноцид вьетнамцев стал окончательной целью Америки». «По мере того, как вооруженные силы США продвигаются в глубь Вьетнама, все чаще прибегая к массовым убийствам и бомбардировкам в намерении подчинить Лаос и вторгнуться в Камбоджу, уже не остается сомнений в том, что правительство Соединенных Штатов, несмотря на все его лицемерные заявления, приняло решение в пользу геноцида».

Досталось и американским солдатам, неискоренимым расистам, с «роботоподобными душами», которые «пытают и убивают во Вьетнаме мужчин, женщин и детей, потому что они вьетнамцы».

Фактов в выступлении Сартра приводилось немало. Протесты против «грязной войны во Вьетнаме» бушевали по Европе и Америке. Что ж — США ушли из Вьетнама. Вслед американцам почему-то ринулась целая флотилия кораблей и лодок. Сотни тысяч вьетнамцев готовы были погибнуть и быть съеденными акулами, только чтоб сбежать от вьетконга. Волна беженцев захлестнула Азию, Америку, Европу. Зато «люди доброй воли» праздновали победу: Вьетнам свободен, коварная попытка вторжения американских империалистов в Камбоджу также была предотвращена. Добро пожаловать, товарищ Пол Пот. Против геноцида в Кампучии Сартр не возражал, и левые никаких демонстраций не устраивали.

Теперь вот принято считать, что Америка не напала на Вьетнам, а защищала своих союзников от нападения. Многие даже сообразили, что вьетконговцы были не такие уж ангелы, какими казались Сартру, особенно когда просочились слухи о концлагерях, возведенных вьетконгом до начала «американской агрессии». А некоторые потом даже упрекали Америку, что у нее не хватило мужества выполнить свою миссию во Вьетнаме и в результате она укрепила агрессивный коммунизм во всем мире. Тогда, в шестидесятых, показательный суд слышал только свидетелей обвинения. Позже стали слышны голоса свидетелей защиты.

Всякие аналогии спорны, но, вспоминая эту не такую уж далекую войну, гневные против нее протесты и последующую стыдливую переоценку их самими «протестантами», я думаю: не пришлось бы нынешним противникам войны в Чечне переоценивать действия русской армии, если последствия ее отступления окажутся еще страшнее «военных преступлений».

Самый пессимистический из известных мне прогнозов на этот счет высказан Василием Аксеновым в романе «Кесарево свечение», опубликованном в 2001 году. Напомню, что в одной из частей этого романа — «Кукушкины острова» — рассказывается о результатах восстания племен Очарчирии Хуразу, поставивших себе целью «разрушить Российскую Федерацию». Что ж — цель была достигнута.

«Через десять тысяч лет... почти полностью забылась некая этническая данность, именовавшаяся Россией... То же самое, по сути дела, произошло и с другими большими этносами... Господствующей расой Земли с незапамятных времен стали хуразиты». При этом человечество страшно деградировало, «неслыханные технологические достижения конца второго тысячелетия давно уже стали предметом археологии» (впрочем, и археологии не существовало), и лишь в страшных замках, «за стенами которых жила очарчирская иерархия» с Верховным Колдуном во главе (и откуда иногда они спускались в долину в поисках добровольцев для человеческих жертвоприношений), сохранился какой-то «пыхтунель», с помощью которого Верховный Колдун смотрел «древние чудеса-видухи». В частности, подвиги бессмертных. Бессмертными же были полководцы древней Очарчирии, сумевшие освободить племена хуразитов из-под власти Кремля.

Едва не потерпевшие поражение в схватке с российскими войсками, они все же нашли остроумный выход. Очарчирий (Вакапутов) захватил родильный дом и предъявил ультиматум Кремлю: каждой женщине сделают кесарево сечение, если немедленно не будут прекращены боевые действия против свободлюбивого народа Хуразу. Кремль, которому предстояли очередные выборы, немедленно капитулировал. «Мастера военных предательств во главе с генералом Гусем» вылетели для переговоров с хуразитами и подписали соглашение «о разделе сфер влияния и о направлении финансовых потоков». Десанту, который к этому времени уже занял первый этаж роддома и готовился повязать всю банду, оставалось только смотреть на «ухмыляющихся зверей», каждый из которых «гнал перед собой излюбленный „щит” в виде готовой разродиться русской бабы».

Возможности романиста позволяют Стасу Ваксину, рассказчику и персонажу аксеновского романа, увидеть и другой вариант завершения похода Хуразитской освободительной армии. Несмотря на апатию и слабость Кремля, на плохое вооружение «разложившихся под влиянием рыночных отношений гарнизонов регулярной армии», несмотря на движение «в защиту свободлюбивого народа Хуразу», набирающее силы во всем мире, несмотря на бурную деятельность хуразитского агитпропа, расплодившего в Интернете множество повстанческих сайтов, содержащих «гладко написанные в стиле марксо-ленинского философского фака МГУ восьмидесятых годов тексты о сионизме, об ублюдочности русского этноса, о поедании печени врага как проявлении возвышающего культурного мифа» (сочиненные кандидатом диамата Овло Опоем по прозвищу «Анчачский Геббельс»), несмотря на гуманистические предрассудки, не позволяющие противникам дикарей стрелять в женщин, несмотря на массированное наступление повстанцев, уже торжествующих победу, — несмотря на все это «история разворачивается на 180 градусов» и гонит «шелуху погрома в обратную сторону».

Осажденные герои романа испытывают прилив мужества «сродни тому, что испытывали защитники Шевардинского редута» (вот и здесь Толстой пригодился), неизвестно откуда появившийся десант отбивает город, вертолеты очнувшейся эскадры прочесывают холмы, а Очарчирия «спешно объявляет себя автономной областью многоуважаемой Российской Федерации».



Какой вариант «завершения кровавой драмы» выберет история — неизвестно. Василий Аксенов оставляет выбор и за читателем... Пока же мы выбираем между двумя противоположными взглядами на чеченскую проблему, на полюсах которой располагаются книга Политковской и роман Аксенова.

Сатирическая фантазмагория Аксенова — это, конечно, не документальное повествование Политковской. К тому же, назови писатель Очарчирию Ичкерией, а хуразитов чеченцами, — не миновать внелитературного скандала. Ух как это неполиткорректно! Однако сатира Аксенова именно на то и рассчитана, чтобы читатель сопоставлял ее с реальностью. В узнаваемости персонажей — весь «прикол». А уж будет читатель одобрительно усмехаться или возмущенно негодовать — дело другое. Впрочем, Аксенов свою точку зрения на Чеченскую войну отнюдь не скрывает. Когда три года назад на московском конгрессе международного ПЕН-центра нобелевский лауреат Гюнтер Грасс потребовал от писателей солидарной резолюции, осуждающей войну в Чечне, Аксенов не только подписать ее отказался, но еще и назвал Грасса «прусским фельдфебелем», знающим только команду «налево», и пояснил свое отношение к западным левакам в многочисленных статьях и интервью. После же захвата «Норд-Оста» Аксенов написал, что требование «прекращения войны в Чечне» — это весьма косвенная причина злодеяний террористов. Прямая же — «взбесившийся по всему миру Ислам, комплекс скорпиона и садомазохистская страсть».

Тоже неполиткорректно. Во всем мире предпочитают эвфемизм «международный терроризм», произнося как заклинание: у террористов нет ни нации, ни религии. И прекрасно понимают: все-то у них есть.

Вскоре после того, как Фрэнсис Фукуяма благодушно объявил конец истории — мол, коммунизм побежден, тоталитарные режимы пали, единый либеральный мировой порядок торжествует, — другой американский профессор, Сэмюэл Хантингтон, поспешил разочаровать прогрессивное человечество, пообещав взамен идеологического противостояния «столкновение цивилизаций». Сейчас пророчества Хантингтона обрели слишком реальные очертания, и кто только не говорит о столкновении мусульманской цивилизации с западной. Государственные деятели, понятно, говорить об этом не могут: обвинять ислам вообще опасно. Одни мусульмане оскорбятся. Другие — будут доказывать, что эта великая монотеистическая религия учит только добру, что сорок лет мусульманства — это века терпимости.

В Коране, конечно, можно найти все — и требование терпимости, и призывы к насилию. Порадуемся тому, что мусульманство пока не едино, что сторонников непринуждения в нем больше, чем сторонников «убийства неверных». Но достаточно и агрессивного меньшинства, чтобы погубить мир.

Четверть века назад в Гарвардской речи — и не только в ней — Солженицын предостерегал Америку, что никакое мирное сосуществование с коммунизмом невозможно, и упрекал западный мир в упадке мужества. «Следующая война — не обязательно атомная... может похоронить западную цивилизацию окончательно. И перед лицом этой опасности — как же, с такими историческими ценностями за спиной, с таким уровнем свободы и как будто преданности ей, — настолько потерять волю к защите?!»

Многие тогда обиделись. Не думаю, что только предостережения Солженицына сыграли решающую роль, но факт остается фактом: Америка стала обретать твердость и «волю к защите», которую, казалось, утратила, сдав Вьетнам. Левые во всем мире утихомирились. Рейган развернул программу «звездных войн», коммунизм был объявлен смертельной опасностью человечеству. И в конце концов Запад выиграл третью мировую войну — войну с коммунизмом. И тут замаячил призрак четвертой мировой.

В середине восьмидесятых, в начале перестройки, но еще до вывода войск из Афганистана, кто-то из знакомых привез фильм об афганских моджахедах, которым американский супермен в исполнении Сильвестра Сталлоне помогал бороться за свободу с русскими захватчиками. Видеомагнитофон тогда был

редкость, и мы потащились за тридевять земель на квартиру знакомых. Сочувствовали, конечно, не карикатурным русским злодеям, а бравому американскому супермену и героическим афганцам. В финале Рэмбо покровительственно треплет по плечу парнишку с гранатометом на плече (кажется, американец его и подарил).

Кто б мог тогда сказать, что из этого гранатомета пальнет и по России, и по Америке?

Сначала шарахнуло в Чечне. Возможно, завоевание Кавказа было исторической ошибкой России, бессмысленной жертвой ради благоденствия христианских союзников в Закавказье (которые об этой жертве теперь и помнить не хотят). Возможно, с самого начала чеченского конфликта в 1991 году следовало принять план, предложенный Солженицыным: «признать независимость Чечни... но... незамедлительно отделить прочным военно-пограничным кордоном, разумеется, оставив левобережье Терека за Россией».

Тогда только посмеялись. (Впрочем, разве удовлетворился бы правобережьем Дудаев, когда он, подобно Шамилю, на весь Кавказ претендовал, да и на Ростов через Ставрополье поглядывал?)

Может, и не следовало начинать этой войны. Хорошо бы суметь установить мир. Но надо ли покупать этот мир «любой ценой», как призывают наши, и не только наши, пацифисты?

Да, Чечня — это черная дыра, куда проваливаются человеческие жизни, несметные деньги, где негодяи делают бизнес на войне. Да, Чечня — это место страданий людей, которые оказались заложниками фанатиков и преступников. Но теперь Чечня оказалась еще и форпостом агрессивного мусульманства — вон уже и бен Ладен требует независимости Чечни, заодно предложив Америке принять ислам. Скоро это предложение поступит и всем нам. Будем принимать?

Анна Политковская делит боевиков на «западников» (к которым она относит Масхадова) и «арабов» (окружение Хаттаба и Басаева), считая, что больше шансов народной поддержки имеют первые. Ислам не пустил глубоких корней в Чечне, это верно, — как ни насаждал Шамиль мюридизм. Но есть логика войны. Европа будет поддерживать чеченское сопротивление газетной шумихой и демонстрациями протеста, но денег на войну с Россией не даст. А исламские нефтедоллары текут неостановимым ручьем. И их надо отрабатывать. Объявил же «западник Масхадов» в Чечне шариатское правление. И Мовсар Бараев вовсе не ради мира в Чечне восклицал «Аллах акбар». И если бы был принят этот его ультиматум — немедленно другой группой «мучеников ислама» был бы выдвинут следующий.

Во время теракта в Москве политики и журналисты твердили как заклинание, что «нет ничего выше человеческой жизни». Но только те государства, нации, цивилизации сохранились в истории, которые готовы выше человеческой жизни ставить иные ценности. Веру. Воинскую честь. Достоинство личности. Даже ценности западной цивилизации, наконец. И в четвертой мировой, когда вездесущий неприятель демонстрирует глубокое презрение к человеческой жизни, что чужой, что собственной, придется либо принять вызов и проявить твердость (в том числе интеллектуальную твердость перед левым шантажом), либо сдаться. Тогда-то и сбудется сон аксеновского героя: «Почти полностью забылась некая этническая данность, именовавшаяся Россией»...



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЕВГЕНИЙ ЕРМОЛИН



## ИДЕАЛИСТЫ

*Интеллигенция бессмертна!*

**О**пресняют соль.  
Отпевают интеллигенцию.

Кто тихонько, кто погромче, кто в полный голос. От Андраника Миграняна и Глеба Павловского до... ну хотя б Геннадия Хазанова и Камиля Мусина. В диком поле Сети какой только экзотической брани в ее адрес не найдешь.

*...в России интеллигент — это человек, у которого не сложилась судьба... Поставьте крест на интеллигенции — она никогда ничего толкового не сделает... Интеллигенция — смерть всякой цивилизации: сброд малахольных, ни на что не годных и совершенно необразованных хлюпиков. Постоянно болтающие и грызущиеся друг с другом оболтусы. Я сам лично видел, как один урка зарезал себя только из-за того, что его заподозрили в предательстве. Ни один интеллигент этого не сделает... ..окончательно потерял осознанность, напряженность, остроту — и в сколько-нибудь ответственном смысле — вопрос об интеллигенции... ..пришло время Лопахиных, и судьба российской интеллигенции подходит к своему естественному концу... ..без зажиточных обывателей, без нормальных законов и без стабильности самая распрекрасная интеллигенция ни черта не стоит... ..термин «интеллигенция» уже потерял свое реальное значение и превратился в своего рода декоративный атрибут речи, не имеющий социологического смысла... ..спасибо и исполать надо сказать тем же интеллигентам. Они выполнили свою явно обозначенную цель — помогли народу выбраться из тьмы и рабства. Теперь интеллигент может вместе с этим народом делать то, что, собственно, и декларировалось: работать на общее благо, по специальности. Осваивать куцую пока собственность. Заведовать информацией не об управлении государством, а об управлении фирмой. И при этом гробить себя как класс (или прослойку)...*

Совсем, одним словом, застращали публику. А она у нас такая впечатлительная.

Быть может, нужно мимо, мимо, чтобы не вляпаться в скандал. Пускай окаменеет это дерьмо, оставим его потомкам на игрушки. А сами пойдем себе дальше. Но мысли в голове уже волнуются в отваге. Глупо, конечно. Отвага вообще неразумна. Да, может, это и не отвага вовсе, а вздорность. Ну, тогда бросят эти листочки в корзину, и путь моих мыслей к читателю оборвется безвременной кончиной их бумажного носителя.

...Был слеплен искусно горшок — да быстро скатился он с возу; осколки сбросали в мешок — и кинули в воду... Может быть, действительно правы те, кто говорит, что интеллигенция сходит с исторической сцены (иные добавляют: туда ей и дорога...)?

А где же тут, думаешь, твое место? Ты-то тут — зачем? И, собственно, кто? И какое ты отношение имеешь ко всей этой истории с интеллигенцией?

И как только ты такое начинаешь про себя (не вслух) думать, так сразу и почувствовать себя начинаешь тем самым гнилым и презренным, малахольным и

деструктивным, какому пора давно на свалку... Но уж не настолько все-таки перезревшим и прогнившим, чтобы печатать и писать плакаты про радость своего заката.

Вот этого, г-да, не дождетесь.

Не побоимся начать с самого обыкновенного вопроса. Что такое есть интеллигент? Скажут: «Сто и тысячу раз уже про это говорили — и пятьдесят, и сто лет назад. От „Вех” и Федотова до Солженицына и Померанца. Сколько можно?» Но XX век все-таки прошел не зря, и последние его десятилетия. Школа неоклассики и школа постмодерна научили нас выходить в своем понимании культурных явлений напрямую к сущности. Это позволяет дать определение интеллигента, свободное от мелкоисторической связанности. Конкретно-историческое, национально-культурное теперь должно быть учтено, но не может быть абсолютизировано. Случайное и эфемерное не отваялось (оно все — в памяти сердца), но раскрыло себя как явление или как событие второго ряда (с точки зрения вечности, глазами если не Бога, то — всего человечества, взятого как метаисторическая величина).

И вот мы снимаем с интеллигента доспехи класса и нации, конфессии и профессии, образования и партийности. Все это было, и все это ушло или может уйти. Ответ, который я готов дать, таков: интеллигент — не функция, а сущность. Не посредник, а монада. Не приводной ремень, а сам себе привод. Сначала так, и только так. (И уже потом — и функция, и медиатор.)

Интеллигент — осевая личность в том содержании этого понятия, которое сложилось в культуре по итогу освоения и переработки идей Карла Ясперса о ритме мировой истории. Воплощение тревожной и взыскательной осевой духовности, бродильный фермент ищущего духа в социальных болотах, чащобах и трущобах. Творец смыслов и идей, собеседник вечности.

Люди осевой тревоги. Люди смысложизненной идеи. Обладатели беспокойного, вечно молодого осевого сознания. Идеичность — их способ существования. И не просто даже служение социальным, культурным, художественным или политическим идеям, а жизнь идеей, как жизнь Станиславского в искусстве. Они не из каприза, а по своей сути не умеют не стремиться к познанию и выражению себя, своего смысла, провиденциального замысла о себе — и потом несут эту истину как крест. Алгоритм судьбы: искать, искать до упора — в себе заключить свою истину и веру — и потом жизнью реализовать ее. (Да, именно так: бороться и искать, найти и не сдаваться. А вы как думали? Что ли — сдать?)

Своеобразие русского интеллигента когда-то переоценили. Оно не столь разительно. И в России интеллигент суть явление этой всемирной Оси, которая уходит, чтобы вернуться, явление осевой мысли и осевой жизни, выразившееся в личности. Его предки (и современники, собеседники в духовном поиске) — Христос и Сократ, Будда и Конфуций, Заратуштра, Августин и Достоевский... («Хватило бы, — бдительно заметит кто-нибудь, — одного Христа!..») А я и не спорю, но не откажусь, пожалуй, и от разговора — поверх веков — с Исайей или Эпикуром, с Цицероном или Львом Толстым.)

И Запад тут ни при чем. (При чем, при чем, но не в первую же очередь.) Осевая личность — сама себе Запад. И сама себе Восток. Русские интеллигенты — не бастарды Екатерины. Русские интеллигенты — дети Божьи. Нищие духом — не потому, что не имеют его, а потому, что страдают и алчут.

Именно по этой своей сущностной примете интеллигенция есть самосознание общества. Но — не его функция. (Полезный смысл XX века для русского интеллигента, кстати, заключается в возможности окончательно преодолеть теперь эту необязательную зависимость от узко понятой партийности, прикладную ангажированность.) Она, интеллигенция, — до всякого, в сущности, общества, и никакое общество ей не указ. Личность в ее осевом состоянии важнее и вечнее всякого общества с его условностями. Она непосредственно участвует в вечности и обращается к Богу без посредников. Экзистенциально, смысложиз-

ненно мотивированная связь таких личностей важнее и вечнее социальной рутины и нормы. Личность диалогически раскрывается в *персональном* контакте с миром и Богом. Общество же без такой личности — просто большая куча народу. Толпа. (Хотя хай, конечно, и она покуда живе. Никто на вашу кучу всерьез еще не покушается, так что давайте без истерик. Сказал капитан.)

Осевая личность почти неизбежно бунтует против завалов неосевой архаики, против реликтов идеологии и быта. Для нее даже разномыслие, плюралистичность идейной среды в конечном счете является состоянием гораздо более комфортным, нежели прекращение идейной работы и отсутствие мыслей как таковых в тоталитарных пространствах. (А они, эти пространства и практики, тоже уже вышли за пределы исторических рамок и периодов; они представляют собой перманентное искушение для личности и общества.)

Она даже может объединяться на основе коллективистских ценностей. Она увереннее чувствует себя среди себе подобных. Ищет единомышленников, и исторически часто находила. Но это результат ее личного выбора.

Она почти все потеряла в минувшем веке (статус, влияние, комфорт...). Но это результат ее личного выбора.

Она может поступать самоубийственно. Но это результат ее личного выбора.

Она почти неизбежно обречена на поражение, по крайней мере — условиями *наших* среды и климата. Архетип судьбы русского интеллигента — обезязыченный и сожженный Аввакум. (Новиков, Радищев, далее почти два века — с маленькими прогнами и частыми остановками.) Но в поражении и состоит ее победа.

Но я, в общем-то, хотел сказать и о литературе. О современной прозе. Где она находится, где, голубка, прохлаждается, когда *наших бьют*?

В принципе — она не всегда чрезмерно далеко. Иногда она даже рядом и вместе. Но прежде чем радоваться, займемся-ка детальным изучением ситуации.

Если мы, к примеру, собрались рассказать об интеллигенции, то какой жанр нам выбрать, чтобы он был адекватен предмету?

*Роман (повесть) идей и судеб, определенных идеями*, — не так ли? *Роман героя с идеей*. Так и было, если вспомнить. Лермонтов, Толстой, Достоевский.

Тургенев. Чехов. Булгаков. Платонов. Шаламов. Солженицын. Домбровский. Ерофеев. Битов. Окуджав. Кормер. Трифонов. Искандер.

А потом что-то ушло. Уверенность в себе, в своей миссии. Память о миссии. Знание ее. Где это началось? Может быть, еще у Чехова. А потом — в 70-е. Андрей Битов и Юрий Трифонов уже начали эту песню о деградации поколения. Юрий Милославский и Василий Аксенов.

Что-то иссякло, что-то расплылось, замучилось в судорогах, истратилось на соглашения и компромиссы. Замечательные, огненные люди, о которых рассказывал в «Наследстве» Владимир Кормер, — Тanya, Хазин, Мелик, Вирхов — где они? Таких почти нет больше. При всех их недостатках, заблуждениях и т. п. О таких в 90-х можно было вспоминать, перечитывая старое или в исторической по своему материалу прозе, обращенной к давнишнему опыту (Евгений Федоров, Юрий Давыдов).

Нравственное, духовное противостояние. Может быть, интеллигент в России и способен существовать только в этом противостоянии насилию, всему, что (кто) отнимает у личности ее осевую, подаренную человеку Богом свободу, ее право на суверенитет? На самоопределение вплоть до независимости.

Как бы то ни было, и в 90-е годы, и на тусклой заре нового века, с огненными всполохами за горизонтом, литература часто и выражает этот кризис, и участвует в нем.

Начало 90-х ознаменовалось появившимися почти синхронно вещами, которые можно считать предвестием того, что случилось далее. «Линия судьбы», «Время ночь», «Лаз». Житейский шепоток харитоновского Милашевича, шелестящего своими бумажками в углу бытия, психоз как образ жизни Анны (у Петрушевской), эскапизм маканинского героя. Они застигнуты жизнью и настигнуты ею. Но, не совпадая с бытом, страдая и загигаясь, они не могут со-

здать нечто *вопреки*, нечто поперек своей убогой житейщины. В них было немало заурядно-типического, мало личностного.

Из трех этих книг время выбрало «Лаз». Маканин говорит, что он даже попал в школьную программу. Герой «Лазы» по крайней мере находит в себе ресурс свободы для последнего выбора.

Ну а дальше все шло и ехало в иную степь. Писателям полюбились, скажем, *семейно-бытовые хроники из интеллигентской жизни*. Чеховского «Ионыча» разворачивали в масштабное полноформатное полотно, живописуя смену поколений. «Закрытая книга» Андрея Дмитриева, «Медея и ее дети» и «Казус Кукоцкого» Людмилы Улицкой, «Московская сага» Василия Аксенова... Книжки о закате русской интеллигенции в процессе смены трех ее поколений. О ее фатальном вырождении, почти в золаистском смысле. Порча крови, истлевание (а то и растление) духа. Стремительное обмеление духовной жизни. Крах объединявших и вдохновлявших идей. Потеря ценностей.

Деды еще что-то такое знали и умели. Дети просто служили кому придется, по возможности «честно». Внуки ударились в загул. Им не во что верить, некуда стремиться.

Я опять не спорю, в жизни бывает всякое. Бывают и сыновья-гопники, и внуки-уроды. Даже не нужно ходить до третьего поколения, чтобы найти подходящие примеры. Но бывает ведь и наоборот: дед, скажем, — чекист, а внук, скажем, — анархист.

Духовная деградация как непреложный закон в истории интеллигентских родов — это произвольная догадка писателя. Возникла она не на пустом литературном месте. До интеллигентских родов подобным образом в литературе вырождались крестьяне, аристократы и (главным образом) буржуа. Есть, однако, одно НО.

В сословиях, связанных законом семейно-родовой преемственности, распад этой преемственности является действительно важнейшим предметом для осмысления. Интеллигенция, однако, — явление не семейное и не родовое.

Не нужно путать. Когда говорят «интеллигент в энном поколении», то имеют в виду только анкетные данные. На самом деле интеллигент — он всегда в *первом* поколении.

«Интеллигентность» как навык житейского обхождения есть предмет воспитания и усвоения, даже и с младенчества (бывают же счастливики, которым так подфартило). Интеллигентность как духовное состояние не передается по наследству, по крайней мере автоматически. Здесь нет никакого детерминизма, особенно бытового или натуралистического. Это — личное состояние, основанное на личном выборе и личном способе жить.

Буржуазный принцип, модель буржуазного романа в наших хрониках применены к той среде, для которой они законом быть не обязаны. К идейной среде. А здесь не работает этот закон Будденброков. Здесь работает закон Волшебной горы.

Здесь Иосиф расстается с братьями и отправляется в неизведанные пространства личного бытия. Здесь Ашенбах бросает все — и едет любить и умирать в Венецию. (А меня-то куда вдруг понесло, вдаль от родной словесности? Но строк печальных не смываю. Написал о Мураками, напишу и об Уэльбеке.)

Интеллигент — ненаследственное состояние. И бессмысленно его вписывать в рамку истории рода. Интеллигентские хроники вырождения поэтому бьют мимо цели. В них есть правда, но эта правда для интеллигенции — чужая. Интеллигентский роман не может быть бытовым и родовым. Он должен быть идейным. Иначе ему придется стать пародийным (что отчасти и случилось).

Но появление этой прозы нечто говорит о писателях и об их окружении. Деликатность ситуации связана с тем, что писатель обычно считал себя интеллигентом. Тема, таким образом, почти неизбежно приобретала лирико-исповедальные акценты. Автор и герой так или иначе вступали в тесное взаимодей-

стве. И если что-то не то происходит с героями «интеллигентской прозы», то где же тогда в это время находится автор?

Неужели действительно ушел предмет, утрачен как факт обладатель личностного самосознания — и общество превратилось в сумму технологий? Неужели там и идеи себя исчерпали, и религиозные искания пресеклись? Или, может, причина лишь в своеобразии современной писательской среды? И это сам писатель выписался из интеллигенции? Обленился. Обеднел мыслями. По-тригорински забытовел... И среда его обеднела.

Символично звучит название повести Михаила Кураева «Тихие беззлые похороны» — про ленивых и неинтересных писателей. Они там, в повести, не прозу своего собрата хоронят, они сами себя хоронят. Тихие беззлые люди. Не холодны и не горячи.

Жизнь богемы, наверное, не случайно в современной литературе также проходит под знаком вырождения. Анатолий Найман, Сергей Гандлевский, Валерий Попов, Николай Климонтович, вплоть до Андрея Кучаева и Владимира Соловьева, — каждый по-своему документирует процесс упадка в еще одном популярном жанре современной «интеллигентской словесности» — *богемных хрониках*.

Тусовка. Разборки. Литбыт и просто быт. Упадок больших целей и задач. Как сказала недавно критик И., читавшая лекцию начинающим литераторам, нет ничего более отвратительного, чем литературная среда; только театральная может с ней сравниться. Бескорыстный идейный поиск сворачивается. За невостребованностью уходит герой-идеалист. Духовное томление, осевая тревога — где она?

...Вспомнилось, кстати, как на рубеже 90-х в существовавшем тогда журнале «Искусство Ленинграда» я разбежался с идеальными целеполаганиями для общественной элиты, и как обдал меня тогда скептическим холодом Игорь Сухих. Конечно, он и тогда, и теперь лучше знает, как это бывает в жизни. А я знаю только, как могло бы быть, и верю в чудо...

Роману как истории большой любви и большой судьбы тут места нет. Человек в этих хрониках словно развинчен, у него нет стержня. Он существует от случая к случаю. От будня к будню, в поисках конечных житейских выгод. Реликты веры воспринимаются с холодным скепсисом и разнузданным цинизмом. На фоне спокойного, беззастенчивого присвоения и потребления имеющихся благ. Плюс унылое переживание упавшего статуса. (Как писателя — инженера человеческих душ. Как интеллигента — высшей инстанции морального и социального суда.) Без попытки встать повыше самому.

Сначала советский ангажемент («нам не нужны литераторы-сверхчеловечки»). Образованщина. Потом постсоветский бесполезняк. Интеллигенция как элита перестала быть таковой. Ей некуда стало идти. И никто не ведет, и никто не знает, куда, *wozu*? Отсюда в лучшем случае — нелепые метания такого симпатичного, почти родного, и такого слабого героя романов Александра Мелихова. Так рождаются документы бытового вырождения, духовного упадка и позорной деградации. Интеллигенция в них становится «подлым народом».

Похожие явления фиксируешь на Западе. Тоже измельчание, обмеление. Потребительские массовые законы и вырожденческая деморализованная элита. Почти полная невозможность высоты, серьезности.

Так возникает в некоторых умах представление, что к концу века сбылась мечта идиота. Литература стала приживалкой. И не столько даже у политики, сколько у глянцевого журналистики. Разменялась на коммерческий заказ.

Неужели это последний акт той драмы, которая некогда была похожа на трагедию, а ныне смахивает скорей уже на комедию, озвученную устами мало кому интересных фигурантов? Или что-то тут не так?

Вернемся к вопросу о том, что первично. Материя или сознание? Изменился и утрачен сам предмет — или дело лишь в позиции повествователя?

Я думаю, интеллигенция бессмертна. Что бы кто бы и т. д. Как бессмертен вопрос о смысле жизни. Говорить о бессмертии осевой личности как культурно-экзистенциального типа можно даже не сверяясь с текущей словесностью. Но и акт сверки нечто дает. И много дает.

У Владимира Маканина («Андеграунд») интеллигент-писатель уходит в маргиналы. Переживается это излишне болезненно, в то время как повода так сильно страдать нет. Сверхчувствительный (иногда даже излишне) к атмосфере текущего момента Маканин тут хватил, возможно, лишку (заставив героя стать убийцей). Маргинальность для интеллигента естественна. Маргинальность по отношению к социуму, по отношению к веку. Ее не нужно так бояться. Маргиналами были булгаковский Мастер и пастернаковский Юрий Живаго. И лишь в позднесоветский период привычка к маргинальности у литератора стала вдруг пропадать.

Современный герой-интеллигент — это человек незавершенного поиска, человек обнаженных нервов, человек смятения и страсти. Он и ценен автору и читателю как товарищ по сердечным хворям и риску мысли. Рефлексеры, бого- и правдоискатели, борцы с бытом и властью... Персонажи Нины Горлановой и Александра Вяльцева, например.

И в конце концов, была же, была повесть Юрия Малецкого «Любью», которая одна, положи ее на чашу весов, перевешивает все ваши пухлые хроники распада — как документация духовного поиска, того беспокойства, остановить которое не под силу ни герою, ни автору. Хотя отлиться в звенящий на ветру металл судьбы, в твердь поступка этой жизни духа не суждено.

Был и проект Дмитрия Галковского «Бесконечный тупик», явившего уникальный личностный опыт — опыт бесстрашного самовыговаривания, самоисчерпания.

Это те актуальные явления в русской прозе, которые резонируют на самые живые поиски в восточно-западных литературах, где развиваются аналогичные процессы и в центр читательского внимания выходят книги с кризисным переживанием современности, с неутоленным героем-искателем и стойком, у которого все внутри кричит... (О самых явных параллелях — Уэльбеке и Мураками — я уже упоминал.) Осевая личность, обращенная к вечным проблемам и проклятым вопросам бытия, остается задачей современной литературы и перспективой духовного роста для современного сочинителя.

Скажу больше: в современной литературе к интеллигенции имеет, вероятно, отношение «все, что шевелится». Включая идейных мракобесов, ультралевых анархистов, молодых провокаторов и прочих не всем симпатичных личностей. Исключая демагогов и спекулянтов. Идеализм бывает нетерпимым и редко готов к компромиссам. В конце концов, никто же ни разу еще не сказал, что интеллигенция всегда права (такая правота считается привилегией «народа»). Но даже если она почти всегда не права, это не повод ее запрещать или упразднить. Тем более, что и не получится. Ведь уж сколько раз пытались. Безрезультатно.

Ярославль.





---

---

# Р Е Ц Е Н З И И. О Б З О Р Ы

## КОНТРОЛЬНЫЕ КОНОНОВА

Николай Кононов. Магический бестиарий. В трех разделах. М., «Вагриус», 2002, 300 стр.

Разум мой! Уродцы эти  
Только вымысел и бред.

*Николай Заболоцкий.*

**Р**ассказы Кононова, мелькавшие в течение последних лет по разным периодическим изданиям, теперь собраны и вышли отдельным сборником. Вторая прозаическая книга писателя — ранее более известного в качестве оригинального поэта, автора «самой длинной строки», — судя по всему, не привлекла столь пристального внимания, как предыдущая, — широко обсуждавшийся и много куда номинированный роман «Похороны кузнецика», — хотя внимания она как раз определенно заслуживает. То, что в «Похоронах кузнецика» могло показаться случайной находкой, стилистической причудой, а в отдельных рассказах — сопутствующим роману материалом или даже неумелостью «новичка», преодолевающего несвойственную фактуру, теперь обрело целостность и законченность в явно просматриваемом стилевом единстве и единой целеустремленности, что, собственно, и определяет в совокупности авторскую индивидуальность. Иными словами, перед нами не поэт, попробовавший свои силы в смежном жанре, а новый писатель-прозаик со своим художественным языком и со своими задачами. Причем не столько стиль, которым в стране повсеместной грамотности не поблескивает разве что ленивый, но — своя проблематика, тема, насущная потребность высказывания заметно отличают Кононова как от различных представителей постмодернистской литературы, с которыми его частенько смешивают.

Впрочем, особенности кононовского стиля и его повествовательные приемы плотно связаны с содержательной стороной и являются ее прямыми следствиями. Основная, как мне представляется, особенность прозы Кононова, в чем и ее известная доля новизны, — это перенесение внимания (точнее сказать, акцента) с того, о чем рассказывается, на самого рассказчика, так что можно говорить об особом подвиде сказа. В книге одиннадцать рассказов и повесть, и за единственным (возможным) исключением все они построены как повествования от некоего первого лица (неких лиц) о своем более или менее близком прошлом. Обычным фоном, что следует хотя бы один раз отметить, служит провинциальный городской быт, прописанный детально-зримо, с сильным ностальгическим чувством, причем, как правило, дается понять, что в настоящий момент рассказчик находится в другом топографическом пространстве. В отдельных историях-фрагментах охватывается значительный возрастной спектр: наблюдения взрослых героев-рассказчиков могут перемежаться с детскими и школьными воспоминаниями («Гений Евгении», «Мраморный таракан», «Я и фарго и ботва», «Как мне жаль») или впечатлениями из студенческих лет («Воплощение Леонида», «Гагамехия», «Амнезия Анастасии», «Пробуждение офицеров», «Источник увечий») и т. д. Особняком стоит «Тяжелый фильм» — история солдата времен Великой Отечественной войны, некоторым мистицизмом напоминающая «военную прозу» Мирчи Элиаде. Но и здесь в первых абзацах мелькает некое «я» («Весь лабиринт прошлой жизни я теперь обзираю сверху... Со мной так много всего, что я ничего не могу забрать... Ведь я — это он»), так что все последующее понимается как пересказ в третьем лице чужих фронтовых воспоминаний, которые теперь — достояние и часть бытия повествователя (подсказка о возможности такой трактовки находится в следующем рассказе — «Мраморный таракан», где в финале рассказчик сожалеет, что в свое время не расспросил у своего героя, фронтовика-учителя, о его военном прошлом). И хотя на первый взгляд в центре внимания автора обычно какие-то внешние события и другие персонажи (соседи, приятели по учебе, учитель, случайные знакомые

и т. п.), но собственно главным героем почти всегда является повествующий. Сюжетообразующую функцию выполняют не столько изображаемые житейские истории, а то, как о них рассказывается, понимая под этим как не какую-нибудь особую, вычурно-«сказовую» авторскую манеру письма (речь рассказчика вполне интеллигентски нейтральна, хоть и отличается повышенной синтаксической изысканностью, метафоричностью, психологической детализацией), а самый процесс — о чем рассказчик говорит в первую очередь, что представляет подробнее, о чем умалчивает, где сбивается на другой лад, какие слова подбирает, — из чего параллельно предметно-событийному ряду случая или «байки» раскручивается психологическая интрига взаимоотношения повествователя со своим повествованием.

На линии «автор — рассказчик — рассказываемое — читатель» Кононов выделяет еще одно звено — позицию рассказчика в настоящем, наблюдающего себя в своих воспоминаниях, что можно сразу и не заметить в силу яркости этих «воспоминаний», их шокирующей откровенности или болезненности. Проиллюстрирую на примере из текущей критики. Не так давно, обсуждая роман Кононова «Похороны кузнечика» (см. «Новый мир», 2002, № 4), Никита Елисеев привел в качестве прототипа кононовского отношения к эротике и вообще к телесному рассказ Куприна «Морская болезнь», в котором, цитирую: «Тошнотворное состояние женщины, интеллектуалки после того, как ее изнасиловал жлоб, — это ощущение все того же прыщавого подростка, воспитанного в эстетических традициях, напрочь отвергающего эротика...» Не подвергая обсуждению сию трактовку рассказа Куприна, возражу по поводу прямых аналогий, когда критик заключает о таком же переживании телесного у Кононова. Рассказчик в его прозе занимает ту же позицию по отношению к себе, свидетелю неких событий, что и Никита Елисеев, как бы ставящий себя или читателя на место подростка, по отношению к купринскому тексту. По сути дела, анализируя читательское восприятие, Елисеев пишет типичный кононовский рассказ, так что не удивлюсь, если приводимое критиком понимание Куприна возникло именно под влиянием (то есть после чтения) Кононова. А если так, то была реализована одна из основных целей кононовской прозы (о чем подробнее — ниже) — побуждение читателя к самоанализу, «снимающему» психические травмы. Иными словами, это выделение особой позиции рассказчика в настоящем принципиально: в прозе Кононова мы всегда имеем дело не с «прыщавым подростком», но со взрослым, пытающимся схватить в самом себе этого подростка-вуайериста за увертливый загривок.

Итак, в определенном смысле каждый рассказ Кононова — это своего рода психоаналитический отчет, в котором сообщаемое важно не только само по себе, но прежде всего как свидетельство о состоянии говорящего. Конечно, «психоаналитический отчет» — в переносном смысле: Кононов чаще всего избегает прямолинейных сюжетных указаний, какие, например, находим в классическом психоаналитическом романе «Плот Медузы» Веркора, где основная часть представлена как расшифровка сделанных врачом магнитофонных записей. Это, с одной стороны, несколько усложняет повествование, поскольку читатель может только догадываться, в какой коммуникативной ситуации он оказался; правда, в некоторых случаях по ремаркам рассказчика и всему ходу повествования можно предположить, что перед нами или «писатель», сочиняющий новую повесть («Гагамахия»), или «знакомый», рассказывающий какую-то байку («Микеша»), или действительный или бывший «пациент» психиатрического учреждения («Источник увечий»), и, возможно, «Гений Евгении», где бросается в глаза характерно маркированная фраза «мой эдипальный анамнез»). С другой стороны, незафиксированность повествовательной ситуации создает иллюзию непосредственного заглядывания во внутренний мир рассказчика — в котором он буквально на наших глазах более или менее успешно пытается разобраться, то есть облечь в структурированную, осмысленную форму, просто выговорить — например, понять, как появляются воспоминания, что они означают, почему нечто было настолько важным, что оказалось запомненным...

В этом смысле, пожалуй, наиболее характерен рассказ «Гагамахия» — поистине титаническая битва с Гагой или за Гагу, не то подруги, не то (пол намеренно не прояснен) — близкого друга юности, сражение с памятью, которое происходит под

пером одного из наиболее сложных кононовских рассказчиков. После небольшой преамбулы воспроизводится обобщенная воображаемая поездка на троллейбусе (составленная из целого пучка воспоминаний) на окраину города, к отцу Гаги. Попутно дается подробная панорама города, затем рассказчик пытается вспомнить некий важный «непристойный эпизод», случившийся с ним и с Гагой, но отвлекается на странное, расплывающееся в галлюцинациях событие, когда во время одной давней совместной поездки по тому же маршруту в салон ввалилась агрессивная толпа солдат («На этом отрезке меня преследуют эринии, обряженные в тоскливые солдатские робы»). Затем следуют воспоминания о встречах с Гагой и кульминация — этот самый «непристойный эпизод». Рассказчик, правда, от его прямого изложения все-таки уклоняется и лишь намекает на суть дела, описывая появление и действия перед загорающими друзьями некоего вуайера-экзгибициониста, которого он чуть позже разоблачает как выдумку, как своего «немолодого шизонутного шандархнутюго двойника». Далее описаны встречи с отцом Гаги и финальное курение подаренной цыганами «травы», так что весь рассказ начинает видиться через наркотическую дымку.

Перед нами этапы воспоминаний довольно частого у Кононова рассказчика-«писателя». То, что он — «писатель», можно заключить из вступления — слегка стилизованного под авторский зачин в духе семидесятых, эдакую писательскую рефлексию, размышления о мотивах и истоках собственного творчества типа: «Старых сюжетов, издавна волновавших меня, горевших когда-то вблизи, а потом и подпаливавших всего меня хрупким, но распирающим до сих пор болезненным огнем по прошествии многих лет, становится все меньше... И я давно не ищу каких-то по-особому достоверных оснований моего смысла. Все само собою заявляется незванным ко мне». Это — максимально, вплоть до узнавания, до отчетливой структуры, почти до штампа отредактированная (понимая здесь под редакцией — сознательное, создающее определенный коммуникационный контекст преобразование некоего довербального материала) часть рассказа. Стилизация, замечу, здесь не заслуга рассказчика, который уж как «сумел», так и «написал», но служит автору для характеристики героя как «писателя» определенного стиля и уровня, при этом автор и рассказчик оказываются четко разведены (такое их разделение и игру на мере их близости можно обнаружить почти в любом рассказе книги). Итак, если в рассказе рассказчика речь идет о неких событиях, то рассказ автора — о том, как рассказчик-«писатель» пишет рассказ. То, что для рассказчика цель, для автора — метод. Собственно, у героя-«писателя» рассказ не очень-то и получается: начав со внятного зачина, он вроде бы пытается нечто вспомнить («Вот мимо меня движется травленая прекрасная рухлядь моих драгоценных предместий, мимо которых мы с Гагой проходили сотни раз»), но постоянно отвлекается на кажущиеся поначалу посторонними подробности, вольно или невольно сбивается на разного рода отработанные литературные ходы (например, в перечислительной манере Тимура Зулфикарова: «Короткое тело, развернутое, как грозное облако в профиль, липко припало-приникло-прижалось к Гагиному тощему плечу чересчур-слишком-безумно-тесно, еще теснее, еще, и, заходив ходуном, стало тереться-вдавливаться-колотиться, дрожа в несуществующую преграду стенобитными упорными толчками») и штампы сюжетосложения, а порой и вовсе перестает контролировать свою речь — рефлектирующую, многократно варьирующую нюансы, по-саратовски зацикленную, мелко дробную, так что читатель, если захочет извлечь логическую связь из всего этого, поневоле сам должен будет оказаться в роли писателя (еще один способ «вовлечения» читателя, служащий все той же цели). Это относится в первую очередь к эпизоду с солдатами в троллейбусе. Что есть эта «солдатня» («Ну, они, тоже ведь молодые задорные люди, мы учились с ними в одной нехорошей школе, стригли ногти примерно одними тупыми ножницами...» и т. д.), то ли просто от скуки жестоко когда-то приставившая и напугавшая рассказчика и его подругу («Мы глазами или читаем, а они пихаются»), то ли даже ее убившая («Судорожно вынутый из разорванного галифе, подхваченный кулаком штырь уперся прямо в живую Гагину шею, щеку»), трудно сказать однозначно. Предположу, что в галлюцинирующем сознании рассказчика какое-то давнее и, увы, позорное столкновение с армейской шпаной отягчается так и остающейся для нас безвестной

гибелью Гаги (об «уходе» которого и «через столько лет ничего нельзя прояснить»), порождая тяжелый кошмар.

Практически в каждом рассказе мы имеем небольшой психологически-языковой детектив, где не так уж просто разобраться, причем не только в том, что происходит с говорящим, но и зачастую с тем, о чем он рассказывает. Недосказанность и неоднозначность принципиальны для Кононова в его лингвистическом, языковом подходе к реальности, опирающемся — о чем часто писалось — на современные западные психоаналитические и философские воззрения (что, впрочем, существенно лишь генетически). Мы выбираем ту или иную трактовку, какая кажется более убедительной или подходящей. И тем верней это в случае такой литературной условности, как рассказчик, представляемый автором в качестве особого персонажа, полнотой информации не обладающего. В рассказе «Леонид» некто вспоминает о своем институтском знакомом (видимо, умершем, хотя «кто поручится, что его нет вообще, если я вижу его и знаю отчетливо каждую деталь его существа без посредства медиума, просто сострада его завершенности»), причем не только воссоздает его образ из отдельных собственных или чужих сведений, а пытается домыслить, довыплотить в живом визуализирующем воображении («Образ Лени стал возможен, когда наступило его небытие и он сам на сложившуюся сумму никак не повлияет»). Игра в воплощение заканчивается, когда всплывают новые факты (то, что тихоня Леонид — профессионал-картежник), прямо противоречащие созданной в воображении картине, и возникает другая трактовка, не вызывающая вдохновения у рассказчика.

Итак, Кононов создает полноценный мир, о котором, как и об окружающей нас физической реальности, можно выносить противоположные, но равно обоснованные суждения, — при этом имеются несколько психологических планов, поразному соотношенных с прошлым, разнесенных по уголкам памяти, имеющих разную степень очевидности, глубины и доказательности, — я бы назвал это психологию или лингво-аналитическим реализмом.

И разумеется, при таком языковом подходе к миру на первое место выступает стиль как средство ориентации в вербальной реальности. Кононов просто не может не быть «стилистом», то есть автором, свободно использующим широкий функционально-стилевой арсенал, поскольку иначе те задачи, которые он перед собой ставит, неразрешимы. Характерно, что даже на микроуровне отдельных фраз и синтагм речь его персонажей-рассказчиков насыщена разнообразными явными и скрытыми языковыми ухищрениями (в чем автору, несомненно, помогает многолетняя поэтическая практика). Вот, например, брошенная мимоходом, ироничная звукодинамическая характеристика из «Гения Евгения»: «С кастрюли сдвигалась крышка как апофеоз», это — с одной стороны — сдвигологическая (в терминологии Крученых) какофония, а с другой — скрытая цитата из Заболоцкого, у которого через зияние: «И чугуны, купели слез, / Венчают зла апофеоз» — передан безмолвный оркота, ворвавшегося на аналогичную коммунальную кухню. И если герои-рассказчики Кононова убеждают в том, что их чувства, наблюдения и переживания происходили/происходят на самом деле, так что их «подвиги» часто приписывают самому автору, то это в значительной степени именно благодаря гибкой и выразительной языковой мимике.

Ведь убедительность для Кононова чрезвычайно важна, поскольку только ощущение подлинности истории, непосредственное столкновение читателя с чем-то «чужим» во всей его жутковатой чужести может вызвать терапевтический шок узнавания, открытие в себе чего-то подобного, а значит, и возможность целения. А это означало бы и определенный успех «высокой» по своей задаче прозы Кононова. Если бы только такая «учительная» задача не сочеталась с самонадеянностью обладателя панацеи, которая, увы, может травмировать не только «терапевтически», но и по-настоящему. Грех этот выражается даже не в насмешках над читателем, как у Набокова, что еще можно было бы простить, но в обидной если не снисходительности, то почти не скрываемой жалости (как и у во многом близкого франкоману Кононову Уэльбека).

Причем увидеть эту задачу можно и не озадачиваясь всеми сложными взаимоотношениями автора и рассказчика. Если внимательно и с доверием прочитать,

что там у Кононова русским языком написано, то простая и ясная мораль его басен всплывет без особых усилий. К примеру, уже упоминавшийся рассказ «Гений Евгении». Здесь центральный персонаж, эта самая Евгения, с одной стороны, то есть со стороны уже взрослого рассказчика, предстает в качестве воплощения чистого (без каких-либо принципов, табу, эмоций и различий) эротизма (то, что это не совсем так, а только мнение взрослого рассказчика, которому явно противоречит эпизод с убийством — сжиганием — сына, пока можно опустить), о сущности которого говорится достаточно прямо: «Я ведь только теперь понял ее особенный брачный статус. Я только сейчас догадался, в каком она пребывала супружестве. Она была замужем за пустотой». Самый ритм этих фраз, как бы потрясающих воображаемым указательным пальцем, где палец — завершающий тяжелозвучный архаизм-славянизм «супружество», оставляют мало сомнений в том, *кто* этот «супруг», *кто* неназываемый тут поименован *пустотой*. Ведь очевидно — происшедшая трагедия (даже если она плод больного воображения рассказчика, как тоже имеются веские основания предполагать) есть прямо-таки каноническое следствие союза с подобной «пустотой». То, что *он-пустота* прямо не называется, — весьма важный факт: тут бросается в глаза, что у столь рассвобожденного в языковом отношении автора или, если угодно, у его рассказчиков имеются свои очень жесткие табу: скажем, при обилии античных ассоциаций практически отсутствует лексика из христианской сферы. И это, пожалуй, не столько политкорректность, но попытка максимально скрыть назидание, воздействуя методом наставления на примере. Но, возражу я себе, в мире нынешней прозы Кононова и не может быть христианства. Не случайно ведь редкий рассказ обходится без античных ассоциаций. Неочищенное, закомплексованное сознание его персонажей — это сознание языческое, комплексы (архетипы) — жалкие божки, от которых следует освободиться... Однако если здесь мы имеем назидание, то негативу должно быть что-то противопоставлено. И оно в рассказе тоже никуда не спрятано, это — с другой стороны, то есть со стороны рассказчика-подростка, — его удивительное восприятие Евгении как «чистого образа какой-то телесной щедрости»: «Все темное простиралось где-то там, за гранью моего зрения и, следовательно, разумения». Еще раз уточню, речь не о самой Евгении, но о восприятии подростка, который видел все, что и соседи, и что потом обнаружил в своих воспоминаниях, но принимал в себя совсем другое, чего не замечал никто. Иными словами, не в нас ли самих причина, что из воспринимаемого или описываемого мира внимание прежде всего привлекают всякие уродства и ужасы, то есть пустота, а не мерцающая где-то рядом поэзия, поисками которой занят рассказчик «Гения Евгении»:

«Но больше всего мне нравилось, когда Евгения просто одиноко стояла, заняв большую часть моего зрительного поля, ограниченного сучком. Почти не шевелясь в дряблом вечереющем свете. Как изумительное видение, равное робкому свету, который ее пестовал.

Она будто левитировала посредством его слабеющей силы, почти просвечивая».

Так что странной на первый взгляд вводной преамбулой к «Гению Евгении»: «Итак. Самое главное. Что надо помнить во время чтения. Это вовсе не смешная история», — герой-рассказчик, вспоминая смешки и прочий «курьезный фон», сопровождавший его героиню в прошлом, пытается защитить свои воспоминания от насмешек, боязливо воображая своих неведомых читателей подобными тому коммунальному окружению.

И если так, то как глубоко прячет автор свое сокровенное послание!

Повесть «Источник увечий» уже не раз обсуждалась в критических статьях, а сюжет ее пересказывался, но тем не менее ее нельзя обойти вниманием как занимающую центральное (по значению) положение в сборнике, объединяющую и выходящую много из того, что в остальных рассказах было лишь намечено. Прежде всего здесь четко обозначена коммуникативная ситуация. Во-первых, герой-рассказчик действительно находится (или побывал на излечении) в какой-то психиатрической лечебнице («в этом замкнутом заведении»), о чем сам говорит в заключающей повесть письме, и, во-вторых, процесс рассказывания-воспоминания служит терапевтической цели (не случайно в книге повесть помещена в «Раздел

излечимых болезней»), так что во введении мы слышим речь практически излечившегося человека: «...я сейчас не испытываю ни раздражения, ни неприязни, ни брезгливости... И я, по принуждению описывая все эти истории, их из себя выпалываю (курсив мой. — Д. П.)». И вся первая часть, «Здоровье», в которой описывается история дружбы рассказчика с однокурсником Овечиным и его девушкой Олей, написана ясным, внятнм, утонченным и даже в некотором смысле «невинным» языком, какой сгодился бы даже для доперестроечного журнала «Юность». Так что когда повествование доходит до кульминации, до совместной лыжной прогулки, где произошло возникновение любовного чувства рассказчика к Ольге, слова о физическом «хотении» (уж не буду их повторять) на фоне всего предыдущего звучат неожиданной прямолинейностью, даже грубостью — переломом в установке рассказчика. Впрочем, герой и сам осознает, что «источник» его «увечья» именно в том нереализованном чувстве: «Я ведь любил ее особенным образом. Будто уже потерял навсегда и вся она — далекое воспоминание о невосполнимой горестной утрате... И она стала не моей любовью, а моей болезнью».

Вторая часть повести — это обострение болезни, вызванное новым появлением Овечина в жизни рассказчика. Овечин — бывший комсомольский активист, строивший карьеру советского чиновника от науки, после перестройки перешел в бизнес и стал, что называется, «новым русским». Попав в ситуацию каких-то сложных бандитских «разборок», он пытается спасти себя и свое состояние, переписав все на, как выясняется, душевно не очень здорового институтского друга, которого пытается убедить в том, что они оба одновременно являются отцами ребенка от давно умершей Ольги. Далее Овечин погибает от бандитских пуль. Подписи на документах, сделанные специальными чернилами, исчезают, рассказчик оказывается в больнице, и в результате успешного его лечения мы имеем обсуждаемое литературное произведение. Однако сюжет с элементами пародии на бульварный триллер не столь однозначен: например, из явной бредовости истории с двойным отцовством можно сделать вывод (встречаем у одного из критиков), что герой тут один и вся история — о раздвоении личности рассказчика. Хотя, как я уже отмечал, художественный мир Кононова не исключает возможности множественных толкований, такая трактовка представляется бесперспективной для понимания содержания повести. Ведь параллельно сюжету о болезни, вызванной сексуальными комплексами, здесь прослеживается интрига об искушении совсем другого свойства. Овечин-Ничего выступает как символическое олицетворение советского строя и идеологии («Ведь у него [Овечина] на все про все была теория тотального материализма... его скрупулезный бред, последовательный и весьма напыщенный и, кстати, совершенно неотличимый от общего здравого смысла тогдашней эпохи»), их пошлой — пустой (та же *пустота*, что разоблачается в «Гении Евгении», но заключенная не в телесную, но словесную оболочку) и мертвящей — сути. И если герой-рассказчик устоял от искушения в юности, то новая его встреча с переродившимся искусителем-Овечиным (по этой самой пустой сути оставшимся прежним, недаром уже излечившийся рассказчик даже воспоминательное возникновение образов Овечина в своем сознании называет «бессовестным и бесноватым») оказывается едва ли не фатальной.

Для понимания прозы Кононова и ее места в современной словесности важна ремарка рассказчика в начале повести, которую с долей осторожности можно счесть автохарактеристикой: «Единственно, чего я опасюсь в этой истории, — быть ироничным. Если так — то он [Овечин] все-таки всех победил». Наш разрушенный, «ироничный», дезориентированный, постмодернистский мир — наследие прежней власти Овечиных и удобное поле для осуществления их новой победы. Своей принципиальной серьезностью и взрослостью Кононов противопоставит усредненному постмодернистскому «ничего» в современной литературе, предлагая читателю помимо барочно-сложной стилистики и эстетики нечто весьма для русской литературы традиционное — свой путь личного спасения (правда, по западным образцам). И в этом один из смыслов эпиграфа к книге из Св. Бернарда: «Но для чего же перед взорами читающих братьев эта смехотворная диковинность, эти странно безобразные образы? К чему тут грязные обезьяны? К чему дикие львы? К

чему чудовищные кентавры? К чему полулюди?» Всеми доступными ему способами автор побуждает, подстрекает, провоцирует читателя обратить взор от книги на себя и, подобно героям его рассказов, выявить и изгнать оттуда как разных ювенильных «грязных обезьян», так и «чудовищных кентавров» — полулюдей-овечных. А еще лучше их туда и не допускать: как возникают подобные монстры, убедительно показано Кононовым в блестящей злой сатире «Микеша» — о родителях, насилующих сознание ребенка страхами перед неким всемогущим, «пребывающим в нестерпимом блеске» Микешей, фантомом, базирующимся на детских фобиях.

И все же, несмотря на формальную сложность, при чтении новой книги Кононова не покидает ощущение чего-то очень знакомого, простого и разумного, если уж не доброго и не вечного. В какой-то момент понимаешь, что вовсе не обязательно штудировать Лакана (хотя само по себе и не вредно), чтобы понять этого прозаика. Перед мысленным взором вдруг возникает фигура вооруженного указкой школьного учителя, например, биологии, еще не старого, видимо, широко вне своего предмета образованного, ироничного и проницательного, а в классе, значит, мы — то ли читатели-критики, то ли герои его рассказов. Один учеником-любимцем-отличником руку тянет; другому припоминается, что за это самое, о чем преподаватель между делом говорит, до царя Гороха на Соловки ссылали; этой вдруг примерещилось что-то настолько личное, и вот ненавидит она его до физиологического отвращения, а у кого-то еще какие-нибудь «источники увечий», — но главное, чтобы урока не слушать. А он видит насквозь весь класс (как герой рассказа «Мраморный таракан», учитель истории, одного движения брови которого «было достаточно, чтобы все поняли, кто есть кто и что из себя вообще-то в этом скорбном настоящем времени представляет»), о всех сожалеет (в одной из первых книг стихов Кононова, «Пловец», целый раздел весьма тяготеющих к сюжетной прозе стихотворений был посвящен учительскому опыту: «Я сто десять контрольных трагичных проверил... скорей / Повзрослели бы, что ли... Обида внутри»), но не впрямую мораль читает, поскольку знает, что это никому не интересно, а предлагает эдакое руководящее наглядное пособие (и в этом известный недостаток книги, ведь поскольку набор сексуальных «травм» весьма ограничен, то их повторяемость и угадываемость от рассказа к рассказу выглядит, правду сказать, немало утомительной, как если бы в одном из них герою отрезали руку, в другом — другую руку, потом ногу и т. д.) и в сотый раз объясняет, что, мол, всякие «кентавры» в книжке, как и в жизни, хоть весьма притягательны из-за тесной связи телесного и психического и даже до смерти опасны, но все-таки преодолимы, надо только набраться мужества и не хихикать, как «прыщавые» школьники, а прямо посмотреть в себя (ну да, в «глаза чудовищ»), на свое настоящее и прошлое, и снять заклятие с «магического bestiария», чтобы, может быть, потом взглянуть новым спокойным взором туда, «где эти существа, исчезая, когда-то бытовали».

Дмитрий ПОЛИЩУК.

\*

### «ТАК ПРОИСХОДИТ ЖИЗНЬ...»

Ирина Ермакова. Кольбельная для Одиссея. М., Журнал поэзии «Арион», 2002, 126 стр.

**М**есто рождения — Керченский пролив. Я понимаю — какое нам, собственно, дело до того, что Пушкин родился в районе метро «Бауманская», а Маяковский — на территории ныне не вполне дружественной Грузии. Однако, даже не веря в мистические совпадения, можно протянуть от точки рождения автора в четырехмерном континууме пространства-времени такие цепочки ассоциаций, которые могут стать ключом к поэтике.

Короче — Керченский пролив. Мама рождает, не успев доплыть на катере до другого берега. Естественно, не могу удержаться и произвольно достраиваю картину: ночь, смоляные черные волны, холодные брызги, студёный мартовский воздух и качка, качка, качка. «И по маслу, по лунному черная ходит зыбка»... Весьма сим-

воличное явление нашей героини в мир, на границе двух стихий — водной и воздушной. Суши и в помине нет — не считать же сушей взлетающую на волнах посудину. Почти мифологическое рождение из морской пены — только в объятия другого, более жесткого климата. И кто же Ермакова по гороскопу? Конечно, рыба — кем ей еще быть.

**Мосты и туннели.** Кстати, что это за географическая точка — Керченский пролив? Это средоточие нескольких между — между двумя частями света, двумя акваториями, двумя горными системами. Здесь сходятся Европа и Азия, черноморские и азовские волны, Крым и Кавказ, Запад и Восток, античность и скифия, эллинизм и христианство... Но не забудьте о времени рождения. Оно тоже срединное — самая макушка века. И пока еще сталинское — интересно, какую цепочку ассоциаций мы выудим отсюда? Разве что вспомним неосуществившуюся идею, одну из великих *не-до-строек* социализма — мост через Керченский пролив, куда родители героини, молодые энтузиасты-мостостроители, были принесены ветром романтики. Моста не случилось, но в кровь дочери какой-то фермент попал. Ее унаследованная специальность вполне символична — «Мосты и туннели». И, продолжив наши игры, обнаружим ее тоже стоящей *между* — между классической традицией и авангардом, между романтизмом (если хотите, романтикой) и едкой иронией постмодерна, между социальностью и чистым искусством, между...

Сквозь темную длинную ночь на закрытый норд-вест  
 плывет обрастая легендами солнечный жест  
 так желтый подфарник облипнет поземкой витой  
 и днище затопленной баржи ракушкой густой  
 по ней пробегают стеклянные пальцы медуз  
 и баржа качается в грузной воде и не спит  
 и сдавленно-ржавый над степью разносится хруст  
 и светятся мертвые пули в приморской степи.  
 И степь обрастает заснеженной речью чужой  
 как ветка огнем как душа обрастает душой  
 на память о солнце  
 и все покрывающий снег  
 похож на молитву за тех и за этих. За всех.

**Импринтинг.** Можно условно сказать, что в случае Ермаковой имеет место «импринтинг» — запечатление образов еще на досознательном уровне. Ее поэтика — это поэтика воды и воздуха. И не только на уровне ключевых слов (*вода* присутствует в каждом втором стихотворении, *пены, волн и брызг* тоже предостаточно), но и на уровне физического ощущения окружающей среды — плотности, прозрачности и вытекающих отсюда оптических закономерностей. Основные школьные понятия волновой оптики — интерференция, дифракция. Так, камень, брошенный в воду, становится источником волн, а в случае двух камней, брошенных одновременно, волны накладываются друг на друга, увеличивая амплитуду в местах пересечений. В «водной стихии» ермаковских текстов смыслы слов зыбки и многозначны, а волны ассоциаций, распространяясь от каждого из них, пересекаются и в результате приводят к усилению, акцентированию смыслов. А принцип Гюйгенса? Всякая точка, до которой дошла волна, сама становится источником волн. Так, композитор Глюк здесь одновременно и *глюк*, а неумолимый *Рок* одновременно оборачивается и рок-музыкой. Бабочка живая — и черная бабочка дирижера — и бабочка сожженных легких — все они легко перетекают одна в другую. Но и это еще не все. В мире Ермаковой, навывлет прошитом сияющим летучим светом (самый сильный ключевой образ), оптические эффекты усилены еще и тем, что поэтическая, то есть оптическая, среда ермаковской поэзии сложна и неоднородна — спрятанные тут и там зеркала, пузыри, чешуйки, линзы нарушают прямолинейный ход лучей, вызывая дифракцию. Поэтому ее мир прозрачен и одновременно расцвечен всеми цветами спектра.

**Многоцветность.** Однажды Ермакову упрекнули в том, что ее эпитеты слишком элементарны — в основном преобладают цветковые. Но цветовой эпитет Ермаковой не прот, а всегда многослоен. Излюбленный ею *золотой* расщепляется на целый семантический веер — здесь и свет, и блеск, и сладость, и превосходная степень, и выражение любви, и много чего еще. Той же многозначностью оттенков играет и



черный — в нем ночь, непрозрачность, глухота, тяжесть, не проявленность, но главное — мрак, обрамляющий блистающую сцену.

Любопытство заставило меня просчитать цветовые предпочтения автора, и тут я обнаружила некоторые неожиданные. Задам вопрос: если человек описывает стихию воды и воздуха, как вы думаете, какой цвет он выбирает? Полагаю, все сойдется на синем и голубом. Интересно: именно этих цветов в текстах Ермаковой мы почти не встретим. Зато в них мощно лидирует желтая часть спектра, включая упомянутый золотой. С небольшим отрывом идут зеленый и белый. И, конечно же, черный — как фон для разыгрываемой феерии.

Ермакова работает как живописец-импрессионист — исключительно чистыми красками. Многие стихотворения поражают тем, как она разрывает убаюкивающую гармонию нервным красным пятном, пылающим мазком.

**Визуальность.** Все мы пишем (да и воспринимаем) стихи по-разному. Есть такая теория в психологии — у разных людей в разной степени проявлены семь различных видов интеллекта: вербально-логический, аудиальный, визуальный, кинестетический и т. д. Если судить по ведущей модальности, то есть главному сенсорному каналу, Ермакова — чистый визуал. Ее стихотворение всегда складывается как картинка, причем обязательно цветная. Она ее сначала видит, потом описывает.

**Голограмма** — на нее больше всего похож ермаковский текст, если уж разговор пошел в терминах волновой оптики. Напоминаю, что голография — это метод записи и преобразования волновых полей, основанный на интерференции, когда на фотопластинку направляют две волны от одного источника света — опорную и сигнальную, рассеянную объектом. То, что зафиксировалось на светочувствительной поверхности, — и есть голограмма. Если теперь поверхность облучить опорной волной — возникает объемное изображение предмета. Самое фантастическое состоит в том, что за этот фантомный предмет можно заглянуть и увидеть его заднюю сторону! Стихи Ермаковой голографичны в том смысле, что под определенным углом зрения (*то есть настроившись на ту же волну!*) можно не просто увидеть объемную картину, но, обогнув в ее пейзаже любой камень или куст, обнаружить за ним что-то еще, не означенное в первоначальном тексте, и тем не менее существующее, — совершенно фантомную, но реальность! Да к тому же реальность движущуюся — за счет очень динамичных глаголов, которые автор так любит употреблять. Ядро творческого акта — создание параллельного мира, и теперь автору остается только сущая мелочь — подробнее описать эту сотворенную действительность.

**Музыка.** Еще одно важное свойство данной поэтики — в ней в равной степени работает и второй сенсорный канал — слуховой. Созданный Ермаковой мир — это лавина музыки. И дело не в том, что названия инструментов и музыкальные термины разбросаны по всему тексту (в наличии целый оркестр — скрипки, виолончели, саксофон, кларнет, флейта, барабан, труба, тромбон, контрабас, литавры, даже шарманка), а в том, что они действительно играют — джаз, свинг, блюз, рок. Впрочем, В. Губайловский уже отмечал сходство поэзии Ермаковой с джазом, поэтому повторять нет смысла. Остановлюсь на другом. Музыка (еще один вид волнового движения в природе) у Ермаковой пронизывает весь мир насквозь, являясь маркером одухотворенности: «рассыпанная музыка растет», «лохмотья музыки треплет глухой сквозняк», «оркестр играет на плаву — земля упразднена», а герои, заводя пластинку, чувствуют, как «каленные капли смеясь рассыпал пробежавший над нами невидимый вал» (везде волна, стихия, рвущая сердце и не дающая уснуть, успокоиться). Весь этот музыкальный напор естественным образом ассоциируется с водой, хлещущей из потолочного люка, из самого Аида, пока оркестр играет «Орфея и Эвридику» Глюка, с той самой водой, которая заливает корабль, и тогда «по барабану ему волнистый купорос», а оркестр играет на дне рыбам и медузам, но дно — это еще не смерть и не конец, и не только потому, что музыка бессмертна, но и потому, что столь родная, сколь и страшная стихия выглядит обещанием иной, неведомой оптики:

Какая глубина, мой свет, под нами!  
манит звезда морская плавником,  
шныряют рыбки птичьими роями,

черемуха цветет на дне морском,  
услужливые щупальца актиний  
уже почти касаются копыт,  
глубинный свет — зеленый-черный-синий —  
ее лучом смирительным прошит.

Море и музыка единосущны, поэтому так легко сказать, что «в оркестре моря фальшь, избыток медных». Музыка захлестывает, в ней сочетаются сонное забвение, нирвана — и бешеная тревога, взбаламученная реальность.

**Звук.** Но не только музыка — Ермаковой важен вообще любой звук, придающий экспрессию даже самым неподвижным предметам. Галька *взвизгивает* под ногой, снег то *ревет*, то *визжит как шрапнель*, воздух полон *звона* (звон *разбрызган!* Также есть еще *брызги оаций*, *рев распыленный*, *брызги Леты*). А блюз *хлещит* — вот она, стихия воды! — тростник *голосит*, Итака *рыдает*, шарманка *скрежещет*, волны *бренчат* о сваи, *орет* кот на руках, *тукает* о крышу спелая слива, *гремит*, болтаясь, рельса на ветру, *стонет* металл на войне, а надо всем этим пестрым многоголосьем бездумно и безумно распевает меланхольная пастушка, в голосе которой «таится торжество и рокот донных вод», а в крови «текут расплавленные звезды и жалят и гудят бряцая там и здесь».

Стихотворный голос Ермаковой «всегда поет», как та пастушка. Это «фонетический» тип стихосложения, преимущества которого наиболее ярко проявляются, когда оно — звук, а не текст.

«**Оглашенный божий пир**». Но что же лежит в самой сердцевине реальности, столь избыточно поющей и сияющей, обрушенной нам на голову, как просвеченная солнечным залпом горькая зеленая волна? Чувство безмерного, бьющего через край счастья, потому что жить весело, а жизнь прекрасна, потому что даже сквозь самые бедственные и тяжкие минуты существования все равно просвечивает «оглашенный божий пир», на который мы все приглашены. И не только приглашены, а и сами помогаем этому пиру случиться — одним своим присутствием, своей жгучей благодарностью за этот подарок.

*«Красоты неизбывной тьма, великая сила, / легион несметный. Еще бы — / сама просила».*

*«Ох и балуешь меня, Господи. / Для чего?»*

*«Хорошо-то как, Господи, в доме Твоем плыву, / отдышусь и черпаю, присвистываю, живу / и держу всю эту музыку на этажах, / только бабочка Глюка барахтается в волнах».*

Однако прямых высказываний от лица лирической героини в книге не так уж много. Она не любит явно называть чувство — скорее действует косвенно, светом, цветом, звуком, запахом, ощущением звездных мурашек за шиворотом. А еще она то и дело меняет обличья. Иногда выступает в роли невозмутимого наблюдателя, чаще — восторженного слушателя (при этом не без легкой иронии), но вдруг может примерить на себя личину улитки, которая зверь «не горячий и терпеливый», ожидающей своего непутевого *улита — улисса — Одиссея* в запущенном доме. (И опять мерцает многозначный образ — дом *запущен* в полет, когда улитка начинает «горячиться, искриться».) Мы можем увидеть героиню не только рыбой, наблюдающей из глубины «весь этот джаз», но и бумажным корабликом, ищущим за краем обмелевшей земли «винноцветное море Гомера». То вечной и верной Пенелопой, то пастушкой, поющей «фаллическую песнь», то мудрой и лукавой собеседницей Апулея, то украденной и вовсе не наивной юной Европой, а то и самой Афродитой, которую так неумолимо обступили больничные стены, но она все равно улетит, когда захочет. Так что это — комедия масок, запутывающая читателя? Нет, это свойство данного мира, данной оптики, данной поэтической системы — один образ, дробящийся на множество отраженных и переотраженных смыслов. А на самом деле героиня — одна-единственная.

**Почти роман.** «Кольбельная для Одиссея» — четвертая книга Ирины Ермаковой. Две первые («Провинция», 1991; «Виноградник», 1994) остались почти незамеченными, третьей же («Стекланный шарик», 1998) повезло больше — о ней написано в статье В. Губайловского «Борисов камень» («Новый мир», 2001, № 2). Настоящим же «открывателем» поэтического имени стал журнал «Арион», на

страницах которого и публиковались стихи, составившие впоследствии «Колыбельную». Эта книга — почти роман в стихах, выросший из случайного зерна — одноименного стихотворения, напечатанного в «Стеклянном шарике».

Он говорит: моя девочка, бедная Пенелопа,  
ты же совсем состарилась, пока я валял дурака,  
льдом укрыта Америка, битым стеклом Европа,  
здесь, только здесь у ног твоих плещут живые века.

Милый, пока ты шлялся, все заросло клевером,  
розовым клейким клевером, едким сердечным листом,  
вольное время выткано, вышито мелким клевером,  
я заварю тебе клеверный горький бессмертный настой.

Пей, корабли блудные зюйд прибывает к берегу,  
пей, женихи вымерли, в море высокий штиль,  
пей, сыновья выросли, им — закрывать Америку,  
пей, небеса вышвели, пей, Одиссей, пей!

Сонные волны ластанся, льнут лепестки веером,  
в клеверной чаше сводятся сплывшей отчизны края —  
сладкий, как миф о верности, стелется дух клеверный,  
пей, не жалея, пей, моя радость, бывшая радость моя.

Герои — Одиссей и Пенелопа — это вечные Он и Она на фоне времени, истории и культуры. Это трагический извечный конфликт непонимания, фатальной нестыковки мужских и женских ценностей. Это та роковая трещина на фоне «божьего пира», которая никому из нас не дает быть счастливыми, но все же она и не смертельна, потому что утешение в другом. «Колыбельная для Одиссея» — это высокий образец истинно женской поэзии. Говорю это в пику тем, кто «женскостью» считает прямые лирические излияния от первого лица, озабоченность проблемой «любит — не любит», демонстрацию обид и упреков, признаний в собственной слабости и тому подобное. Ермакова же показывает несравненно более жесткую манеру письма — ни слабостей, ни всхлипов, никакой жалобы, никакой агрессии. Кредо ее героини — никогда не доказывать свою правоту, никогда ничего никому не навязывать. Разве сыронизировать чуть-чуть. Вот это отсутствие агрессии и есть, на мой взгляд, высшее проявление женственности. Мудрая открытость миру. И любовь.

Он и Она — кто в этой книге сильнее? Думаю, Она. Его удел, конечно, мореплавание и война. Он вечно спешит, и его вечное «прекрати» в адрес «бабьей дурасти» совершенно оправданно. «Жена — не страна». Но почему же при этом он уходит, «проклиная моря» и «обревав все платье»? А почему он «кружит вокруг Итаки — лет сорок не решается пристать»? Да потому что жизнь для него — труднее войны. Поэтому и любовь он превращает в войну: любит — «и смотрит так, как будто платит». И еще Он злится, Он все время злится. Ему не надо было возвращаться.

А Она демонстрирует нам стоицизм и негибаемость, эта «зареванная царица». Уходи, герой, если надо. Молча. А любовь остается с ней. Без единого упрека Она провожает его на эти вечные мужские дела, вовсе не собираясь выдирать у судьбы свою долю счастья. Горькая ее мудрость видит вперед — и то, что он «все равно не забудет ее, как сказала одна античная поэтесса», и то, что для этого шалопая «все кончается калиткой». Она предчувствует и самое трагичное — вернувшись к ней, он теперь уже просто «бывшая радость моя», и все кончилось ироническим клеверным зельем, и уже нет, мой свет, времени на то, чтобы все вернуть. Запущенный домик терпеливой улитки уже летит над Итакой, и черная бабочка прокурренных легких тащит героиню в небеса — это ее час, ее плаванье, ее победа. Он злится, а Она нет, просто зовет его с собой — в «Индию духа». И в этом смысле Она, наверное, здесь больше Одиссей, чем Он.

Может быть, все не так драматично. Ну что, собственно, случилось? Все живы. Одиссей вернулся. Дети выросли. Видимость порядка. Жизнь течет своим чередом, и это нормально, ведь героиня все равно знает, что он есть, есть — этот «оглашенный божий пир».

«Я люблю я люблю я люблю все что было и будет и есть...»

**Книга.** «Колыбельная для Одиссея» — с ее звучащим и искрящимся хаосом, жизненным сумбуром и счастливым захлебом — не только выдохнута, но еще и очень точно сделана, логично выстроена в трех своих частях: «Война», «Острова и матерые земли», «Потоп».

Пафос «Войны» заключен не в прямых высказываниях о несовершенстве мироустройства, а в отдельных трагичных образах-аккордах, держащих нас в состоянии напряжения. Диапазон — от зареванной царицы до ботанического ножа, срывающегося людям-растениям. В этом пространстве одинаково значимы мертвые пули в степи и почтальон с похоронкой, поверженный Голиафом Давид и разбойное воронье лицо державы, память-бабочка с оторванной головой и точечный огонь бессмертника на приморском склоне — все эти бытовые и фантазмагорические детали создают ощущение того «кругового озноба», в котором существует «мир, занятый любовью и войной».

В «Островах и матерых землях» (кстати, цитата из Гомера) пульсирует тема плавания — путешествия в пространстве и во времени, и куда бы ни удавалось вырваться автору-герою, в Японию ли, Грецию или Гефсиманию, предстать перед нами лунатиком, рыцарем, Верленом или кем-то другим, — везде сквозь эти пестрые, почти театральные эпизоды видна главная драматургическая линия книги — поиски себя. Центральное, осевое стихотворение «Зеркало» еще раз служит подтверждением тому, что поэзия Ермаковой — явление отчасти оптическое. Лежащая на боку восьмерка (символ бесконечности) и пыльное зеркало, в которое вглядывается поистершийся железный век, а значит, каждый из нас, — магические атрибуты, возможный символ нашего вызволения из экзистенциально опасной и логически неразрешимой ситуации. И с этого переломного момента у книги как будто бы появляется второе дыхание, и медленно, исподволь трагическая мелодия обретает оптимистические ноты. «Ласточка, пой, не страшись!» — и она нам поет на фоне всепожирающего державинского жерла, и пульсирующие бабочки-однодневки полны жизнью, которая «валит-кишит», и римские легионеры во сне становятся первыми учениками Христа, а упрямый Улисс все равно, перебрав все варианты, возвращается домой, ибо, как ни крути, только там можно решить все проблемы с самим собой.

Поэтому в «Потопе» все уже свободней и проще. Шлюзы открыты, и жизнь хлещет свободной волной, несмотря на неизбежность трагедии. «Повальное счастье» настигает лирическую героиню все равно где — в мерзлом московском автобусе или под горячий джаз тонущего в море оркестра, а тот «играет никому, играет, как сбилось», и всю безысходность перекрывает ощущение правильности жеста — «земля на дне, играй до дна, играй, как я живу». Никаких рефлексивных «зачем я живу» — но достойно и иронично: «просто так, дорогой, просто так». Поэтому что так — как выдох — и «происходит жизнь на самом деле». А идеальное, желанное «счастье золотое» — оно по всем нам все равно прокатит своим колесом, но уже совсем потом, когда станем глиной.

«В тоске по мировой культуре...» Нет, не так. «И я стою в одной натуре — / В тоске по мировой культуре...» Тут не одна эрудиция, конечно, — автор в этой «культуре» живет. Даже время становится разновидностью пространства — пространства, в котором любое путешествие и совершается. Мы погружаемся здесь в архетипические бездны, в мифологическую реальность, одновременно архаичную и современную. В это гипертекстовое пространство множество цитат и реминисценций вросли совершенно естественно. Державинское жерло вечности вкупе с ласточкой многое объяснит нам в поэтике автора. Так же сильна лермонтовская струя, а гумилевская тем более — «Индию духа» мы уже упомянули. Однако, относя Ермакову к ряду таких же «визуальных» поэтов (здесь я имею в виду необычайную выпуклость и пластичность создаваемых зрительных образов), я хочу сказать и о ритмических и интонационных цитатах, когда в биении поэтического пульса прочитываются не только означенные предшественники, но более всего Багрицкий. Это примеры, лежащие на поверхности, однако не берусь за анализ всех поэтических влияний, явленных нам в столь «растворенном» виде. Недаром стихия Ермаковой — вода. Она растворяет и гомогенизирует многие вещества — и тогда влияние, скажем, Анненского, с его нежностью и туманностью образов и красок, тогда вагиновские смещения и неожиданные наклоны смыслов, не кристаллизуясь в отдельные строки, существуют в виде всепроникающей субстанции, придающей

этой морской воде дополнительный оттенок. А далее как не повторить: «я бренная пена морская», ведь по эмоциональному накалу Ермакова — безусловная последовательница Цветаевой. А что же делает вода с принципиально нерастворимыми веществами? Я говорю о поэтах другой стихии, несоприродных Ермаковой, а ведь таковы, например, Пушкин или Ахматова. Отсылки к ним тоже органичны в «Колыбельной», но способ существования подобного рода «нерастворимых» включений совершенно иной — они присутствуют в воде как слабое дополнительное зеркало, рыба чешуйка, медленно бликующая, опускаясь на дно, а значит, усиливающая все те же оптические эффекты.

**Античность.** Само название книги дает нам ориентир — Элладу, в координатах которой и предлагается рассматривать происходящее драматически-мифологическое действие, размышляя при этом, наследницей чьей античности (мандельштамовской? вагиновской? еще чьей-то?) является античность Ермаковой. Однако ориентир этот оказывается обманкой, и античность здесь вовсе другого рода. Хотя бы потому, что Керченский пролив — это (географически!) окраина Эллады, и настоящий, а не придуманный античный воздух заполнил легкие поэта еще при рождении. И если вагиновская Эллада — тень в числе других теней, пронизывающих сумрачный воздух Петербурга, если Эллада Мандельштама — один из знаков мирового культурного простора, то живая античность Ермаковой — естественная стихия ее жизни, что и отличает ее поэзию от других попыток окунуться в гомеровские времена. Например, в недавно вышедшей книге Павла Белицкого «Разговоры» (М., «Б.С.Г.-Пресс», 2002) Одиссей тоже присутствует, но подходы к теме совершенно другие: в эссе исследуется «топография» мифа, его скрытая символика, а в стихах передается растерянность человека, попавшего в мир (или миф?), в котором он уже ничего не узнает, и только звучание давно забытых слов — *итака, телемак* — волнует и тревожит. Ермакова же существует в этом хронотопе с той же степенью достоверности, как и в современном московском пространстве. Вот отсюда вся «гипертекстовость» — и не на уровне языковых игр, а на уровне созданного ею виртуального мира.

**Доминанта.** Ермакова в современном поэтическом пейзаже существует почти особняком. Это неудивительно — позиция *между* не может тяготеть к искусственным крайностям школ и школок. Ее удел — не противостояние, а синтез. Изоциренность формы не затмевает в этой поэзии главного — чувства долга и благодарности за полученный дар, которые и позволяют без всякого цинизма говорить о глубинных сущностях жизни. Если хотите, перед нами поэтка человека с абсолютно здоровой нравственной и психической доминантой, что представляется мне очень важным на фоне модного ныне психоделически-депрессивно-деструктивного «дискурса», на фоне искусственно подогреваемого интереса к беспомощности и комплексам распадающейся личности.

По своей системе ценностей, по присутствию неизменного и необходимого для каждого человека чувства духовной вертикали, по разлитому ощущению спасительной радости и, наконец, по той силе духа, которая присуща лирической героине, «Колыбельная для Одиссея» — *глубокая* книга.

Ирина ВАСИЛЬКОВА.

\*

## ЗАВОДНОЙ ЭНТОНИ БЁРДЖЕСС

Энтони Бёрджесс. Однорукий аплодисмент. Роман. Перевод с английского Е. В. Нетесовой. М., «Центрполиграф», 2002, 223 стр.

Энтони Бёрджесс. Доктор болен. Роман. Перевод с английского Е. В. Нетесовой. М., «Центрполиграф», 2002, 269 стр.

Энтони Бёрджесс. М. Ф. Роман. Перевод с английского Е. В. Нетесовой. М., «Центрполиграф», 2002, 268 стр.

**П**озвольте мне для начала предположить или хотя бы сделать вид, что вы ничего не знаете об Энтони Бёрджессе (1917 — 1993), никогда не читали его книг и даже слухом не слыхивали о романе «Заводной апельсин» и его скандаль-

ной экранизации, снятой Стэнли Кубриком. Равно как и о том, что Бёрджесс (полное имя — Джон Энтони Бёрджесс Уилсон) родился в Манчестере, в семье джазового пианиста и эстрадной певицы, получил филологическое образование в Манчестерском университете, в 1940-м был призван в армию и благополучно пересидел Вторую мировую войну на Гибралтаре (где был прикомандирован к концертной бригаде, а позже — к шифровальному отделу армейской разведки), женился на родственнице писателя Кристофера Ишервуда, после войны пошел работать в школу, зарабатывал меньше тамошнего садовника, а посему завербовался в британскую колониальную администрацию и переехал из туманного Альбиона в солнечную Малайзию. Там он преподавал туземцам английский язык и литературу, сочинял музыку и написал три романа, которые составили «Малайскую трилогию» (поначалу не снискавшую большого успеха у читателей).

Жизнь в экзотических странах Юго-Восточной Азии (Малайзия и Бруней), месте пересечения великого множества рас, культур и религий, пришлась Бёрджессу по душе: он сблизился с местным населением, выучил малайский (настолько хорошо, что перевел на него «Бесплодную землю» Т. С. Элиота) и наверняка остался бы там навсегда, если бы не два пренеприятных происшествия, которые нарушили его колониальную идиллию. На приеме в честь инспектировавшего заморские территории принца Филипа Бёрджессова жена (весьма эксцентричная особа) устроила пьяный скандал, и в результате у Бёрджесса окончательно испортились отношения с местным начальством. Некоторое время спустя прямо во время лекции он упал в обморок. Врачи вынесли неутешительный вердикт — неоперабельная опухоль головного мозга — и сообщили, что жить ему осталось около года. С этим диагнозом Бёрджесса освободили от преподавания и, от греха подальше, отправили умирать в Англию.

Приговоренный врачами к смерти, он не впал в грех уныния и решил провести отпущенный ему срок как можно более плодотворно. Чтобы заработать на жизнь и хоть как-то обеспечить будущее непутевой жены, он заделался профессиональным писателем и, отбросив романтический миф о вдохновении, выработал твердое правило: работать без выходных, выдавая не менее двух тысяч слов в день. 1960 год — «последний год» в жизни Бёрджесса — стал самым насыщенным и плодотворным годом его писательской карьеры. За это время им было изготовлено пять романов: «Однорукий аплодисмент», «Доктор болен», «Вожделеющее семя», «Червь и кольцо», «Внутри мистера Эндерби». Сверхъестественная производительность Бёрджесса напугала издателей, потребовавших, чтобы некоторые его вещи были опубликованы под псевдонимом (в итоге «Однорукий аплодисмент» и «Эндерби» вышли под псевдонимом Джозеф Келл). И хотя вскоре выяснилось, что мрачные прогнозы врачей ошибочны, пущенную в ход писательскую машину, в которую превратил себя Энтони Бёрджесс, уже ничто не могло остановить.

«Искусство — это глубоко плотское желание материнства, отцовства. Это само плодородие», — исповедуя сей жизнерадостный принцип, писатель произвел на свет 57 книг. Среди них — более тридцати романов, а также рассказы, повести, поэмы, телесценарии, биографии, учебники по литературе и литературоведческие исследования, эссе, два тома воспоминаний. Поскольку до сенсационного успеха кубриковской экранизации «Заводного апельсина» доходы от романов были весьма скромными, Бёрджесс присоединился к «задорному цеху» критиков, причем с равным успехом выступал на страницах театральных, музыкальных и литературных изданий. (Пикантная подробность: критическую деятельность он начал литературным обозревателем газеты «Йоркшир пост», где продержался около года — до тех пор, пока не получил задание отрецензировать роман некоего Джозефа Келла и не написал о нем благожелательный отзыв; когда редактор газеты разобрался, что к чему, Бёрджесс вылетел оттуда, как пробка из бутылки. О патриархальные нравы провинциальной британской прессы!)

Помимо беллетристики и критики наш герой проявил себя в других областях: как композитор — сочиняя симфонии, концерты, сонаты для различных инструментов — и как переводчик: одна из последних его публикаций — перевод бессмертной грибоедовской комедии: «Chatsky, or The Importance of Being Stupid» (1993).

Человек титанического трудолюбия и фантастической плодовитости, поражающий многоцветьем своего творческого дарования, Энтони Бёрджесс оставил огромное и, чего греха таить, крайне неравноценное наследие (речь, конечно же, идет о литературе — музыкальные опусы Бёрджесса оставим на суд музыковедов). С начала семидесятых, когда благодаря кинематографической музе к нему пришла запоздалая слава и его стали переводить на основные языки мира, писатель пробились в верхние эшелоны литературной табели о рангах. Роман «Заводной апельсин» (1962), с его сверхактуальной темой тотального насилия и трагическим пафосом свободы («превосходство даже употребленного во зло морального выбора над насаждаемой государством безальтернативностью, необходимость приятия опасностей свободы» — из предисловия автора), остается культовой книгой уже для нескольких поколений просвещенной молодежи, в то же время привлекая к себе все новых исследователей.

Не случайно в одном из томов фундаментальной серии «Contemporary Literary Criticism» бёрджессовский раздел целиком и полностью посвящен «Заводному апельсину». Подобное распределение читательского и издательского внимания характерно и для восприятия Бёрджесса в России. Достаточно подсчитать число переводов и тиражи «апельсиновых» изданий, чтобы прийти к выводу: как и на Западе, для нашего широкого читателя Энтони Бёрджесс остается автором одной книги: мы говорим Бёрджесс — подразумеваем «Заводной апельсин»...

Однако, как и всякий значительный художник, Бёрджесс не равен своей литературной репутации. В последнее время переводы бёрджессовских романов посыпались на российский читателя, словно горох из вспоротого мешка, а в прошлом году издательство «Центрполиграф» одарило нас чем-то вроде ненумерованного собрания сочинений: к перепечаткам ранее переведившихся вещей — беллетризованной шекспировской биографии «Nothing Like the Sun...» («На солнце не похожи...», 1964), обозванной у нас в честь голливудского блокбастера «Влюбленный Шекспир»<sup>1</sup>, и антиутопии «Вождедующее семья» (1962)<sup>2</sup> — прибавились переводы романов: «Доктор болен» (1960), «Однорукий аплодисмент» (1961), «МФ» (1971).

Трудно сказать, кем останется Бёрджесс в читательской памяти. Умелым ремесленником, «апостолом массовой беллетристики»<sup>3</sup>, штамповавшим легковесные романчики на потребу невзыскательной публики? Или же классик литературы XX века, удачно скрестившим формально-композиционное и языковое трюкачество à la Джеймс Джойс (этого модернистского монстра Бёрджесс боготворил) с традицией плутовского романа? А может быть, он чистокровный постмодернист (да простят меня за обветшалый от бессмысленного употребления термин!), без устали пародировавший классические образцы и цинично разрушавший репутации великих людей прошлого — того же Шекспира, который представлен литературным поденщиком и развратником, или же Наполеона и Китса (оба выведены в иронически сниженном виде соответственно в романах «Наполеоновская симфония» и «АВВА АВВА»)?

Похоже, что все эти трактовки в равной мере применимы к Бёрджессу. «Моралист и балагур, искатель приключений, кудесник слова, великий сокрушитель прописных истин... странствующий рыцарь, блуждающий огонек, вездесущий, все впитывающий непеседа» (Г. Ролэн), он парадоксально сочетал в себе высококолобого экспериментатора и бесхитростного массовика-затейника и потому целиком не укладывается ни в одну из литературных ниш. И свежепереведенные романы подтверждают подобное предположение. Судите сами.

«Однорукий аплодисмент», несмотря на свое эффектное дзэн-буддистское заглавие, явно принадлежит к числу непритязательных пустяков, написанных для заработка<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Об этой затее см. мою рецензию «Бедный Уилли, бедный Энтони». — «Литературная газета», 2001, № 24/25, 20 — 26 июня, стр. 10.

<sup>2</sup> См. рецензию В. Вахрушева («Новый мир», 1992, № 9).

<sup>3</sup> Ш и ш к и н А. Апостол массовой беллетристики. — «Вопросы литературы», 1986, № 11.

<sup>4</sup> Из ранее переведившихся опусов Бёрджесса к этой «низовой» категории я бы отнес «Трепет намерения» (1966) — неуклюжую квазипародию на шпионские боевики Флемминга, недалеко ушедшую от оригинала, и мертворожденного «Человека из Назарета» (1979) —

Это история о том, как внешне заурядный английский обыватель, автомеханик Говард Ширли, сказочно разбогател, благодаря фотографической памяти выиграв главный приз на телевикторине, в несколько раз умножил состояние на скачках, а затем, быстро пресытившись прелестями буржуазной роскоши, решил покинуть «испорченный мир», заодно прихватив с собой красавицу жену Дженет. Выдержанный в сугубо реалистическом ключе, роман тем не менее вышел у Бёрджесса таким же малоубедительным, как давний соцреалистический хит застойной драматургии, в котором сверхсознательные советские работяги отказывались от премии.

Неудача «Однорукого аплодисмента» во многом обусловлена несоответствием претендующего на серьезность замысла избранной манере повествования, которое ведется от лица жены взбунтовавшегося нуворища. Птичий интеллект этой хорошенькой мешаночки спасает ее от преждевременного ухода в мир иной — ослепительному «сиянию стоической смерти» она предпочитает серое и сытое обывательское счастье: убивает мужа, пакует его труп в чемодан и вместе с любовником отправляется во Францию проматывать унаследованное богатство, — зато по рукам и ногам сковывает автора. Добиваясь психологической достоверности, он вынужден имитировать и примитивный стиль мышления, и бедный язык магазинной продавщицы (все эти неотвязные «типа» и «как бы»), упрощать и обесцвечивать мир, показанный с точки зрения ограниченной повествовательницы. В итоге получается на редкость скучная картина, а оживить ее автору нечем: фабула слишком незамысловата и малоправдоподобна; блеклые герои не способны вызвать к себе ни любви, ни ненависти, ни вялого любопытства; нарочито обедненный язык (и без того неизбежно потерявший при переводе) не может удерживать произведение на плаву, как это получилось у Бёрджесса в «Заводном апельсине», где взбит пьянящий стилистический коктейль из сленга лондонских «тедди бойз» и ленинградских стилияг.

Другой, более поздний бёрджессовский роман, удостоившийся перевода на русский, сделан куда искуснее. В определенной мере он является программным произведением зрелого мастера (между прочим, ставившего эту вещь гораздо выше остальных романов). Опубликованный аккурат между «Адой» (1969) и бартовской «Химерой» (1972), «МФ» (а речь пойдет именно о нем) написан в том гротескно-пародийном стиле, который стал моден в шестидесятые — семидесятые годы прошлого века и чуть позже получил терминологический ярлык «постмодернизм». Во всяком случае, весь обязательный постмодернистский набор здесь налицо. Тут вам и алогичный сюжет (чье скачкообразное движение сопровождается оглушительными взрывами лингвистической пиротехники), и персонажи-маски (лишенные психологической глубины и многомерности), и — как же без этого? — травестийное обыгрывание бродячих мотивов и архетипов мировой литературы (в частности, темы рокового проклятия, тяготеющего над семейством главного героя, мотивов двойничества и неожиданного узнавания родства). Литературными донорами, подпитывающими пародийную «копую» Бёрджесса, служат античный миф об Эдипе и схожая по содержанию легенда североамериканских индейцев-алгонкинов, почерпнутая автором у Клода Леви-Строса. Вот ее краткий пересказ: герой убивает двойника, пытавшегося изнасиловать его родную сестру; поскольку убитый оказывается сыном всемогущей колдуньи, убийца вынужден выдавать себя за свою жертву и, более того, вступить в брак с собственной сестрой, а затем, когда и кровосмесительная связь не устраивает подозрений мамы-колдуньи, принужден разгадывать коварные загадки говорящей совы, наученной этой волшебницей. Если вы успели прочесть бёрджессовский роман, то легко узнаете в этом пересказе его фабулу.

Алгонкинский сценарий персонажи «МФ» разыгрывают на фантастическом острове Кастита, затерявшемся где-то возле Макондо и Эстотии. Это откровенно условное, игровое пространство, где отменены законы логики и здравого смысла (по улицам свободно разгуливает прокаженный маньяк, католические процессии в честь

---

скучноватый пересказ Четроевангелия, обязанный появлением на свет заказу написать сценарий для Франко Дзеффирелли: переделать сценарий в роман для такого мастера, как Бёрджесс, — раз плюнуть (не пропадать же добру!), однако говорить о каких-то художественных открытиях или метафизических глубинах «Евангелия от Энтони», увы, не приходится.



святых выливаются в карнавалы, в бродячем цирке клоунами работают священники и философы, в свободное от представлений время рассуждающие о кантовской «вещи в себе»), а язык то и дело сворачивает с привычного коммуникативного курса в дебри этимологических изысканий, каламбурных ловушек и прочих словесных забав в духе Джойса и Набокова: «book boot boat coat coal»...

Протагонист, забубенный американский студент Майлс Фабер, отправляется туда в поисках духовного обновления. Его привлекает загадочная фигура местного гуру, писателя и художника Сиба Легеру. Отгадав массу хитроумных загадок, встретив своего пошловатого и сексуально озабоченного двойника, переспав с сестрой и чудом избежав гибели от дрессированной стаи пернатых хищников, названных по именам англоязычных авторов, современников Бёрджесса (Айрис [Мёрдок], Мюриель [Спарк], Памела [Хэнфорд Джонсон], Норман [Мейлер], Сол [Беллоу], Филип [Рот] и т. д.), — пройдя через положенные мифическому герою испытания, бёрджессовский повествователь обнаруживает, что никакого Сиба Легеру не было, что творения «великого писателя» на самом деле — «психотерапевтические эксперименты» доктора Фонтанты (новоявленного фаберовского дедушки) и его клиентов, невротиков и безумцев, испытывавших «обманчивую радость в обманчивом творческом акте, за которой следует ужас от осознания безумия, дурноты и грязноты псевдотворения».

Неожиданный финал как будто облагораживает ту тяжеловесную эдипово-алгонкинскую байду, которую нагородил автор, и позволяет рассматривать роман едва ли не как едкий памфлет против вошедшего в моду антиискусства с его пафосом «нарушения порядка, разрыва связей», хамского умерщвления традиции и «безответственной культивации хаоса».

«Искусство берет сырой материал в окружающем мире и пытается придать ему осмысленную форму. Антиискусство берет тот же материал и стремится к бессмысленности... Мания полной свободы — это фактически маниакальное стремление к тюрьме», — вывод, которым автор венчает инцестуозно-лингвистические авантюры Майлса Фабера, весьма симпатичен. Жаль только, что он не может искупить недостатки романа: марионеточную одномерность персонажей, рваную, неряшливую манеру повествования, нарочитость сюжетных развязок, катастрофическую бессодержательность некоторых фрагментов, полностью подчиненных лингвистическим игрищам автора. (Эти игрища — изрядно поблекшие в переводе и мало чего говорящие российскому читателю — начинаются уже с заглавия: согласно авторитетному мнению англоязычных исследователей, «MF» — не только инициалы героя-повествователя, но и сокращенный вариант «motherfucker» — ругательства из речевого арсенала чернокожих американцев.)

В общем, как добросовестный туроператор я должен предостеречь вас от поездки на Каститу: разочарование будет столь же острым, как у Майлса Фабера. Ожидая пряной экзотики и захватывающих приключений, вы получите безотрадные блуждания по типовой выделке лабиринту, украшенному, словно задник провинциального фотоателье, аляповатыми курортными картинками.

Вместо этого сомнительного удовольствия рекомендую перенестись в британскую столицу — место действия романа «Доктор болен», на мой вкус, одного из лучших произведений Бёрджесса, переведенных на русский язык. Там читателя ждет впечатляющая увеселительная программа, включающая погони, потасовки, дегустацию греческих вин (которую проведет некто со зловещей фамилией Танатос) и незабываемый по своей жизнерадостной тупости телеконкурс «Почетная Лысина Большого Лондона», где развязный остряк-ведущий не хуже, чем Пельш или Якубович, попотчует вас амикошонскими шутками-прибаутками.

Вместе с главным героем (лингвистом Эдвином Прибоем, приговоренным врачами к безнадежной операции на головном мозге, но бежавшим из больницы в поисках... то ли неверной жены, то ли самого себя) вы окупаетесь в кипучий водоворот столичной жизни: пабы и дансинги, закулисье оперного театра, Сохо, элитарный клуб «Китайские белила» — прибежище претенциозной богемной молодежи, зло высмеянной автором, поп-идолы предбитловской эры, которые под оргиастические вопли поклонниц сбациают вам шлягер о тяготах тинейджерской

любви, и наконец, обитатели лондонского дна: попрошайки, мелкие воришки, сутенеры, проститутки, пьяницы и контрабандисты.

Перед вами предстанут колоритнейшие типажи: чокнутый мафиозо, мазохист и флагеллант Боб Каридж, восплавывший противоестественной страстью к главному герою; артистичный слуга просцениума Лес и его темнокожая сожительница Кармен, изысканная главным образом ругательствами; близнецы Лео и Гарри Стоуны — неунывающие жулики, прошедшие огонь, воду и медные трубы (первый «был каталой, фиктивным санитарным инспектором, официантом, матросом, торговал на рынке средством от облысения; продавал вразнос, шустро вставляя ногу в открытую дверь, ворованные энциклопедии, японские рубашки и собачий корм; жарил чипсы из картошки на машинном масле, держал клубы, банкротился»; второй «служил у букмекера на побегушках, корабельным стюардом, охотно поставляя секс вместе с утренним чаем; мойщиком посуды, поваром; разносил рождественские открытки, жил на содержании...»). В каждом подмечена характерная черточка, каждый на свой лад уморительно смешно коверкает нормативный язык. Автору (отдадим должное и переводчице) удалось соткать удивительно яркую языковую ткань, воспроизведя алогизм и бесформенность живой речи и передав особенности индивидуальной манеры каждого персонажа, будь то «базарный кокни» неграмотного сэндвичмена Хиппо, аргю лондонских контрабандистов, «толкавших котлы» (то есть сбывавших дешевые часы с гарантированным на пару дней ходом), профессорский язык Эдвина Прибоя или сюсюкающий еврейский говорок братьев Стоун: «Сейсяс, — сказал Гарри Стоун... — сей распроклятый сяс присутствующий тут перфессер продолзит свое первое сенсасионное выступление по телику осередной демон-ей-в-дысло-страсией треклятых слов. В прослый раз — весь мир помнит, идут телеграммы с Китая, с Перу и со всяких других загранисных проклятых местесек, распроклятые телеграммы узе просто некуда класть...» и т. д.

Конечно, персонажи «Доктора...» — всего лишь ярко раскрашенные комедийные маски, потешные куклы, разыгрывающие развеселую, с привкусом черного юмора экстраваганцу. Однако все они, в отличие от персонажей «МФ» и «Однорукое аплодисмента», наделены редкостным обаянием и живут отнюдь не кукольными страстями.

Эдвину Прибою — тому вовсе не до смеха. Всю сознательную жизнь он прозябал в уютном коконе чистой науки, в стерильном миреке фонем и лексем, не имеющих прямого отношения к грубой действительности. Но вот волею судьбы книжный червь выброшен в жестокий мир, где слова «смерть», «измена», «отчаяние» наполнены реальным содержанием и от человека требуется нечто большее, нежели рассуждения о народной этимологии и «билабиальных фрикативах в лондонском английском низшего класса в 19 веке». И хотя начиная с 11 главы сюжет романа колеблется между фантастической явью и прозаическим послеоперационным бредом, к финалу эксцентрическая комедия о злоключениях незадачливого филолога-рогоносца оборачивается настоящей трагедией. Беспомощный герой теряет работу, от него уходит жена — «Ты вроде машины, а мир нуждается в машинах... Тебя можно использовать. Но мне машина не нужна», — и он, украв чужую одежду, в очередной раз сбегает из больницы, отправляясь на поиски «пикантных авантю» и загадочного господина по фамилии Танатос, что на греческом, как всем хорошо известно, означает смерть.

Трагические нотки — безусловно, отзвуки невеселых жизненных обстоятельств самого автора — настойчиво вплетаются в партитуру комической фантазмагории, придавая ей дополнительное смысловое измерение и возвышая ее до уровня настоящего искусства.

«Я пытался писать комические романы о трагической участи человека», — так формулировал свое творческое кредо Энтони Бёрджесс. И на этом пути ему иногда удавались настоящие шедевры, выдерживающие сравнение с лучшими образцами классической литературы.

Думается мне, именно такого рода произведения Бёрджесса, как «Доктор боллен» (по точному определению критика Бернарда Бергонзи — «пикарескные романы с метафизическим оттенком»), вобравшие в себя все лучшее, что дала великая традиция английской сатиры — от плутовских романов Филдинга и Смоллетта до

«черных комедий» Ивлина Во, — составляют наиболее ценную часть его необъятного творческого наследия.

Вполне допускаю, что Бёрджесс никогда не займет в сознании просвещенных российских читателей верхних ступеней ценностной иерархии, которые прочно зарезервированы за такими его соотечественниками, как Голдинг и Старк. «Возможно, стать великим писателем ему мешали его непоседливость, нетерпеливость, сверхпродуктивность» (точка зрения одного из приятелей Бёрджесса, американского прозаика Пола Теру) и, прибавим от себя, слишком большое количество откровенной халтуры, рассчитанной на продажу: подобный балласт свинцовым грузом тянет на дно репутации даже самых талантливых и изобретательных авторов. Но если под художественной литературой прежде всего понимать отдельно взятые творения, а не шаткие пирамиды репутаций и череду скоропортящихся «измов», тогда многим вещам Бёрджесса, уже переведенным или ждущим перевода на русский, гарантировано почетное место на книжных полках ценителей изящной словесности.

Николай МЕЛЬНИКОВ.

\*

## ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Т. В. Васильева. Комментарии к курсу истории античной философии. М., издатель Савин С. А., 2002, 449 стр.

**Н**а вопрос о том, что такое высшее образование, можно дать два разных ответа, каждый из которых будет при этом по-своему справедлив. С одной стороны, учеба — это усвоение программы, овладение соответствующими ей знаниями и навыками. Учащийся «проходит» и «сдает» определенный набор предметов, необходимых для получения диплома по той или иной специальности. При этом учащийся располагает разного рода пособиями и учебниками, и роль учителя сводится практически к функции проверяющего степень усвоения знаний учащимся на том или ином уровне обучения. Наиболее последовательно этот подход проявляется в дистантной форме обучения, когда учитель и учащийся вступают в непосредственный контакт лишь в период сессий.

Однако есть и другой аспект получения образования, о котором часто забывают (особенно когда система образования ориентирована на количественную составляющую процесса), но без которого нет настоящего приобщения учащегося к науке. Это — включение в традицию, возникающее только в результате продуктивного диалога между учеником и учителем. В результате такого диалога учитель передает ученику нечто такое, чего нет ни в каком учебном пособии, ни в какой книге, ведь сама по себе «книга и сообщает и разобщает, ложась преградой между нами и мыслью... Заражает только непосредственное присутствие»<sup>1</sup>. Но если это так, то какая роль остается напечатанному слову? Новая книга Т. В. Васильевой подсказывает такой ответ: хорошая книга — это источник знаний (то есть вещь небесполезная в границах первого аспекта образования) и одновременно — указание на что-то иное, лежащее по ту сторону всякого положительного знания, или, иначе говоря, указание на собственную недостаточность. Как же она это совмещает?

Название книги Васильевой не предвещает каких-либо неожиданностей, указывая на то, что книга является чем-то вроде факультативного чтения по теме «История античной философии», изучаемой на философских факультетах и кратко упоминаемой в программах по философии непрофильных вузов. О том же недвусмысленно говорит и подзаголовок книги — «Пособие для студентов», и, наконец, авторское посвящение, где контингент предполагаемого читателя еще более сужен: «Книга посвящается философам-первокурсникам». Но нет ли в этой слегка назойливой самоидентификации книги — «я только учебник, да и то не необходи-

<sup>1</sup> Библихин В. Язык философии. М., 1993, стр. 240 — 241.

мый» — доли авторской иронии? Думается, что есть, и немало. В самом деле, если называть «комментарием» включенные в книгу статьи о философских категориях досократиков, неторопливое путешествие по диалогам Платона с привлечением широкого «общекультурного» греческого контекста, исследования по текстологии платоновского корпуса, анализ аристотелевского понятия «природы», детальное рассмотрение атомистических построений греческой философии и стоической картины мира — говорю лишь о некоторых из затронутых в книге тем, — то возникает вопрос: если это комментарии, то где же сам курс? Каким должен быть «курс по истории античной философии», чтобы не быть поглощенным таким комментарием, чтобы иметь право на такой комментарий? Хотя в книге соблюден принцип хронологии в последовательности рассматриваемых тем и подаче материала, в результате ее прочтения возникает устойчивое ощущение, что она не может быть включена в качестве комментария или дополнения к «правильному» учебнику, который охватывает «весь» предмет при помощи унифицированного языка описания и классификационного инструментария. Греческая мысль в текстах Васильевой предстает слишком разноликой, чтобы быть частью такого курса. Кроме того, что это за «философы-первокурсники», которым посвящена книга? Разве не верна максима «пока не научился (то есть не прошел все требуемые для овладения профессией ступени и не подтвердил установленным образом свою квалификацию) — ты не философ (историк, химик, сапожник...)?»

И все же это действительно комментарии, причем комментарии к учебному процессу, и посвящение книги учащимся — не случайно. Однако комментарии эти — не к «изложению основных положений» греческой философии, которое само есть комментарий, а к тому, что предшествует любой концептуализации и систематическому изложению, — к переводу. В основе многочисленных учебных курсов Васильевой, предметом которых был анализ фрагментов текстов досократиков, Платона и Аристотеля, лежала ее убежденность в том, что понимание греческой мысли может возникнуть лишь в опыте осмысленного перевода текста-источника, ведь «всякий перевод — дело мастера, при том, что не только его делает мастер, но и оно делает мастером того, кто его делает. Это что касается умения. Оглянись, переводчик, пока ты еще в недоумении. Может быть, потом будет поздно» (глава «Оглянись в недоумении»). Внимание переводчика даже не к структурной единице текста, а к слову, характерное для включенных в книгу статей и размышлений, которое, казалось бы, неизбежно сужает горизонт исследования, в действительности скорее является отказом от «прямой перспективы» обозревания своего предмета в пользу обратной, когда целое текста видно только сквозь его мельчайшую частицу. Напротив, легкость обобщения и построения масштабных картин «эволюции греческой философской мысли» обычно покупается забвением того, что философская мысль дана нам в форме текста, текст состоит из слов, а сколько-нибудь внимательный анализ слова заставляет тонуть в смысловом многолосье.

Текст-источник раскрывает свою внутреннюю бесконечность, вызывая массу «комментариев» даже при самом поверхностном с ним знакомстве. Учитель («мастер») здесь в гораздо большей степени необходим, чем при ознакомлении учащегося с «основными положениями», ввиду отсутствия «правил избегания ошибок», каковые правила можно выучить. Мастер в свою очередь также не является держателем единственно правильного комментария, что можно видеть на примере часто упоминаемого Васильевой М. Хайдеггера, чья артистическая философия возникла во многом из требования перевода текстов греческих классиков, аутентичного породившей их культуре.

Итак, «Комментарии...» (и комментарии) являются зримым результатом такого рода учебного процесса, но сами по себе они его не исчерпывают и тем более не заменяют, а лишь указывают на него как на нечто, вообще говоря, возможное. Центральная по своему положению в книге глава — «„День открытых дверей“ в платоновской Академии», где на примере композиции и структуры диалога «Теэтет» демонстрируется модель «академического обучения»:

«Неужели перед нами приоткрывается святая святых Академии? Несомненно! В Академии сегодня день открытых дверей! Именно это означает тот парадный

гул, который не отпускал нас от текста и заставлял вновь в него вчитываться. Теперь понятно — вчитываясь, нужно еще смотреть во все глаза по сторонам — мы внутри Академии, такое бывает не каждый день. Мы имеем возможность видеть, какая здесь ведется работа, какими методами, на каком материале, в каких формах.

Итак, примечаем. Занятия проходят в небольших группах, в данном случае межвозрастных, старые вместе с малыши. Работа ведется как индивидуально, так и перекрестно, в присутствии и при участии слушателей. Протагонистом остается Сократ (учитель), второй актер вызывается попеременно. Как водится, иные отнекиваются, но Сократ так или иначе добивается своего, и отвечать приходится всем, не только отличникам...

Ставится вопрос — что есть знание? Он обсуждается пространно и долго, дается не один вариант ответа, все варианты обсуждаются многосторонне, с привлечением наглядных примеров, цитат, мифов, гипотетических картин...

Философы-предшественники и философы-оппоненты упоминаются без счета. Цитаты редки и повторяются неоднократно...

Но что же мы видим в качестве итога, сухого остатка? — Отсутствие решения в конце диалога. Такое позволяли себе только в Академии».

«Отсутствие решения» не является ни признанием в собственной некомпетентности, ни софистическим релятивизмом, но формой служения Истине, которая «требует от человека выхода за пределы своей смертной природы». Книга Васильевой заканчивается неожиданно: тезисами о смысле жизни. Речь в них не идет ни о философии, ни об античности, но лишь о том, что «жизнь есть форма и потому сама есть смысл... Жизнь творится как художественное произведение, обрастая подробностями, деталями, перипетиями, переживаниями». Но процесс творения не бесконечен: он имеет цель, предполагает завершение, «быть» стремится к «есть». «И тогда уже становится важнее всего вовремя и на месте поставить последнюю точку, наложить последний мазок, взять последнюю ноту. Жизнь как смысл не знает ни „было“, ни „будет“, она всегда „Есть“». Неожиданность финала побуждает ко второму прочтению, из которого убеждаешься, что тема жизни и смысла, «быть» и «Есть», — главная тема книги, по отношению к которой все остальные имеют лишь «технический» характер; особенность же этой темы в том, что она не поддается абстрактному рассмотрению, уходя в области своей «исторической прописки», то есть в античность Платона и Поликлета, в напряженность вопроса о форме и жизни, текущем и неизменном.

Максим МОНИН.

## КНИЖНАЯ ПОЛКА ДМИТРИЯ БЫКОВА

+7

**Виктор Шендерович.** Здесь было НТВ. М., «Захаров», 2002, 320 стр.

Этой книге куда больше подошло бы название «Записки городского невротика» (см. ниже о книге Вуди Аллена под этим титулом). Написана она гораздо лучше, нежели большинство текстов американца, потому что у автора есть Святое. Жаль, что оно такое специфичное. Всегда лучше, когда во что-нибудь веришь: оно и для творчества благотворнее. Правда, заносит иногда в пафос, но для меня это не ругательное слово.

Если же говорить серьезно, перед нами жуткое и поучительное зрелище — честное и талантливое саморазоблачение человека, имевшего неосторожность поверить в правоту и совершенство одной из сторон в конфликте двух заведомо омер-

зительных сущностей. Опасно переносить диссидентскую мораль, сформировавшуюся как-никак еще в расцвете советской власти, на ситуацию полной взаимной деградации оппонентов, когда добро от зла уже практически неотличимо. Правду сказать, еще во взаимно открытой переписке Шендеровича с Кохом оппоненты стоили друг друга. Впрочем, в книге «Здесь было НТВ» есть по-настоящему славные страницы, в которых автор обретает вдруг и самоиронию (подлинную, а не имитируемую), и трезвый взгляд на ситуацию и даже позволяет себе ощутить некоторый ужас от того, в какое безнадежное и ложное противостояние его занесло. Как ни кинь, а книга талантливая. Впрочем, это лишь проблески, и автор тут же вновь принимается доказывать неведомо кому (себя он, надеюсь, все равно никогда в этом не убедит), что он настоящий либерал, безупречный, как Киселев, и пассионарный, как Политковская. Как бы то ни было, книга чрезвычайно показательна. После нее начинаешь ненавидеть Гусинского уже по-настоящему. Кем надо быть, чтобы покупать романтического семидесятника, истинного поэта, человека большого и честного таланта, на святые для него понятия свободы, чести, дружества, командной солидарности... и для чего, Боже мой?!

Впрочем, и неправому делу надо уметь служить добросовестно. Книга Шендеровича последовательна, а потому достойна. Автор необычайно честен даже там, где либо передергивает, либо искренне не видит очевидного. Боюсь, из всей команды НТВ настоящим идеалистом остается только он. Получился своеобразный «Арион» наоборот: певцу, кажется, как следует переломало ребра, о чем он и кричит на трехстах страницах, покуда прочие обитатели челна сушат влажные ризы на солнце под скалою и сами, кажется, не очень уже понимают, куда ж нам плыть.

**Эдуард Лимонов. В плену у мертвецов. М., «Ультра-Культура», 2002, 440 стр. («Жизнь запрещенных людей»).**

Это очень страшная книга — лефортовский дневник Лимонова. Самая страшная из написанных им в тюрьме. Про тюрьму в России не то чтобы любят читать (как такое любить?), но читают усиленно, потому что не застрахован никто. Вариант Лимонова, казалось кому-то, не худший: в Лефортове, тюрьме для государственных преступников, нет давки в камерах и есть минимальная возможность писать. После этого дневника видно, что Лимонову и в Лефортове не дают покоя: прессуют при помощи сокамерников, утонченно пытаются надеждой, врут на него, как на мертвого, и очень надеются, что именно таким мертвым он и станет. Чтобы не пришлось уже доказывать его вину и можно было спокойно вписать новую строчку в мартиролог отечественной словесности.

Я не хочу тут обсуждать партийные программы Лимонова, его взгляды, обоснованность его вины и проч. Я хочу только, чтобы эту книгу прочло возможно большее число людей, потому что она, и только она, открывает истинное лицо России и российской власти в частности. Из дневников и очерков Лимонова отлично видно, кто тут настоящая оппозиция и кто, смея называть себя государственным, эту оппозицию давит — просто за то, что она талантлива. Я не говорю уже о потрясающей новелле «Возлюбленная партии». Очень может быть, что все это — болезнь Лимонова и вся партия — его болезнь. Но что делать в нынешней России человеку с темпераментом солдата и любовника, с биографией романтического поэта? Поневоле с ума сойдешь.

Поздравляю вас, Эдуард Вениаминович, с шестидесятилетием. Как хотелось бы, чтобы вы встречали его уже на воле.

**Давид Самойлов. Поденные записи. В 2-х томах. М., «Время», 2002. Т. 1 — 420 стр., т. 2 — 450 стр.**

Дневники Давида Самойлова — не самое приятное чтение, и автор их — не самая приятная личность. Какую-то мучительную несвободу и скованность преодолевает он на каждом шагу, силясь договориться до последней правды и в последний момент пряча ее за новоизобретенными наименованиями, перекодировками и умолчаниями. Это же касается и многих стихов Самойлова, среди которых есть перво-

классные, а есть и такие, что возникает опасный вопрос: ну да, замечательная ледяная броня, но есть ли что-то за этой броней? Трудно согласиться с самойловской апологией хорошего вкуса и с искренним желанием «сбежать с уроков» (определение Слуцкого), «выпасть из фуры в походе великом» (определение авторское). Боясь, что такое желание диктовалось не самым почтенным стремлением быть правым всегда и перед всеми, а этого, к сожалению, не бывает: даже музыка не всегда права. Для меня убедительнее заблуждавшийся Слуцкий, писавший почти ежедневно, или уж ироничный и либеральный Львовский, бросивший писать вовсе (а как начал!). Стихийный государственный Самойлов, воспитанный пушкинской традицией, все пытался примирить это свое полусознанное государственничество с вроде как обязательным, predetermined, почти навязанным либерализмом; преклоняется он все равно перед Солженицыным, а не перед Копелевым и не перед Сахаровым (эти — милые, но — «свои», домашние, не великие).

Государство необходимо. Лучше государство, чем гражданская война. Он твердит это, постоянно боясь оказаться (или показаться) бесчеловечным, и вечно оговаривается: цель, во имя которой гибнут люди, есть цель аморальная... Хватит гордиться тем, что были на войне... Однако по дневникам видно: война была его лучшее время, и он не врал, признаваясь: «А хорошо бы снова на войну!» Или: «Я б желал быть маркитантом при огромном свежем войске». Что любишь — о том не врешь. Сравните военную прозу Астафьева и Окуджавы, погодков (1924), мальчишек: их война оглушила, подавила, представлялась хаосом. Самойлов воюет сознательно, расчетливо и не без удовольствия, наслаждаясь статусом государственно востребованного человека. Он на войне рассуждает. Он к ней готовился и на нее рассчитывал. Это было самое гармоничное для него время — время единения личности и страны; задуман он был поэтом государственным, был из того теста, из которого делаются гении, и трагедией его жизни стало отсутствие государства, которому он мог бы искренне и талантливо послужить. Признаться себе в этом он, похоже, так и не решился, но из дневников это вполне очевидно.

Попытки либеральной интеллигенции присвоить Самойлова обречены. С диссидентами его почти ничто не связывает, кроме личной приязни; в их действиях он не видит ни плана, ни искренности. Из младших современников ему особенно приятен имперский Бродский, из старших — державная Ахматова. Во времена, когда хороший тон требовал исповедовать кухонный либерализм, Самойлов оказался заложником ситуации. Время читать его, думается, пришло только теперь. Чтобы хоть наедине с собой договорить то, чего недоговаривал он.

**Джозеф Хеллер. Видит Бог. М., «Иностранка» — «Б.С.Г.-Пресс», 2002, 575 стр.**

Бог ведает, почему Сергей Ильин перевел «God Knows» как «Видит Бог», но в остальном с Хеллером он справляется куда лучше, чем с Набоковым. Впрочем, этого бруклинца переводить не так уж сложно. «Видит Бог» — один из лучших романов Хеллера на уровне «Catch-22», хоть и послабей, чем «Something Happened»; это ни много ни мало старческая исповедь царя Давида, самое метафизичное и поэтическое, при всем хеллеровском скепсисе, сочинение нашего автора. Получилась грандиозная и печальная хроника отпадения человечества от Бога и неутомимых поисков этого Бога. Само собой, Хеллер проигрывает в единоборстве с Ветхим Заветом, как проигрывает всякий автор, берущийся за библейский материал, будь он хоть Томас Манн. Прелесть в том, что в случае Хеллера проигрыш входит в изначальные условия игры, он предусматривается и составляет существенную часть замысла. Можно сказать, что весь Хеллер — хроника такого поражения и именно в этом противоборстве. Если Горький полагал, что Соломон у Куприна сильно смахивает на ломового извозчика, то и Давид в романе «God Knows» сильно смахивает на Йоссариана или Боба Слокума — персонажей, которых Хеллер изобрел прежде; однако все эти герои гораздо лучше ломового извозчика. Проигрывают они с достоинством. Вот где высота взгляда и подлинный жар метафизического вопрошания, вот где даже вечное иудейское брюзжание вытягивается на уровень

высокой поэзии (будь у Горенштейна чуть больше юмора, он написал бы свой «Псалом» именно в этой тональности — впрочем, это и хорошо, что большие писатели всегда разные). Хеллер отважно совмещает библейский стиль с городским жаргоном последней трети века и гораздо отважнее Шендеровича противопоставляет с миропорядком (да и Собеседник у него рангом повыше, нежели Путин): вот что значит ставить себе серьезные задачи. Впрочем, всякому читателю хеллеровских романов, напоминающих гигантские музыкальные сочинения с варьирующимся и ритмически повторяющимся сквозным мотивом (кажется, это называется фуга), надо быть готовым к тому, что периодически встречаются длинные скучные куски. Их можно спокойно пропустить, чтобы прочесть после, под настроение. Думаю, в расчете на это он и писал.

**Алан Уильямс. Дневники Берии. М., «Б.С.Г.-Пресс», 2002, 300 стр.**

В начале семидесятых на Западе почти одновременно вышли две чрезвычайно любопытные книги, сочиненные однофамильцами. Одна, «Слово», — в прошлом году переведенный у нас и почти никем не замеченный роман американца Робина Уильямса; эта книга, когда бы не известная слашавость финала и банальность любовной линии, могла бы стать подлинно великой. Давно я не читал более остроумного и точного трактата о христианстве в форме триллера. Вторая, «Дневники Берии», — роман английского политического журналиста Алана Уильямса. В обеих речь идет о подделках: в «Слове» — о новонайденном Евангелии, в «Дневниках Берии» — об интимных записях сталинского наркома, сочиняемых британским журналистом и русским эмигрантом.

Конечно, с Робинотом Алана не сравнишь, но книжка весьма забавна, ибо раскрывает лабораторию создания альтернативной истории. Вот сидят два остроумных человека, которым надо заработать. А давай напишем, что Ежов уцелел и работал паромщиком на Дону? Ведь могло быть, запросто! А давай сделаем Шелепина педерастом? Я тебе точно говорю, он мальчиков любил, все знали! И уж конечно, напишем, что Берия убил Сталина. Это будет наша сенсация, прикинь, и главный эпизод!

Альтернативная история шьется из слухов, но не только. Она возникает из чувства изящного. Изящнее было бы сделать так, как придумаем мы, а не так, как было. Дмитрий Фурман уже заметил, что и царевича Димитрия на самом деле не убивали, и московские дома вполне могли быть взорваны без участия ФСБ. Но легче всего закрепляется версия, соответствующая детективному канону. А не какая-нибудь там заурядная, в которой работают случайности.

Вот об этом — роман, построенный на замечательном знании читательской и писательской психологии. Саморазоблачительный. Чрезвычайно смешной местами (как почти любая западная книга о России). Очень показательный и еще в одном отношении: русский эмигрант, торгующий Родиной, выведен тут крайне малопривлекательным типом. Нигде не любят русских, даже когда они прозрели и оценили ценности демократии; ну что ты будешь делать...

**Гаррос-Евдокимов. [Голово]ломка. СПб., «Лимбус-Пресс», 2002, 270 стр.**

Строго говоря, этих юношей двое. Высокого, громогласного и патетического Сашу Гарроса никак не получается отождествить с маленьким, тихим и язвительным Андреем Евдокимовым. С обоими я знаком давно, роман их прочел в рукописи и обрадовался ему еще тогда. После того как Лев Данилкин с почти неприличной пышностью расхвалил «[Голово]ломку», назвав ее лучшим дебютом за последние лет десять (предыдущим лучшим дебютом со времен Гоголя были у него елизаровские «Ногти»), как-то даже и неловко признавать, что книга действительно очень хорошая. Прекрасный стиль. Смешные диалоги. Точные детали. И социальный протест, который я так люблю.

Гаррос и Евдокимов живут и творят в идеальной ситуации: в Латвии, в Риге, служа в русскоязычной прессе. Как бы в чужой стране, в эмиграции, а все-таки не



совсем. Родина их — безусловно, русская классическая культура (а вовсе не компьютерные игры и уж тем более не Тарантино), но ведь эта Родина всегда там, где ты. Зато вокруг — чуждый мир, который можно ненавидеть и тем подзаряжаться. Это книга о ненависти к имитации работы, к дикому капитализму, тупым начальничкам с гэбэшнo-комсомольским прошлым и проч. Это плевок в харю новым временам. Это чрезвычайно молодое и азартное сочинение о том, как герою надоело терпеть и приноравливаться. Плюс к тому оно замечательно написано, пластично и плотно. Самая легкость всех аппетитно описываемых расправ не должна смущать читателя: нет, это не игра, это, увы, такая реальность. Но зачем же вы все, господа хорошие, так построили эту реальность, что вас можно только убить, а больше ничего сделать нельзя? Ни уговорить, ни сместить, ни переизбрать. Только — чпок. С глубоким удовлетворением и без малейшего сострадания. Не нужно обладать особой проницательностью, чтобы за убедительно-победительной интонацией этого боевика расслышать жалобный визг безнадежно книжного интеллигента; однако, кажется, догадка авторов о том, что на современного Раскольникова не найдется ни одного Порфирия Петровича, не говоря уж о Соне, — совершенно верна.

Хорошая эмоциональная разрядка для всех униженных и оскорбленных как на территории бывшего СССР, так и за ее пределами.

**Юрий Коротков. Попса. М., «Пальмира», 2002, 415 стр.**

**Юрий Коротков, Валерий Тодоровский. Подвиг. М., «Пальмира», 2002, 350 стр. («Российский сюжет»).**

Сценарист Юрий Коротков выиграл первый конкурс «Российский сюжет», и вот его книга издана. Попутно опубликован кинороман, написанный вместе с Валерием Тодоровским: помню, как десять лет назад Тодоровский носился с идеей сделать эту дорогую и эффектную картину, — и вижу, что режиссерская его судьба могла быть куда предпочтительней, найдись тогда на нее средства. У меня нет особенных иллюзий относительно коротковской прозы, и у него их нет тоже — не зря книга, включающая четыре повести, носит негордое название «Попса». И тем не менее если суждено российской прозе возродиться — ее выручат сценаристы. Лучшими из них были Лудик и Саморядов (книга их повестей «Праздник саранчи» представляется мне лучшим прозаическим сборником девяностых). Очень хорошо пишет Геннадий Островский. И в восьмидесятых, и в девяностых трудно, но необходимо было читать сухие, жесткие киноповести Миндадзе. В кино есть фабульная напряженность и социальная точность, есть быстрый, репризный диалог и двумя-тремя штрихами обозначенный пейзаж. Любовь обязательно и лучше, чтобы роковая. Хороший писатель либо уходит в кино, как Сорокин, либо приходит оттуда, как Коротков.

«Попса» — это четыре повести с лихим криминальным сюжетом на редком ныне, хорошо прописанном социальном фоне (действие происходит не в клубной тусовке, и не в новорусской среде, и даже не в блатном мире, а в обычной обывательской Москве или маленьком шахтерском поселке). «Подвиг» — история о семидесятниках, о поколении, родившемся накануне гагаринского полета, и о единственной возможности совершить подвиг в душном, замкнутом, страшно напряженном мире позднего СССР (подвигом оказывается теракт, угон самолета). В каждой строчке Короткова чувствуется эротическое напряжение — заряд, полученный из тех времен; слог его нейтрален, но сжат и быстр, текст свободен от лишних подробностей, автор никому ничего не хочет доказать. Он, собственно, пишет не для читателя, а для режиссера. И как хотите, но из всех на моей нынешней полке книг именно эти две мне было интересней всего читать. Просто читать: в поезд ехать и не отрываться, пока не закончу.

После прочтения коротковских текстов не остается, пожалуй, никакого особенного послевкуся. Но образ времени — настоящего, мучительно тоскующего по тому, чтобы стать настоящим, — есть. Попса, она ведь тоже зеркало души. «Подвиг» — так и вовсе хорошая книга, некоторые эпизоды сделали бы честь любому писателю-семидесятнику, если б ему разрешили тогда такое написать. Короче, я за то, чтобы писать про жизнь и интересно.

## -3

Вуди Аллен. Записки городского невротика. СПб., «Симпозиум», 2002, 350 стр.

Почти любой фильм Вуди Аллена очень хорош в первые десять минут, но чрезвычайно утомителен во все остальное время. Всегда приятен вид человека, для которого нет ничего святого, и потому чтение алленовских пародий в те же первые десять минут доставляет массу удовольствия. В следующие десять минут выясняется, что в комплексах мелкого горожанина, сколь бы сильно он сам себе ни опротивел, нет ничего особенно интересного. При чтении Аллена выясняется поразительная вещь, а именно некий врожденный порок всей американской словесности и кинематографии последних лет двадцати: это необычайно мелкое кино и скучная литература, особенно когда речь идет о масштабных экранных блокбастерах и страшных бумажных триллерах. Черт его знает, куда делся и почему иссяк порыв великих американцев — от Томаса Вулфа до Орсона Уэллса — с нуля создать новую, великую культуру. Возможно, беда еще и в том, что я так люблю южан, а победили северяне. Причем в масштабе, далеко превосходящем отдельно взятую гражданскую войну. Пародии Аллена на Кафку и Кьеркегора ужас как милы, но и они лишь подчеркивают величие оригинала и непобедимую пошлость пародиста. Некоторые реплики в знаменитых алленовских скетчах заставляют предположить, что нам всю жизнь лгали и культовый герой американской интеллигенции живет не в Манхэттене, а на Брайтоне. Иногда мне кажется, что если бы Шендерович чуть меньше внимания уделял текущей политике или хотя бы рассматривал бы текущий *кровавый режим* как часть всеобщего ужасного миропорядка, он давно превзошел бы Аллена по множеству параметров — хотя бы потому, что не снимает кино; впрочем, не исключено, что, если бы Аллен чуть меньше внимания уделял своему здоровью и чуть больше — текущей политике, он тоже превзошел бы Шендеровича.

Владимир Спектр. Face Control. М., «Ad Marginem», 2002, 280 стр.

Вероятно, это одна из самых плохих книг, изданных по-русски за последние годы. Правда, как заметил Лев Пирогов, тут и самый плохизм работает на идею, ибо «Ad Marginem», судя по всему, затеял целую галерею автопортретов в исполнении типичных представителей современной российской молодежи. Спектр (наверняка псевдоним) у нас представляет клубную публику. Герой работает в рекламном бизнесе, нюхает кокс, изменяет жене с роковой бледной клубной девочкой, которая тоже замужем, и при описании малейших движений своей души не забывает упомянуть о том, как он был в данную секунду одет (все лейблы даны латиницей, типа как большой).

Герой — классический лишний человек. Страдает он ужасно. Он ненавидит пролетарское быдло, окружающее его дома, и бандитское быдло, окружающее его в клубах. В чем тогда его отличие от героя занесенной мною в плюсики «[Голово]ломки»? В том, что сам он от этого быдла ничем не отличается. Более того, он является классическим, стопроцентным жлобом, оценивающим прежде всего стоимость костюма своего визави. Изъясняется он слогом, более всего напоминающим монологи Присыпкина. Быдло дорвалось до сливок культуры и цивилизации, посещает Прагу и побережье Красного моря, водит дорогие машины и усиливается любить. «Подумав об этом, по моим щекам потекли слезы», — каков Кирджали! Попутно герой не устает ругать Отечество за то, что оно такое холодное и грубое. Честно говоря, я мог бы многое простить этому персонажу, возмись он, подобно Вадиму Аплетаяву из той же «[Голово]ломки», за пистолет, хотя бы и виртуальный. Но вы, вероятно, и так догадались, за какой единственный предмет он способен схватиться. Иногда по ходу чтения я принимался надеяться: уж не пародия ли он? Ну нельзя всерьез писать такие вещи! Вдруг Владимир Спектр и Владимир Козлов (см. ниже) одно и то же лицо, попросту нанятое писать про все социальные группы подряд? Вообще не похоже. Потому что, если это выдумка, стилистическое упражнение, — перед нами серьезный писатель. Может, Сорокин? В конце концов, стилизаторство — его конек, да и имя совпадает.

Владимир Козлов. Гопники. М., «Ad Marginem», 2002, 285 стр.

Эта книга еще хуже предыдущей. Потому что если «Face Control» предполагает хотя бы минимальную речевую характеристику протагониста, то в «Гопниках» речь главного героя нейтральна, как сорокинская в «Сердцах четырех». Тут нет даже попытки индивидуализации. Возможно, авторская (издательская) установка в самом деле такова — дать одни реалии, без намека на личность, чтобы личность эта не заслоняла жизнь. В таком случае избран путь заведомо бесперспективный: чем ярче протагонист, тем видней среда, это старый закон, отлично подтверждаемый всеми физиологическими очерками от «Конармии» до «Однажды в Америке». Чтобы проиллюстрировать пустоту и скуку жизни провинциального подростка, профессиональному писателю не понадобилось бы тратить триста страниц. Это же, впрочем, касается и жизни среднего пиарщика или рекламщика (см. выше). Попытка написать роман без психологии вообще — еще одна любопытная иллюстрация к нашей глубоко халявной эпохе, и автор закономерно терпит грубое, показательное поражение (боюсь, в отличие от хеллеровского случая, оно в его планы не входило: он думал, что в зияниях, пустотах и умолчаниях обнаружатся бездны). Получилась очень скучная книга. Хорошо хоть без ошибок в употреблении деепричастных оборотов. Поскольку автор не употребляет их вообще. Добычин, твою мать, как выразился бы Владимир Козлов.

Но вот я думаю (за это время привык уже отыскивать «что-то» в любом «ничто»): вдруг истинная цель нового проекта Александра Иванова — показать, что жизнь в деидеологизированном обществе немыслима? Ведь герои обеих упомянутых исповедей так кисло живут именно потому, что им верить не во что, делать нечего. Вдруг следующее повествование будет про отчаянного нацбола, поклонника Че Гевары, фаната молодежного отряда «Трудовой России»? Вдруг эта серия задумана совместно с Прохановым и исполняется силами авторов «Завтра» с единственной целью — проиллюстрировать бездуховность и пустоту существования в обществе потребления? Не удивлюсь. Отчасти обрадуюсь. Особенно обрадуюсь, если книга, венчающая цикл, — роман об осмысленной жизни борца — будет написана еще хуже, чем все предыдущие.

## КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА

### МИМО СТОИМОСТИ

**Б**ывает, настаивают на точности. Зря, точность бесперспективна. Потому что понятия, культурные ниши — оценены, проданы. И если ты точен, то попадаешь на коммерческое поле, в стоимость. Вот и не пиши точно, пиши мимо. Мимо стоимости, мимо коммерческих ожиданий. Пиши *наугад, грязно, впустую*. Кому надо, пускай вылавливает, просеивает, прожевывает, идентифицирует. Ситуация вынуждает порядочных людей ошибаться. Однако, если промахиваешься регулярно, системно, твое необязательное, твое молоко приобретает товарный смысл. Это, впрочем, когда еще будет, — но будет.

1. Герои лучших на сегодня американских кинематографистов, братьев Коэн, неизменно жестоко ошибаются. Планируют, выгадывают, целятся в яблочко. Судьба поправляет, выкручивая руки, перелаывая хребет. Но герои Коэна не обижаются на судьбу, вообще не рефлексировать. Блефуют, красиво и смешно терпят поражение, победа — истина подлецов.

Картина «Большой Лебовски» (1998) — неглубокое ретро. Действие происходит в 1991-м, во время войны в Заливе, что обозначено и подчеркнуто. Пятидесятилетние мужчины вроде бывшего хиппи и его приятеля, героя вьетнамской войны, проводят жизнь в боулинг-клубе, за бессмысленным трепом, вдали от женщин и больших человеческих задач. А за что, как не за это, десятилетиями боролась неспящая

мая американская демократия? Могут себе позволить! Герои, которых играют Джефф Бриджес, Джон Гудмен, Стив Бушеми, предельно обаятельны, предельно несостоятельны. В «Большом Лебовски» Коэны впервые преодолели искус декоративного стилизаторства, возвысившись до подлинно исторического кино. 1991-й — конец эпохи «холодной войны», определенный итог. Залив — первый американский поступок в новом качестве — в качестве чемпионов и громовержцев. Новая американская действительность пронзительно прекрасна, но саркастичные братья Коэн ее демифологизировали.

Если приглядеться, человеческий материал эпохи 60 — 80-х дивно нехорош. Первое поколение постиндустриальной эпохи — вот оно, три великовозрастных дебила. Один чуть что клянется Вьетнамом, хватается за пистолет. Следующий, «малый», Лебовски культивирует индивидуальность, свободу: словно бы в отместку, его путают совсем с другим человеком, с Лебовски «большим». Еще один, «трус», в конце концов умирает от страха, от разрыва сердца. Первая попавшаяся женщина трахает самодостаточного Лебовски, чтобы завести себе человеческого детеныша. Ни жить, ни регулярно спать с этими мужчинами она не желает, ее бой-френд — очаровательный голубой паренек, для бескорыстной дружбы. Записные индивидуалисты слипаются в коллективное тело: предприимчивое, подвижное, упитанное, смешное. Спасибо Коэнам: полезно знать, ради каких высоких гуманитарных задач велась непримиримая «холодная война». Вот потешные американские мужички, пацаны, жертвы идеологии потребления, которая, не поспоришь, совратила, поставила на колени «совок» и сопредельные территории, но попутно покалечила своих.

В подобных случаях китайцы предусмотрительно замечают: победу следует отмечать похоронной процессией.

2. И все же американские проблемы, к которым еще вернемся, если не решают, то констатируют мужчины. Зато на территории проигравшего восточного блока надеяться на мужчин не приходится вовсе. Хорошие, а порою лучшие восточные картины делают дамы.

Генеральная линия кинообзора прочерчена двумя гранд-дамами восточноевропейской территории: Муратовой и Хитиловой. Обе, Кира и Вера, стартовали в 60-е годы, обе активно работают до сего дня, выдавая картину за картину. Обе заинтересованно реагируют на мужское, позволяя себе ту степень свободы, которая вовсе не доступна российским режиссерам мужского пола, изредка доступна режиссерам-чехам.

«Капканы, капканы, капканчики» (1998), «Изгнанные из рая» (2001) Хитиловой, «Чеховские мотивы» (2002) Муратовой. Но прежде два слова о чешском контексте. Чешское кино — неизменно хорошее, хотя с некоторыми противными обертонами.

В 90-е чехи выпустили несколько местечковых *шедевров*, которые следовало бы пропагандировать куда активнее, чем иные западные, «большие», «взрослые», модные. Скажем, «Пуговичники» («На застезках») Петера Зеленки и «Заговорщики сладострастия» абсолютного чешского *гения*, сюрреалиста Яна Шванкмайера. Обе малобюджетные, скромные, но безукоризненно качественные ленты описывают все ту же ситуацию «после „холодной войны“». Впрочем, что еще описывать вменяемому художнику: другой ситуации ни у них, ни у нас, ни за океаном пока что не сложилось, хотя, кажется, уже сложились все предпосылки и новая прекрасная эпоха случится вот-вот.

«Заговорщики...» — это жесткая, чтобы не сказать безжалостная, драматургическая конструкция: шесть человек в поисках удовольствия. Трое мужчин, три женщины, постсоциалистическая Прага, дорвались! Пражская весна осуществилась, сбывлась? Наконец-то! Да вот беда, пражский обыватель не вполне представляет, как реализовать в мире новых возможностей. Технологии, посредством которых себя удовлетворяют, жалки и нелепы. Более того, технологии передаются по кругу, от брата к брату, от *масонки* к *масонке*. Святое постиндустриальное удовольствие, как мы тебя заждались! Дубчек, Форман, Хитилова, далее везде — неотчуждаемые права человека, свобода без берегов, фига в кармане. Ох эти мне чехи: ненавижу или люблю? *Ненавижу*, но кроме Шванкмайера.

Тетенька почтальон скатывает сотню-другую хлебных шариков, чтобы сладострастно втянуть их ноздрей. Через трубочку. Погрузиться в нирвану. Проснувшись, вытряхнуть из ушей. Затем упаковать в бандерольку и вручить подтянутой дикторше из телевизора, которая *неприятно* напоминает всех российских телеведущих одновременно.

Телеведущая оттягивается так: покупает огромных зеркальных карпов, скармливает им пресловутые шарики, прошедшие через эзотерическую носоглотку почтальонши, размещает тазик с рыбами в телевизионной студии, под столом, чтобы, зачитывая в прямом вечернем эфире горячие новости, полоежать свои ухоженные ступни. Карпы жадно заглатывают, обсасывают женские пальчики, ведущая постепенно сатанеет, сходит с ума, закатывает глаза, неистово воет: оргазм.

К трансляции хорошо подготовился скромный продавец союзпечати, соорудивший некую электронную женщину: вместо головы телевизор, две пары жадно обнимающих рук плюс отдельная кисть, выполняющая уверенные поступательные движения на уровне паха. Едва случаются новости, продавец раздевается, целуя экзотическую дикторшу взасос, то бишь в телевизионное стекло. Механические, но хорошо продуманные женские руки делают свое дело в свою очередь.

Муж дикторши, полицейский, отказывает супруге в физической ласке, вот отчего она столь пристрастна к безотказной похотливой рыбе. Но муж — тоже заговорщик! Он срывает с одежды встречных дам меховые пушистые кисточки, скупает в хозторге разного рода щетки, мастерит нелепые щекотливые приспособления, ночами покидает неудовлетворенную жену, запирается в сарае, естественно, раздевается, повелевает щеткам и кисточкам обрабатывать самые нежные и чувствительные места своего тела. Поскольку Шванкмайер — великий аниматор, без видимого труда оживляющий любой предметный мир, кисточки и щетки безотказно обслуживают нежного пражского полицейского. Щекотят.

Наконец сладкая парочка садомазохистов среднего возраста, соседей по коммуналке. Он мастерит внушительную, устрашающую петушиную голову из папье-маше, шьет из зонтиков перепончатые крылья, выезжает на природу, где, превратившись в агрессивную *мужскую птицу*, мучает человекообразную куклу — свою отвратительную соседку. Мучает, самоутверждается, клюет. В результате — сбрасывает на ее тряпичную голову громадный камень. Заранее припасенная кровь из пакетика. Смерть, полная мужская победа. Ай да парень, ай да сукин сын. Незабываемый, виртуозный фрагмент-фантазм, органично сочетающий фотографическую конкретность с предельной, апокалиптической анимационной выразительностью!

А она? Мстит страшно, жестоко. Заставляет раздеться кукольного двойника своего ненавистного соседа. Хлыст, кожа, повелевающий свист бича. Разорванное лицо, солома из-под тряпки. Жалкий, униженный мужичок. В довершение она погружает его голову в тазик с водой, топит...

Где, когда вы посмотрите это запредельное чешское чудо? Нигде, никогда. Отчего и пересказываю в деталях. Все же картина Шванкмайера — грандиозное свершение восточноевропейской культуры, один из ключевых текстов прошедшего столетия. Хотя бы иметь в виду. Все же круче Пелевина. И куда точнее Сорокина, даже хорошего, раннего. Эхо пражской весны. Страшные, если не забавные последствия. Открыли «железный занавес», втянули воздух свободы — и что? Удовольствия — непредсказуемы, ничтожны, пошлы. Даже в удовольствиях — какое-то *азиатское косноязычие*.

«Пуговичники», на пару лет позже, где-нибудь в 1998-м. Влияние Джармуша и Тарантино, но это по форме, а вот содержание наше, родное: снова *«совки» дорвались!* Одна из новелл: встречаются две семейные пары средних лет, чешский истеблишмент, за вечерним чаем. Познакомиться, обсудить предстоящую свадьбу детей. Выясняется: и у тех и у других тайные увлечения, *сладострастие!*

Один мужичок, даром что большое начальство, представляет от имени тайного общества «пуговичников». Эти, загадочные, так ловко работают мышцами заднепроходного отверстия, что умудряются, точно клещами, откусывать... декоративные пуговицы с офисных кожаных и домашних плюшевых диванов. И все? И вся тайна?! Весь порок? Весь, с позволения сказать, тайный плод? Именно весь. А

ведь как стеснялись, переживали, боялись огласки. «Не могу терпеть!» — едва заметит диван, едва присядет, едва поелозит, вмиг пооткусывает, до единой пуговки!

У другой пары другие проблемы. *Эти* в порыве ответной откровенности признаются, что любят домашние спектакли. Так-так, мазохизм? Не спешите, *эти* тоже с прогрессивной фантазией: разыгрывают воздушный бой. Он надевает громадную модель истребителя, летает по комнате, *урчит*. Она же — пушка, гаубица, зенитка. Грохот, спецэффекты, дымок. Гости довольны: вот и породнились, родственные души. «*Совки*».

Чехам, которые все же подлинная, не стилизованная Европа, виднее. Вот отчего эти навязчивые, эти повторяющиеся из фильма в фильм *потребительские маразмы*. Чехи — лучшие среди них — критичны, пронизательны, остры на язык. У нас же прежняя, неулыбчивая, до наглости застенчивая советская богема, все те же совковые «чего изволите» — даже не выработав специфической внутренней речи — самонадеянно обособились в престижную социальную группу, самоназвались. Элита. Цивилизация. Запад.

А я бы сказал: «*На конюшню!*» С кредитными карточками, в смокингах, с печатью высокомерия на челе, прямо из телевизионной студии, с голубого экрана — *на конюшню*. Меня мало кто слышит, иные так даже посмеются, пускаяй. Но ведь отправятся куда следует, все равно отправятся, едва изменится социально-психологический фон (и случится это не по идеологическим причинам, ибо никакой идеологии у конюха нет, равно как нет и самодостаточной речи, а в связи с неотменимой *поколенческой ротацией*).

3. 60-е: Хитилова — авангардистка. Ее легендарные «Маргаритки» — про двух подружек-хулиганок, которые провоцировали обывателей и гениально напрягали художественную форму картины. Обаятельное женское распоясалось: девчонки искали нетривиальных развлечений и удовольствий, находили. Обыватели сторонились, пугались, роптали. Пустое, как этим девчатам откажешь?

Тридцать лет спустя наступило время расплаты. Героиню насилуют неуверенный в себе, не способный справиться с собственной женой министр экологии и его похотливый приятель. Героиня работает ветеринаром, ловко отрезает пороссятам яички. Поэтому ей ничего не стоит кастрировать утомленных развлечениями мужчин: «Ой, у меня там нет!» — «Слушай, у меня тоже там нет... Я говорил, надо было убить ее! Пусть немедленно мне вернет! А может, она мне занесла инфекцию? Я же не знаю, умеет ли она это делать?» Умеет, умеет, профессионалка. Раздосадованные, собрали отрезанное добро в термоски, пристроили в холодильник. «Что это? Это — „оно“? „Оно“ так выглядит? Конец. В этой миске *наш конец*. Это мы, мы — там». — «Те, что побольше, пожалуй, мои!»

Приблудный алкоголик скушал «мяско» пополам с яичницей. Полная катастрофа? Ничего подобного! Парадокс 90-х, вот он: по существу, *ничего не изменилось*. Кастраты остались при своих прежних постах и социальной власти! Зато протестующую героиню забирают в психушку. Последний кадр картины: громадный рекламный плакат вдоль автострады. «Кушайте шоколадные шарики Баха!» — настойчивая рука заталкивает пресловутый шарик в отворенный женский ротик.

Гендерные отличия нивелированы. Так называемое «мужское» — отныне не определенность, не ответственность, не воля, не яички и даже не член. Мужское вытравлено, обессмысленно. Режиссер досадует, недоумевает. А не ваши ли, пани Хитилова, беспощадные «Маргаритки» легли в основание мавзолея, чтобы не сказать могильника? Не вы ли *приговорили и похоронили* мужское? Теперь с яйцами или без яиц, «женщины» или «мужчины» — равноудаленные от рая заговорщики сладострастия. Противно.

«Изгнанные из рая» — малобюджетный, снятый на видео трэш. «Новый чешский» «продюсер» нанимает известного режиссера и сотню статистов-нудистов, чтобы сделать продаваемую, популярную кинокартину. Но режиссер то ли по инерции, а то ли по глупости безумствует: ад, рай, Данте, смысл, «гордое слово художник» и др. Продюсер: «Пускай валяются вместе, вповал, трутся телами!» Режиссер вечером, в салоне автомобиля, трахает юную продюсерскую дочь, а ночью,

в гостиничном номере, — давно наскучившую жену-ровесницу. На площадке искренне, но тупо творит. Наш провинциальный гений.

Много голого тела, но никакой эротики, тотальное безобразие, фарс, тошнота. Вот уже край, вот уже предел откровенности: голое, голое, видеоэстетика, максимально приближающая съёмочный объект к зрителю, распад. Трудный, проблематичный, на грани потери вкуса и смысла, на грани разрушения формы опус. «Предельное чешское», порог. Хитилова, «чешская волна» 60-х в ситуации отмены партийно-государственного контроля. Оказалось, трудное испытание. Оказалось, партийные цензоры — полноправные, достойные соавторы Веры Хитиловой! Навероятно, но факт.

Шванкмайера спасает вот что: беззаветная преданность идеалам сюрреализма, отрицающего всякую ангажированность, тем более политическую. Плюс невероятное трудолюбие, ибо технология Шванкмайера подразумевает кропотливую, изматывающую, конкретную *работу* — руками и головой. Подразумевают нечто, тотально противостоящее гедонизму. Тяжелая, ответственная *мужская работа*, изо дня в день. Все — сам, ведь не Спилберг, не Земекис, не в Голливуде. Девчонки-маргаритки мечтали раздеться, похулиганить. В 60-е этого было достаточно, чтобы состоялось нечто: форма, если не содержание. В конце 90-х голые маргаритки не вызывают ничего, кроме глумливого любопытства.

Изгнанные из рая — заговорщики сладострастия.

Когда-то в начальной школе я прочитал на первых страницах неосторожно позабытого взрослыми «Швейка»: «...в камере оказался капрал, который только и делал, что жрал, да еще то, что рифмуется со словом „жрал“». Весьма травматичное впечатление, короткое замыкание, ужас пополам со сладострастным восторгом. Намекнули, пообещали! И такое возможно?! В книге, официально, легитимно, законно?! Может, когда-нибудь — дословно, полную правду? И ведь дождались.

Теперь-то мы видим, что свобода без берегов, иначе эмансипированное женское, — идет до конца, невзирая, вразнос. И по сию пору эрогенные зоны моей души откликаются на смелые, агрессивные обещания. Но в конечном счете даже при самом лучшем раскладе — придется *работать*, потеть. На съёмочной площадке или в постели — все равно. Вполне по Шванкмайеру Яну. Наперекор Хитиловой Вере.

4. Картина, необходимая всякому просвещенному человеку. Внимательные критики неизменно включают ее в десятку «лучших фильмов всех времен и народов». Классический вестерн Джона Форда «Отправившиеся на поиски» (1956). С каждым десятилетием, с каждой неделей его актуальность возрастает. Кстати, заинтересованным лицам советую прочитать давным-давно переведенную на русский повесть Петера Хандке, где истеричная семейная парочка отправляется в путешествие по Америке, на поиски Джона Форда, находит его, а потом неторопливо беседует о жизни, об Ирландии, об Америке, обо всем.

Действие фильма развивается посреди Дикой американской степи, как водится, в позапрошлом XIX столетии. Бледнолицых американских фермеров терроризируют живущие по собственным степным законам команчи. Много разных, однако непонятных команчей, апачей, гуронов. Несгибаемый Джон Уэйн (имя актера, а не персонажа, но мне так удобнее) возвращается с какой-то многолетней войны, видимо, это война с пресловутыми индейцами. Уэйн, как никогда, суров, задумчив, решителен и груб.

Между тем, выманив белых взрослых мужчин из дома, на простор, одно из враждебных индейских племен совершает жестокий набег, сжигает дома, забирает в полон девочку и девушку, племянниц Уэйна. Вернувшийся на пепелище Уэйн клянется самому себе: вернуть пленниц, непременно вернуть. Сначала на поиски отправляются все окрестные мужчины, рейнджеры. Однако индейские пули и сложность поставленной задачи возвращают попутчиков домой, к домашнему очагу. Верность клятве сохраняют только сдержанный, упертый Уэйн, сыгравший в этой картине одну из самых значительных ролей в истории кино, и сводный брат девочек, симпатичный, горячий юноша-полукровка.

Незаметно, исподволь Джон Форд превращает историю в миф. Лето сменяется зимой, но в свою очередь тают снега, и вот уже все окрестные бледнолицые те-

ряют счет времени, все, кроме не изменившего обещанию Уэйна, терпеливо, настойчиво и хладнокровно идущего по следу. Уже известно, что старшая, половозрелая девушка была обесчещена и уничтожена почти сразу. Теперь ищут одну лишь Дэби, которой на момент похищения исполнилось двенадцать.

Однажды Дэби отыскалась: теперь она пятая жена немилосердного вождя, убившего когда-то и родителей юноши-полукровки, и всех близких самой Дэби. Впрочем, вождь, как водится, мстит за гибель собственных родственников. Едва узнав правду, даже не моргнув глазом, Джон Уэйн взводит курок. Чтобы пристрелить Дэби, которую грудью прикрывает возмущенный поведением старшего товарища юноша, сводный брат. «Но ведь она ни в чем не виновата!» — «Ее не раз перепродали. Теперь она живет с ними, пятая жена. Она должна умереть». Одна из самых жестоких, самых глубоких и точных картин мирового экрана. Джон Уэйн знает: специфика «женского» в том, что «женское» *бесконечно пластично*, в этом его сила и в этом же его бесконечная опасность для «мужского», которому в конечном счете — отвечать за все. Пластичное женское умеет примирить, умеет запечатать в одном флаконе *унижение и удовольствие, наслаждение и позор*. Гремучая, гибельная для «мужского» смесь. Именно через эту лазейку в мир пробирается ослепительный, безответственный соблазн.

Словно стесняясь все-таки принятого политкорректного решения, Джон Форд комкает финал своего фильма. Быстро-быстро, скороговоркой: Уэйн поднимает найденную женщину на руки, возвращает позабывшую родной язык дикарку на родину. Страшная, безвыходная конструкция: выдержит ли его мир ее возвращение?

Все-таки жаль, что Джон Форд сдался на милость идолу политкорректности.

5. Новый муратовский фильм показали в рамках конкурсной программы Московского международного фестиваля 2002 года. Официальных призов он не получил, зато был отмечен наградой отечественных критиков. «Чеховские мотивы» — двухчасовая черно-белая фантазия по мотивам маргинальных, неизвестных автору обзора текстов старинного русского писателя. Посему — о Чехове ни полслова. Все — о Муратовой.

Муратова удивила даже меня, ее самого оголтелого и преданного поклонника. Прозябающая в провинциальной Одессе Муратова снова поставила на колени, смертельно унизила российский Союз кинематографистов: богатый, заносчивый, «мужской». Три года назад, готовя для журнала «Искусство кино» какую-то анкету, позвонил в Одессу, предупредил, что к ней, к Муратовой, есть несколько вопросов, попросил номер факса: на Одесской киностудии или дома. «Что вы, — усмехнулась собеседница, — на студии ничего не работает, разруха. Да и дома нет ни факса, ни Интернета, некогда...» Этот разговор я вспомнил сию минуту. Показательно: там, где есть факс, Интернет, технология, — на «Мосфильме», «Студии им. Горького» и в телевизоре, — блистательно отсутствует искусство кино. Другое — в Одессе. Факса нет, зато есть Муратова. Не то чтобы я за бедность, наоборот. Я против богатства с последствиями, с душком, того богатства, которое разворачивает, и только. Впрочем, об этом еще не время.

Муратова сняла самую лучшую постсоветскую картину. Впрочем, *все* лучшие постсоветские картины — ее.

Коснусь «Чеховских мотивов» вскользь: штука посильнее, поважнее фауста гёте<sup>1</sup>. Полный крах мужского. Феерическое, ни с чем в мировой истории не сравнимое унижение. Вначале студент выпрашивает деньги у священника-отца: «Я вас попрошу: ну дайте мне немного денег на учебники и на обеды... Следовало бы еще попросить на книги, на плату за квартиру, но — пустое сотрясение воздуха». Каникулы жалобным, униженным тенорком. В эту унижительную мольбу вплетаются отцовский баритон, детское повизгивание, материнское сопрано: «Ну дай ему денег на туфли! Ну как ему ехать в такой рвани? Ну хотя бы на брюки, чтобы от него

<sup>1</sup> Несколько подробнее об этом фильме см. в «Кинообзоре» Натальи Сиривли («Новый мир», 2002, № 11). (Примеч. ред.)



не пересаживались на другое сиденье, как он рассказывает. Мне его рассказ слушать неприятно!»

Только Муратова умеет выстроить такую самодостаточную, насыщенную смыслами *акустическую среду*. Дело кончается гениальным эпизодом *мужской истерики*: студент методично расшибает об пол посуду, дородный отец воздевает руки к небесам, то бишь к потолку. На два голоса скулят, подвывают, кудахчут. Между тем в дверном проеме молча застывает мать с ребенком на руках. Гендерный перевертыш. Сцена заканчивается декоративным, орнаментальным, одновременным истерическим жестом «мужчин»: выйти из этой истерики посредством осмысленного сюжетного хода — невозможно. Реальность, которую все же приходится учитывать, не дает для подобного выхода никаких оснований.

Да и вся картина — об этом же. Центральный ее эпизод, данное едва ли не в реальном времени венчание в деревенском храме, есть ключевая, апокалиптическая метафора нашего времени. Параллельно каноническому православному обряду, никак с ним не соприкасаясь, — *шевелится хаос*. Какие-то бесполое новорусские мужички, какие-то истеричные, вечно пританцовывающие, суетливо клубящиеся бабы. Плазма, магма, пульсирующее коллективное тело. Муратова намеренно одевает всю эту разношерстную публику в кричащие, маргинальные одежды. Здесь, под крышей храма, собрались и гротескные буржуа «Броненосца „Потемкина”», «Октября», «Стачки» и экзотические монстры поздних Средних веков, словно прокравшиеся в постсоветскую реальность из зловещих интерьеров «Ивана Грозного».

Вообще «Чеховские мотивы» — это манифестация культурной памяти. Здесь вся визуальная ткань — актуализация художественного опыта великого советского кино 20 — 30-х, эпохи бури и натиска. Бесчисленные, предельно выразительные портретные гротески — конечно, Эйзенштейн! Интеллектуальный монтаж, «ритмический барабан» — Эйзенштейн. Кажется, Муратовой удалось невозможное: адекватно пересказать постсоветскую Россию на основании фабульных построений Чехова, посредством визуальных приемов Эйзенштейна. Конечно, «Чеховские мотивы» — абсолютная классика и в смысле значительности, и в смысле использованных языковых ресурсов.

Итак, служба, священники, обряд, канонический текст, шевеление хаоса, визгливая, завернутая в узорчатый плед баба терроризирует собравшихся локтями и бесноватыми воплями. Кружится в опасной близости от алтаря. Впоследствии выясняется: подруга отравившейся Татьяны Репиной, несчастной сожительницы нынешнего жениха. Кроме того, бесноватая — родная дочь ведущего службу священника. Пришла отомстить за оскорбленную женскую честь, непосредственно в храм, куда же еще: «В женщине оскорблен Бог!» Смотри выше, смотри вокруг — возобладавшая ныне точка зрения. «Погибла женщина, погибла! Твари хитрые, сучары! Зачем он счастлив, боже мой? *Все должны отравиться!*» — ключевое, квинтэссенция безответственного женского каприза.

Вот очаровательный «новый русский»: «Я убил комара! Бывают комары в церкви?» — «Да». — «А зачем тогда ладан?» Кто это — Чехов, Муратова, бог весть, не важно. Это — Россия 2002-го. Ни добавить, ни убавить, убийственно, хорошо: *квазибуржуазный угар* посреди Великой степи!

Муратова демонстрирует феноменальную авторскую волю, связывая воедино разнородную речь, несовместимые фабульные ходы, описывая мучительную российскую действительность на языке внятных, даже грубых, надежно укорененных в культурном поле визуальных клише.

Отец оскорбленного молодого человека, студента, даром что православный священник, — из того же поколения, что и американские герои братьев Коэн. Это наш, русский «малый Лебовски». Вот он кричит сыну: «Молчи вот, а ты — молчи! Я что хочу, то и говорю, а ты молчи, молчи! Да я в твои годы деньги зарабатывал. Ты, подлец, знаешь, сколько ты мне стоишь?! Объели, обпили, так нате вам и деньги еще! Шейте себе сапоги, мундиры, покупайте фраки и кроссовки и всякое кружевное белье, последнее, что человеку о-очень для жизни необходимо!»

Ключевая проговорка — про белье. Именно это странное поколение плебейских мужчин, ни за что ни про что получавших от непрактичного советского госу-

дарства деньги, квартиры, привилегии, символическую власть, уже привыкшее к тому, что этот безответственный потребительский кайф никогда не кончается, превратившееся в странное, рыхлое, не способное ни на что племя и выпустившее джинна, то бишь безответственное «женское», из бутылки, теперь, так ничего и не поняв, так ничему и не научившись, продолжает по инерции качать права, *блокировать младших*, разваливать страну!!

Безответственные послевоенные «мужчины» позволили соблазнить доверчивую дуру — Великую Дикую Степь — неорганичным для этой территории западноевропейским глянцевым стандартом и сами распались, превратились в ничто — в дурной бабий голос, в истерику, в бесполоую мразь. Уникальный антропологический тип, гендерная подлянка: *бабец*.

«Семьдесят лет принудительного патернализма не прошли даром: массовая мораль значительно сдвинулась от продуктивного к перераспределительному принципу, что и уготовило трагикомический феномен потребительской психологии в обществе, где нечего потреблять» (А. Панарин).

Ваше белье, господа, ваше! Не стесняйтесь, носите.

Свои кружевные панталоны. Свои многозвездочные погоны. Свои отличительные лампасы. Так вас будет легче узнать.

6. Внимание: страна выиграла Великую войну 1941 — 1945 годов лишь потому, что по необходимости наиболее престижной социальной группой стали *молодые мужчины*, которых, кстати, нельзя до бесконечности унижать. Потому что, нравится это вам или нет, именно молодые бездетные мужчины выигрывают войны, сменяют династии и расщепляют империи. Срывают столицы и культурный слой *ниже фундамента*. Вместо того чтобы подсчитывать, каким в Русской революции был процент евреев или масонов, стоило бы уточнить: каков в партии большевиков и сопутствующих радикальных революционных организациях был процент молодых бездетных мужчин.

В конечном счете решающую роль в победоносном наступлении Красной Армии на Западную Европу, завершившем нашу Священную войну, сыграл неукротимый порыв половозрелых солдат-победителей. Безусловно, делая подобное заявление, я рискую подставиться, и все же: не идеология, не абстрактные лозунги давали силы и вели мужчину под пули, вперед. Вела, заставляя бросаться в огонь, преодолевать ужас смерти и кровь, — *воля к жизни*, иначе — *воля к женщине*. К той, что ждала на Родине, но и к той, что была здесь, рядом, за линией фронта, на постое, в Праге, Вене или Берлине. (И про это мы еще сделаем наше новое, наше великое кино, которое заставит нацию проснуться!)

Кстати же, скептикам и недоброжелателям замечу: вышеприведенный тезис *в наименьшей степени* имеет в виду *биологию!*

7. Помимо социального и мифопоэтического содержания «Чеховские мотивы» предлагают урок визуальной антропологии. Новый фильм Муратовой — грамматика кино, его лексика, его квинтэссенция. Муратова реабилитирует человеческое лицо. Муратова работает с выразительным лицом, с выразительным ракурсом и с силуэтом. Великое немое кино 20-х — вот одна из главных составляющих ее опуса.

Все, что писал по поводу Асты Нильсен один из корифеев кинонауки Бела Балаш, вполне применимо к муратовским натурщикам в этой картине: «Ее лицо не столько несет ее собственное выражение, сколько почти незаметно (но всегда ощущимо) отражает, как в зеркале, выражения лица других. Так же, как в театре я могу слышать то, что слышит героиня, могу я прочитать на ее лице то, что она видит. Она несет на своем лице целый диалог и переплавляет его в синтез понимаемого и переживаемого... Она как бы фотографирует лицо, ныряет в его глубины, возвращается назад...» («Видимый человек», 1924).

Все героини Муратовой — маски. Маска как чистое объективирование, как отражение внешнего, как зеркальность. Маска действует как фотоаппарат. Сфотографировав внешнее, осуществляет его синтез, соединяя его с внутренним. «Зеркальная структура, работая как фундаментальный знаковый механизм кинематографа,

осуществляет подлинное объединение внутреннего и внешнего, изображения на экране и зрительной рефлексии» (М. Ямпольский).

Кино выдает рефлексивные, отраженные значения за внутренние. Работая в режиме *зеркала*, лицо на экране предстает как *палимпсест*, и в этом заключается один из главных парадоксов физиогномики. В качестве иллюстрации этого ключевого для кино механизма смыслообразования достаточно посмотреть Мурнау, Эйзенштейна — или Муратову...

## CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА

### ПРОДЮСЕР И ХАРИЗМА

#### ECM Rarum Series

**К**ак ни удивительно оказалось это для меня самого, но выходит, что сопоставить мюнхенскую звукозаписывающую фирму «ЕСМ» я могу только с детройтским хит-конвейером шестидесятых «Tamla Motown». Удивительно, поскольку между ними, между их продукцией, можно смело сказать, нет совсем ничего общего. На утонченной интеллектуальной «ЕСМ» не делали звезд из секретарш и тринадцатилетних подростков<sup>1</sup>, не штамповали шлягеры на заказ, сама идея поточного производства музыки сюда была совершенно неприложима. На «ЕСМ» занимались инструментальным музицированием, создавали авангардный джаз особого извода; вообще человеческий голос на пластинки фирмы проникает далеко не сразу. Однако, несмотря на всю эту несхожесть, я не могу припомнить в героические шестидесятые — семидесятые других звукозаписывающих компаний, которые имели столь же формирующее, конструирующее значение для определенных музыкальных направлений и вели столь же активную, внедряющуюся политику — именно творческую, а не только коммерческую: где продюсеры записывали и выпускали не то, что уже где-то и как-то существует, дорабатывая, приглаживая, подгоняя под коммерческие стандарты, но участвовали наравне с музыкантами во всем процессе создания музыки, добываясь в первую очередь соответствия собственным, «фирменным» представлениям и критериям. Это много позже придет — фирмы станут не столько поддерживать, сколько изобретать музыкальные стили. И основатель «Motown», и основатель «ЕСМ» опередили время (что, кстати, отнюдь не всегда благо и удача) прежде всего в понимании роли продюсера в музыкальном процессе, предвосхитили методы работы, которые войдут в обиход разве что в конце восьмидесятых. В итоге сегодня мы имеем целые музыкальные «континенты», маркируемые не столько именами музыкантов, сколько названиями фирм. А на древней карте нефилармонического музыкального мира, где-нибудь двадцати-

<sup>1</sup> Фирма «Motown» была организована в 1959 году человеком по имени Барри Горди. К тому моменту Горди являлся автором одной-единственной песни с говорящим названием «Money That's What I Want» («Деньги — вот все, что мне нужно»); впоследствии ее исполнят «Битлз» и превратят в мировой шлягер. За несколько лет «Motown» становится главным производителем негритянской поп-музыки, причем изготовление хитов тут ставится на вполне промышленную основу: есть «цеха» сочинителей мелодий, аранжировщиков, текстовиков и т. д. «Motown» недаром часто называли «галактикой»: количество звезд первой величины, выращенных в инкубаторах фирмы, с трудом поддается исчислению. Среди мегазвезд: Стиви Уандер (как раз он и сделал первые записи на фирме в тринадцать лет), Дайана Росс, Марвин Гэй и Майкл Джексон, тоже начинавший ребенком, но в составе семейного ансамбля. В сущности, весь так называемый *adult soul*, еще недавно составлявший не менее трети музыки, транслируемой по MTV (теперь канал MTV резко переориентировался на тинейджеров и соответственно корректирует репертуар): главным образом десятки певцов, весьма профессионально поющих в одинаковой манере, — например, Уитни Хьюстон, известная более других, потому что снималась в кино, — полностью укоренен в музыке «Motown» шестидесятых годов. А вся история фирмы — пример сказочного успеха в музыкальном бизнесе, голая американская мечта — из грязи в князи.

пятилетней давности, музыка «ЕСМ» — это континент Сибирь: холодный, не маленький и не большой, рядом с Лавразиями и Гондванами, зато таинственный и совершенно отдельный.

В 1969 году молодой немецкий контрабасист Манфред Айхер, большой почитатель великого джазового пианиста Билла Эванса, имевший уже некоторый опыт манипулирования звукозаписывающей техникой в студии крупной фирмы «Дойче граммофон», договорился с несколькими авангардными американскими джазменами (Пол Блей, Мэл Уолдрон) о выпуске их записей в Германии. Айхер занял под это дело шестнадцать тысяч немецких марок и зарегистрировал компанию, названную им просто и скромно «Издание современной музыки» (Edition of Contemporary Music — ЕСМ). Не знаю, когда появился девиз фирмы, так что приведу его сразу: «Лучшие звуки помимо тишины». Девизом декларируется четкая позиция Айхера. Вообще в джазе, особенно в джазе шестидесятых годов, аура «авангардности» связана прежде всего с революционной деструктивностью: то есть для того, чтобы подняться к новым высотам, надобно сначала что-нибудь поломать, разрушить, преодолеть — тональное тяготение, устоявшуюся фразировку и т. д. (главное — уничтожить всякий намек на благозвучие). Американский джазовый авангард шестидесятых — музыка по преимуществу довольно крикливая. Вот эту крикливость Айхер из своей продукции выметает железной метлой — еще на уровне концепции, до формирования конкретного звука. И хотя звучания у ЕСМовских музыкантов бывали очень даже резкие, Айхер научился переводить их резкость в иной, умный, план, подавая музыку так, что она оставалась кристаллически замкнута в себе и от непосредственной передачи эмоций отстранена. Вероятно, поэтому оказалось недолгим сотрудничество фирмы на рубеже восьмидесятых с радикальными, но и типичными американцами: «Art Ensemble of Chicago», Лео Смитом, Дьюи Редманом, Джорджем Адамсом.

Трудно сказать, как Айхер возвращал кредиты, поскольку основной формулой деятельности фирмы стала «пластинка за пластинкой» — то есть деньги от продажи выпущенного альбома (малотиражного, разумеется) вкладывались в следующий проект. Тем не менее, как это ни было сложно при подобной политике, «ЕСМ» постепенно набирает обороты: в 1969 году выходят две пластинки, в 1970-м — шесть, в 1971-м — восемь, в 1972-м — двенадцать... И быстро формируется довольно устойчивый круг исполнителей, чьи имена в дальнейшем будут ассоциироваться либо исключительно, либо прежде всего с фирмой Айхера.

Манфред Айхер изначально неровно дышит к музыкантам, скажем так, балтийского региона — скандинавам, датчанам, даже полякам (правда, соотечественники почти лишены его внимания — хотя Айхер, наверное, баварец, раз штаб-квартира его фирмы в Мюнхене, и, значит, прочих германцев числит соотечественниками разве что с большой натяжкой). Уже в 1970-м выходит пластинка норвежского саксофониста Яна Гарбарека. Собственно, до того, как вступить в сотрудничество с Айхером, юный Гарбарек успел выпустить всего лишь одну работу, а в дальнейшем вся его творческая судьба связана с фирмой неразрывно, и никаких походов на сторону он себе не позволял. Это справедливо и в отношении к членам его квартета, с которым он сыграл свой первый ЕСМовский альбом. Гитарист Терье Рипдаль, контрабасист Арильд Андерсен и барабанщик Йон Христensen становятся ядром «нордического» крыла «ЕСМ», куда периодически присоединяются музыканты разных североевропейских стран, Англии, а иногда случаются и межконтинентальные объединения. Собственно, первый диск квартета Гарбарека еще не являл каких-нибудь особенных откровений. А вот пару лет спустя теми же силами был сделан исторический альбом «SART», продемонстрировавший миру действительно совершенно новую музыку, может быть, и произрастающую из американского атонального джаза, которым Гарбарек со товарищи по молодости очень даже увлекались, но на привычный, вздрюченный, экстравертивный до опустошения свободный джаз, да и вообще на что-нибудь к тому моменту известное, мало похожую.

Музыку такого рода сочиняют, изобретают, конечно, не продюсеры. И на студиях, предшествующих записи, продюсеру тут вряд ли можно было внедриться со своими указаниями. За первые десять лет существования фирмы и не назовешь, пожалуй, альбома, где было бы заметно сильное, на американский манер, продюсер-

ское управление именно музыкальным материалом. В конце концов, работает Айхер не с Бритни Спирс, а с людьми, у которых часто за плечами многолетний опыт и всегда в пальцах виртуозное мастерство, а в голове — масса собственных идей; с теми, кто может и способен двигать музыку вперед, — много ли таким навяжешь?

И первый альбом Гарбарека, и «SART», и львиную долю всех вышедших к настоящему дню ЕСМовских выпусков записывает норвежский звукорежиссер Ян Эрик Конгсхауг, сразу ставший ближайшим сподвижником Манфреда Айхера в деле создания фирменного звучания «ЕСМ», которое полностью оформится за несколько лет, но его признаки отчетливо различимы и в первых работах. Именно звучание особого свойства, своего рода отдельное звуковое пространство, акустическую архитектуру слышит и желает воплотить Айхер еще до всякой наличной музыки; а Конгсхауг помогает продюсеру найти средства, чтобы такое пространство выстроить. Определяются средства довольно быстро и в сути своей остаются неизменными: нестандартное панорамирование (Конгсхауг называет это «гомогенная стереопанорама»), создание нескольких слоев глубины звуковых планов путем использования разных эффектов реверберации с очень большим временем затухания; причем материал записывается без учета акустики студии, и вся реверберация выполняется впоследствии искусственно и весьма изощренно, так что общее звучание совершенно прозрачно, инструменты не маскируют, не перекрывают один другой, а вместе с тем вся звуковая картина как будто обернута эдакой дымкой реверберационного послезвучия. Любопытно, что как бы «природность», «экологичность», как бы естественная красота фирменного звука — а все это, конечно, входит в ЕСМовскую легенду, и недаром большинство альбомов фирмы оформляются ландшафтными фотографиями (почти всегда хорошими) — создается абсолютно искусственными методами. Конгсхауг очень рано, едва ли не сразу, едва появилась соответствующая аппаратура, перешел на цифровую запись и обработку, что в восьмидесятые, когда цифровая техника многими воспринималась как бесчеловечное порождение машинной цивилизации, способное разве что убить живую и одушевленную музыку, казалось прямым противоречием самой эстетике «ЕСМ».

Сам Айхер к ручкам звукорежиссерского пульта, как правило, не прикасается. Однако уложить в прокрустово ложе нужного ему звука можно не всякий ансамбль и не всякую музыку. И стало быть, главная его задача — именно отбор материала, способного заставить его звуковую архитектуру правильно зазвучать. Стиль «ЕСМ» — это звук (кто-то из критиков — не знаю, доброжелатель или напротив, — описал его так: «эхо в ледяном хрустальном дворце, заморающее в его сводах»). На «ЕСМ» скорее подбирают музыку для звука, а не звук для музыки. И где-то с середины семидесятых, как только для фирмы заканчивается эпоха поисков и находок, уже несложно предсказать, какого рода музыка вообще может быть на «ЕСМ» востребована. Опять-таки, когда период «бури и натиска» позади и особенно двигать музыку вперед, осваивая невиданные области, заматеревшим музыкантам уже не очень охота, а предпочтительнее просто поиграть и посочинять по проторенному, в свое удовольствие, Айхер уже куда меньше зависит от креативных импульсов своих музыкантов. А значит, получает возможность внедряться в музыкальный процесс куда активнее, заранее, до записи, «обтачивая» музыку под нужный звук — как зуб под коронку. Теперь благодаря существенной предварительной работе непосредственно на запись даже сложного альбома затрачивается не больше трех дней.

Понятно, что на никому еще толком не известных молодых европейских музыкантах фирме было бы не раскрутиться. Айхер не терял контактов с американскими джазменами. Многих из них, даже крупные фигуры, развитие событий в американском джазе тогда оттеснило на обочину. В семидесятые наступает массовое увлечение джаз-роком, а джазмен за обыкновенным роялем или с акустическим контрабасом выглядит как безнадежный анахронизм. С другой стороны, и в джаз-роке быстро устанавливается расхожий танцевальный стандарт; те, кто не стремится ему соответствовать, тоже не очень востребованы. Так что Айхеру открывалось широкое поле для проявления своего подлинного продюсерского чутья. Например, крупнейшая американская звукозаписывающая фирма «Columbia» расторгла контракт с молодым, но уже довольно известным джазовым пианистом Китом Джарреттом — музыкант категорически отказывался пересечь за электропиа-

но. Айхер тут же пригласил Джарретта к себе, причем предоставил ему необычную для политики «ЕСМ» свободу в осуществлении собственных проектов, — Джарретт, пожалуй, и от фирменного звука «ЕСМ» остался независим более других музыкантов. (Много лет спустя история почти повторится — теперь с вокальным коллективом «The Hilliard Ensemble», исполняющим старинную музыку: им откажет в сотрудничестве «ЕМІ», поскольку, по мнению ответственных лиц концерна, музыканты стремились работать с редким, почти никому не знакомым, а потому не обещающим удовлетворительных продаж материалом; Айхер взял ансамбль к себе, и теперь они у него всю поют и средневековую музыку, и сочинения Пярта и во многом делают лицо ориентированной на филармоническую музыку «Новой серии „ЕСМ”».) Приблизительно тогда же среди музыкантов «ЕСМ» появляются и другие не менее именитые американцы: пианист Чик Кория, вибратист Гари Бертон, гитарист Ральф Таунер — список далеко не полный. Материал, выпущенный ими у Айхера в Европе, однозначно не мог тогда появиться в Америке — американская публика подобной музыки просто не воспринимала, а интересоваться этими пластинками и рассматривать их в контексте мирового джаза стали в Америке только через некоторое время, задним числом. В 1975-м подвижнические усилия Айхера были вознаграждены сторицей. Двойной альбом Кита Джарретта «Кёльнский концерт» — один из цикла альбомов, воспроизводивших сольные импровизации пианиста, во многом изменившие представления вообще о сольном фортепиано в современном джазе, — вдруг стяжал невероятную популярность и продавался рекордными для джазовых записей тиражами (общий альбом продаж составил около 2,5 миллиона копий). На этой волне коммерческого успеха «ЕСМ» влияет и в мировой джазовый истеблишмент, и в массовое (более-менее) сознание. Причем воспринимает фирму и ее продукцию массовое сознание самым выгодным образом — притягательна именно эзотеричность ЕСМовской музыки, своеобразная харизма фирмы. Для покупателя, посетившего магазин пластинок, три литерки в правом углу конверта отныне окружены аурой ума, духа, тайны — именно тайны музыки, неожиданной, необычной. Собственно, и сегодня прежде всего продукция «ЕСМ» воплощает для умеренно продвинутого слушателя фирмой же и созданные представления о музыке умной, модной, актуальной и «экологически чистой» (в противовес разным «кислотным» звучаниям). Оправдывать ожидание неожиданного Айхер умел и умеет — по-своему, как и вообще все, что он делает.

Затем почти десять лет ни в концепции фирмы, ни в музыке, которую она издает, решительных перемен не происходит. Хорошие музыканты выпускают добротные работы — иногда завораживающие, иногда проходные, комбинируются то так, то эдак. В целом заметен легкий дрейф в сторону медитативной музыки в духе нью-эйджа (однако туповатая нью-эйджевская идеология тут не особенно пестуется, скорее просто романтически ценится красота природы). Проснувшиеся американские критики и обозреватели наконец-то налепили на ЕСМовскую музыку стилистический ярлык: «новый джазовый минимализм».

Жизнь между тем на месте не стояла, и какая-то новая судьба для «ЕСМ» подготавливалась как продюсерской неуспокоенностью Айхера, так и просто ходом событий. Еще в 1978 году Айхер выпустил одно из лучших сочинений, созданных в технике минимализма, — «Музыку для восемнадцати музыкантов» американского композитора Стива Райха. Надо заметить, это был смелый шаг, и побуждения, двигавшие Айхером, не так-то просто объяснить. Музыка Стива Райха, хотя и не вполне независимая от нефилармонических течений, современным джазом уж точно не являлась, — да и Райх был уже довольно известен именно как композитор-минималист. А «ЕСМ» все-таки была фирмой поменьше, чем «Columbia» или «Polydor», на счетах ее не лежали и в делах не крутились десятки миллионов долларов; ей полагалось держаться на строгой жанровой определенности (нынче это называется — четко определить свою «целевую группу»). И «фирменной неожиданности» «ЕСМ» тоже следовало оставаться в некоторых границах. Стоит их переступить — и покупатель, поставив на проигрыватель пластинку, окажется обескуражен, а значит, следующую просто не приобретет. По отношению к тому, что фирма выпускала прежде, минимализм Райха, конечно, находился далеко за этой границей.

Но Айхером, похоже, владела своего рода мания величия, и он решил, что первичен сам факт предложения от «ЕСМ», а не собственно музыкальное содержание пластинки. То есть что есть такие покупатели, которые будут покупать как раз за то, что альбом вышел на его, Айхера, фирме, — и любую музыку, которую там найдут, примут благосклонно. Самое невероятное, что это сработало. И мало кто в музыкальном мире сделал больше для того, чтобы джаз, этника и традиционно серьезные филармонические жанры оказались в массовом сознании в одной, «серьезной», обойме.

Айхер сумел наладить отношения с композиторами поставангарда. Стив Райх на «ЕСМ» не утвердился, тут вышло всего три его работы, но в начале восьмидесятых у фирмы появился новый поставангардный «паровоз» — тогда еще советский эстонский композитор Арво Пярт. Айхер первым записывает и выпускает музыку Пярта, практически открывает композитора миру. Десять лет спустя один этот факт будет значить для престижа фирмы и харизмы Айхера не меньше, чем годы работы с нордическими джазменами. (В дальнейшем количество так или иначе задействованных на «ЕСМ» выходцев с постсоветского пространства будет неуклонно расти. Правда, за исключением ансамбля «Moscow Art Trio» и его участников, издававших на «ЕСМ» также сольные работы — только по линии филармонической музыки.) В сущности, Айхер попытался предложить вообще для поставангарда как этапа в истории мировой музыки, когда музыка очень тесно связана с конкретным звуковым воплощением, звукозаписью, обработкой звука, сотканную по его, Айхера, правилам и представлениям звуковую материю. Ключнули на это предложение не то чтобы многие. Но те композиторы, кто его принял, быстро с материей Айхера сжились и остаются ей верны. По крайней мере знаменитым пяртовским *tintinnabuli* она подошла как нельзя лучше.

Со временем издания, связанные с филармоническими жанрами, оформляются в отдельный каталог, теперь они выходят под упомянутой маркой «Новая серия „ЕСМ“». Разумеется, и для этих изданий Айхер отбирает прежде всего материал, хорошо соответствующий его концепции звука. Он явно не любит много меди и неохотно берется за симфоническую музыку (правда, когда симфонии и большие концерты стал сочинять «эндемический» гитарист Терье Рипдаль, деваться Айхеру стало уже некуда). По большей части в «Новой серии» выходит старинная, преимущественно вокальная музыка либо сочинения XX века для камерных составов или струнных оркестров: от Шостаковича и Хиндемита до Штокхаузена и Губайдулиной. Последние годы все больше внимания уделяется также камерной классике: Гайден, например, Шуман... Своеобразным и, наверное, самым популярным разделом «Новой серии» стали известнейшие клавирные циклы — Баха, Генделя, — сыгранные на фортепиано или клавесине джазовой звездой Китом Джарреттом (без импровизаций, джазовых ритмов и аранжировок, в строгом соответствии нотному тексту). Джарретту не впервой отступать от своего джазового амплуа — он исполнял и Шостаковича, и всяких малоизвестных композиторов, а как-то даже выпустил на «ЕСМ» пластинку с фортепианными сочинениями Георгия Гурджиева.

Другая волна «привлечений», сделанных Айхером в восьмидесятые, — всякого рода традиционные и этнические исполнители. Первыми становятся индусы, но индусы, уже засветившиеся на Западе: скрипач Шанкар и таблист Закир Хуссейн, — прежде они играли в ансамбле гитариста Джона Маклафлина «Шакти». Строго говоря, на этом этапе их вряд ли можно уже считать чисто традиционными музыкантами — они заняты скорее созданием музыки синтетической, довольно сильно заэлектроненной, медитативной. Более натуральные этнические голоса на «ЕСМ» — скандинавские фольклорные певцы и певицы и ряд арабских исполнителей. Но их Айхер тоже предпочитает подавать, подмешивая в составы со старой нордической джазовой гвардией (кстати, и наше «Moscow Art Trio» на фирму попадает именно в русле набравшего силу течения, объединяющего джаз и этнику). Очень любит работать с такими людьми саксофонист Ян Гарбарек. А вот его попытка совмещения саксофонных импровизаций со старинной музыкой «The Hilliard Ensemble» осталась единственной и, на мой взгляд, не очень удачной.

А что же джаз? Джазу пришлось на фирме сильно потесниться. Более того, создается впечатление, что Айхер утратил вкус к поискам нового в джазе. Сегодняш-

ний джазовый каталог «ЕСМ» являет собой список беспроектных работ беспроектных исполнителей, утвердившихся манер, — список, составленный по принципу: «старый конь борозды не испортит». Зато теперь ЕСМовские джазисты признаются лучшими в своих номинациях даже по американским опросам. И уже не раз попадались мне в руки альбомы, о которых, по звучанию, не сомневаясь бы, сказал: продукция «ЕСМ», — ан нет, смотришь на обложку: сделано в Нью-Йорке. Специфическое ускользание, неожиданность Айхера ныне заметнее как раз в «Новой серии». Очень, например, полезно, если фирма занимается современной опус-музыкой, издать для весомости Губайдулину. Это предсказуемо. И Айхер издает (причем, отдадим должное его вкусу, лучшее, по моему мнению, и, думаю, не самое открытое для западного слушателя сочинение, стоящее многих поздних помпезных работ композитора, — «Семь слов» для баяна и струнного оркестра). Но тут же, буквально следующим, выпускает и куда менее предсказуемого Валентина Сильвестрова; а ранее выходили, например, сочинения Александра Мосолова.

Впрочем, последний масштабный проект на «ЕСМ» связан все-таки с джазом. До сих пор какие бы то ни было сборники выпускались на фирме крайне редко. Но в актуальном искусстве компиляция — едва ли не самый модный жанр, и Айхер решил освоить эту стезю, причем подошел к делу необычно и основательно. Вместо того чтобы самому собирать какие-то «лучшие вещи», он предложил более чем тридцати музыкантам, составляющим «лицо» «ЕСМ», отобрать музыку, которую они считают наиболее удавшейся, глубокой, может быть, знаковой. Эти диски и начали выходить в рубрике «Ragum Series». Для меня такой проект интересен в первую очередь тем, что дает возможность сравнить взгляд музыканта на самого себя с моим на него взглядом и в очередной раз удивиться, насколько они не совпадают; сколько лет я ишу объяснение — и пока тщетно — склонности музыкантов превозносить (у себя самих) всякую муру и не замечать (опять-таки у себя самих) действительно великолепных вещей.

В восьмидесятые годы, в начале девяностых едва ли не каждая ЕСМовская пластинка, достигавшая меня, — конечно, от случая к случаю, без всякой хронологической последовательности, — становилась чуть ли не откровением. Многие из них были откровением в действительности, на гамбургский счет. Волшебный первый альбом ансамбля Чика Кория «Возвращение навсегда», музыка для струнных Кита Джарретта с импровизирующим саксофоном Яна Гарбарека, пластинки Терье Рипдала с контрабасистом Мирославом Витушем и барабанщиком Джеком Деджонеттом, из поздних — истинно романтическое «Море» пианиста Кетила Бьорнстада. И пусть, скажем, музыка для саксофона Гарбарека и эоловой арфы шедевром не стала, нужно отдавать себе отчет, что, кроме как на «ЕСМ», подобного рода эксперименты в восьмидесятые записывать было просто негде. Но затем появилось неприятное чувство, что «ЕСМ» с ее пресловутым звуком чем-то похожа на грузинское кино: это такая удобная коробочка, в которую стоит только сложить то, что вообще туда умещается, немного потрясти — и на выходе обязательно будет красиво и глубокомысленно. Я просто уже знал заранее, что услышу на любом новом ЕСМовском альбоме. Ничего необычного мое отторжение в себе не заключало — так часто бывает: просто приелось — и все, уже навсегда. Но необычным оказалось другое: от своего отторжения мне пришлось отказаться. Я понял, что, если хочу что-то знать о современной музыке и составлять суждения, «держаться в теме», — отслеживания ЕСМовской продукции мне не избежать. И как-то даже помимо моей воли все заметнее становится доля выпусков «ЕСМ» на полочке, предназначенной для дисков, без которых я не то чтобы обойтись не могу — мало ли без чего можно обойтись, — но отсутствие которых в той виртуальной траектории существования, где я их никогда не слышал, где они так и не попали мне в руки, сделало бы жизнь куда более серой. Пусть фирме скорее всего уже не суждено снова выйти на тот градус креативности, которого она достигала в семидесятые, тем не менее за тридцать лет она стала важным и незаменимым (что особенно редкостно) элементом структуры большого музыкального мира. Если это не успех — что тогда успех?

---



## WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

*Россия и Восток в интернетовских публикациях, а также «работа над ошибками»: князь Э. Э. Ухтомский, Тибет, Индия, буддизм, буддийская практика русской литературы XX века и прочее*

**С**южет этого обозрения определило полученное мною письмо: «Уважаемый С. К., не считите за труд заглянуть на страницу <http://www.teneta.ru/2000/gasskaz/ar7Jul351968.953855136323871.html>, где обнаружите полезные лично для себя сведения». Я заглянул...

Два года назад на весеннем, 2000 года, сетевом конкурсе «Улов» в разделе «Проза» я прочитал эссе Владимира Коробова «Дальневосточные экспедиции князя Э. Э. Ухтомского и тантрийские мистерии ni-kha-yung-sle'i man-su-ro-bha. (Из истории семиотических культов)» (<http://www.russianresources.lt/dictant/Materials/Esper.html>) и написал об этом эссе следующее: «Автор не скрывает своих „борхесовских“ беллетристических приемов: придуманный герой князь Ухтомский, придуманный сакральный текст, история культуры, история некой мистической потаенной практики чуть ли не всей русской культуры; интеллектуально-детективный боевик, разработанный как бы средствами кондового историко-культурного исследования. Доведенная почти до пародии стилистика научных исследований, явленная, скажем, в популярных ныне культурологических бестселлерах А. Эткинды («Новый мир», 2000, № 8 <[http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/2000/8/netlib.html](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2000/8/netlib.html)>).

История, изложенная Коробовым, выглядела действительно как интеллектуально-приключенческий боевик: сопровождавший цесаревича, будущего Николая II, в его восточном путешествии 1890 — 1891 годов князь Э. Э. Ухтомский принял участие в хурале буддистов под Иркутском и оставил подробное описание этого обряда: «Погоды стояли холодные, и монахи, собравшиеся у кумирни, мерзли изрядно. Наконец один из гэлунгов взял на левое плечо ганди и стал отбивать ритм, призывая к служению». Вдыхая дым курилен, Ухтомский поначалу не вслушивался в произносимые на тибетском языке слова, но потом, как пишет он, «показалось мне вдруг, что я совершенно отчетливо понимаю значение молитвы. Прислушавшись внимательно, я явственно услышал сначала слова „...иже еси на небесех“, а потом слова „...и крепкий херес“. Голова моя кружилась. Первенствующий лама бросил сор в костер. Сноп искр поднялся к самым звездам, и я, теряя сознание, стал валиться на землю. Последнее, что я услышал, были совершенно понятные мне слова: „...пора шептать Ом Мани Падмэ Хум“». На следующий день Ухтомский попросил показать ему книгу, из которой зачитывался текст. Книгу ему показали и даже разрешили скопировать. Привезенную в Петербург рукопись, которая получила название «Книга Юнглея Мансуровых», князь издавать не стал, но время от времени публиковал отдельные строки из этой книги в издаваемой им газете «Санкт-Петербургские ведомости». Скажем, в августе 1896 года там были опубликованы строки: «Земную жизнь пройдя до половины... Я список кораблей прочел до середины...»; среди других опубликованных строк: «Сестра наша — жизнь — всех сведет в планетарий», «Майн Додыр. Был-жил убешир — Шыл бул додыр». Сенсационность этого сообщения смягчается только тем обстоятельством, что, по словам Коробова, Ухтомский ознакомил с «Книгой Юнглея» узкий круг представителей петербургской литературной элиты (Блок, Гумилев, Кузмин, Чуковский и некоторые другие). При этом посвященные в тайну книги избегали говорить о ней даже друг с другом. В эссе воспроизводится сцена: на одном из тогдашних литературных собраний кто-то процитировал строки из «Книги», присутствовавший там «Гумилев слушал как каменный, а потом сказал очень значительно, с паузами: „Я знаю, это из мансуровской книги. У меня тоже она есть. Ее про себя мыслить надо“». Далее в эссе кратко излагается теория «скрытого языка в тибетской тантрийской традиции», некоего особого, магического, языка, «структуры которого полностью совпадали со структурой наличной действительности таким образом, что речь фактически являлась актом творения вещей и событий». Речь идет не о каком-то естественном языке, а об особых «порождающих семиотичес-

ких структурах», которые, «используя определенный естественный язык как своеобразный „носитель”, устанавливают отношения прямой зависимости между языком и вниманием, обращенным к внешним предметам. В результате слово и вещь, данная в восприятии, как бы начинают звучать в унисон, взаимно трансформируя друг друга в новые слова и события».

«В тантрийских школах друг-па, гелуг-па и ньяингма-па существует традиция передачи этих порождающих структур из поколения в поколение, от учителя — ученику... Сами порождающие структуры передаются, во-первых, посредством мантр, и, во-вторых, существует якобы некая книга, список, в котором перечислены имена прошлого, настоящего и будущего. Надо думать, что именно эту книгу и получил князь Ухтомский от настоятеля Цугольского дацана», — пишет Коробов.

Естественно (естественно для меня), текст Коробова я прочитал как остроумную пародию на некий уже почти сложившийся у нас жанр эзотерического литературоведения.

И выходит, зря.

Оказалось, что князь Ухтомский — абсолютно реальное историческое лицо. И получается, что эссе Коробова — не борхесовская литературная игра, а попытка историко-религиоведческого и отчасти лингвистического исследования. Об этом я узнал, загрузив указанную в посланном мне письме интернетовскую страницу. Страница оказалась форумом на сайте «Тенёт», участники которого обсуждали мой ляп: «Князь Э. Э. Ухтомский, мне кажется, слишком известная личность, чтобы назвать его „вымышленным героем”. Мне кажется, что, если... Костырко серьезно относится к литературе, он должен дать в „Сетевую литературу” опровержение своего заявления по поводу князя Э. Э. Ухтомского. Все-таки это история России, а она ошибок не терпит». «Поскольку на „Тенётах” много говорят об этичности, мне хотелось бы испросить ваше мнение: этично ли мне указывать на ошибки... С. Костырко или мне стоит промолчать?»

Почему ж неэтично? Наоборот. Тогда у меня была бы возможность исправить свою ошибку еще два года назад. Но лучше поздно, чем никогда, — я приношу автору и читателям свои извинения за словосочетание «несуществующий князь Ухтомский».

Князь Эспер Эсперович Ухтомский (1861 — 1921) — публицист и поэт, выпускник историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета; служил по департаменту духовных дел иностранных исповеданий и был несколько раз командирован в Сибирь и Среднюю Азию для изучения инородцев-буддистов. В 1890 — 1891 годах сопровождал цесаревича, будущего Николая II, в его путешествии на Восток. Свои путевые впечатления и наблюдения изложил в книге «Путешествие на Восток Наследника Цесаревича». С конца 1890-х годов князь Ухтомский возглавлял Русско-китайский банк и правление Маньчжурской железной дороги. С 1896 года — издатель «Санкт-Петербургских ведомостей». После революции работал ассистентом-хранителем Дальневосточного отделения Русского музея.

Среди высказываний по поводу ситуации с эссе Коробова было такое: «Впрочем, рассказ Коробова, разумеется, не только назидательное напоминание. Его читают, как легко видеть по постам, с включенными фильтрами (в частности, жанровых ожиданий)... А вот если фильтры отключить, что при некотором навыке, надеюсь, возможно, и принять текст целиком...»

Я воспользуюсь здесь словом «фильтр». В качестве такового у меня был, во-первых, контекст, в котором читалось эссе Коробова, — подборка художественной прозы. Ну а второй фильтр, и главный, — это та настороженность, к которой нас приучило чтение исторических и литературоведческих текстов в Интернете. Особенно текстов с привлечением материала разных научных дисциплин, скажем, истории, лингвистики, философии, религиоведения и проч. А именно такие тексты составляют сейчас чуть ли не большинство эксклюзивных публикаций в «историко-филологическом секторе» русского Интернета. Во всяком случае, такое впечатление оставил у меня внимательный просмотр исторических и общегуманитарных серверов, которым я занимался полгода назад, составляя обзор про «Велесову книгу» в Интернете (см. «WWW-обзор» в № 8 за 2002 год <[http://magazines.russ.ru/novyj\\_mi/2002/8/www.html](http://magazines.russ.ru/novyj_mi/2002/8/www.html)>). Вот, скажем, характернейший образ-

чик «исторического исследования» в Интернете — книга Бориса Романова «Русские волхвы, астрологи и провидцы». Глава, посвященная московскому юродивому Василию Блаженному (<http://www.astrologer.ru/book/magi/4.html.ru>), содержит исторические легенды о нем, а также запись некоторых его пророчеств. Например, тако- го: «И не может люд российский жить без кнута. Уж сколь страшен мой друг и кровопийца Ивашка Грозный, уж сколько проклятий высыпано на его голову, яко зола от сожженных душ, а будут чтить его как самодержавца великого... За Ивашкой Грозным будет много царей, но один из них, богатырь с кошачьими усами, злодей и богохульник, наново укрепит русскую державу, хотя на пути к заветным синим морям поляжет треть народа российского, аки бревна под телеги... будет долго править третий душегуб. И ради грозного порядка в великой державе усатый этот царь из диких горцев положит на плаху и сотоварищей своих, и друзей верных, и тысячи тысяч мужей и женок...» Не знаю, как другие читатели, а я не могу принять вот этот стилистический ширпотреб второсортной исторической беллетристики за подлинный язык московской улицы XVI века.

Еще более сомнителен источник, откуда взяты эти откровения. Сославшись на газету «Оракул», Романов рассказывает о некоем кандидате исторических наук Сергее Акчурине, получившем доступ в «Москву подземную» 90-х годов, где обитают тысячи московских бомжей, и там, в «старинном подземелье», ему показали лари со старинными книгами, среди которых была и древняя летопись, «каждая страница которой могла бы стать докторской диссертацией». Всю летопись Акчурин переписать не успел, но то, что удалось скопировать, он опубликовал в газете «Оракул» в 1994 и 1995 годах. Причем первая публикация акчуринских выписок была сопровождается в газете такой вот информацией: когда сотрудники редакции попытались встретиться с Акчуриным, чтобы уточнить текст его публикации, то у порога квартиры историка их встретила милиция: «В квартиру нельзя... один из жильцов умер при весьма загадочных обстоятельствах»... «Нужно ли уточнять, что это был... Акчурин». То есть мы имеем дело с уже классическим для псевдонаучных публикаций сюжетом обретения «тайной книги» — можно вспомнить про «Велесову книгу»: подлинника нет, свидетели умерли, зато масса приключенческо-детективных эффектоностей, в данном случае про «Москву подземную», «старинное подземелье», «книгу-берегиню», тайных покровителей и тайных врагов книги и т. д.

Разумеется, научный и эстетический уровень книги Романова — китч в чистом виде. Но беда в том, что и для авторов множества других исторических исследований в Интернете, исполненных уже как бы на более высоком научном уровне, собственно энергии научного поиска кажется мало. Они стремятся «оживить» свои поиски или чем-нибудь приключенческим, или экстравагантностью идеологических концепций, и тогда бывает трудно избавиться от мысли, что для этих авторов идеология важнее собственно науки.

Именно эти качества демонстрировало большинство текстов, которые я прочитал, собирая для этого обзора материал об Э. Э. Ухтомском в Интернете. Поскольку речь идет о Востоке, буддизме и буддийских религиозных практиках, то естественно, что имя Ухтомского появлялось в сочетании с именами Рерихов, Блаватской, Льва Гумилева... То есть на пространстве, самом притягательном для любителей околонушной фантастики<sup>1</sup>, эзотерической геополитики и маргинальной историософии.

<sup>1</sup> Очень выразительный в этом отношении текст я встретил на титульной странице сайта известного певца, где восточная мистика используется как пиаровская бижутерия: «...сегодня Алтай наряду с Тибетом признается духовным оплотом планеты. Рерих, говоривший своими картинами с богом, называл эти места „средоточием“, сердцем Европейского (!!! — С. К.) континента... И в этом плане потенциал у Виктора огромный — и в генах, и в месте рождения». Далее следуют истории с «индийской мистикой» из жизни Виктора, про то, например, как индийские паломники разглядели на руке Виктора «один из отличительных знаков махатм» («Вот так неожиданно проявилась связь, соединившая его с далеким тибетским предком», — заключает эту историю составитель текста), или про то, как представитель крупной индийской фирмы, с которой Виктор в качестве бизнесмена вел переговоры, стал внимательно всматриваться в его лицо и вдруг без всяких обсуждений подписал исключительно выгодный для стороны Виктора контракт: «У сикхов есть некие культовые камни с отпечатками ликов святых, и лицо Виктора, по его словам, имеет сходство с одним из них» («Сайт певца Виктора Савенко» <[http://www.savenko.ru/bio\\_rus.htm](http://www.savenko.ru/bio_rus.htm)>).

Нет, разумеется, в предложенных мне «Яндексом» списках были и дельные статьи. О них сказать необходимо. Тем более что их оказалось не так много — всего две. Первой была статья **В. Е. Голенищевой-Кутузовой «Русская интеллигенция и Восток»** (<http://agni3.narod.ru/Vostok.htm>) на сайте сетевого журнала «Агни». Автор кратко излагает историю восточной политики России в XIX веке и представляет фигуры, во многом определявшие эту политику (П. А. Бадмаев, Э. Э. Ухтомский и другие), рассказано и о путешествии цесаревича Николая Александровича по Востоку в 1890 — 1891 годах. Это очень важное для XIX века историческое событие не так широко известно, поэтому — чуть подробнее. Вторая половина XIX века была временем активного освоения Россией своих восточных окраин. И тогда же в правительственных кругах обсуждались возможности добровольного присоединения к России некоторых стран Востока (история с присоединением впоследствии Тувы показывает, что эти проекты были не совсем уж фантастическими, или, скажем, строительство КВЖД, спровоцированное предварительным согласием Кореи войти в состав Российской империи). Именно в те годы и готовилась Генштабом и Синодом поездка будущего Николая II по дальневосточным странам. Готовилась как акт дипломатический, культурный и в известной степени разведывательный. Совершалось путешествие на кораблях русской эскадры, цесаревич с небольшой свитой объехал Египет, Индию, Камбоджу, Вьетнам, Китай, Корею и Японию. Длилось путешествие десять месяцев.

Более подробное описание деталей этого путешествия содержит статья историка **А. Н. Хохлова «Наследник российского престола в Китае весной 1891 года. (Неизвестные страницы истории русской дипломатии)»** ([http://www.m-fond.ru/Ist\\_vest/6/6\\_11.htm](http://www.m-fond.ru/Ist_vest/6/6_11.htm)) на сайте журнала «Исторический вестник». Хохлов, используя выдержки из тогдашней японской и китайской прессы, дипломатической переписки, воспоминаний, рисует картину русско-китайских отношений во второй половине века, ситуацию внутри Китая, положение английских миссионеров в Китае и их соперничество в борьбе за влияние с русской общиной, основу которой составляли купцы и арендаторы чайных фабрик. Описывается дипломатический протокол той эпохи, черты быта китайской административной элиты, наконец, просто атмосфера общения высокого русского гостя с китайскими чиновниками («Генерал-губернатор усадил Цесаревича Николая Александровича в желтые носилки, а сам, быстро забежав вперед, сел в свои носилки и возглавил процессию... По сторонам всей дороги от пристани до храма стояли китайские войска — милиционеры в красных куртках и черных чалмах, с ружьями на караул... Тотчас же был подан чай в китайских чашечках и по-китайски. Его Императорское Высочество изволил милостиво расспрашивать генерал-губернатора, давно ли он управляет вверенными ему провинциями ([ответ:] второй год), сколько в них жителей ([ответ:] около 50 млн.) и какое главное занятие жителей»).

Редкое удовольствие — читать исторический текст, обладающий тягой хорошо написанного исторического романа, при этом являющийся строгим научным исследованием. Рекомендую — с одной, правда, касающейся статьи Голенищевой-Кутузовой оговоркой: для меня как читателя этот дельный в целом текст портил ненужный идеологический напор некоторых отступлений. Например, в случае некритического цитирования высказываний князя Ухтомского: «Там за Алтаем и Памиром та же неоглядная, не исследованная никакими исследователями, еще допетровская Русь с ее непочатой шириной преданиями и неиссякаемой любовью к чудесному, с ее смиренной покорностью посылаемым за греховность стихийным и прочим бедствиям, с отпечатком строгого величия на всем духовном облике»; «для Всероссийской державы нет другого исхода: или стать тем, чем она от века призвана быть (мировой силой, сочетающей Запад с Востоком), или бесславно пойти на пути падения, потому что Европа сама по себе нас в конце концов подавит внешним превосходством своим, а не нами пробужденные азиатские народы будут еще опаснее, чем западные иноплеменики». «Воистину пророческая мысль!» — комментирует эти высказывания автор статьи. Может, и пророческая, спорить не буду, только для начала хотелось бы уточнить, по каким, собственно, признакам мы могли бы считать Китай и Индию допетровской Русью.

И вот здесь я вынужден вернуться к основной теме этого обзора. То, что в статье Голенищевой-Кутузовой (повторяю, в целом полезной и содержательной) только намечено, становится основным смыслом множества других исследований, посвященных взаимоотношениям России с восточными соседями. Ну, скажем, выставленной на авторском сайте книги Ксении Мяло «Звезда волхвов, или Христос в Гималаях». Читать эту книгу я начал с главы «Рерихи: в поисках древней отчизны» (<http://www.vav.ru/mkg/zv/f-4.html>) — именно на этот текст меня вывела поисковая система «Яндекса», когда я запросил сноски на имя Ухтомского. В качестве одной из опорных для концепции автора мыслей здесь цитируется высказывание все того же Ухтомского: «Желанная, далекая, утомительно-длинная Индия... У многих туземцев, мужчин и женщин, в общем, есть что-то напоминающее наше простонародье: красный излюбленный цвет одежды, по-бабьему повязанные платки, оклад лица — отчего в иных подробностях чудится нечто знакомое и близкое по духу. Разве все одна случайность, разве нет никаких оснований предполагать, что мы еще мало изменены западной культурой, а они, застывшие в почти доисторической старине, не только нам братья по крови, но и братья по наложенному на нас и на них внутреннему отпечатку?»

«Внутренний отпечаток» автор книги восстанавливает своими силами в первых же абзацах главы: «Когда Е. И. Рерих в „Криптограммах Востока“ прослеживает путь волхвов из индийского Аллахабада, то в ее словах нет ничего, что противоречило бы смыслу евангельского текста... В самом деле, что такое Аллахабад? Это получивший свое новое имя в эпоху Моголов священный город индусов Праяга, который предание считает единственным местом на Земле, пережившим время пралайи... В библейских понятиях это отсылает нас к потоку, ковчегу Ноя на горе Арарат и к таинственной фигуре Мельхиседека, доиудейского царя Салима и первосвященника, своим православным священством прообразующего царское достоинство и священство самого Христа... Не указывает ли это, что истоки *правильной Церкви* лежат за пределами Иерусалимского Храма и ветхозаветного Ааронова священства?»

И далее:

«Наконец, разве не естественно полагать, что коль скоро ветхому Адаму надлежало быть искупленному целиком, во всей полноте земного пространства и времени, то именно поэтому само пришествие Христа в мир ознаменовалось встречей с живым олицетворением этой ветхости — волхвами? Нет ничего невозможного и в том, что волхвами могли быть риши, древнеиндийские мудрецы, знатоки и толкователи Вед».

Все основные послышки автора строятся по схеме «почему не предположить, что возможно то-то и то-то» (действительно, а почему нет? предположить можно все, что угодно), вместо конструкций, выстроенных по типу «исходя из несомненности изложенных фактов, мы вынуждены предположить, что...». И уже дальнейшая проработка мысли о возможном родстве нашего и индусского «внутреннего отпечатка» идет в тональности само собой разумеющегося, в частности, констатации «специфически русской традиции особой любви к Индии». Оборот этот автор развивает таким пассажем: «В особом влечении к Индии сходились едва ли не все нити русской жизни: и окрашенный томлением по Раю космизм русского крестьянина — „хрестянина“, и геополитические интересы Российской державы, и углубленный духовный поиск, и сокровенная прапамять о своем собственном прошлом». Нет, я не против воодушевления, с которым написан этот пассаж (при условии, разумеется, что любовь к Востоку в данном случае не является специфической формой нелюбви к Западу), но мне хотелось бы, отвлекшись от пафоса высказывания, подумать о его содержании. Ну, например: а что, собственно, подразумевается под прапамятью о своем прошлом? Единственное, что приводит автор, — это наличие в древнерусских географических названиях следов санскрита. Это действительно нечто вполне реальное. Но дело в том, что такие же следы специалисты находят и в западноевропейских географических названиях. Как с этим быть? Ну и так далее.

Разумеется, уровень, на котором ведет свое размышление Ксения Мяло, выше уровня Романова с его «старинными подземельями» и «книгами-берегинями», но

их роднит одно свойство — опровергнуть и то и другое почти невозможно. То есть даже очевидные (очевидные для меня!) стилизаторские ляпы Романова вроде оборота «бревна под телегу» в устах средневекового юродивого (телега — это не трактор и не лесовоз, под нее бревна никогда не клали, хворост клали, ветки, но не бревна) — даже такие ляпы неопровержимы: блаженный — он потому и блаженный, что мог сказать что угодно.

Не думаю, что такие сочинения представляют серьезную опасность для истории как науки. Но и не замечать того факта, что количество подобной литературы растет гораздо быстрее, чем количество дельных книг по истории, адресованных широкому читателю, тоже не стоит. Хотя бы потому, что Интернет грозит стать одним из самых доступных и демократичных источников информации. Уже сегодня по количеству запросов на поисковых сайтах одним из лидеров является слово «реферат», то есть тысячи и тысячи нынешних студентов — будущая научная, промышленная, административная элита России — перекачивают свои знания со страниц Интернета.

И потому я попытался продолжить здесь работу Владимира Губайловского, сформулировавшего в статье «Суровая проза науки» («Новый мир», 2002, № 12) основные признаки сегодняшней псевдонауки. К таковой в области гуманитарных наук следует относить также работы, в которых зыбкость и предположительность посылок сочетаются с предельной определенностью, категоричностью — почти агрессивностью — выводов, и, как правило, выводов идеологического характера.

*Р. С.* Еще раз об эссе Коробова и о мистической «Книге Юнглей». Только закончив составление этого обзора, я взялся проверять остальные ссылки, которыми сопровождается текст эссе, в частности, ссылки на публиковавшиеся в газете «Санкт-Петербургские ведомости» строки из «Книги Юнглей». Как и следовало ожидать, процитированных в эссе Коробова текстов по указанным автором ссылкам не оказалось. То есть — еще одна паранаучная фантазия. А жаль. На мой взгляд, эссе Коробова лучше смотрелось бы в «борхесовском» контексте, нежели в «историко-мистическом» ряду (Борис Романов и Ксения Мяло).



---

---

# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## СОЛНЦЕ РУССКОЙ ПОЛИТЭКОНОМИИ

**В**от вам вопрос на засыпку — «ученый-политэконом, поставивший экономические абстракции на партитуру поэтического звучания». Сдаетесь? Эх вы... В полку политэкономов давным-давно прибыло. Пушкин Александр Сергеевич. Вспомните-ка среднюю свою школу, «Онегина» вспомните:

...Зато читал Адама Смита  
И был глубокий эконом,  
То есть умел судить о том,  
Как государство богатеет,  
И чем живет, и почему  
Не нужно золота ему,  
Когда *простой продукт* имеет...

Когда я училась на экономическом факультете университета (именно на отделении политэкономии), преподаватели в стремлении как-то романтизировать сухую теорию очень любили этот литературный пример. А других, видимо, и не знали. (Правда, по теории статистики еще предъявлялось хрестоматийное ильфо-петровское «Статистика знает все...».)

В труде Ивана Устияна<sup>1</sup> та самая «экономическая строфа» тоже встречается не раз и не два, но автор одним «Онегиным» не ограничивается. Еще бы — И. Устиян не какой-то простой доцент и доктор экономики, но экс-Председатель Совета Министров Молдавской ССР (с 1980 по 1985 год). Он смело пытается впрячь в одну телегу грузного экономического коня и трепетную поэтическую лань на четырехстах с лишним страницах. Каких тем тут только нет: и «Пушкин и Байрон об аграрных реформах», и «Мысли экономического реформизма в творчестве позднего Пушкина», и «Пушкин и Орлов о кредите и налоге» и т. д. и т. п.

Попутно даются краткие сведения об экономических теориях той эпохи и их авторах — Адам Смит, физиократы, Бентам и Милль... И об экономическом образовании самого Пушкина — в Лицее и позже...

Но самое, конечно, главное и интересное в книге — филолого-экономический (или экономико-филологический) анализ пушкинского творчества: кроме «Евгения Онегина» — «Пиковая дама», «Дубровский», «Барышня-крестьянка», «История Петра».

Вот все тот же «Онегин» — «энциклопедия русской жизни». Тщательно рассмотрев его в свете идей Кенэ, Смита и прочих «глубоких экономов», И. Устиян приходит к выводу: «Пушкин возлюбил политическую экономию за то, что она являлась синонимом свободы, всем своим содержанием была направлена против крепостничества, то есть против рабства... Если бы в Пушкине не взял верх всемогущий поэтический гений над экономическим талантом, то нет никаких сомнений, что он стал бы выдающимся экономистом и прилежным хозяином-дворянином». Глядишь, и «Капитал» бы не по Марксу учили — по Пушкину, была такая возможность! Сравнивая мысли Пушкина и Маркса о кредите, Иван Устиян пишет: «Генезис кредита решается Пушкиным чисто по-смитиански, по-рикардиански, по-марксистски(!)». Впрочем, Муза от карьеры экономиста все же сумела Пушкина отвлечь. Хотя и не совсем. Базис есть базис, никуда от него не деться: гони экономик в дверь — влетит в окно.

Обратимся опять к школьной программе. Возьмем «Дубровского». Что вспоминается на сей раз? Маша и благородный разбойник Владимир, самодур Троекуров, любовь и разлука, записки в дупле... Романтика! А между тем в «Дубровском» Пушкин не удержался-таки и «осуществил колоссальное экономическое открытие — экономическую конкуренцию между неравновеликими феодальными собственниками. Причем он вывернул наизнанку чисто зоологическую сердцевину души крупного

---

<sup>1</sup> Устиян И. Пушкин и политэкономия. Кишинев, «Картя Молдовой», 2002, 438 стр.

феодала...». (Ай да Пушкин, ай да сукин сын!) Потому что хорошо понимал идеи «Смита, Рикардо и Сисмонди, а позже и Маркса, что базисные, экономические отношения общества определяют все остальные надстроечные отношения — юридические, религиозные, нравственные и так далее». И Троекуров уже не просто барин-самодур, но «мощная экономическая сила». «Присвоив себе всю экономическую мощь, они [Троекуров и князь Верейский] лишили живительных соков нереализованную любовь двух молодых дворян, оставив им несбыточные надежды, утраченные грезы и романтические мечтания. Бесправному феодальному обществу нет никакого дела до человеческой личности, до любви и страданий... А брак является таким же экономическим контрактом, как купчая имения, недаром же он назывался брачным контрактом, куда записывалось приданое молодоженов, причем приданое (то есть имущество, вещи) ставилось на первое место. О личности человека, о душе, тем более о любви никто и не помышлял, а слезы преднамеренно (! — *О. Р.*) воспринимались как атрибут счастья». Так что, увы, базис определяет-таки надстройку: и любовь, и слезы, и записочки в дупле — плоды зверских экономических отношений. Тут, правда, возникают вопросы. Если в «бесправном феодальном обществе... о любви никто и не помышлял», то как же сам Пушкин женился по любви? Или это тоже был «брачный контракт»? А столь трагическая развязка семейной жизни произошла оттого, что не вописался Александр Сергеевич в феодальную экономику? Впрочем, это, наверное, отдельная тема...

А мы перейдем теперь к «Пиковой даме». И тоже узнаем немало любопытного. Это вам не просто «три карты, три карты, три карты!», здесь «Пушкин дает субъективацию объективной категории буржуазной системы хозяйствования. Это проблема проблем — оптимальность во всем... в размере предприятия, в ведении семейного бюджета, в принятии любых хозяйственных решений... Только умеренность способствует равновесию между производством и потреблением, между материально-вещественными потоками и денежно-финансовой системой, обеспечивающей оборот этих потоков». Если чего-то (или вообще ничего) не поняли, то сами виноваты: нечего было лекции по политэкономии в свое время прогуливать!

В общем, книга получилась очень и очень познавательная. Рассчитана она на педагогов, экономистов, студентов, старшеклассников и всех желающих «ознакомиться с оригинальными экономическими воззрениями А. С. Пушкина». Экономистам наверняка будет приятно, что поэзия служила Пушкину средством выражения экономических теорий. А учащийся гуманитарий, спешно перелистав в ночь накануне экзамена по экономической теории труд Ивана Устияна, может смело рассчитывать на твердую тройку, а то и четверку — за находчивость и эрудицию.

Весьма любопытен и «Указатель имен» в конце книги. Скажем, «Осипова Прасковья Александровна (1781 — 1859) — высокообразованная аристократка», а вот «Керн Анна Петровна (1800 — 1879) — высокособразованная и красивая аристократка духа» — чувствуете разницу? Жаль, не дотянула Осипова до «аристократки духа»... Хотя Чаадаев-то вообще просто-напросто «высокообразованный дворянин». Не повезло.

Все равно «скромная попытка изучения политико-экономических воззрений гениального русского поэта А. С. Пушкина» (так сказано в аннотации) вышла на редкость занятной. Да и какая она «скромная»? Настоящий полет экономической мысли над филологическим гнездом<sup>2</sup>.

А там, глядишь, у Пушкина еще какие-нибудь скрытые таланты обнаружатся. В очередных областях науки: «Пушкин и метеорология» («Тиха украинская ночь...»), «Пушкин и астрономия» («Прозрачно небо. Звезды блещут...»), «Пушкин и...». Гений — он ведь во всем гений. И не зря, не зря было им сказано:

О, сколько нам открытий чудных  
Готовит просвещенья дух...

Все-то он предвидел, все-то предугадал...

Ольга РЫЧКОВА.

<sup>2</sup> Впрочем, на ту же тему существует основательный труд А. В. Аникина «Муза и мамо-на. Социально-экономические мотивы у Пушкина» (М., 1989). И. Устиян упоминает автора этой книги в числе своих предшественников, но от ссылок на нее и цитирования, кажется, воздерживается. (*Примеч. ред.*)



# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

## КНИГИ



**Эугениус Алишанка.** Божья кость. Избранные стихотворения. Перевод с литовского Сергея Завьялова. СПб., 2002, 125 стр., 1000 экз.

Первая на русском языке книга поэта из нового, еще неизвестного отечественному читателю поэтического поколения Литвы. Алишанка известен также как переводчик современной европейской, в частности польской, поэзии и философской литературы (Юнг, Честертон, Лиотар, Мамардашвили и другие). Издание содержит выборку из четырех книг поэта, сделавших его имя известным не только в Литве, но и во многих европейских странах. Стихи публикуются в оригинале с параллельным переводом.

**Фредерик Бегбедер.** Каникулы в коме. Роман. Перевод с французского И. Кормильцева. М., «Иностранка», 2002, 207 стр., 7000 экз.

Второй роман на русском языке современного французского писателя, претендующего на репутацию дерзкого ниспровергателя и интеллектуала. Первый роман, с которого русский читатель начал знакомство с Бегбедером, «99 франков» (в переводе И. Волевич — М., «Иностранка», 2002, 312 стр., 8000 экз.; первая публикация — в «Иностранной литературе», 2002, № 2), был посвящен нынешним пиар-технологиям и психологии делателей современной рекламы и соответственно создал автору репутацию «французского Пелевина». Новый роман «обличает» нравы парижской богемы: «В воздухе пахнет дорогими духами, алкогольными парами и потом высшего общества»; «Званный ужин, как было предусмотрено, плавно перетекает в оргию. Душ из шампанского, ведерки для льда, надетые на головы вместо шляп... Танцуют на столах. В этом году нимфомания — коллективна» — ну и так далее.

**Мартин Бубер.** Гог и Магог. Роман. Перевод с немецкого Е. Шварц. СПб., «Модерн», «ИНАПРЕСС»; Иерусалим, «Гешарим», 2002, 336 стр.

Художественная проза знаменитого философа, писавшаяся им в годы Второй мировой войны, — сюжет образует диалог двух хасидов в Польше начала XIX века, беседующих о мессианизме и о Наполеоне.

**Давид Бурлюк.** Николай Бурлюк. Стихотворения. Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания С. Красицкого. СПб., «Академический проект», 2002, 584 стр., 2000 экз.

Полное собрание стихотворений братьев-футуристов, вышедшее в серии «Новая библиотека поэта».

**Круговая чаша.** Русская поэзия серебряного века. 1890 — 1920-е годы. Антология. Составитель В. Кудрявцев. Рудня — Смоленск, 2002, 504 стр. 50 нумерованных экземпляров.

Изначально раритетное издание самой представительной по персоналиям (более пятисот поэтов) антологии серебряного века.

**Латифа.** Украденное лицо. Перевод с французского Е. Клоковой. М., «Текст», 2002, 159 стр., 4000 экз.

Афганистан под талибами изнутри, глазами молодой женщины-мусульманки, сумевшей с семьей бежать в 2001 году в Европу и написавшей эту книгу-свидетельство.

**Джейн Остен.** Леди Сьюзен. Уотсоны. Сэндитон. Романы. Перевод с английского А. Ливерганта, Н. Калошиной, Н. Кротовской. М., «Текст», 2002, 299 стр., 3500 экз.

Впервые на русском языке три романа классика английской литературы. Предисловие к книге Е. Гениевой, в качестве послесловия — эссе Мартина Эмиса «Мир Джейн» в переводе Э. Меленевской.

**Дмитрий Стахов.** Арабские скакуны. Роман. М., «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, 317 стр., 5000 экз.

Стахов продолжает осваивать «новорусский литературный дискурс», в котором динамичность современной жизни с ее криминальной отчасти окраской, прагматизм доведенный до цинизма, и прочее подаются как современная бытовая экзотика. В отли-

чие от предыдущих его сочинений (рассказов из цикла про Подсукского или романа «Семь путешествий Половинкина») здесь почти нет открытой игры с архетипами мифов. Автор как бы ориентируется на поэтику социально-психологического исповедального (но при этом — и остросюжетного) повествования с обыгрыванием некоторых фирменных для недавней «остросовременной прозы» (аксеновской, времен «Острова Крыма», например) стилистик. Герой романа, он же повествователь, — удачливый в недавнем прошлом журналист, сумевший выжить после «разборки» торговцев оружием, деятельность которых он «пиарил» в прессе, снова оказывается в центре криминального сюжета, возникшего вокруг наследия некоего могучего финансово-религиозного объединения. Среди персонажей — бизнесмены, бандиты, работники спецслужб, персонажи московской художественной богемы, алкаши, роковые женщины, шлюхи, а также современная Москва и условная провинциальная «кондовая Россия», явленная в образе бывшего военно-промышленного полузакрытого города Кокшуйска.

**Кодзи́ро Сэри́дзава.** Умереть в Париже. Избранное. Составитель Фумико Сэридзава. Перевод с японского Дмитрия Рогозина, Татьяны Соколовой-Делюсиной, Виктора Мазурика. Предисловие Татьяны Розановой. М., «Иностранка», 2002, 543 стр., 5500 экз.

Впервые на русском языке избранная проза классика современной японской литературы Кодзи́ро Сэри́дзава (1897 — 1993), чья стилистика складывалась под перекрестным влиянием традиционной японской культуры и парижской художественной элиты середины 20-х годов, в среде которой он прожил несколько лет. В книгу вошли: написанный на автобиографическом материале — детство, отрочество, юность, начало литературной деятельности — роман «Мужская жизнь» (1940), «японско-французский» роман, сделавший известным имя писателя в Европе, «Умереть в Париже» (1942), рассказы «Храм Наньсы» (1938) и «Таинство» (1941). Завершает книгу эссе «Разговор с умершими» (1948). В качестве послесловия — эссе Оока Макота «Японская литература и Кодзи́ро Сэри́дзава».

**Сергей Шаргунов. Александр Остапенко.** Два острова. М., О.Г.И., 2002, 176 стр., 2000 экз.

Повести двух участников премии «Дебют» — повесть Шаргунова «Малыш наказан», вещь более ранняя и не менее эмоционально написанная, чем опубликованный «Новым миром» его роман «Ура!» (2002, № 6). Повесть Остапенко «Колыбель смерти» представляет попытку социально-психологической прозы в жанре антиутопии, ближайшая литературная аналогия — голдинговский «Повелитель муж», только в отличие от англичанина наш автор помещает на необитаемый остров не детей, а стариков, казалось бы, уже полностью завершивших свои расчеты с жизнью, но и здесь, что называется «через не могу», воспроизводящих привычные им формы социального поведения.



**Антоний, митрополит Сурожский.** Труды. Составитель Е. Л. Майданович. Переводы с английского и французского Е. Л. Майданович и Т. Л. Майданович при участии А. И. Кырлежева и Е. В. Шохиной. Вступительная статья «Богословие митрополита Сурожского Антония в свете святоотеческого Предания» епископа Керченского Илариона (Алфеева). М., «Практика», 2002, 1080 стр., 6000 экз.

После разрозненных брошюр с отдельными статьями и проповедями вышло наконец объемное (68 печатных листов), прекрасно подготовленное собрание текстов, представляющее труды одного из ведущих современных религиозных мыслителей митрополита Антония Сурожского (в миру Андрея Борисовича Блума), главы епархии Русской Православной Церкви в Великобритании, выходца из семьи русских эмигрантов, врача по образованию (военный хирург французской армии во время Второй мировой войны, затем — врач в антифашистском подполье), принесшего монашеские обеты в 1939 году, в 1948 году рукоположенного в иеромонахи и посланного в Англию духовным руководителем; архиепископа с 1962 года и митрополита с 1966 года, почетного доктора богословия многих (в том числе Московской и Киевской духовных) академий. В книге семь разделов: «Материя и дух», «Вопрошание», «Человек», «Слово Божие», «Пути Божии», «Встреча», «Проповеди». «Все беседы, лекции и проповеди митрополита Антония, собранные в этой книге, представляют собой запись живой устной речи» и «построены совершенно прозрачно... все богословские концепции христианских и иных религиозных культур, с которыми митрополит Антоний зачастую спорит или беседует, все литературные аллюзии он максимально уводит в подтекст, то есть стилистически, композиционно строит свою речь так, чтобы она служила мостом между слушателем и Евангелием... он максимально сокращает расстояние, отделяющее современного человека от живого Христа, и делает нас участниками Евангельской истории» («От редакции»).

**Пьер Бурдьё.** О телевидении и журналистике. Перевод с французского Т. Анисимовой, Ю. Марковой. Предисловие Н. Шматко. М., Фонд научных исследований «Прагматика культуры», Институт экспериментальной социологии, 2002, 160 стр., 3000 экз.

Книга французского социолога и публициста о феномене современного телевидения, в частности, о противостоянии телевидения и культуры, телевидения и реальностей политической и общественной жизни. Телевидение (и шире — современная журналистика) представляют, по мнению автора, сложный симбиоз информационных технологий и порожденной ими социальной (она же профессиональная) среды, функционирующей по своим законам.

**Норберт Винер.** Кибернетика и общество. Перевод с английского Е. Панфилова. Вступительная статья И. Поспелова. М., «Тайдекс К», 2002, 183 стр., 1000 экз.

Переиздание книги, ставшей некогда (вышла в 1954-м, русский перевод — в 1958 году) событием. «Хотелось бы сказать, что книга за полвека не потеряла актуальности и все такое, но сказать так не получится... То есть в книге можно обнаружить какие-то отдельные высказывания, которые с некоторыми оговорками можно назвать „злбодневными“, но в целом изложенный здесь утопический проект кибернетики следует признать провалившимся» (Роман Ганжа — «Русский Журнал», <http://www.russ.ru/krug/vybor/20021001.html>).

**Кирилл Кобрин.** Письма в Кейптаун о русской поэзии и другие эссе. М., «Новое литературное обозрение», 2002, 128 стр.

«В кейптаунском порту, с пробоиной в борту... Бог мой, кто бы мог подумать... что само слово „Кейптаун“ имеет отношение не к строчке, а к точке, географической точке, — такими словами начинает Кобрин свою новую книгу. — И что заплыть сюда не романтическая „Дженнет“ ...а остатки экипажа потонувшего сверхлайнера под названием „СССР“? На берег был отпущен экипаж...» В частности — приятель автора, обосновавший свое дело и свой дом под Кейптауном и попросивший бывшего однокурника присылать ему письма про современную русскую поэзию. В своей эпистолярной прозе автор описывает для оторвавшегося от родины (и для нас) ситуацию в сегодняшней русской поэзии — про то, как эпигоны меняют ориентации — с Бродского на Кибирова, про Салимона, про стихи и про смерть Бори Рыжего, про Александра Леонтьева, про феномен Шиша Брянского, про Москву, бегущую от своей истории в «наив, в модную французскую философию», в «мухоморные глюки» и «пикейную политику», и про многое другое. Мне как читателю уже не кажется существенным вопрос о реальности первоначального адресата этих писем. Гораздо существеннее другое, обусловленное в книге символом «Кейптаун» писание о русской поэзии как о некоем виртуальном островке, своеобразном культурном заповеднике, в котором могут сойтись разбросанные по миру соотечественники (письма самого Кобрин писались сначала из Нижнего Новгорода, а потом — из Праги), сдвигается к прямо противоположному — к рассмотрению русской поэзии (и шире — русской литературы) в качестве полноправного участника «мирового поэтического диалога». Отсюда композиция книги: от собственно писем про современность в первой части ко второй части «Пушкин и другие», где автор уже ведет разговор о некоторых ментальных чертах русской литературы (Пушкин и украинская культура в «Полтаве», Пушкин и де Кюстин, князь Вяземский, Теофил Готье, Лидия Гинзбург, Андрей Левкин и т. д.).

**Исабель де Мадариага.** Россия в эпоху Екатерины Великой. Перевод с английского Н. Л. Лужецкой. М., «Новое литературное обозрение», 2002, 975 стр., 2000 экз.

Классическая для современной историографии работа представителя британской школы историков-славистов (приоритет информативности над интерпретацией). Написанная в 1981 году монография Мадариаги «остается наиболее полным обобщающим трудом о екатерининской России. Более того, она является и единственной в своем роде, поскольку попытка, предпринятая в свое время историком В. И. Бильбасовым, осталась незавершенной» (из предисловия А. Каменского).

**Рой Медведев.** Солженицын и Сахаров. М., «Права человека», 2002, 272 стр.

Первая часть книги историка и бывшего диссидента содержит очерк общественной деятельности А. Солженицына и А. Сахарова, анализ их взглядов, так сказать, локальный и сравнительный. Здесь автор стремится к определенной жанровой дисциплине исторического очерка — каждая глава имеет четко сформулированную тему, и автор не выходит за ее рамки; привлекается достаточно обширный материал, и при этом с чувством меры используются воспоминания о личных встречах и беседах с героями книги; в конце каждой главы приводится список использованной литературы. Вторую, менее «академическую» по форме, часть книги составили «Приложения» — публицистические

статьи Медведева 70-х годов о содержании и судьбе книг Солженицына в СССР, а также его «внутридиссидентская полемика» с Солженицыным и Сахаровым по поводу отдельных их высказываний и выступлений.

**Юня Родман.** Москва — Бостон. М., «КРУК-Престиж», 2002, 584 стр.

Мемуарная (она же — историко-хроникальная, путевая и страноведческая, «эмигрантская», лирико-биографическая, портретная, пейзажная, культурологическая и проч.) проза московской переводчицы англоязычной классики XX века, с 1992 года живущей в Бостоне.

**Ревекка Фрумкина.** Внутри истории. Эссе, статьи, мемуарные очерки. М., «Новое литературное обозрение», 2002, 479 стр.

«Что значит ощущать себя внутри истории? Как переживает историю человек науки? Какова роль образованного человека в сегодняшней России? Что значат гуманитарные науки для современного общества?» — об этих и множестве других вопросов размышляет в своей эссеистике лингвист и психолог Ревекка Фрумкина, для которой как бы абстрактные понятия экзистенциального и социального всегда были конкретизированы абсолютно реальным — порой на уровне просто житейского — опытом жизни (или — выживания) русского интеллигента внутри советской истории. Журнал намерен отрецензировать эту книгу.

Составитель Сергей Костырко.

## ПЕРИОДИКА



«*Время MN*», «*Время новостей*», «*Вышгород*», «*Газета*», «*Гражданин*», «*ГражданинЪ*», «*GlobalRus.ru*», «*Дело*», «*День литературы*», «*Завтра*», «*Зеркало*», «*Известия*», «*Иностранная литература*», «*Итоги*», «*Книжное обозрение*», «*Коммерсантъ*», «*Консерватор*», «*Космополис*», «*Лебедь*», «*Литература*», «*Литературная газета*», «*Литературная Россия*», «*Литературная учеба*», «*Луч*», «*LiveJournal*», «*Москва*», «*Московские новости*», «*Народ Книги в мире книг*», «*Наш современник*», «*НГ Ex libris*», «*Независимая газета*», «*Новая газета*», «*Новая Польша*», «*Новое время*», «*Огонек*», «*Правый клуб*», «*Русский Журнал*», «*RedNews.Ru/Советская Россия*», «*Советник Президента*», «*Топос*», «*Труд*», «*Урал*», «*Фома*», «*Футурум АРТ*»

**Сергей Аверинцев.** Страшная диалектика человечества. — «*Московские новости*», 2002, № 42 <<http://www.mn.ru>>

«Я хочу сказать, что реальные события [11 сентября 2001 года] мало похожи на столкновение вполне чуждых друг другу и равных себе цивилизованных субстанций, что они скорее заставляют думать о страшной диалектике внутри единого общечеловеческого процесса. Выступление на конференции «Переосмысляя современность» (Москва, октябрь 2002 года).

**Питер Акرويد.** Биография Лондона. Фрагменты книги. Перевод с английского и вступление Л. Мотылева. — «*Иностранная литература*», 2002, № 10 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>

Лондон как Вавилон (Рим, Ниневия, Тир...) и как живое существо.

**Николай Александров.** Мир навыворот — наш быт. — «*Газета*», 2002, 22 октября <<http://www.gzt.ru>>

«Эта невзрачная, слепая — то есть без предисловия, комментариев и даже без сколь-нибудь внятной аннотации, — небольшого формата книжка [„Изнанка Гогена“], отпечатанная на газетной бумаге издательством „Вагриус“, на самом деле означает не что иное, как причисление Юрия Мамлеева к литературным классикам. Хотя бы потому, что именно так „Вагриусом“ были изданы хрестоматийно известные произведения Бунина и Куприна.

См. также: «Для меня стало очевидным, что Россия — не просто страна, а великая метафизическая реальность, частным воплощением которой является наша Россия, в которой мы живем», — пишет **Юрий Мамлеев** («Русская идея здесь и сейчас» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>).

**Апология Диогена.** Руководители издательства «*Ad Marginem*» отвечают на вопросы корреспондента «Завтра». Беседу вел Владимир Винников. — «Завтра», 2002, № 46, 12 ноября <<http://www.zavtra.ru>>

«<...> я определяю себя как человека левых взглядов, но не предлагаю вернуться к Советскому Союзу и к принципу „распределения по труду“. Я предлагаю просто отдавать себе отчет в том, что то распределение собственности, которое произошло в России, не является нормальным» (**Александр Иванов**).

«<...> фигура Ленина — это фигура максимальной европеизации России в XX веке. <...> Когда мы говорим о России 20-х годов, нужно отдавать себе отчет, что Россия тогда была реальным центром притяжения для всей Европы, почти для всего мира в этот период» (**Александр Иванов**).

«Европа — это некая инстанция, которая владеет правом устанавливать границы. <...> У нас появилась такая концепция, скорее артистическая, — восстановление Берлинской стены. Почему важно ментально восстановить Берлинскую стену? Потому что это — стена, установленная Востоком. Восток тем самым впервые взял на себя метафизическую функцию. Он сказал: „Вот здесь будет граница“. <...> И в этом смысле то, что так бездарно и быстро сняли Берлинскую стену, вульгарно ее разрушили, не продумав, что произошло, — недопустимо, это преступление» (**Михаил Котомин**).

**Михаил Ардов.** Жертва акмеизма. — «Время МН», 2002, № 189, 18 октября <<http://www.vremyamn.ru>>

К 90-летию Льва Николаевича Гумилева (1912 — 1992). «Мы говорили с ним о евангельском повествовании, о Самом Христе, и Гумилев произнес простую, но поразившую меня фразу:

— Но мы-то с вами з н а е м, что Он воскрес!»

**Александр Архангельский.** Что дальше? — «Известия», 2002, № 199, 31 октября <<http://www.izestia.ru>>

«Любое регулярное государство, способное обеспечить покой граждан, по определению является полицейским. Я — за. Но, прошу прощения, для этого нужно сначала иметь полицию. А не сборище вольных стрелков, поставленных на кормление. <...> Давайте лучше начнем создавать нормальную полицию».

**Александр Архангельский.** 40 лет Ивана Денисовича. — «Известия», 2002, № 209-М, 18 ноября.

«Только что оборвалась сталинская эпоха. Выросли и сформировались поколения, которые никакой другой жизни не видели и никакого другого мироустройства себе не представляли. Авторитетным для них было только печатное слово, официально разрешенное, прошедшее цензуру. Чтобы позже понять и оценить нелегальную силу „Архипелага ГУЛАГ“, они должны были сначала „подсесть“ на подцензурный „Один день Ивана Денисовича“ [„Новый мир“, 1962, № 11]...»

См. также: **Павел Басинский**, «Ничего, кроме правды» — «Литературная газета», 2002, № 47, 27 ноября — 3 декабря <<http://www.lgz.ru>>

См. также: **Лев Рубинштейн**, «Как один день» — «Еженедельный Журнал», 2002, № 45 <<http://www.ej.ru>>

**Дмитрий Бавильский.** Едоки картофеля. Роман. — «Урал», Екатеринбург, 2002, № 10, 11 <<http://magazines.russ.ru/ural>>

Роман является частью трилогии «Знаки препинания». «Все обстоятельства и персонажи, а также основное место действия (город Чердачинск) являются вымышленными и не несут никаких намеков на реальных лиц». Значком (\*) автор хотел отметить главы для необязательного чтения. Но в результате технической ошибки значком (\*) оказались отмечены как раз заслуживающие внимания фрагменты.

См. также: «Я не ишу истины или правды, я жажду красоты и виртуозности изложения», — пишет **Дмитрий Бавильский** («Знаки препинания № 28. Открытый урок» — «Топос», 2002, 21 октября <<http://www.topos.ru>>).

См. также: «<...> чем больше в романе идеологии, тем меньше в нем смысла. На чем и горит условный „Маканин“, и что подводит писателей старшего поколения, и что делает модными и продвинутыми кинематографистов типа Альмадовара: изображение здесь само говорит за себя и за ту историю, в подчинении у которой находится. Надстройкой более не канают, они не важны <...> Потому что любая история, если она закончена, сама по себе тянет на обобщения и на символизацию», — читаем в сетевом дневнике **Дмитрия Бавильского** от 25 октября 2002 года (<<http://www.livejournal.com/users/paslen>>).

**Сергей Баймухаметов.** Почему богатые не любят шестидесятников. — «Литературная газета», 2002, № 42, 16 — 22 октября <<http://www.lgz.ru>>

«<...> кампания по дискредитации шестидесятников. С одной стороны, точно рассчитанная. С другой — абсолютно стихийная, нутряная, как порыв и прорыв коллективного бессознательного, по Фрейдю».

**Владимир Балашов.** Последняя прогулка Бенуа. Пьеса. Вступительная статья Валентина Лукьянина. — «Урал», Екатеринбург, 2002, № 10.

Версаль, 1960. Действующие лица: Александр Николаевич Бенуа, Юноша, Девушка.

«<...> он сопротивлялся среде прежде всего тем, что писал *стиховые* пьесы, в то время как их практически никто уже не пишет, не ставит и даже не читает. <...> Он ушел (21 февраля нынешнего года), признаем честно, не победителем — но и не побежденным! — не дожив четырех месяцев до своего 75-летия», — вспоминает о драматурге и поэте Владимире Филипповиче Балашове автор *большой* вступительной статьи.

**Александр Бараш.** Счастливое детство. Главы из книги. — «Зеркало», Тель-Авив, 2002, № 19-20 <<http://members.tripod.com/~barashw/zerkalo>>

«В начале моей юности — весна седьмого класса, рубеж 13 — 14-ти лет — мы переехали в „генеральский дом“ у метро „Сокол“. Квартира там — как в средневековом Лондоне, *на мосту*: прямо под ней желтая Песчаная улица впадает в стальной Ленинградский проспект...» *А я — в большом доме на Песчаной площади — где «Учколлектор».*

**Павел Басинский.** Риск Анатолия Кима. — «Литературная газета», 2002, № 43, 23 — 29 октября.

«Именно благодаря Киму и его „Острову Ионы“ я вдруг почти физически ощутил, что литературный XX век кончился. <...> „Остров Ионы“ [„Новый мир“, 2001, № 11, 12] — отчаянная попытка написать не просто большой и сложный для прочтения роман. Это попытка написания великого романа. То есть такого романа, который может стоять на полке рядом с „Улиссом“ и „Волшебной горой“, рядом с „Шумом и яростью“ и „Чевенгуром“, — великими романами XX века. В нынешнем контексте такая попытка — настоящее безумие, все равно что выйти в открытый космос без скафандра».

**Без наркоза.** Национальная словесность об издержках национальной безопасности. — «НГ Ex libris», 2002, № 39, 31 октября <<http://exlibris.ng.ru>>

Цитирую — для истории. «[26 октября] люди оказались заложниками и со стороны государства, и со стороны *этих молодых людей* (курсив мой. — А. В.). Власть повела себя, как всегда. Разумеется, так вести себя нельзя. И это не впервые», — говорит философ Владимир Библихин.

См. *черный список* на сайте «Правого клуба» <<http://www.conservator.ru/project/nord-ost>>: «Мы вешаем на нашем виртуальном позорном столбе тех, чьи высказывания и оценки недавней трагедии возмутили нас своей низостью. Всех проходимцев и расчетливых циников, наживавших политический капитал. Всех дураков, не понимавших, что творили. Запомните эти имена. И каждый раз, читая статьи или слыша интервью этих лицемеров, помните, что в трудную минуту они готовы подло предать свой народ ради рейтинга, гонорара или просто для пушного словца...» *Много, много имен.*

**Василий Белов.** «Душа жива в слове». Беседу вел Геннадий Сазонов. — «Труд-7», 2002, № 192, 24 октября <<http://www.trud.ru>>

«<...> прежде всего нужно спасти кириллицу».

**Петер Биксель.** Швейцария глазами швейцарца. Заметки об ущербности демократии. Перевод с немецкого Анатолия Егоршева. — «Иностранная литература», 2002, № 9.

«В этой стране я живу. В этой стране можно жить».

**Сергей В. Бирюков.** Предупреждение. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Трагедия [на Дубровке] показала, насколько обманчива и опасна распространенная сегодня в российском обществе идея „автономного“ существования граждан по отношению к государству».

См. также: **Сергей Митрофанов**, «Раскольниковизация России. Пейзаж после теракта» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

**Андрей Битов.** «Разновидностей человека нету». Беседу вела Елена Яковлева. — «Известия», 2002, № 209, 16 ноября.

«Видите, у меня нетолерантность к власти, это мой давний недостаток».

См. также: **Андрей Битов**, «Дайте времени поговорить его языком...» — «Континент», 2002, № 112 <<http://magazines.russ.ru/continent>>; «„В лужицах была буря...“ (Мания последования)» — «Звезда», 2002, № 8 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>

**Алла Большакова.** Русский «Золотой век» у Л. Толстого. К проблеме литературного архетипа. — «Литературная учеба». Литературно-философский журнал. 2002, № 4, июль — август.

Фрагмент книги «Деревня как архетип: от Пушкина до Солженицына». Другие фрагменты см.: «Литературная учеба», 2001, № 3, 6; «Вышгород», 2001, № 3 <<http://www.veneportaalee/vysgorod>>

**Владимир Бондаренко.** Христианские постмодернисты. — «День литературы», 2002, № 10, октябрь <<http://www.zavtra.ru>>

«Кто ей [Капитолине Кокшановой] дал право определять процент православности в любом из писателей?»

**Владимир Боров.** Утраченные критерии. — «Советник Президента». [Чуть ниже логотипа написано более мелким шрифтом — «Каждый гражданин России», чуть выше — «Без меня народ неполный» (А. Платонов)]. Информационно-аналитическое издание. 2002, № 10, октябрь <<http://www.sovetnikpresidenta.ru>>

«Некоторое время назад мне как эксперту-искусствоведу, специалисту по структурному анализу текстов от УВД „Замоскворечье“ ЮАО г. Москвы был прислан запрос по поводу книги В. Сорокина „Первый субботник“. <...> Я и мои коллеги установили: да, [тексты] содержат [элементы порнографии].»

«Если это не порнография, то мир должен перевернуться».

«<...> описание определенных извращений, облеченное в переплет литературной формы. Если вор называется сенатором или губернатором, он не перестает быть вором».

«<...> экспертиза книги, написанной бог знает когда и сто раз переизданной, которую назначили именно сейчас, осенью 2002 года, некоторым людям кажется свидетельством очень серьезных социальных перемен, фактом, далеко выходящим за рамки художественной экспертизы. Если это действительно доказательство серьезных социальных перемен, то я им очень рад».

Автор — кандидат искусствоведения, кандидат философских наук и главный редактор газеты «Советник Президента».

См. также: **Александр Пумпянский**, «Ответ ангелу. От адвоката двух дьяволов» — «Новое время», 2002, № 2968, 13 октября; *дьяволы* — Проханов и Сорокин; *ангел* — Ольга Кучкина. См. также ее письмо: «Новое время», 2002, № 2970, 27 октября <<http://www.newtimes.ru>>

**Наталья Борисенко** (г. Королев). А нужен ли учебник? — «Литература», 2002, № 39, 16 — 22 октября <<http://www.1september.ru>>

«Главный враг школьного учебника по литературе, как ни парадоксально звучит, — его фундаментальность. Чем больше авторов мы включаем в программу, чем более глубоко и тонко анализируем произведение, чем больше умных вопросов придумываем к нему <...>, тем больше отталкиваем от учебника его главного читателя — ученика».

**Леонид Бородин.** Хозяин дворянского гнезда. — «Литературная газета», 2002, № 42, 16 — 22 октября.

Илья Глазунов. Владимир Солоухин.

**Дмитрий Быков.** Ночь живых мертвецов. («Быков-quickly: взгляд-41»). — «Русский Журнал» <[http://www.russ.ru/ist\\_sovr](http://www.russ.ru/ist_sovr)>

«Под предлогом борьбы с русским тоталитаризмом уничтожалась не идеология, но страна».

«Если человеку не за что умереть — к чему ему жить?»

«Исчерпанность всех противостояний, нищета всех парадигм, тоска зеленая, брезгливость душающая...»

Ср.: «Если нет реального выбора между властью и оппозицией, преданность власти перестает быть актом свободного идейного выбора», — говорит социолог и историк **Дмитрий Фурман** в беседе с Дмитрием Быковым («Собеседник», 2002, № 142 <<http://www.sobesednik.ru>>).

**Дмитрий Быков.** Быков-quickly: взгляд-42. — «Русский Журнал» <[http://www.russ.ru/ist\\_sovr](http://www.russ.ru/ist_sovr)>

«<...> далеко не я один живу сегодня в предчувствии серьезной катастрофы, не только национального, но скорей вселенского порядка».

«<...> утверждения вроде „Свобода личности превыше всего“ <...> выглядят сегодня безнадежным анахронизмом. Добро бы это была свобода печатать и писать выдающиеся произведения, летать к звездам и заниматься любимым делом; но речь как раз идет о свободе определенных личностей отдыхать на Канарах и презирать всех, у кого этой возможности нет».

«Дело в том, господа... нет, вы только не бойтесь, но я вам сейчас открою некую важную истину... дело в том, что умрем все. <...> Так вот, весь наш выбор сводится только к тому, как и за что умирать».

«Вообще человек, которому есть за что умереть, — умирает не так позорно, как релятивист; вот и вся разница <...>».

«<...> если мы не ограничим себя в чем-то — кто-то другой ограничит нас во всем».

**Дмитрий Быков.** Быков-*quickly*: взгляд-44. — «Русский Журнал» <[http://www.russ.ru/ist\\_sovr](http://www.russ.ru/ist_sovr)>

«Русские апологеты консерватизма — чаще всего существа кроткие, домашние, запуганные, при всей брутальности своих убеждений; русские либералы, при всей своей внешней мягкости, — напротив, жестоки, иногда наглы, брутальны и свято верят в социальный дарвинизм, живя по принципу: „Сдохни ты сегодня, а я завтра”...»

«Моя убежденность в том, что 26 октября Россия одержала серьезную победу, — тоже не означает ни моей кровожадности, ни моего особенного патриотизма. Это означает лишь, что я не желаю поражения своей стране и морщусь от ее унижений».

«Вообще похоронить Россию гораздо проще, чем реанимировать ее, — но именно в силу своей нелюбви к тому, что проще, я и оказываюсь скорее в стане патриотов, нежели в стане патриофобов».

**Дмитрий Быков.** Правые полузащитники. («Быков-*quickly*: взгляд-45). — «Русский Журнал» <[http://www.russ.ru/ist\\_sovr](http://www.russ.ru/ist_sovr)>

«<...> сегодня немислим спор с Сергеем Ковалевым — в чьей искренности я, однако, не сомневаюсь <...>. Просто он уже не в силах усомниться в этих идеях и пересмотреть их — а в этих обстоятельствах какой же спор? Так что единственное, что надо сделать с правозащитниками, — это отнять у них ореол святости».

«<...> в государственники я попал от противного. От Пархоменко и Альбац, Политковской и Кагарлицкого, Киселева и Сорокиной».

**Дмитрий Быков.** Неграждане, послушайте меня! — «Огонек», 2002, № 44, ноябрь <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>

«<...> в военное время (а наше мирным не назовешь) терпеть капитулянтов очень тяжело».

«Они, [называющие себя „правозащитниками“], просто не решаются вслух назвать основной побудительный мотив всех своих действий: им страшно. От трусов может потребоваться героизм, а к этому они совершенно не готовы».

«Либерализм сегодня — это точный, трусливый и подлый выбор слабака. Он знает, где сила, и противостоять этой силе боится. Так книжный мальчик, которого избивали хулиганы, дома с кулаками, слезами и воплями набрасывается на родителей. Хулиганам он сделать ничего не может. А родителям — запросто».

**Дмитрий Быков.** Пятая колонна. — «Собеседник», 2002, № 151 <<http://www.sobesednik.ru>>

«Я понимаю, как уязвима сегодня патриотическая позиция — патриотизм в отсутствие Родины».

**В поисках властителей дум.** [Заседании клуба «Свободное слово» в Институте философии РАН]. Подготовили И. Сироткин, А. Яковлев. — «Литературная газета», 2002, № 43, 23 — 29 октября.

«Куда делись „инженеры душ”? Да, после Руссо и после его ученика Толстого была иллюзия, что с помощью слов можно выстроить душу. Это была не только иллюзия, это была реальность, тогда с помощью слов и впрямь души выстраивались. Больше этого нет. Я не знаю, будет ли это еще когда-нибудь», — говорит **Лев Аннинский**.

«Литература, она же веками занималась именно будущим России. <...> Литература умерла как функция. <...> Говорить сейчас о будущем России бессмысленно, потому что сейчас фактически нет России», — считает философ **Вадим Цимбурский**.

«Ведь мы сегодня присутствуем при кризисе всей культуры, основанной на письменной традиции. <...> Сегодня лидером общественной мысли, „властителем дум” является журналист. <...> Для журналиста самый главный продукт — это новость. <...> А литература большая, о которой здесь говорят, она была литературой больших идей, но только идеи никогда не могут быть новостью, идеи вспоминаются, как считал тот же Платон. Идея — это не то, что меняется каждый день, а то, что связывает... <...> [Литература] умирает как способ связи, способ коммуникации людей, живущих в современных обществах. <...> просто изменился тип общества, которое нуждалось в литературе как в способе коммуникации», — говорит философ **Вадим Межуев**.

Полностью стенограмма будет опубликована в очередном сборнике «Свободное слово. Интеллектуальная хроника» в 2003 году.



**Андрей Ванденко.** Таланты без поклонников. — «Итоги», 2002, № 41, октябрь <<http://www.itogi.ru>>

Говорит **Илья Глазунов:** «И как только у вас язык поворачивается подобное спрашивать? Когда Глазунов был за коммунистов, за это бесовское племя?!»

«Я люблю Николая — он раздавил декабристов <...>».

**Сергей Волков.** Свои среди чужих. — «ГражданинЪ». Ежемесячная политическая газета. 2002, № 9 (18), сентябрь.

«Отношение к Русскому освободительному движению, [в частности — к РОА], может, таким образом, измениться только со сменой отношения ко всей II мировой войне, к ее смыслу и итогам. До сих пор этому мешает как установившийся в результате нее „новый мировой порядок“, так и сохранившаяся в неприкосновенности советчина в России. Но ни то ни другое не вечно».

*Газету «ГражданинЪ» (свидетельство ПИ № 77-7386 от 10.07.2001) не следует путать с распространяемой бесплатно газетой «Гражданин» (свидетельство ПИ № 77-9249 от 6.06.2001), учрежденной Общероссийским политическим общественным движением в поддержку вооруженных сил «Гражданин».*

**Кирилл Воробьев.** «Я убил Баяна Шириянова». Беседу вела Юлия Рахаева. — «Известия», 2002, № 186, 14 октября.

«<...> я под руководством сотрудников Института русского языка писал „Словарь корпоративного сленга лиц, употребляющих вещества, находящиеся в списке наркотиков“».

«По моим описаниям [в „Низшем пилотаже“] ничего невозможно сделать. Я понимаю, что можно и что нельзя. Для практического использования моих „рецептов“ надо знать много того, чего в них сознательно нет».

«Что до меня, любимого, то мне недавно литературовед и философ Елена Петровская написала: „Не могу понять, за что вас ругают. Ваше произведение написано в классических традициях русской литературы“...»

Тут обозреватель «Известий» **Юлия Рахаева** не выдержала: «Мне так не показалось. <...> вещь кажется написанной даже не бомжом <...> а тем, кто с детства ничего слаще клея „Момент“ не пробовал».

Но Кирилл Воробьев/Баян Шириянов с ней не согласился.

**Алексей Герман.** «Кинематографисты к искусству сильно охладели». Беседу вела Марина Токарева. — «Время MN», 2002, № 204, 13 ноября.

«Может, [Никита] Михалков для народа и похож на героя Плевны, а если б я брал его на роль в кино, дал бы сыграть гостиничного картежника, который выдает себя за героя Плевны».

«Помню, вызвали нас как-то к Ельцину. Вошел Ельцин — половина присутствующих встала, а половина нет, они, видишь ли, были оппозиционные. А однажды попал к Путину: он вошел — как пробки, взлетели все! И прыгали еще несколько минут».

Ср.: «Я мечтаю любить власть. Мечтаю. Я хочу любить государя, любить сенат. В России вообще ничего хорошего без любви невозможно. Я так хочу, чтобы это были люди более достойные, чем я. Так хочу, чтобы те, за кого я голосую, оправдывали мое доверие. <...> Я абсолютно не согласен с утверждением, что художник должен быть обязательно в оппозиции к власти», — говорит **Никита Михалков** на встрече с редакцией «Литературки» («Литературная газета», № 45, 6 — 12 ноября).

**Петр Гладилин.** AFRODISIAK. Роман. [Журнальный вариант]. — «Новая Юность», 2002, № 4 (55) <[http://magazines.russ.ru/nov\\_yun](http://magazines.russ.ru/nov_yun)>

«В этих маленьких и прочных ягодицах тайлось столько творческой энергии, столько силы, что ее, пожалуй, с лихвой хватило бы для сотворения нескольких материальных вселенных».

**Дмитрий Гнедич.** Современные записки. — «Зеркало». Литературно-художественный журнал. Тель-Авив, 2002, № 19-20.

«У Платонова литература решала какие-то другие задачи, нежели классическая словесность, стало быть, и стиль — в той мере, в какой он не является чем-то традиционным, — есть действующая машина по решению этих невозможных задач <...>».

«<...> национальная память о 20 — 30-х годах, мое глубокое убеждение, устроится согласно Платонову, а не Шолохову, Пастернаку или Пильняку. Таким образом, нет нужды ссылаться на источники, живописующие действительные ужасы этого времени, — Платонов повествует о них не менее точно, чем любые дневники и архивы».

**Виктор Горохов.** Дьявольский глаз Катаева. — «Литературная Россия», 2002, № 44, 45, 48, 50 <<http://www.litrossia.ru>>

«Катаев принципиально последовательно антидидактичен. Его стихия — чувства, образы, краски, запахи, звуки».

См. также: «Вообще-то Валентин Петрович был хитрым литературным политиканом. <...> Один из лучших наших прозаиков XX века. Но — приспособленец», — говорит **Василий Аксенов** («Литературная Россия», 2002, № 45, 8 ноября).

**Александр Горянин**. Мифы о России. — «Советник Президента». Информационно-аналитическое издание. 2002, № 10, октябрь <<http://www.sovetnikpresidenta.ru>>

«Мы должны избавиться от привычного, как привычный вывих, Большого Негативного Мифа о России». О книге А. Горянина «Мифы о России и дух нации» (М., 2002) см. в «Книжной полке Андрея Василевского» («Новый мир», 2002, № 10). См. также беседу с **Александром Горяниным** — «Огонек», 2002, № 26 <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>

**Гюнтер Грасс**. Траектория краба. Новелла. Перевод с немецкого Б. Хлебникова. — «Иностранная литература», 2002, № 10.

Польский критик Хуберт Орловский отметил, что в книге Грасса о потоплении советской подлодкой немецкого лайнера «Вильгельм Густлофф» ему не хватает короткой фразы: «В то время как испещренные надписями торпеды движутся к судну, отцы, мужья, сыновья и братья, родные и близкие запертых под палубой [немецких] женщин и детей сеют на фронтах смерть огнем автоматов, топят суда, сбрасывают бомбы...» («Новая Польша», Варшава, 2002, № 9).

См. также: **Аля Харченко**, «Гюнтеру Грассу повезло с утопленниками. Переведен на русский бестселлер о подлодке-убийце» — «Коммерсант», 2002, № 160, 6 сентября. Здесь же — колонка **Лизы Новиковой** об этой повести.

См. также: **Николай Александров**, «Прорвать замкнутый круг» — «Газета», 2002, 28 октября <<http://www.gzt.ru>>

См. также: **Ростислав Горчаков**, «Кого потопил [Александр] Маринеско?» — «Посев», 2001, № 9 <<http://posev.ru>>

См. также: **Андрей Немзер**, «Грасс в помощь» — «Время новостей», 2002, № 200, 29 октября <<http://www.vremya.ru>>

**Олег Дарк**. Террор слов. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Один московский молодой священник (его молодость подчеркивается) отказал в отпевании погибшему в Театральном центре, так как тот принял смерть после представления, которое „не от бога“ („бесовское действо“, надо думать). Журналисты, не различающие религиозное сознание и безрелигиозное, сейчас же подняли вой. <...> Но если у вас нет серьезного, буквального отношения к обряду, зачем его требовать? Из современной ненависти к любой серьезности? Конфликт попа и журналистов шире отношений верующего и неверующего. Это конфликт серьезно относящегося к проблеме и тех, для кого проблема — лишь пустой и случайный объект высказывания».

**Денис Драгунский**. О текущем моменте и «архаике будущего». — «Космополис». Журнал мировой политики. Выходит четыре раза в год. Главный редактор Денис Драгунский. Заместитель главного редактора Борис Межуев. Тираж 1000 экз. 2002, № 1.

«То, что нам преподносят СМИ, — это и есть единственно возможная реальность. Политическая прежде всего».

Ср.: «Телевидение боится реальности. <...> телевидение говорит правду, но не предьявляет реальности, — говорит кинорежиссер-документалист **Виталий Манский** в беседе с **Евгением Поповым** («Огонек», 2002, № 42).

См. также: **Даниил Дондурей**, «„Вы — силовики!“ Без телевидения терроризм не имеет смысла» — «Известия», 2002, № 214, 23 ноября.

**Александр Дугин**. Кому выгоден теракт? Это была настоящая попытка государственного переворота. — «Литературная газета», 2002, № 44, 30 октября — 5 ноября.

«Погибшие [26 октября] люди не отравленный скот. Они пали за Родину, за страну. Ведь каждый русский, каждый россиянин уже на войне — нас мало кто любит вокруг и уж точно никто не жалеет. И мы должны быть готовы в любой момент заплатить за то, что наша страна — Россия, что наш язык — русский, что мы — граждане великого Отечества. <...> Пошады нам не будет. Но и мы должны быть милосердны, только поставив сапог на грудь поверженного врага. Не раньше того. Не раньше».

См. здесь же: «<...> власть не имеет никакого контроля над СМИ. Это значит <...>, что диссидирующая „гадина“ вовсе не „раздавлена“, что она просто ждет любой силы, которая будет против государства, чтобы поддержать эту силу. И эта гадина волей власти процветает в электронных СМИ, то есть в сердцевине власти XXI века», — пишет **Сергей Кургинян** («Что наша жизнь? „Норд-Ост“!»).

**Ольга Дунаевская.** По стопам Николая Гумилева. Александр Кушнер на Форуме молодых писателей [в подмосковном пансионате «Липки», октябрь 2002 года]. — «Московские новости», 2002, № 41 <<http://www.mn.ru>>

Говорит **Александр Кушнер**: «Недавно были опубликованы юношеские стихи Мандельштама — они из рук вон плохи; Осип Эмильевич наверняка палкой прибил бы публикатора».

«Модный еще недавно авангардизм исчез. Мои „семинаристы“ впали в символизм. В их словаре есть „бездна“, „синяя даль“, „земная юдоль“. Есть „розы“, „аккорды“, „свечи“ — лампочек нет».

«Наши несчастья несравнимы с теми, что выпали на долю наших дедов и родителей».

**Валерий Дымщиц.** Еврейско-русский обманщик. — «Народ Книги в мире книг». Еврейское книжное обозрение. Издается с августа 1995 года. Выходит один раз в два месяца. Санкт-Петербург, 2002, № 40, август.

Исаак Бабель — еврей, русский писатель. «В русско-еврейскую литературу, бывшую в его время уже весьма обширной, но, увы, второсортной, он не верил, писать по-еврейски не хотел. Писать же для „гоим“ правду (естественно, художественную правду, как он ее понимал) о евреях для него как для человека (человека, а не писателя) очень еврейского, очень традиционного было психологически тяжело». Поэтому он о евреях и еврействе — «врал».

**Александр Житинский.** Борис Стругацкий. Фугас, пробивающий стену. — «Дело», Санкт-Петербург, 2002, № 251, 21 октября <<http://www.idelo.ru>>

«Мы с Аркадием начинали жизнь как отпетые коммунисты, причем не просто коммунисты, а сталинисты. Мы были типичными героями Оруэлла, у которых двоемыслие было отработано идеально», — вспоминает **Борис Стругацкий**.

**Алексей Зверев.** Тени в раю. — «Иностранная литература», 2002, № 9.

«„Люцерн“ [Льва Толстого] — просто идеальный пример в подтверждение вывода Кундеры, что русские писатели склонны возводить чувства „в ранг ценностей и истин“. Вопрос, разумеется, в том, считать ли это слабостью или, как Кундера, даже ущербностью русской культуры».

**Лола Звонарева.** Зооморфный код в поэзии Зинаиды Гиппиус. — «Литературная учеба», 2002, № 4, июль — август.

Насекомые.

**Сергей Земляной.** Святая сволочь термидора. В поисках утраченного субъекта современности. — «НГ Ex libris», 2002, № 38, 24 октября.

«Назвать книжку о термидоре „Термидор“ — это все равно, что назвать книгу о любви — „Любовь“: мало того, что это звучит, как штамп, это ставит автора/авторов такой книги на ту грань, за которой они могут показаться смешными». О сборнике «Термидор. Статьи 1992 — 2001 гг.» (М., «Модест Колеров & Три квадрата», 2002), состоящем из текстов Кирилла Кобрин, Модеста Колерова, Николая Плотникова, Павла Черноморского и Дмитрия Шушарина, см. также «WWW-обозрение Сергея Костырко» в декабрьском номере «Нового мира» за прошлый год.

**Сергей Земляной.** Лукач и Брехт как советские писатели, или Левая эстетическая теория о мимесисе и катарсисе. — «НГ Ex libris», 2002, № 40, 14 ноября.

«<...> активная теоретическая и эссеистическая деятельность Лукача и молчаливое, но упорное сопротивление ей со стороны Брехта».

**Игорь Зернов.** Монархия как высшая стадия демократии. — «Москва», 2002, № 9 <<http://www.moskvam.ru>>

«Монархическое сознание исходит из того, что люди от природы не равны между собой по причине воспитания, способностей, наследственности; следовательно, справедливость требует различного подхода к ним, отсюда — острая реакция на своеобразие людей, отстаивание индивидуального подхода к человеку».

**Александр Зиновьев.** Евангелие для Ивана. — «Наш современник», 2002, № 10 <<http://read.at/nashsovt>>

Из авторского предисловия 2002 года: «Я находился [в 1982 году в Мюнхене] в состоянии глубокой душевной депрессии. Это состояние я и выразил в форме Евангелия (так! — А. В.)». Цитирую: «Один дефект тебе к тому же / Засунул в гены кто-то встарь: / Хотя ты есть холуй снаруж, / Но про себя-то ты бунтарь» («Бунтарю»).

Здесь же: **Ольга Зиновьева**, «Начало» — к 80-летию А. А. Зиновьева. Цитирую: «Ему принадлежит фраза, не (! — А. В.) рассчитанная на журналистский эффе́кт: „Я возвращаюсь на Родину, чтобы умереть с моим народом“».

См. также: «В свои 80 лет я даю вам свою самооценку: я, Александр Александрович Зиновьев, — есть одна из точек роста России. Пока Зиновьев с его результатами социального анализа не будет официально признан в России и максимально использован — не поднимется Россия!» — говорит юбиляр в беседе с Владимиром Бондаренко («Завтра», 2002, № 44, 29 октября).

См. также беседу Александра Зиновьева с Сергеем Казначеевым «Мне за себя не стыдно» («Труд», № 195, 29 октября <<http://www.trud.ru>>): «Порой сожалею, что моя жизнь не оборвалась ранее. Крах советского (русского) коммунизма стал для меня величайшей личной трагедией, и я сожалею, что дожил до него».

См. также беседу Александра Зиновьева с Анатолием Костюковым («Одиночество мысли» — «Независимая газета», 2002, № 232, 29 октября <<http://www.ng.ru>>): «Весь период „холодной войны“ был как раз такой эпохой <...> взаимного обогащения двух социальных систем. Я считаю, это был самый потрясающий, самый продуктивный период в истории человечества».

См. также беседу Александра Зиновьева с Виктором Кожемяко «Нынешний строй в России — это „рогатый заяц“» («RedNews.Ru/Советская Россия», 2002, 29 октября <<http://www.rednews.ru>>).

См. также: Александр Зиновьев, «Русская трагедия. Взгляд с зияющих высот» — «Советник Президента». Информационно-аналитическое издание. 2002, № 9, сентябрь <<http://www.sovetnikpresidenta.ru>>

См. также: Андрей Фурсов, «Великий вопрекист» — «Литературная газета», 2002, № 44, 30 октября — 5 ноября.

**Вячеслав [Вс.] Иванов.** «Мы нуждаемся в науках, которых еще нет». Беседу вел Игорь Шевелев. — «Новое время», 2002, № 2968, 13 октября <<http://www.newtimes.ru>>

«<...> одна из главных проблем — это развитие наук о человеке таким образом, чтобы они не стали еще большей опасностью, чем атомная физика».

**Ирина Ивойлова.** Свидетельство земного пребывания. — «Труд», 2002, № 186, 16 октября.

Говорит начальник Института криминалистики ФСБ России, доктор технических наук Анатолий Фесенко: «То, что ей [Туриной плащанице] вполне может быть 2000 лет и она несет на себе следы человеческого тела, — факт. И в том, что человека перед тем, как распять, долго пытали, тоже доказано».

См. также: Андре Лемер, «Мы нашли гроб брата Христа» — «Известия», 2002, № 196, 28 октября; интервью ученого, известного специалиста в области египтологии и истории Древнего Востока, руководителя исследований в Практической школе высших исследований Сорбонны.

**Ольга Ильницкая.** Глушление над «испуганными интеллигентами». — «Новая газета», 2002, № 78, 21 октября <<http://www.novayagazeta.ru>>

«Это, может быть, последнее стихотворение И. А. Бунина, написанное на родной земле». В 1918 году. «Да будет так. Привет тебе, Варя! / Во имя человечности и Бога / Сорви с кровавой бойни наглый стяг, / Смири скота, низвергни демагога». *Варяг* — это французские войска, высаживающиеся в Одессе.

**Ольга Кабанова.** Во дни печальные. — «Известия», 2002, № 196, 28 октября.

«Сегодняшняя культура к дням траура [по погибшим заложникам] не готова. Нет у нее постановок греческих трагедий с их темой неизбежной и непобедимой власти Рока. Забыты трагедии классицизма, герои которых обречены на метания между долгом и чувством. Нет новых экранизаций великих русских романов действительно о главном — цене жизни, личной ответственности, губительной власти абстрактной идеи над живой человеческой душой...»

Ср.: «<...> трагедия как форма изжила себя, уступив место драме и смежным жанрам — трагикомедии и трагифарсу» (Владимир Забалуев, Алексей Зензинов, «Неизбывная песнь козлов» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/culture>>).

**Николай Калягин.** Чтения о русской поэзии. — «Москва», 2002, № 9, 10.

«Странным анахронизмом выглядят на мировой политической арене фигуры шести последних русских царей. Это герои Софокла, злым античным роком перенесенные в роман Треллопа или в пьеску Скриба. Наверное, это и самые интересные люди в мировой истории Нового времени». Начало см.: «Москва», 2000, с № 1 по № 6, с № 8 по № 10. Впервые чтения о русской поэзии как части русской православной культуры были представлены Н. И. Калягиным (род. в 1945) в виде докладов на заседаниях Русского Философского общества им. Н. Н. Страхова (создано в 1992 году в Петербурге).

**Руслан Киреев.** Чехов. Посещение бога. — «Литература», 2002, № 38, 8 — 15 сентября.

«И тут надо сказать главное: Россия ждала смерти Чехова». Из книги «Семь великих смертей».

**Надежда Кожевникова.** В России остался один инакомыслящий писатель, и тот — антисемит. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2002, № 294, 20 октября <<http://www.lebed.com>>

«Писатель [Проханов] отменный, но вот иметь с ним дело, общаться — нет, нельзя».

Она же: «<...> автор „Господина Гексогена“ — это не прежний Проханов. Ни тот, с кем я дружила когда-то в юности, и ни тот, кто меня после проклял в состоянии, думаю, помутнения рассудка» («Мой соперник — Проханов» — «Лебедь», Бостон, 2002, № 295, 27 октября). См. эту же статью: «Новая газета», 2002, № 89, 2 декабря.

**Дмитрий Кондрашов.** Из Иосифа Бродского. — «Луч». Ежеквартальный еврейский литературный молодежный журнал. Редактор Анна Гильдина. Тираж 500 экз. Челябинск, 2002, № 2 (6), апрель — июнь.

«Вариации на тему „V“», «Рождественская песенка военного положения», «Моей дочери» — русские переводы трех английских стихотворений Бродского. «Два своих перевода я признаю откровенно неудачными», — заявляет Дмитрий Кондрашов в *предупреждении переводчика*. См. эту же статью: «Безумие как стимул».

**Петр Краснов.** Победит любовь. Из записных книжек. — «Москва», 2002, № 10.

Среди прочего: «Немало написано о том, что переживает идущий в конной лаве в атаку человек с клинком наголо; но ничего — о конях самих, о том смятиении, непонимании и ужасе животных, попавших в человечески жестокою, немилосердную рубку <...>».

**Алексей Крученых.** Стихи. Публикация, вступительная статья, подготовка текстов и примечания Евгения Арензона. — «Футурум АРТ». Литературно-художественный журнал. Издатель и главный редактор Евгений Степанов. 2002, № 4.

Стихотворения — к Лиле Брик, Борису Пастернаку, Анне Ахматовой, Николаю Харджиеву. Слабенькие. Из машинописного собрания 1943 года «Московские встречи» (РГАЛИ, ф. 2577, л. Ю. Брик и В. А. Катанян).

**Константин Крылов.** Плакальщики. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«<...> как только мы переходим от идеи „сохранения“ к идее „реставрации“ <...> — то мы тут же сталкиваемся со всеми классическими дилеммами „исторического знания“. Откуда мы знаем то, „как оно все было“? Не наши ли это мечтания? „Консервативная революция“ (то есть проект радикальной реставрации) обычно оказывается глубоко левым как по форме, так и по содержанию».

См. (или не см.) также малосодержательный разговор о *Реставрации*, в котором кроме **Константина Крылова** участвовали **Татьяна Толстая**, **Александр Тимофеевский** и другие («*GlobalRus.ru*»). Информационно-аналитический портал Гражданского клуба <<http://www.globalrus.ru>>). «<...> чтобы каким-то образом преградить эти реваншистские настроения или вообще зарядить общество позитивной идеей, позитивная идея должна исходить из того, что раньше было значительно хуже! Вот и вся позитивная идея», — уверена милая **Дуня Смирнова**.

**Константин Крылов.** Пробуждение от идиотизма. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«<...> возможность погибнуть в результате взрыва небоскреба или под руинами кинотеатра будет рассматриваться как очередная неприятная реалья жизни — примерно как автокатастрофа. Это не значит, что небоскребы и кинотеатры опустеют. Люди все равно будут продолжать „жить как раньше“ — просто список *нормальных причин смерти* пополнится еще одним „допустимым вариантом“».

**Константин Крылов.** После. — «*GlobalRus.ru*». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба. 2002, 24 октября <<http://www.globalrus.ru>>

«Население страны уже давно воспринимает окружающую реальность в категориях *вялотекущей войны* — примерно так же, как средневековые крестьяне в смутное время воспринимали свой мир. Мы уже давно привыкли к тому, что в любой момент может случиться все, что угодно».

«<...> пора начинать процесс массового вооружения населения, первым шагом к которому должно стать разрешение на свободное владение и ношение огнестрельного оружия».

«<...> в воюющей стране не может быть мирной „свободы слова” — а паникерам, провокаторам и просто вражеским агентам (даже если они именуются „независимыми журналистами”) следует отрубать микрофоны (и это по меньшей мере)».

См. также: «Если мы хотим сохраниться, нам предстоит начать жить по законам военного времени и не оставлять свой пост. Во всех смыслах последнего слова», — пишет **Алексей Варламов** («Литературная газета», 2002, № 44, 30 октября — 5 ноября).

**Борис Крячко**. Гены. Повесть. — «Вышгород». Литературно-художественный общественно-политический журнал. Главный редактор Людмила Глушковская. Таллинн, 2002, № 5 <<http://www.veneportaal.ee/vysgorod>>

«<...> а она по привычке считала его бедняком, жалкеньким, несчастным, и ни разу у нее не повернулся язык сказать то, что само собой разумелось давным-давно: „Лучше б ты умер маленьким”». Повесть 1978 года из пярнуского архива Бориса Юлиановича Крячко (1930 — 1998). Публикация вдовы писателя Ингрид Майдре. См. прозаические публикации из архива писателя: «Дружба народов», 2000, № 1; 2002, № 5; «Предлог», 2002, № 6; а также рецензию **Евгения Ермолина** — «Новый мир», 2000, № 11.

**Вячеслав Куприянов**. Рыночный реализм. — «Литературная газета», 2002, № 39, 25 сентября — 1 октября.

«От детектива польза (вред) двойная: преступление в искусстве играет роль развлечения и в то же время является „информационно-культурной” поддержкой преступления в действительности».

«От любовного романа польза (вред) двойная: он как развлечение занимает место культурного чтения и в то же время уводит от непростых любовных отношений в действительной жизни».

«Все это объединяется наличием искушения, вот что занимает место партийности в литературе. Искушение самой возможностью убийства (детектив), искушение богатством за счет упрощения любви (ведь в любовных романах не влюбляются в бедняков и чудаков)».

Ср.: «Ничего не мог бы сказать о Донцовой и Марининой, если бы моя жена как сумасшедшая не читала эти книги. Они на нее производят благотворное терапевтическое действие. Это терапевтическая литература для людей, у которых какой-то сдвиг по фазе (это о своей жене? — *А. В.*). <...> Я это наблюдаю, когда моя жена лежит и читает, например, „Конец зеленой гадюки”. Спрашиваю: „О чем эта книга, Майя Афанасьевна?” — „Не знаю”, — отвечает... Не знает, но читает!» — рассказывает **Василий Аksenov** («Независимая газета», 2002, № 205, 27 сентября).

Ср.: «„Интересность” — в свою очередь вещь неоднозначная. Вы пробовали когда-нибудь читать детективы с привокзальных лотков? Продираться сквозь словесный бред, кривой сюжет только ради того, чтобы узнать в конце, что сутенер Эдик пристрелил проститутку Олю? Читать „легкую литературу” — это тяжелая работа», — говорит прозаик, лауреат премии Москвы **Михаил Попов** («Пытаюсь скрестить ужа и ежа» — «Труд-7», 2002, № 157, 5 сентября).

Ср.: «Бытовавшее в 70 — 80-е годы понятие непризнанного гения в 90-е годы превратилось в оксюморон. Непризнанного гения быть не может: раз ты не признан — значит, ты не гений. <...> Поскольку успех нынче является главным критерием, то Акунин вполне сопоставим с Бродским. Безусловно, триумф Бродского — это триумф личности, но подтвержденный признанием — Нобелевской премией. Конечно, массовое признание было в свое время и у Пикуля, но я говорю сейчас об успехе Акунина как писателя чрезвычайно культурного и изысканного, и тот факт, что он оказался коронован массовым читателем, позволяет считать, что долго пустовавшее место Бродского занято Акуниным», — говорит скрипач и прозаик **Леонид Гиршович**, живущий в Германии, в беседе с Сергеем Шаповалом («Независимая газета», 2002, № 244, 15 ноября).

**Диакон Андрей Кураев**. «Гарри Поттер»: попытка не испугаться. — «Фома». Православный журнал для сомневающихся. 2002, № 2 (14).

«Если по „благочестивым” мотивам спрятать от детей Гарри Поттера — то по равно таким же основаниям придется спрятать от них „Илиаду” Гомера (языческие боги!) и „Гамлета” Шекспира (привидение!), „Вечера на хуторе близ Диканьки” Гоголя (бесы!) и „Сказку о золотой рыбке” Пушкина (грех искать помощи у рыбки, а не у Творца!), „Щелкунчик” Чайковского (деревянный идол ожил!) и „Хроники Нарнии” Льюиса, сказки Андерсена (просто сплошное волшебство!) и „Слово о полку Игореве” анонимного древнерусского монаха (опять языческие боги!)...»

Сокращенный вариант этой статьи **диакона Андрея Кураева** под названием «Миф умирает в сказке» см.: «Труд-7», 2002, № 192, 24 октября <<http://www.trud.ru>>

Ср.: **Не позволим сатанистам приносить в жертву наших детей!** — «Наш современник», 2002, № 10; *яростный протест верующих Крымской епархии Русской Православной Церкви против пропаганды литературного творчества известной сатанистки Джоан Ролингз» (так в тексте).*

См. также разные мнения: **Ирина Каспэ**, «Народ за Гарри Поттера» — «Иностранная литература», 2001, № 5; **Владимир Александров**, «Кто придумал футбол, или Гарри Поттер в школе и дома»; **Владимир Губайловский**, «Чужое детство»; **Ирина Роднянская**, «Заключительная реплика» — «Новый мир», 2001, № 7; **Ольга Брилева**, «В защиту Гарри Поттера. Фундаменталисты объявили войну сказочному герою» — «Общая газета», 2002, № 6, 7 февраля; **Ольга Елисеева**, «Оккультные идеи в „Гарри Поттере“» — «Русский Удодъ», 2002, № 16, апрель <<http://udod.traditio.ru>>; **Андрей Кротков**, **Дмитрий Стахов**, «Антипоттер — последний и решительный бой» — «Огонек», 2002, № 25; **Вадим Пшеничников** (Анжера-Судженск), «Гарри Поттер» — «Лимонка», 2002, № 199, июль; **Ольга Волкова**, «Гарри Поттер и... Попытка адекватной реакции» — «Литература», 2002, № 44, 23 — 30 ноября; **Светлана Журавлева**, «Не ищите инструкций к чудесам, или Детские книжки для взрослых» — «Дорога вместе». Молодежный христианский журнал. 2002, № 3 <<http://www.vmeste.by.ru>>

**Диакон Андрей Кураев**. Как бороться с терроризмом без спецназа. — «Известия», 2002, № 206, 13 ноября.

«Даже в советские годы, не говоря уже о современности, в Чечне процветали рабовладение и работорговля. Тайно от Москвы. Но в каждом ауле прекрасно знали, у кого есть рабы, где находятся, когда были пленены или куплены. Поэтому все же возникает вопрос о групповой солидарности, групповой ответственности. Благодушные народа, взварающего на рабовладельческий промысел своих единоплеменников, свидетельствует, что его национальный „здравый смысл“, его культура признают возможность рабства, разрешают захват людей и обманным путем, и путем насилия. И здесь не стоит говорить, что так действуют отдельные выродки. Нет, эти рабовладельцы действуют как вполне репрезентативные носители своей национальной культуры».

«Конфликт скотоводов и земледельцев. <...> По понятиям земледельцев, для бесконфликтного соседства достаточно соседей оставить в покое. По понятиям скотоводов-кочевников, успокоенные соседи есть беззащитная, законная и вкусная добыча».

Ср.: «Мы имеем дело, господа, с лживой, невежественной и опасной чушью», — возмущается известинской статьей Кураева поэт **Бахыт Кенжеев** («Алчные скотоводы и кроющие земледельцы» — «Русский Журнал» <[http://www.russ.ru/ist\\_sovr](http://www.russ.ru/ist_sovr)>).

См. также: **Максим Соколов**, «Преступность и национальность» — «Известия», 2002, № 199, 31 октября; «<...> у всякой нации свой набор излюбленных преступлений. Королева русской преступности — убийство в пьяной драке, убийство же неверной жены — деяние в России весьма редкое, тогда как у южных народов картина скорее обратная. <...> Например, крепко выпивать с незнакомым грузином безопаснее, чем с незнакомым русским, а наниматься в батраки к незнакомому русскому безопаснее, чем к незнакомому ингушу. <...> После спектакля „Норд-Ост“ соседство чеченца будет — и обоснованно будет — вызывать такие же чувства, как соседство бесхозного чемодана в зале аэропорта, при виде которого сознательный человек позовет милиционера, а несознательный уж на всякий случай отойдет подальше».

См. также: «Аризация еврейской собственности осуществлялась властями рейха, и отдельно взятый бюргер мог, теоретически говоря, ничего не знать. Ичкеризация нечеченской собственности осуществлялась снизу и явочным порядком при демонстративном попустительстве ичкерийской администрации, и те, кто убивал, грабил, насиловал нечеченцев, кто отнимал у них дома, квартиры, машины, лишены даже и сомнительного арийского алиби», — пишет **Максим Соколов** («Мирь в Чечне» — «Огонек», 2002, № 46, ноябрь <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>).

См. также: «Если бы было возможно огородить Чечню так, чтобы ни один чеченец не смог выйти со своей территории, ни один самолет не смог бы взлететь оттуда, то да... <...> Скажем так, там особая горская культура, которая считает допустимыми такие виды деятельности, которые недопустимы в остальном мире. <...> Нет, я не собираюсь оскорблять чеченский народ. У них и так тяжелая судьба. И говорить про чеченцев правду зачастую означает оскорблять», — говорит **Сергей Караганов** в беседе с Александром Никоновым («Огонек», 2002, № 45, ноябрь).

См. также: **Сергей Маркедонов**, «У терроризма бывает национальность» — «GlobalRus.ru», 2002, 30 октября <<http://www.globalrus.ru>>

**Константин Лежандр**. Все на защиту цивилизации! — «Итоги», 2002, № 40, октябрь <<http://www.itogi.ru>>

Говорит **Василий Аксенов**: «Во многих вероисповеданиях *сегодня* (курсив мой. — *А. В.*) происходит замена веры ритуалом. Скажем, в иудаизме. Я два раза бывал в Израиле и говорил им: „Нет, ребята! Так нельзя! Почему верующий человек именно тот, кто в субботу не работает?“ Это чепуха на самом деле».

Он же: «Лаврентий — фигура ярчайшая. Берия, по сути, родоначальник перестройки. Он хотел провести ее на тридцать лет раньше Горбачева. Дело в том, что Берия не

был большевиком. Он был настоящим бандюга, прикинувшийся большевиком. Тогда как Хрущев, взяв власть, идеологически с места, в общем-то, не сдвинулся. Ну, стало легче дышать, однако „оттепель” в Кремле затеяли ради идеи, ради сохранения коммунизма. А Берии было плевать на коммунизм! Лаврентий ха-а-ател, штоби Совецкий Саюз бил шика-а-арной страной. Это же Берия тогда затеял ликвидировать ГДР, вернуть всех из Сибири, распустить колхозы, партию задвинуть вглубь — пусть она только идеологией занимается, — а власть железной рукой должна осуществлять ЧК».

См. также: **Василий Аксенов**, «Я не считаю себя сейчас эмигрантом...» Беседу вел Сергей Кузнецов. — «Литературная Россия», 2002, № 45, 8 ноября.

**Михаил Леонтьев**. Наша национальная идея — реванш. — «Огонек», 2002, № 35, сентябрь.

«Если говорить одним словом, то наша национальная идея — это Путин».

«<...> деградация нашего гуманитарного образования <...> попросту выпихивает российский народ из истории. Дело в том, что литература и история являются базовыми и обязательными для любой самостоятельной страны предметами. Нам сейчас надо вводить если не поголовное внедрение этих дисциплин, что было бы неплохо, то хотя бы выборочное, для элиты».

См. также: «Войну в Чечне необходимо закончить победой. Это вопрос выживания России. И никакие обстоятельства, связанные со слабостью, продажностью, игрой политических интересов и так далее, не являются основанием для капитуляции», — сказал **Михаил Леонтьев** во время *on-line* конференции, состоявшейся 9 октября 2002 года на сайте газеты «Известия» <<http://online.izvestia.ru>>

См. также: **Максим Соколов**, «Мир в Чечне» — «Огонек», 2002, № 46, ноябрь <<http://www.gopnet.ru/ogonyok>> «Еще более четверти века назад (срок вроде бы достаточно точный для усвоения) А. И. Солженицын в своей Нобелевской речи <...> изъяснил ложность традиционного противопоставления „мир — война”, ибо война является лишь частным и даже не всегда самым худшим и злейшим проявлением насилия, а истинная антитеза есть „мир — насилие”, и сторонник прекращения войны любой ценой зачастую оказывается объективным пособником самых свирепых насильников».

**Николай Литвинов**. «Чечня — не последний очаг терроризма на территории России». Беседу вел Рауф Ахмедов. — «Известия», 2002, № 201, 2 ноября.

«Дмитрий Каракозов, студент-недоучка, стрелявший в Александра II, был наркоманом. Но за его спиной стояли высокообразованные специалисты польского повстанческого движения. После неудачного восстания в Царстве Польском 1863 года эти люди приняли решение ликвидировать Александра II и разработали операцию. Наркоманом был и Александр Соловьев, тоже стрелявший в императора. Стрельбе из револьвера его учили в тире Семеновского полка, а сам теракт разрабатывал весьма грамотный организатор по кличке „Волк”. Настоящее его имя — Георгий Плеханов, видный теоретик марксизма». Автор — полковник милиции, заместитель начальника Воронежского института МВД России, доктор юридических наук.

**Евгений Лобков**. Запланированная главная книга. «IV», «Тридевятый», «Пятый» — интернационал. — «Зеркало», Тель-Авив, 2002, № 19-20.

«Из 14 поэм Маяковского „Интернационалы”, пожалуй, наименее известны и наименее изучены...» Были, были *пятнадцать строчек*, которые вычеркнула у Маяковского советская цензура за все его двенадцать советских лет. «В „IV” Маяковский сунулся не в свою епархию. <...> Перефразируя Остапа, Маяковский в 1922-м мог бы сказать: „У меня в последний год возникли серьезные разногласия с советской властью. Она не хочет строить социализм, а я хочу”».

См. также: **Александр Маслов**, «Маяковский. Тайна смерти: точка над і поставлена. Впервые проведена профессиональная экспертиза рубашки, в которой был найден поэт в своем кабинете на Лубянке, его пистолета и роковой пули» — «Новая газета», 2002, № 68, 16 сентября <<http://www.novayagazeta.ru>> Среди прочего: «Обнаружение следов выстрела в боковой упор, отсутствие следов борьбы и самообороны характерны для выстрела, произведенного собственной рукой». А также — предсмертное письмо безусловно написано рукой Маяковского, но не в день смерти. Наконец, «к материалам дела приложено в качестве вещественного доказательства не то оружие». Автор — профессор судебной медицины, судмедэксперт.

**Сергей Макин**. Светит незнакомая звезда. — «Литературная Россия», 2002, № 45, 8 ноября.

«В христианской культуре использовали как прямую, так и опрокинутую пятиконечную звезду».

**Константин Мамаев**. Китаески. — «Урал», Екатеринбург, 2002, № 11.

Не ван Зайчик.



**Юрий Манн.** «Гоголь становится модным писателем». Беседу вела Юлия Рахаева. — «Известия», 2002, № 199, 31 октября.

Говорит главный редактор академического Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя, профессор РГГУ **Юрий Манн:** «Раньше спекуляции [в связи с Гоголем] носили классовый характер, теперь — примитивно-теологический».

**Алла Марченко.** Пушкин — «Осень». — «Литературная учеба», 2002, № 4, июль — август.

Опыт медленного чтения.

**Владимир Махнач.** Мы, «они» и оскорбленная Россия. — «ГражданинЪ», 2002, № 9, сентябрь.

«Страна и государство иногда не совпадают территориально. <...> Те, кому Россия нравится в расчлененном виде, могут и должны затушевывать различие между страной и государством. Но нам, болеющим за настоящую Россию, это непростительно».

**Михаил Маяцкий.** Новая непрозрачность. Во имя чего сегодня гибнут на войне хорошие парни. — «НГ Ex libris», 2002, № 38, 24 октября.

«Несомненно, что мы вошли в фазу ре-банализации войны. <...> Учитывая, что „родина“ как повод для самопожертвования и „смерти во имя“ окончательно приписана к третьему миру, основным моральным стержнем новой войны стала забота о том, как бы избежать войны. <...> Война есть варварский атавизм и должна остаться в прошлом, и нет цены (материальной, человеческой), которую мы не были бы готовы заплатить (т. е. нет войны, которую мы не были бы готовы начать), чтобы она не началась». Полный текст статьи см. в сборнике статей **М. Маяцкого**, который выпущен Фондом научных исследований «Прагматика культуры».

**Борис Межуев.** Сотворение Космополиса. — «Космополис». Журнал мировой политики. 2002, № 1.

«Русские в настоящее время — одна из самых космополитичных наций в мире. Этот очевидный факт как-то не учитывается <...>».

**Александр Мелихов.** Хранитель сложного. — «Русский Журнал» <[http://www.russ.ru/ist\\_sovr](http://www.russ.ru/ist_sovr)>

«Если интеллигенция действительно желает быть совестью народа, она должна быть не лоббистом каких-то частных общественных нужд, а представителем нужд общественного целого, — притом что и они непостижимо сложны и трагически противоречивы. Но без сохранения всей этой сложности и противоречивости не уцелеет и сама интеллигенция — не уцелеют ни разум, ни совесть, ни наука, ни культура. Поэтому вопрос „Может ли интеллигенция сотрудничать с властью?“ относится к разряду детских: интеллигенция может и обязана по мере возможности использовать власть в своих целях».

См. также: **Александр Мелихов**, «Нравственность против законности» — «Дружба народов», 2002, № 11.

**Александр Мелихов.** Кто такие фашисты и как с ними бороться? — «Русский Журнал» <[http://www.russ.ru/ist\\_sovr](http://www.russ.ru/ist_sovr)>

«Суть фашизма в несовместимой с жизнью упрощенности целей, которые он навязывает обществу, в несовместимой с жизнью упрощенности социальной структуры, которая им для этих целей навязывается все тому же многострадальному обществу: простота фашизма неизмеримо хуже воровства демократии, но простой человек этого не понимает. <...> Ибо, вступая в активную политику, простой человек никем иным, [кроме как фашистом], быть не может. Поэтому единственно надежная профилактика фашизма — держать простого человека подальше от политики».

«<...> „простой человек“ в данном случае не означает — „человек необразованный“; „простой человек“ в нашем контексте — это человек, твердо придерживающийся какой-то простой модели социального бытия, модели, свободной от противоречий и непредсказуемости, дающей однозначный ответ на все существенные вопросы».

Ср.: «<...> противоположным фашизму полюсом является не демократизм, а психически здоровые люди», — говорит заведующий отделом клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН **Сергей Ениколопов** в беседе с Сергеем Шаповалом («Независимая газета», 2002, № 217, 11 октября).

Ср.: «<...> некоторое время я сам заблуждался, мне казалось, что существуют ряд проявлений, ряд движений и партий, которые могут подтолкнуть к образованию „русского фашизма“. Однако, исследуя эту проблему, изучая историю национальных отношений в России, я понял, что русские в высшей степени веротерпимы, менее других подвержены национальным фобиям, и те проявления, которые следует назвать черносотенными, или погромы в течение истории России не выходили за рамки общеэвро-

пейских „стандартов” <...>, — говорит **Борис Березовский** в беседе с Александром Прохановым («Завтра», 2002, № 44, 29 октября).

Ср.: «А если русскому мужику сто раз на дню твердят, что он — фашист, он же, наивный и простодушный, может и поверить!» — пишет **Владимир Бондаренко** («Завтра», 2002, № 40, 1 октября <<http://www.zavtra.ru>>).

**Чеслав Милош**. Стихотворения. Перевод Анатолия Ройтмана. — «Наша Польша». Общественно-политический и литературный ежемесячник. Главный редактор Ежи Помяновский. Варшава, 2002, № 9 (34), сентябрь.

Милош.

**Сергей Митрофанов**. Ленин как черный пиарщик. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>

«Эта книга [„Ленин. Жизнь и смерть”] не опоздала. Написанная в 64-м году прошлого века английским историком и публицистом Робертом Пейном и выпущенная в России [в серии „ЖЗЛ”] только в начале третьего тысячелетия, она пришла к нам вовремя».

«<...> и все это закономерно опять нас сталкивает к Ленину. Ленину — и истерику, и шизофренику, и фактически — журналисту с очень неровным и однобоким образованием <...>. Гениальному черному пиарщику, так сказать. Поразительно, что большую часть своей жизни окруженный не столько тайной дружиной, сколько столь же истеричными и недалекими женщинами (зато впоследствии — боевиками кавказской национальности), он умудрился довести свой чудовищный план до конца, пользуясь лишь... убеждением».

См. также: «Ленин сегодня, как это ни покажется странным, становится актуальной фигурой для современных европейских левых. Последняя книга — это книга Жижека „Тринадцать подходов к Ленину”. Он, между прочим, не смог издать ее в Америке, где наблюдается повальное бегство от марксизма», — говорит издатель **Александр Иванов** («Завтра», 2002, № 46, 12 ноября).

См. также: **Сергей Есин**, «Смерть титана. В. И. Ленин». Роман. М., АСТ, «Астрель», 2002, 496 стр.

**Антон Нестеров**. Подлинность. — «Иностранная литература», 2002, № 10.

«И при всем том [Чарлз] Буковски — поэт мысли...»

**Владимир Никитаев**. Происхождение терроризма из духа трагедии. «Поэтика» Аристотеля как руководство по антитеррору. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Террор — чудовищный, но тем не менее двойник Театра...»

**Дмитрий Ольшанский**. Русская литература в XXI веке. — «НГ Ex libris», 2002, № 39, 31 октября.

«Социальный пафос обязан вернуться. <...> Тому же, кто первым поймет, что Максим Горький (нарочно ставлю имя неоднозначное) важнее Дерриды и Барта, лавры обеспечены».

**Глеб Павловский**. «Бог вразумляет человека, как воблу». Интервью брал Кирилл Якимец. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Застать себя в состоянии войны, когда вы находитесь в состоянии войны? Это не катастрофа, это трезвость. Но акты отрезвления для людей страшно болезненны. Бог вразумляет человека, как воблу, тушкой о подоконник».

«После Манхэттена, Бали и Дубровки у нас нет пространства для побегов...»

«<...> эта московская девушка, Ольга Романова, которая нашла силу пробраться в ДК. Не оттуда сбежала, а сама туда пробралась в зал со словами к заложникам: „Чего боитесь?” И ее шлепнули. Процент таких людей и есть процент надежды. В данном случае проверено: люди есть. Романова не отличается принципиально от Космодемьянской. Ведь и Зоя — неудачница, боевое задание провалила. И Ольга Романова такая же неудачница. Этот тип русской неудачи собирает народ вокруг человеческого ядра. В обычном понимании русского народа: Пушкин плюс вооруженные силы».

«Герои всегда костистые, вонючие, ими нацию рвет — зато некоторые просыпаются».

«Человек времен Томаса Мора, скорей всего, проклял бы диккенсовскую Англию, та показалась бы ему адом. Ну и что? Они все своевременно умерли. Но сперва каждый довоевал и дожил за себя».

«Газеты сегодня надо комкать, не читать».

См. также: «Четвертая республика, собственно, — главная цель нашей реакции. Освобожденное революцией [1991 года] новое общество бесстыдно пользуется ее плодами, но при этом ни капельки не ценит „августовские” символы. Торговые люди, промышленники, образованная молодежь и так далее, пестрая компания миллионов этак в пятнадцать, я их всех собирательно называю „группой роста”. Они восстанавливают памятник Дзержинскому на Лубянской площади и будут правы. Как руководитель ВСНХ и соавтор

нэпа Дзержинский был для малого бизнеса патроном надежней Чубайса и для своего времени более эффективным управленцем. <...> Каганович ассоциируется с московским метро, а Берия вообще автор десталинизации. Хватит себя пугать. Забудем время, когда у входа в русскую историю стояли кадровки от Демроссии. Реакция возвращает стране ценность ее прошлого, так бывает всегда после революций. Теперь у граждан разных убеждений одна общая история, и наиболее актуальна именно история СССР. Советский Союз — такая же наша политическая и культурная классика, как время царя Александра и Карамзина, и мы ее наследники. <...> Реакция возвращает к реальности», — говорит глава Фонда эффективной политики **Глеб Павловский** в беседе с Лидией Андрусенко («Независимая газета», 2002, № 220, 15 октября <<http://www.ng.ru>>).

Ср.: «Мы в этом году, как всегда, 21 августа ходили на Ваганьковское кладбище, на могилы ребят, погибших в 91-м году. И там военный оркестр играл советский гимн. <...> Мальчики ведь жизни свои отдали за то, чтобы никогда больше этого не слышать», — говорит **Александр Шаравин** («Мы не чужие в России. Беседа главного редактора „Гражданина“ Александра Шаравина с философом и политиком Алексеем Карамурзой» — «Гражданин», 2002, № 5, октябрь). *Распространяемую бесплатно газету «Гражданин» (свидетельство ПИ № 77-9249 от 6.06.2001), учрежденную Общероссийским политическим общественным движением в поддержку вооруженных сил «Гражданин», не следует путать с еженедельной политической газетой «ГражданинЪ» (свидетельство ПИ № 77-7386 от 10.07.2001).*

**Глеб Павловский.** Дашь общество без отходов! — «Огонек», 2002, № 44, ноябрь.

<...> одним из методов реализации агрессивности чеченцев может стать формирование из них отдельных корпусов и дивизий. <...> И аналогично будет побежден терроризм в масштабах всей планеты. С ним произойдет то же самое, что произошло с пиратами в XVII веке. Когда-то пираты просто парализовали мировую торговлю. Их ловили, вешали — не помогало. И тогда пираты были инкорпорированы в легальные структуры. Они вошли в состав военных флотов великих морских держав, внеся, кстати, много нового в ведение морского боя. <...> Террористов победят те же террористы, как пиратов победили пираты. Я не имею в виду, что методы террора будут инкорпорированы в государство. Нет, конечно. Будет инкорпорирован новый человеческий материал, вот эта вот антропологическая мутация, которая сейчас не имеет для себя ниши в современной цивилизации».

**Глеб Павловский.** О ничтожестве российской правозащиты. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Очевидно, те, кто присвоил понятие „правозащитник“, ничем уже лично не рискуя и никому не желая помочь, — специально жгут мосты между собой и страной, ее населением, ее лидерами. Не имея чем помочь обществу, они зато его оскорбляют. Ускоряя общее крушение, политики таким образом прячут в нем личную никчемность и слабость». См. эту статью также в еженедельной газете «Консерватор» (2002, № 11, 15 ноября <<http://www.egk.ru>>).

См. также: «<...> ибо все знают, что правозащитник — это тот, кто отстаивает права чеченских боевиков, и только их», — иронизирует **Максим Соколов** («Правозащитная синекдоха» — «Известия», 2002, № 207, 14 ноября).

См. также: «Поскольку правозащитник в нашей стране — это профессия, то за гражданскую позицию и деньги платят. Преимущественно западные фонды, которым, в отличие от российских благотворителей, безразлична судьба гражданского общества в России», — пишет **Марина Лиманская** («Шумим, братец, шумим. Трагедия как повод для напоминания о себе». — «Консерватор», 2002, № 11, 15 ноября <<http://www.egk.ru>>).

**Памяти СССР.** — «George Holmogorov's LiveJournal», 2002, 15 ноября <<http://www.livejournal.com/users/holmogor>>

«„Норд-Ост“ и в самом деле поставил крест на проекте возрождения СССР. И вот в каком смысле. У нас с экс-братьями все более и более расходящийся исторический опыт. Теперь уже настолько разошедшийся, что вместе нам не сойтись, не сойтись на прежних основаниях — только на новых, на условиях их прихода в новую Россию — Россию, пережившую 4 октября 1993, первую Чеченскую, Буденновск, взрывы в Москве, вторую Чеченскую, теперь вот „Норд-Ост“. <...> Мы повязаны одной кровью, которой политы теперь улицы наших городов. Эта кровь цементирует ту Россию, которая есть теперь и которой не было раньше. И тот, кто этой кровью с нами не повязан, — он не с нами, пока не с нами. Советский Союз был повязан Войной, сделавшей из „пятнадцати республик“ действительно Одно. Благодаря Войне мусульманин-узбек был для нас ближе, чем, скажем, православный грек (а вот русского крестьянина XIX века грек был ближе и брата славянина, и узбека, и белоруса или украинца-униа-

та). За последнее десятилетие мы прошли через новую войну, в которой мы были одни, — рядом сражались русские, якуты, дагестанцы, но не было ни украинцев, ни белорусов. <...> Мы прожили „Норд-Ост“, никто больше его не прожил (только совали исподтишка кукиш в карман). Мы после „Норд-Оста“ единая нация, слабенькая, шатающаяся, но единая. И в этой нации, увы, нет большей части народов бывшего СССР <...> Но это действительно уже другая Россия. Не XVII, не XIX и не XX века. Россия XXI века».

**Сергей Перевезенцев.** История, которую мы теряем. — «Литературная газета», 2002, № 43, 23 — 29 октября.

«Даже когда мы встречаемся с „принципиальным“ и публично декларируемым отказом от „социального заказа“ в сфере образования, это тоже „социальный заказ“, только поступающий от другого „социума“».

См. также: **Сергей Перевезенцев**, «Историю России „заказывали“?» — «Завтра», 2002, № 45, 5 ноября; о проекте государственного образовательного стандарта общего образования. См. также: **Сергей Перевезенцев**, «Когда истории не будет» — «Наш современник», 2002, № 11.

**Лев Пирогов.** Скажи «проект». — «Топос», 2002, 18 октября <<http://www.topos.ru>>

«Давайте уже любить Родину, идиоты».

**Лев Пирогов.** Чума на оба наши дома. — «НГ Ex libris», 2002, № 39, 31 октября.

«Два дня до хрипа ругали власть. Два дня пили во славу русского оружия, за храбрый спецназ. Теперь начнут рядиться, что было „превыше всего“ — жизни или не жизни... Лопни мои уши, лопни мои глаза. Когда говорит масло — пушки молчат».

«Если же отвлечься от подковерной конспирологии, может выясниться, что эта история не выгодна никому. У историй редко бывает смысл. Он нужен для репрезентации, чтобы не кончалось „reality show“. А жить и умирать приходится без смысла, за так».

«Вот такая на сегодня литература. В исповедальню, в кабак, под душ».

**Андрей Полосин.** Стучать всегда, стучать везде! — «Огонек», 2002, № 43, октябрь.

«До сих пор все граждане государства Российского — его внутренние диссиденты. А в среде политических (и уголовных, кстати, тоже) выдавать своих жандармам не принято. Но я больше не хочу быть ни политическим, ни уголовным! Я больше не хочу отделять себя от государства. Я хочу быть его частью и участвовать в поддержании порядка на его территории. Присоединяйтесь! Давайте стучать друг на друга! Только зная, что наказание неотвратимо, потому что ты на виду у соседей, друзей, сослуживцев, можно воспитать законопослушную нацию. Давайте доносить!»

**Ежи Помяновский.** Как нам ужиться с Россией? — «Новая Польша», Варшава, 2002, № 9 (34), сентябрь.

«Я считаю, что достойная задача всех людей доброй воли — <...> призывать законодателей, чтобы в связи с катынским преступлением они ввели в российский Уголовный кодекс понятие „лживых измышлений“ и соответствующую статью — подобно тому, как во Франции существует юридическое понятие „освенцимской лжи“ и соответствующая уголовная статья, карающая за „оспаривание факта существования преступления или преступлений против человечества“...»

**Просто, как объятье.** Дмитрий Воденников: «Но детским призракам (я это точно знаю) — не достучаться им — до умного — меня...» — «НГ Ex libris», 2002, № 37, 17 октября.

Большая поэтическая подборка из новой книги **Дмитрия Воденникова** «Мужчины тоже могут имитировать оргазм» (*хорошее название, да*).

«Путь поэзии — от внешней формы к внутренней». Беседовал Александр Шатов. — «Книжное обозрение», 2002, № 46, 11 ноября.

Говорит поэт **Алексей Парщик**: «Я живу в Кёльне. В Амстердаме находится моя работа. В принципе, я работаю через Интернет и поэтому могу находиться где угодно, хоть в Монголии, лишь бы мог подключиться к Сети. <...> Я никогда не жил в эмиграции».

**Джон Райзер.** Западники и славянофилы в России, либералы и коммунитарии в Америке. К истории философской мысли XIX — XX веков. Перевод с английского Аллы Большаковой. — «Литературная учеба», 2002, № 4, июль — август.

<...> спор коммунитариев и либералов также может переключать в XXI век».

**Михаил Райнов.** Трудный гуманизм. — «Московские новости», 2002, № 36.

«И получается, что, когда жизнь уничтожают, нам нечем более подтвердить ее ценность, кроме как лишив жизни убийцу. Дело здесь вовсе не в у страшении и не в силе

наказания. Дело в утверждении ценности жизни. Ничего хорошего в казнях нет, особенно тайных. <...> Смертная казнь в этом смысле сродни демократии — тоже ничего хорошего, но все остальное просто ужасно».

«Я действительно убежден, что маньяк, кровавый и хладнокровный убийца жить не должен. Зачем ему жить?» — спрашивает **Борис Руденко** («Вернемся к справедливости!» — «Литературная газета», 2002, № 43, 23 — 29 октября).

**Станислав Рассадин**. За что тиран ненавидел Зоценко и Платонова. — «Новая газета», 2002, № 82, 4 ноября.

«В „Золотом теленке“, как помним, Остап со своей свитой поселяется в Вороньей слободке, где мерзки и ужасны все, кроме отсутствующего летчика Севрюгова, героически спасающего каких-то полярников. <...> Это — смех победителей. Как в комедиях Маяковского. Как в фельетонах Кольцова. У Зоценко — смех побежденных, смех побежденного, как бы он на этот счет ни заблуждался».

См. также: **Станислав Рассадин**, «Самоубийство Шолохова, или Крушение гуманизма» — «Новая газета», 2002, № 72, 30 сентября; «Булгаков, победивший самого себя» — «Новая газета», 2002, № 76, 14 октября.

**Рустам Рахматуллин**. Москва — Рим. Новый счет Семихолмия. — «НГ Ex libris», 2002, № 36, 10 октября.

«Все это не апология Третьего Рима, как не было бы апологией Второго Иерусалима сличение Москвы и Иерусалима...» Фрагмент книги «Две Москвы» — очерки *метафизического москвоведения*.

См. также: **Рустам Рахматуллин**, «Красная площадь: опыты метафизики» — «Октябрь», 2002, № 10 <<http://magazines.russ.ru/October>>; **Рустам Рахматуллин**, «Нашедшему череп. Кто он, на троне со скампелью?» — «Независимая газета», 2002, № 167, 14 августа; **Рустам Рахматуллин**, «Облюбование Москвы» — «Новый мир», 2001, № 10; 2002, № 11.

**Григорий Ревзин**. Великий писатель земли венгерской. — «Коммерсантъ», 2002, № 185, 11 октября <<http://www.kommersant.ru>>

«Казалось бы, в мире, где с литературоцентризмом покончено навсегда, где любая претензия на авторитет вызывает резкое отторжение, где сама идея главного писателя производит комический эффект, Нобелевка с поразительной грацией всего этого не замечает и раз в год легко восстанавливает ситуацию, как будто опять живут Толстой и Достоевский и мы напряженно ждем от них слово истины, со слезами смешанное. А если вдруг оказывается, что лауреатом стал пожилой венгерский писатель [Имре Кертес], то что же, Бог с ним, подождем следующего года».

См. также: **Олег Проскурин**, «Подрывник Нобель. Нобелевская премия в области литературы как поощрение террора» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

**Татьяна Сотникова**. Донкихотская задача филолога. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«<...> есть что-то донкихотское — и в той литературоведчески doskonaльной, но не литературоведчески горячей убедительности, с которой он [Вл. Новиков] объясняет, почему Высоцкий поэт, и в той бережности, с которой он пытается перевоплотиться в него. Новиков словно боится обидеть Высоцкого, заговорив *слишком* от его лица. <...> Только вот театр Новиков, кажется, не любит и относится к этой стороне деятельности Высоцкого с какой-то почти опаской».

См. также: **Денис Савельев**, «Бр-р-рат стихотвор-р-рец. Высоцкий среди своих» — «НГ Ex libris», 2002, № 40, 14 ноября.

См. также: **Вл. Новиков**, «Высоцкий» — «Новый мир», 2001, № 11, 12; 2002, № 1.

См. также беседу **Владимира Новикова** с Ольгой Рычковой («Молодой прозаик №» — «Литературная газета», 2002, № 46, 20 — 26 ноября).

**Ким Саранчин**. Странник советской литературы. — «Литературная учеба», 2002, № 4, июль — август.

Странник — это Юрий Казаков. Здесь же: **Алексей Шорохов**, «Юрий Казаков: Долгие крики на берегу Коцита».

**Анна Сергеева-Клятис**. М. Цветаева и К. Батюшков. К вопросу о творческом диалоге. — «Литература», 2002, № 39, 16 — 22 октября.

Здесь же: **Марина Павлова**, «Поэт и толпа» — «*Наше!* Маяковского и цветаевское «Квиты: вами я объедена».

**Маргарита Сосницкая**. На каком языке говорим. Некоторые заметки об иностранных языках на фоне русского. — «Москва», 2002, № 9.

Неэквивалентность языков, но — все преимущества на стороне русского языка. «Еще итальянскому языку (а по аналогии с ним и всем романским) неведомы глаголы с оценочной окраской: *жрать, лопать, дрыхнуть, кочевряжиться, ржать* (в смысле хо-

*хотать*), *балдеть*, *ухмыляться*, *шамкать*, *прозябать*, *дубасить*, *кипятиться* и т. д.; в том числе неведомы с оценочной окраской и глаголы движения: *шляться*, *шататься*, *околачиваться*, *болтаться*».

См. также: «<...> авторы [проекта] стандарта [общего образования] подходят к преподаванию родного языка в старшей школе с теми параметрами, которые приняты в преподавании русского как иностранного. <...> невозможно не сделать вывода, что для авторов стандарта принципы обучения родному и неродному языкам суть тождественны, русский язык воспринимается ими как иностранный, а иностранный как родной», — пишет **Татьяна Базжина** («Туземный» язык как разновидность русского. — «Русский Журнал» <[http://www.russ.ru/ist\\_sovr/sumerki](http://www.russ.ru/ist_sovr/sumerki)>).

**Сергей Старовойтов** (Омск). Принцы и нищие. — «Завтра», 2002, № 46, 12 ноября.

*Богатая омская гимназия. Бедная поселковая школа. «Разделив город на Беверли-Хиллз и Гарлем, мы создали новое общество, где каждому его место определено уже при рождении. И все-таки непонятно, почему дети богатых так не любят Россию?»*

**Людмила Улицкая**. «Все дело — в отсутствии нормального секса». Беседу вел **Марк Смирнов**. — «Независимая газета», 2002, № 235, 1 ноября.

«<...> нельзя не видеть, что эта примитивная массовая культура исключительно универсальна. „Биглз“ сыграли выдающуюся культурную роль, поскольку дали молодежи многих стран общий музыкальный язык. Вероятно, многие со мной не согласятся, но и презираемый „Макдоналдс“ — тоже позиция универсальная. Все эти, казалось бы, сомнительные достижения глобализации — популярные брэнды молодежной одежды, их музыка и песни — делают молодежь разных стран менее враждебной друг другу».

**Мишель Уэльбек**. Платформа. Роман. Перевод с французского **И. Радченко**. — «Иностранная литература», 2002, № 11.

«Год назад умер мой отец. Существуют теории, будто человек становится *по-настоящему взрослым* со смертью своих родителей; я в это не верю — *по-настоящему взрослым* он не становится никогда...»

**Борис Федоров**. Тихая «оккупация». — «ГражданинЪ», 2002, № 9, сентябрь.

«Предлагаю: 1. Автоматическое право на российское гражданство имеют исключительно люди, имеющие доказательство русского происхождения (или государственной службы в России) их самих и/или их родителей или предков (правило „исторической родины“). <...> Каждый гражданин дает присягу на абсолютную лояльность России в дни войны и мира <...>».

**Макс Фриш — Фридрих Дюрренматт**. Переписка. [1947 — 1986]. Перевод с немецкого и вступление **Евгений Кацовой**. — «Иностранная литература», 2002, № 9.

«Русскому читателю будет сложно воспринимать письма, содержащие взаимный критический разбор рукописей пьес» (из предисловия).

**Юлий Халфин**. Последний поэт Серебряного века. — «Литература», 2002, № 42, 8 — 15 ноября.

Экстатический мемуар о трех встречах с **Арсением Тарковским**. См. более содержательные воспоминания **Михаила Синельникова** об этом поэте: «Вопросы литературы», 2002, № 4 <<http://magazines.russ.ru/voplit>>

**Борис Хорев**. На краю гибели. — «Завтра», 2002, № 45, 5 ноября.

«К концу XXI века на территории русской земли останется не более четверти ее сегодняшнего населения. Уже к 2050 г. в России, по наиболее вероятному варианту, останется с учетом миграции порядка 90 млн. человек (на 1 июня 2002 г. — 143,6 миллиона человек), а за следующие 50 лет население испарится, то есть составит несколько десятков миллионов — меньше, чем в Германии и во Франции».

«Не существует ни одного, не уходящего в область научной фантастики, прогнозного варианта, по которому к 2050 г. прекратилось бы сокращение численности населения России».

См. также: «В многодетных семьях выживали сильнейшие и передавали свой генетический код дальше. В семье с одним ребенком — кого Бог послал, того и растим. Сейчас у нас больше половины детей — ревматики, две трети аллергиков, восемьдесят процентов — хроники по заболеваниям уха, горла и носа. По нарастающей, десятками процентов, растет количество урологических и гинекологических заболеваний. Причем такая картина наблюдается отнюдь не только в России. То же самое у американцев и европейцев», — говорит **Игорь Бестужев-Лада** в беседе с **Владимиром Покровским** («Четвертая мировая война будет демографической» — «Независимая газета», 2002, № 242, 13 ноября <<http://www.ng.ru>>).

Ср.: «<...> **Ясир Арафат** в одном из своих выступлений сказал, что самое мощное оружие против неверных — арабская матка. Чеченская тоже оказалась неплоха: по данным

<...> переписи населения, в каждой чеченской семье при идущей войне в среднем пятеро детей», — говорит Людмила Улицкая («Независимая газета», 2002, № 235, 1 ноября).

**Нина Щетинина.** Анализ отношения российских СМИ к национальной идее. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

На материале четырех газет — «Независимая газета», «Российская газета», «Советская Россия» и «Коммерсантъ». С 1996 по июнь 2002 года. Около 5000 экземпляров газет.

См. также: Роман Муравецкий, «Два взгляда на место современных российских СМИ в системе социальных онтологий» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

**Асар Эппель.** Целый месяц в деревне. — «Иностранная литература», 2002, № 9. В швейцарской деревне.

**Дмитрий Юрьев.** В защиту ограничений свободы слова. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Свобода печати в России кончилась в 1996 г. — ближе к осени. Потом началось время произвола печати. Профессиональное журналистское сообщество еще в 1993 году выступило с так называемой „московской хартией“, в которой, прикрывшись хорошими общедемократическими словами, по существу дела провозгласило правовую и этическую неприкосновенность журналиста, то есть продекларировало принципиальную безответственность журналистского труда. К 1999 году журналистская корпорация в России дошла до плачевного состояния. Под именем свободы слова в обществе воцарилась медиакратическая диктатура — бесконтрольная и безнаказанная власть некомпетентных, безответственных, манипулируемых паникеров».

**Дмитрий Юрьев.** Россия как «Северо-восточный Новый Израиль». — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«„Чеченский конфликт“ — как и „талибский конфликт“, „конфликт с бен Ладеном“ и другие аналогичные „конфликты“ — это не конфликты интересов, не конфликты сил и даже не конфликты культур. Это — негативная, отторгающая реакция на человеческую культуру как таковую. Это антикультура. Это отрицание самой возможности гуманитарных коммуникаций — то есть не то чтобы цивилизованных, но и любых, основанных на обычае, договоренности, суевериях и т. д. межчеловеческих и межгрупповых отношений».

«Что такое Нюрнберг? Это паллиативное, несовершенно, но выстраданное человечеством понимание: для того чтобы защитить человеческую культуру от нашествия новых варваров, необходимо понять, что варвары — против культуры потому, что они принципиально находятся вне ее. А значит, для борьбы с ними необходимо выходить за рамки культуры. <...> Логика Нюрнберга — это противоречащее всем нормам традиционного международного права юридическое (и физическое) уничтожение административно-политической верхушки побежденного в ходе войны террористического государства. <...> В общем, логика Нюрнберга — это логика самообороны человечества».

«В каком-то смысле параллельное развертывание двух шахидских фронтов превратило Россию и Израиль в подлинные государства-изгой, подставленные и по большому счету преданные „иудео-христианской цивилизацией“...»

«<...> виден — хотя пока что и смутно — контур новой России. Скорее не „Третьего Рима“, собирающего и блюдущего все сопредельные народы, а „Нового Израиля“, народа избранного, выполняющего особую высокую миссию».

Составитель Андрей Василевский.

---

«Арион», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя»,  
«Континент»

**Марина Бородицкая.** Стихи. — «Арион». Журнал поэзии. 2002, № 3 <<http://magazines.russ.ru/arion>>

Я картошка, дожившая до весны.  
Нет во мне быллой белизны.  
А кругом молодняк — розовеют, крепки,  
Выставляют наружу пупки.

Я на ощупь мягка,  
Шкурка мне велика,

Но хозяина не подведу:  
Я пустила два сильных, два сочных ростка  
И готова лечь в борозду.

А в предыдущем стихотворении: «Когда старшему сыну было двенадцать лет...», «Когда младшему сыну было двенадцать лет...».

**Нина Воронель.** Юлик и Андрей. Глава из книги воспоминаний. — «Вопросы литературы», 2002, № 5, сентябрь — октябрь <<http://magazines.russ.ru/voplit>>

«В Синявском было нечто от героя „Бесов“ Достоевского — Ставрогина. Он выдвинул множество идей, которые потом расхватали другие люди. Например, многое из того, что потом приписывалось П. Палиевскому, идеологу современного русского национализма, мы слышали от Синявского еще в начале 60-х. И с этими идеями в нем прекрасно уживалась ставрогинская способность играть людьми, их чувствами и убеждениями. Мне порой кажется, что и Юликом (Даниэлем. — П. К.) он играл, заманивал, завлекал в сети приманкой славы. Не для чего-то конкретного, а так, для удовольствия поиграть».

**Александр Говорков.** — «Арион», 2002, № 3.

О, дайте, дайте наконец  
Свободу самой маленькой матрешке!

Все. Больше тут ничего нет, рубрика-то — «Листики», по одному-два стишка на брата, на сестру.

**Анатолий Гребнев.** Из цикла «Венок сюжетов». — «Знамя», 2002, № 10 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>

Эти рассказы известный киносценарист и прозаик передал редакции журнала незадолго до своей трагической гибели в прошлом году. Среди прочих сюжетов: «<...> материал о том, что призыв на фронт в 1941 году преследовал свои особые государственные цели, о которых, разумеется, не говорилось вслух. На секретном совещании у Сталина обсуждался вопрос: как обеспечить воюющее войско — молодых здоровых мужчин — женщинами. Проблема на самом деле нешуточная, могущая повлиять даже на исход сражений, как показывает история. Недаром еще с незапамятных времен во всех армиях мира существовали солдатские бордели. Но это, как вы понимаете, не наш путь. И тогда было принято решение призвать на фронт девушек — радистками, санитарками, главным же образом для того, чтобы решить физиологические проблемы воюющей армии».

**Владимир Губайловский.** Три книги стихов. Татьяна Бек. Равиль Бухараев. Виктор Куллэ. — «Дружба народов», 2002, № 11.

«Александр Галичу принадлежат слова о том, что каждую книгу стихов надо издавать так, как будто она последняя. Но на деле так бывает не всегда. Не обязательно за книгой стихов должен явственно ощущаться гулкий холод пустоты».

**Владимир Губайловский.** Цитаты из Некрасова. — «Арион», 2002, № 3.

«Не так он был прост, суровый и неуклюжий Николай Некрасов». См. также: **Дмитрий Быков**, «Современник» — «Огонек», 2002, № 6, февраль <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>

**Данила Давыдов.** Дети-поэты и детское в поэзии: нонсенс, парадокс, реальность. — «Арион», 2002, № 3.

«Может ли детское стихотворение быть фактом литературы, если взять его само по себе, вне авангардистских или каких-либо иных художественных стратегий?»

Взял кто-нибудь на себя такую *стратегию* — переиздание классической книги Владимира Гюцера о детском творчестве. Глядишь, и дискурс расширится в историко-педагогическую перспективу. А то все: Барт, Барт.

**Георгий Данелия.** Безбилетный пассажир. Короткометражные истории из жизни кинорежиссера. — «Дружба народов», 2002, № 11 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>

Этот нон-фикшн посвящен супругам Гуэрра. Тут всё — от детской любви до встречи с Фиделем Кастро на Кубе, от пьяного Сергея Бондарчука до трезвого Виктора Коцецкого.

«На ужин в кают-компании буфетчица подала макароны по-флотски, потом налила нам чаю.

— Не пей, — шепнул мне Конецкий. И сам не стал пить.

Когда мы остались одни, Конецкий открыл титан. Там под водой на дне толстым слоем лежат вареные тараканы.

— И так на всех старых кораблях, — сказал Конецкий».



**Денис Датешидзе.** Стихи. — «Дружба народов», 2002, № 11.

Начавшись с, казалось, выпренной строчки: «Возможно, жизнь летит в тартарах...», последнее стихотворение в подборке этого тридцатитрехлетнего петербуржца удивляет и радует чудом превращения философского этюда в емкое лирическое стихотворение. Я сразу вспомнил стихи Геннадия Русакова двадцатилетней давности.

Напоминаю, что за последние пять лет у поэта Датешидзе вышло три книги стихов.

**Сергей Дмитриенко.** Беллетристика породила классику. К проблеме интерпретации литературных произведений. — «Вопросы литературы», 2002, № 5, сентябрь — октябрь.

О приключениях терминов, понятий и смыслов в русской литературе двух последних веков. «Не в меньшей степени нуждается в переосмыслении содержание понятий „лишний человек“, „маленький человек“, тот же „чиновник“, не говоря о „нигилисте“ и т. д. и т. п.».

**Евгений Ермолин.** Человек-Овца и Господь Бог. Харуки Мураками и его русские читатели. — «Континент», № 113 (2002, № 3) <<http://magazines.russ.ru/continent>>

«И становится понятно, что Мураками не столько врач, сколько боль. Но боль-то настоящая. Вот в чем штука». См. также: **Сергей Шаргунов**, «„Проблема овцы“ и ее разрешение» — «Новый мир», 2002, № 4.

**«Живейшее принятие впечатлений».** Письма Джона Китса. Вступительная статья, составление, примечания и перевод с английского А. Ливерганта. — «Вопросы литературы», 2002, № 5, 6.

Значительное, на мой взгляд, событие. Деятнадцать разнообразных адресатов. От сорока трех писем, приложенных к изданию 1986 года (серия «Литературные памятники»), этот эпистолярный отличается тем, что здесь прорисовывается образ Китса-человека, там — все же — Китса-художника.

«Летом я собираюсь на север; удерживает меня только то, что я почти ничего не знаю, почти ничего не читал про эти края, — придется поэтому следовать совету Соломона: „Приобретай мудрость, приобретай разум“. Времена рыцарства миновали, и, мне кажется, нет большей радости, чем утоление жажды познания. Нет, по-моему, более достойной цели, чем стремление принести миру добро: одни добиваются этого своим существованием, другие — умом, третьи — добросердечием, четвертые — умением заразить хорошим настроением всех, кто встречается им на пути, — и все, каждый на свой лад, исполняют свой долг перед Природой. Для меня же есть лишь один путь — путь усердного прилежания и размышления. И я пойду этим путем, ради чего и намереваюсь на несколько лет уединиться...» (Джону Тейлору, 1818).

«Печально, когда искрометное воображение вынуждено в целях самозащиты притуплять свою тонкость вульгарностью и затеряться в общем хоре голосов, дабы не гнаться за недостижимым. В подобных вопросах чужим опытом не довольствуется никто. Верно, без страдания не может быть ни величия, ни достоинства, отвлеченная радость не сулит долгого счастья, и все же кто откажется лишний раз услышать, что Клеопатра была цыганкой, Елена — мошенницей, а Руфь — пройдохой...» (Тому Китсу, 1818).

**Борис Заходер.** Приключения Винни-Пуха. Из истории моих публикаций. Публикация Г. Заходер. — «Вопросы литературы», 2002, № 5, сентябрь — октябрь.

Довольно грустные приключения. Особенно сюжет с известным мультфильмом и пресловутое пиратство по обе стороны границы.

**Наталья Иванова.** Просто так. — «Знамя», 2002, № 10.

Это, в общем-то, документально-художественная проза. И чувствуется, что — моментами — писать это дело Наталье Борисовне было очень даже по кайфу.

«Единственное, что мучило в детстве на даче, — ежевечернее мытье грязных ног под строгим надзором крестной (родители „закрывали глаза“ на причуды маминой тетки, которую до самой смерти в восьмидесятичетырехлетнем возрасте все звали Катенькой, — благодаря ей я оказалась крещеной в несознательном возрасте).

Бабушка жила на другой даче, по другой дороге, постоянно, и летом, и зимой: в 20-е годы, когда она, молодая вдова со слабыми легкими, уже имея на руках двоих детей, вышла вторым браком за нэпмана, он купил дачу в самом сухом, самом сосновом месте Подмосковья, — там бабушка и осталась почти на всю свою жизнь, после того, как нэпман исчез в сталинских лагерях, — и мы каждое лето ездили ее навещать. Потемневший деревянный дом стоял в соснах и травах, в которых исступленно стрекотали кузнечики. Бабушка никогда ничего не сажала, даже цветов, — она только лишь сеяла иногда траву, и та становилась на участке все гуще и гуще; и на одной из моих детских фотографий видно, что трава — намного выше моей белесой тогда головы».

**Юрий Каграманов.** Кто начал «холодную войну»? — «Континент», № 113 (2002, № 3).

«<...> в современной Америке немало признаков начавшегося упадка (наряду с признаками дальнейшего роста, подъема) — прежде всего в сфере культуры, в сублильных и все же достаточно уловимых явлениях духа. Исподволь меняется самоощущение народа, некогда волевого и безоблачно-оптимистичного, всякого пессимиста приравнивавшего к предателю, — все больше чувствует он себя „игралом таинственной судьбы“, если воспользоваться выражением Пушкина. Если упадок станет явным, если прежние стереотипы перестанут „держать“ души, то может произойти опасный психологический срыв в масштабе целого народа. Вряд ли это случится скоро, но когда-нибудь очень даже может случиться. И тогда Соединенные Штаты станут на международной арене гигантской неизвестной величиной с непредсказуемым поведением».

**Григорий Кружков.** Том из Бедлама, перпендикулярный дурак. — «Звезда», 2002, № 9 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>

Очередной шекспировский сюжет известного писателя и переводчика. На сей раз из «Короля Лира».

«В плоскости жизни ориентироваться легче. Человек кожей чувствует дующий ветер. И может выбирать, как к нему повернуться — грудью или спиной. С вертикалью труднее. Чтобы не заблудиться в третьем измерении, надо выбрать зримый ориентир. С незапамятных времен таким ориентиром для безумцев и для поэтов была Луна».

**Наум Коржавин.** Генезис «стиля опережающей гениальности», или Миф о великом Бродском. Эпизод из истории современной культуры. — «Континент», № 113 (2002, № 3).

Тридцать страниц мелким шрифтом. Стоит прочитать. К истории современного мифотворчества это местами очень даже приложимо. К стихам, собственно, Бродского, боюсь, не слишком. То, что для Наума Моисеевича творческая личность Иосифа Александровича неприемлема, — и так всем известно. С другой стороны, хотя он на это не рассчитывал, но его статья причудливым образом может помочь увидеть за деревьями лес, или, выражаясь по-газетному, за культом — личность. Что же до неблагодарности влияния Бродского на современную поэзию (усредненная техника стиха, прозаизмы, эпигонство и проч.), то не поделом ли ей, а? См. также: А. Солженицын, «Иосиф Бродский — избранные стихи» — «Новый мир», 1999, № 12.

**Марина Кудимова.** Абсурдно было не любить. Стихи. — «Континент», № 113 (2002, № 3).

Я ни с чьим не спутаю этот рот  
На кону последнего целованья,  
Сколь ни втянет общий водоворот  
В круговое улово расставанья.

И когда с последним лязгом засов  
Отсечет от времени сикось-накось,  
Я ни с чем не спутаю этот зов,  
Тонкий сон, сиамский био-танатос.

**Илья Кукулин.** Про мое прошлое и настоящее. — «Знамя», 2002, № 10.

Статья написана на основе доклада для конференции по современной русской прозе в г. Удине (Италия), в позапрошлом году. В старые времена подобные вещи вырезались и складывались в папочку: чтобы пользоваться. «О русской прозе и вообще о литературе 90-х стало почему-то принято говорить в очень больших категориях. Например: проигранное десятилетие! или: выигранное десятилетие! За такими категориями ничего не видно (хотя, по-моему, выигранное). Гораздо интереснее попытаться увидеть с разных точек зрения то, что все-таки произошло с литературой. По сути, в русской литературе возникло несколько новых (или, можно сказать, обновленных) способов письма. Стоит посмотреть, что они означают и как существуют...» Имена, приемы, сравнения. См. также: Андрей Немзер, «Замечательное десятилетие. О русской прозе 90-х годов» — «Новый мир», 2000, № 1.

**Хуго Лётчер.** Рассказы. Переводы М. Кореновой, И. Алексеевой, Л. Есаковой. — «Звезда», 2002, № 9.

Рассказы «Полковник», «Горб», «Агашкин» и «Сезонный роман». «Смешно — значит, не страшно — такова, как утверждают ученые мужи, природа европейского смеха, отличающегося этим от смеха русского, ибо в русской культуре, по заверениям тех же мужей, все наоборот: смешно — значит, страшно. Если это действительно так, то Лётчер, наверное, русский», — пишет одна из переводчиц яркого швейцарца — Марина Коренева.

**Юрий Малецкий.** Физиология духа. Роман в письмах. — «Континент», № 113 (2002, № 3).

Новый полифонический роман русского прозаика, живущего в Германии. «Дорогой друг, пишу с той целью, чтобы сказать Вам нечто доподлинное: я Вас люблю. И люблю я Вас тем достовернее, что Вас — нет».

См. также: **Юрий Малецкий**, «Проза поэта» — «Континент», № 99 (1999, № 1); «Копченое пиво» — «Вестник Европы», 2001, том III <<http://magazines.russ.ru/vestnik>>

**Вл. Новиков.** Он выполнил свой план. — «Вопросы литературы», 2002, № 5, сентябрь — октябрь.

«Каверин и теперь открыт для творческих контактов».

**Михаил Панин.** Камикадзе. Роман. — «Звезда», 2002, № 10.

Летчик упал, но не разбился. Отменилась старая жизнь — с ее старым сознанием, старыми чувствами, старой оболочкой. Память осталась, но изменилась. А объявление в газете начиналось словами «ушел из дома и не вернулся...».

**Лиля Панин.** Сезам по складам. Вопросая посветлевшие чернила Марины Цветаевой. — «Звезда», 2002, № 10.

«Если бы хоть одно из Евангелий содержало текст вроде „О путях твоих попытаться не буду...“! Вероятность более гармоничной цивилизации в этом случае, уверена, далеко не нулевая». Кажется, этому горю уже не поможешь.

**Вадим Перельмутер.** Записки без комментариев. — «Арион», 2002, № 2, 3.

«Читая книгу, обыкновенно не обращают внимания на ее последнюю страницу, где помещены так называемые „выходные данные“ — столбик непарели со всякими „технологическими“ сведениями: „Сдано в набор...“, „Подписано в печать...“ etc. Между тем и это подчас бывает *фрагментом книги*, способным сообщить любопытные подробности о ее судьбе. Например, именно таким образом можно обнаружить, что верстка вышедшей в 1972 году книги Вацура и Гиллельсона „Сквозь ‘умственные плотины‘“ — о цензуре и разнообразных способах ее обойти в пушкинские времена — около полутора лет пролежала... в цензуре».

**Письма Р. В. Иванова-Разумника к А. Л. Бему (1942 — 1944).** Публикация, вступительная заметка и комментарии Жоржа и Лилии Шерон. — «Звезда», 2002, № 10.

Первые письма еще из лагеря в Западной Пруссии, потом из Литвы, куда автора писем выпустили вместе с женой к родственникам. Начало их переписки также совпало с сотрудничеством Иванова-Разумника в берлинском полуфашистском «Новом слове» — единственной доступной писателю русской газете.

Из письма 1944 года: «Не сговариваясь с вами, я последовал вашему примеру — перечитал в июле и августе (вероятно — последний раз в жизни) „Капитанскую дочку“, „Войну и мир“. Каждое потрясает по-особому, и чтобы рассказать об этом — надо писать не письмо, а книгу. Что касается „Войны и мира“ — она всегда была связана для меня с „Евгением Онегиным“ <...> глубокой родственностью отношения к миру, общим „мироощущением“; но об этом в двух словах не расскажешь».

Но вот рядом с серьезным и смешное: скажите, отмечены ли в литературе о „Войне и мире“ три *lapsus'a*, не замеченные Толстым, хотя роман и переписывался семь раз; полагаю, что такими мелкими глупостями критика не занималась. *Lapsus* первый: княгиня Лиза Болконская беременна 14 месяцев. Второй: надетый княжной Марьей на брата образок в серебряной ризе на серебряной цепочке мелкой работы обращается под Аустерлицем в золотой образок на мелкой золотой цепочке. Третий: Наташа целует на руке матери косточки верхних суставов пальцев и их промежутки, приговаривая: январь, февраль и т. д., — и заканчивает кость мизинца июнем вместо июля...

О более серьезном в письме не напишешь».

**Поэзия и гражданственность.** Максим Амелин, Татьяна Бек, Олеся Николаева, Дмитрий Пригов, Евгений Рейн, Лев Рубинштейн. — «Знамя», 2002, № 10.

Рубрика «Конференц-зал». «Возможно, гражданский подвиг поэта сегодня — его работа с русским языком, расчистка его от грязи, мусора и прочих ненужных наслоений предшествующих эпох. Меня лично более чем устраивает та незаметная роль „асенизатора и водовоза“, которая отведена поэту в современной России. Дело не в невозможности пережить то или иное общественное событие как собственное, личное, частное. Гражданским стихам требуется публичность. Нет никакого смысла писать их в стол или издавать тиражом 100 экземпляров. Современная поэзия не имеет ровным счетом никакого общественного звучания и значения, общество остается глухо к ней, и сегодня, как прежде, хотя и по совершенно другим причинам,

Мы живем, под собою не чуя страны,  
 Наши речи за десять шагов не слышны...

Кстати, Мандельштам, по свидетельству Ахматовой, перед тем как прочитать ей это стихотворение, сказал: „Стихи сейчас должны быть гражданскими”.

Есть ли у гражданской поэзии в России будущее? — Не исключаю, что да» (М. Амелин).

**Евгений Рейн.** «Вся жизнь и еще „уан бук”». Беседу вела Татьяна Бек. — «Вопросы литературы», 2002, № 5, сентябрь — октябрь.

Огромное, двухэтапное интервью обо всем на свете. Это не первая публикация разговора двух друзей и поэтов. Градус беседы подсакивает, когда речь заходит о прозе Анатолия Наймана или поэтической и жизненной судьбе Бориса Рыжего.

См. также: **Татьяна Бек**, «Центральный защитник. Штрихи к портрету Евгения Рейна» — «Литература», 2002, № 42, 8 — 15 ноября <<http://www.1september.ru>>

**Михаил Синельников.** Главы из воспоминаний. — «Вопросы литературы», 2002, № 5, сентябрь — октябрь.

На сей раз это: грузинские поэты; история о том, как Тарковский переводил стихи тов. Сталина; главы «Страх» и «Вера». Все очень интересно, потому что изнутри, *от себя*. Я споткнулся в одном месте: «Тарковский был благосклонен к людям, в которых ему чудилось нечто созвучное его грезе (это о тяге поэта к „благодатному состоянию” нищенства. — П. К.). Жалкому Григорию Корину были подарены „Цветочки” св. Франциска Ассизского».

Кажется, я понимаю, что в определение «жалкий» воспоминатель вкладывал *старое*, жалостливое значение. Однако не читается. Работает «на понижение», а в Корине никакого понижения нет: бытие его убого, а дух высок и радостен. Это и по стихам видно.

**Александр Твардовский.** Рабочие тетради 60-х годов. Публикация В. А. и О. А. Твардовских. Подготовка текста О. А. Твардовской. Примечания В. А. Твардовской. — «Знамя», 2002, № 10.

«2.VII.67. П<ахра>

Маша говорит, что забывчивость и т<ому> п<одобное> у нее оттого, что она занимается хозяйством „без удовольствия”. А редактировать ж<урна>л без удовольствия — это уж вовсе беда и мука. А покамест так оно и есть и в перспективе — только так видится.

С куда большим удовольствием, рабочим подъемом, неизменным обращением мысли к предмету и т. д. я занимаюсь пересадкой елочек, поливкой весенних и прежних посадок, заготовкой дров, хотя их для камина с избытком года на три. Вчера поймал себя на том, как углубленно обдумывал сооружение новой помойной ямы взамен нынешней, которую нужно зарыть, какой находкой было соображение об использовании в сан<итарно>-гигиен<ических> целях битума.

И все же возможно, что при всех наихудших вариантах решения „дела” что-то позволит или заставит оставаться на месте, хотя — нет, нет, нельзя. Нельзя что-нибудь делать стоящее, не стыдное, примирившись с этой позорной историей. Солженицын, каков бы он ни был сам по себе, сейчас фокус, в котором судьба не только ж<урна>ла, но, как я это всегда понимал, всей нашей литературы. Либо — перелом, либо на долгие годы (а не до конца юбилейного года) мрак и уныние...»

«8.IX.67. П<ахра>

В первый раз видел Кондратовича таким приунывшим и подавленным от сознания, что журналу приходит конец. „Пусть бы меня так-сяк гоняли, но почему моя жена должна терпеть — не берут на работу: жена зама „Н<ового> м<ира>”...

Лакшину позвонили из „Совписа”: должны будем возвратить вам рукопись сб<орни>ка статей. — Интересно, как вы будете мотивировать отклонение рукописи, находящейся у вас два года и уже принятой к печати, после того, как были выполнены ваши требования? — Постараемся сделать это убедительно...»

Начало публикации см.: «Знамя», 2000, № 6, 7, 9, 11, 12; 2001, № 12; 2002, № 2, 4, 5, 9.

**Сергей Чупринин.** После драки. Урок прикладной конспирологии. — «Знамя», 2002, № 10.

«Мне все нравится в этой истории [с „Гексогеном”]. Во-первых, она подтверждает, что в жизни по-прежнему есть место чуду и что у каждой самой забубенной Золушки, если ее, конечно, навестит Лев Пирогов, может появиться шанс проснуться в хрустальных туфельках...»

**Игорь Шайтанов.** Подмалевок. — «Арион», 2002, № 3.

О том, как «пиарят» современную поэзию. Исходные данные — антологии «Плотность ожиданий» (2001) и «Черным по белому» (2002); лауреаты премии «Дебют» и уча-

стики Второго международного фестиваля поэтов. «Если быть совсем точным, то это не стихи, а тексты (это об одном молодом поэте, сюда, думаю, подходит много имен. — Л. К.). Для меня разница достаточно определена: стихи — это то, что предполагает голос, тексты — немые. Они для чтения. Даже не вслух, а глазами. Это совсем не обязательно худшая, а просто другая поэзия, со своими достоинствами и своими подводными камнями. Об эти камни и разбилось немало текстовых творений. <...> Прекрасно, что есть премия „Дебют“. Замечательно, что она не только награждает, но и издает. Однако глупо и опасно убеждать более или менее способных молодых людей в том, что они пришли, чтобы восстановить „поэтический ресурс“. Может быть, кто-то из них и восстановит этот ресурс, если его оставят в покое и не станут искушать преждевременными или несбыточными посулами».

Ср.: **Ольга Славникова**, «К кому едет ревизор? Проза „поколения *lexi*» — «Новый мир», 2002, № 9.

**Асар Эппель**. Три повествования. — «Знамя», 2002, № 10.

Как всегда, прекрасные и ужасные. Живописный ад жизни. Жалко всех. Временами до слез.

Составитель **Павел Крючков**.

●

**АЛИБИ**: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).

●

**АДРЕСА**: сайт Общественного движения за право на владение и ношение короткоствольного огнестрельного оружия самообороны: <http://www.samooborona.ru>

●

**ДАТЫ**: 29 января (9 февраля) исполняется 220 лет со дня рождения Василия Андреевича **Жуковского** (1783 — 1852); 23 января (4 февраля) исполняется 130 лет со дня рождения Михаила Михайловича **Пришвина** (1873 — 1954).

## ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

*Февраль*

**10 лет назад** — в № 2 за 1993 год напечатаны рассказы Людмилы Петрушевской «В садах других возможностей».

**40 лет назад** — в № 2 за 1963 год напечатана повесть Константина Воробьева «Убиты под Москвой».

**70 лет назад** — в № 2 за 1933 год напечатана «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского.

**75 лет назад** — в № 2 за 1928 год напечатана пьеса И. Бабеля «Закат».

# «НАДЕЖДЫ ЛИРА ЗОЛОТАЯ»

Всемирный литературно-поэтический конкурс

*300-летию Санкт-Петербурга (Россия) посвящается*

Первый Литературный Музей А. С. Пушкина в США — единственная зарегистрированная Пушкинская организация в Западном полушарии — объявляет о начале проведения Всемирного русскоязычного литературно-поэтического конкурса «Надежды Лиры Золотая».

## Условия конкурса:

- ♦ На конкурс принимаются стихотворения на любую тему, не более 32-х строк, а также прозаические произведения не более 6-ти печатных страниц и литературно-критические статьи.
- ♦ **Первая премия** — \$ 1000 или недельная гостевая поездка в США, а также именной наградной кубок музея, на котором богиня победы держит золотую лиру.
- ♦ **Вторая премия** — \$ 500 и именной кубок с серебряной лирой.
- ♦ **Третья премия** — \$ 300 и именной кубок, украшенный бронзовой лирой.
- ♦ Двенадцать дополнительных премий по \$ 100.
- ♦ Специальная юношеская премия Ричарда Аллана Гленна за лучшее детское стихотворение (в этом конкурсе могут принимать участие дети до 14-ти лет; фото или копия свидетельства о рождении обязательны).
- ♦ Премия Надин Лиллиан Глинской за лучшее женское лирическое стихотворение о любви.
- ♦ Почетные грамоты Первого Литературного Музея А. С. Пушкина в США, книги поэтов — членов поэтического клуба им. Бориса Чичабина, ценные подарки, американские сувениры.

Письма с пометкой на конверте «Литературно-поэтический конкурс» присылать по адресу:

**The First American Literary Museum of A. S. Pushkin**  
**1617 3<sup>rd</sup> Ave. P. O. Box 6152**  
**New York, NY 10128-6152 U.S.A.**

В конверт должен быть вложен отдельный лист с именем, адресом и телефоном автора. Можно также приложить краткую биографию.

Письма, отправленные на Пушкинский литературно-поэтический конкурс, будут приниматься до 20 апреля 2003 года.

Подведение итогов конкурса состоится 6 июня 2003 года — в день рождения величайшего русского поэта А. С. Пушкина.

Произведения сомнительного авторства, а также с употреблением арготизмов рассматриваться не будут.

Родственники и близкие друзья членов Почетного жюри и секретариата Всемирного литературного поэтического конкурса к участию не допускаются.

После подведения итогов лучшие произведения будут выставлены на вебсайте музея: <http://www.PushkinUSA.org>

Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются.

Дополнительная информация по телефону: (8-10-1-718) 997-80-64, Надин Л. Глинская.

Надин Лиллиан Глинская, Ph. D.,  
Генеральный директор  
Первого Литературного Музея А. С. Пушкина в США.

# SUMMARY



This issue contains a narration by Mikhail Tarkovsky «Give Back What Is Mine», «Crusade», a story by Grigory Petrov, as well as the memoirs «Book on Life» by Anna Vasilevskaya. Poetry section is made up of new poems by Yevgeny Reyn, Olga Martynova, Boris Victorov, Grigory Mark and Vladimir Gubailovsky.

The sectional offerings of this issue are as follows:

*Close and Distant* contains a continuation of diary notes by the literary critic Igor Dedkov «A New Account Has Already Been Opened» covering the period from 1987 to 1994.

*Philosophy-History-Politics* presents «Solidarism: the Third Way of Europe?» by Valery Senderov and an article by Sergey Averintsev «A Few Ideas Regarding the Eurasian Thought of N. Trubetskoy».

*Comments*: the article «Ethnic Entity that Was Once Called Russia» by Alla Latynina analyzing the book by the journalist Anna Politkovskaya.

*Literary Critique* publishes an article by Yevgeny Yermolin «The Idealists» about intelligentsia in the prose of recent years.



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

---

Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, А. Г. Волос, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, А. Н. Латынина, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, О. А. Славникова, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

---

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

---

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: [newworld@newtimes.ru](mailto:newworld@newtimes.ru);

по вопросам зарубежной подписки: [novy-mir@mtu-net.ru](mailto:novy-mir@mtu-net.ru)

Сетевой журнал «Новый мир»: [http://magazines.russ.ru/novyj\\_mi](http://magazines.russ.ru/novyj_mi)

---

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

---

Сдано в набор 20.08.2002 г. Подписано к печати 28.12.2002 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

---

Тираж 9600 экз. Зак. 3001. Цена договорная.

---

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

## **ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА**

Премия имени Юрия Казакова присуждается с 2000 года автору, живущему и работающему в России, за рассказ на русском языке, впервые напечатанный в текущем году на территории России.

Жюри 2002 года отобрало из представленных на конкурс произведений шесть кандидатов на премию:

**МИХАИЛ БУТОВ**

«В карьере» — «Новый мир», 2002, № 7;

**МАРИНА ВИШНЕВЕЦКАЯ**

«Опыт принадлежности» — «Октябрь», 2002, № 10;

**ДМИТРИЙ ГАЛКОВСКИЙ**

«Святочный рассказ № 2» — «День литературы», 2001, № 13; 2002, № 1;

**ВЛАДИМИР МАКАНИН**

«Неадекватен» — «Новый мир», 2002, № 5;

**ИВАН ПЛУЖНИКОВ**

«Мертвое зерно» — «Урал», 2002, № 4;

**АСАР ЭППЕЛЬ**

«В паровозные годы» — «Знамя», 2002, № 10.

**Координаторы премии:**

главный редактор журнала «Новый мир»

**АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ;**

генеральный директор Благотворительного Резервного фонда

**ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.**

**Сумма премии — 3000 \$.**